This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

ПОВѢСТИ

ИЗЪ СОВРЕМЕННАГО БЫТА

Д. В. АВЕРКІЕВА.

Изданіе тщательно пересмотрѣнное и исправленное

въ трехъ томахъ.

ТОМЪ ТРЕТІЙ

ХУДОЖНИКЪ БЕЗПАЛОВЪ И НОТАРІУСЪ ПОДЛЕЩИКОВЪ.

КОМИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Верейская, № 16.
1898.

ОГЛАВЛЕНІЕ ТРЕТЬЯГО ТОМА.

Художникъ Безпаловъ и Нотаріусъ Нодлещиковъ.

Приключенія на улицѣ . . . . . 3 — 17
Приключенія на лѣстницѣ и ихъ послѣдствія . . . . 17 — 30
О преимуществахъ портретной живописи . . . . . 31 — 43
Салонъ въ Каретномъ ряду . . . . . 43 — 59
Сумерки . . . . . 59 — 79
Затѣи Глафиры Александровны . . . . . 80 — 90
Обѣдъ и его послѣдствія . . . . . 90 — 105
Два Эпизода . . . . . 105 — 109
I. Какой науки докторомъ былъ Голубцовъ . . . . . 109 — 131
II. Отставка графа Путивцева . . . . . 131 — 146
Симпосіонъ въ Патрикѣевскомъ трактирѣ . . . . . 146 — 162
Въ чужомъ пиру похмѣлье . . . . . 163 — 179
Муза, подпрапоръ и Фихтошка . . . . . 180 — 214
Успѣхи графа Петра Николаевича . . . . . 214 — 239
Иванъ Осогностовичъ развертывается . . . . . 239 — 277
Мытарства Ивана Осогностовича . . . . . 277 — 313
Торжество искусства . . . . . 313 — 346
Торжество журналистики . . . . . 347 — 379
Первое апрѣля . . . . . 379 — 404
Соломенная вдова . . . . . 404 — 429
Вѣщій сонъ . . . . . 429 — 453
Любовные счеты . . . . . 453 — 478
Финалъ . . . . . 478 — 498

Averkiev, D. V.

ПОВѢСТИ

ИЗЪ СОВРЕМЕННАГО БЫТА

Д. В. АВЕРКІЕВА.

Изданіе тщательно пересмотрѣнное и исправленное

въ трехъ томахъ.

ХУДОЖНИКЪ БЕЗПАЛОВЪ И НОТАРІУСЪ ПОДЛЕЩИКОВЪ.

КОМИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія брат. Пантелеевыхъ. Верейская, № 16.
1898.

ХУДОЖНИКЪ БЕЗПАЛОВЪ

и

НОТАРІУСЪ ПОДЛЕЩИКОВЪ.

КОМИЧЕСКІЙ РОМАНЪ.

I.

Приключенія на улицѣ.

Два голубя, какъ два родные брата, жили.
Крыловъ.

Было ровно безъ четверти одиннадцать, какъ Андрей Николаевичъ Безпаловъ позвонилъ у подъѣзда пестро и глупо раскрашеннаго деревяннаго дома въ мѣстности извѣстной подъ именемъ Бронныхъ. Дожидаясь пока отворятъ, Андрей Николаевичъ бѣгло осмотрѣлъ хорошо ему знакомую дверь, не безъ удовольствія остановивъ взоръ на нѣкоторыхъ болѣе ему примѣтныхъ трещинахъ клеенчатой обивки, и неторопливо и какъ бы по складамъ прочелъ на мѣдной дощечкѣ: *Иванъ Ѳеогностовичъ Подлещиковъ;* затѣмъ, замѣтивъ на дощечкѣ слѣдъ долота, а на клеенкѣ два, три прорѣза, онъ, ужь и не знаю въ который разъ, помечталъ, что воръ недоволь-

ный тѣмъ, что дощечка слишкомъ крѣпко привинчена, вымстилъ свою неудачу на ничѣмъ неповинной обивкѣ.

Окончивъ эти обычныя наблюденія и соображенія, Андрей Николаевичъ рѣшилъ, что слѣдуетъ дернуть во второй разъ. Дверь уже не представляла пищи для его ненасытной любознательности, а потому вскорѣ ему показалось, что Агаѳонъ медлитъ чрезвычайно; онъ пустился въ предположенія на счетъ вѣроятныхъ причинъ отсутствія Ивана Ѳеогностовича и временнаго мѣстопребыванія Агаѳона. Одолѣваемый нетерпѣніемъ, Андрей Николаевичъ перебѣжалъ по горбатенькимъ мосткамъ, какіе ставятся у московскихъ подъѣздовъ, съ тротуара на улицу и заглянулъ въ окна своего друга, но ничего утѣшительнаго въ нихъ не замѣтивъ, оглядѣлъ домовую стѣну и направился снова къ подъѣзду, мысленно проворчавъ: „Въ какомъ-бишь?... Да, въ мавританскомъ!.. Ахъ, мерзавецъ!..“

Это восклицаніе, впрочемъ, ни мало не относилось ни къ Ивану Ѳеогностовичу, ни къ его слугѣ, а единственно къ пестрой окраскѣ зданія и его владѣльцу, увѣрявшему всѣхъ и каждаго, что домъ его расписанъ въ самомъ строгомъ мавританскомъ вкусѣ. Принявъ въ соображеніе, что означенный домохозяинъ, изъ отставныхъ путейскихъ штабсъ-капитановъ, сверхъ различныхъ барышническихъ предпріятій, занимался и тѣмъ, что воздвигалъ на Орликовой и другихъ пустопорожнихъ земляхъ дома изъ барочнаго и вообще гнилаго и ни на что иное не годнаго лѣса и, снабдивъ ихъ всякими неудобствами и приспособленіями для привлеченія и развитія заразныхъ болѣзней, сдавалъ затѣмъ по весьма выгодной для себя цѣнѣ въ наемъ рабочему люду,— читатель согласится, что восклицаніе „мерзавецъ“ не

можетъ быть приписано исключительно дурному расположенію Андрея Николаевича.

Андрей Николаевичъ шелъ къ подъѣзду съ твердымъ намѣреніемъ либо сокрушить звонокъ, либо добиться наконецъ толку. И, дѣйствительно, дернулъ за ручку съ такой силой, что невольно взглянулъ, не осталась ли она у него въ горсти. Какъ разъ въ это мгновеніе дверь пріотворилась на длину заложенной цѣпи, и въ прорѣху выглянуло веснусчатое лицо.

— Извините ужь, сударь, сказалъ Агаѳонъ, торопливо и привѣтливо отворяя дверь.

— А я ужь думалъ, что вы съ бариномъ оглохли. Да что онъ дома? спросилъ Андрей Николаевичъ, направляясь по холодному деревянному корридору и по привычкѣ немедленно пускаясь въ мечтанія на счетъ его происхожденія, причемъ сообразительность Андрея Николаевича неизмѣнно приходила къ заключенію, что первоначально ходъ былъ со двора, черезъ кухню, и затѣмъ уже, съ развитіемъ цивилизаціи, была пристроена эта галлерейка и въ стѣнѣ прорублена входная дверь.

— Дома-то, дома-съ, нагоняя его, доложилъ Агаѳонъ.—А только что вотъ все сапожника бранили, что широки сапоги шьетъ, а онъ возьми и обувь: на силу, повѣрите ли, стащилъ. А они сердятся. Оттого и замѣшкалъ.

Андрей Николаевичъ пріостановился и художническимъ взглядомъ осмотрѣлъ Агаѳона. Какъ и всегда, его особенно поразили желтоватые волосы вѣрнаго служителя. Агаѳонъ помадилъ ихъ и даже фиксатуаромъ притиралъ, а они все торчали непокорными пучками.

— Типичная харя, рѣшилъ Андрей Николаевичъ,—

надо куда-нибудь ее вставить. И прибавилъ въ слухъ:— Никуда не собирается?

— Не слышно, чтобы собирался, а только опять новый сюртучекъ примѣряютъ.

— Какъ „опять“?

— Да чуть не каждую недѣлю по новой парѣ шьютъ, и все у разныхъ портныхъ. Ни одинъ, вишь, не угодитъ.

— Что жь, франтовство его что-ль одолѣло?

— Оказываетъ, что такъ, загадочно отвѣчалъ Агаѳонъ, отворяя дверь въ прихожую, и, снимая пальто съ Андрея Николаевича, добавилъ:—А только-если что, ужь вы потрудитесь, сдѣлайте божескую милость, Андрей Николаевичъ, доложите имъ, такъ что я даже не намѣренъ. Потому какъ я терпѣть не могу, ежели тутъ юбченка, а тамъ чепчишко...

Послышался барскій окрикъ.

— Такъ что... пожалуйте въ кабинетъ, а я доложу-съ, торопливо оборвалъ Агаѳонъ.

Андрей Николаевичъ прошелъ въ кабинетъ, не обративъ особаго вниманія на нелюбовь Агаѳона къ чепчишкахъ и юбченкамъ. Притомъ, войдя, надо было оправиться предъ зеркаломъ. Андрей Николаевичъ пригладилъ волосы, сперва строго испытующимъ и затѣмъ благосклоннымъ взоромъ осмотрѣлъ лицо и на разныя манеры оправилъ бородку, то расчесывая ее большимъ пальцемъ изъ-подъ низу, то разглаживая ее въ щелкѣ между большимъ и указательнымъ, то забирая въ горсть, то раздвигая въ стороны, и въ заключеніе сталъ нѣжно обирать вокругъ нея ладонью. Вполнѣ довольный состояніемъ своей физіогноміи, Андрей Николаевичъ поднялъ руки на высоту зеркала и сталъ повертывать ихъ

во всѣ стороны, тщательно изслѣдуя ихъ красоту и съ верхней стороны и съ ладони; наконецъ, отступивъ шага на два отъ зеркала, онъ занялся осмотромъ всей своей фигуры, причемъ выставлялъ впередъ то одну, то другую ногу, держа ихъ въ разныхъ позиціяхъ, и окончательно увлекся ступнями, оглядывая ихъ и съ носка, и съ каблука, и съ боковъ и какъ бы прозрѣвая сквозь грубую кожу безукоризненную лѣпку „слѣдка“.

Такъ ужь устроено человѣчество, что всякому свое лицо любезно и мило; войдите въ парикмахерскую, когда она полна народу и вглядитесь въ отраженныя въ зеркалахъ и, такъ-сказать, отрѣшенныя ото всего житейскаго бѣлоснѣжными салфетками, головы и въ устремленные на нихъ взоры ихъ носителей; какими бы носами они ни обладали: въ видѣ бутылки, картофеля, щепки, галицкаго топора, турецкаго огурца, журавлинаго, утинаго или орлинаго клюва, или даже въ видѣ оленьихъ роговъ съ многочисленными отростками; какой бы цвѣтъ ни преобладалъ на щекахъ; красный, сизый, молочный, гемороидальный, или чахоточный; каковы бы ни были сами испытующіе глаза: кривые, косые, щурые, воловьи, или кошачьи,—на всѣкъ лицахъ стоитъ одна и та же дума: „а вѣдь, право же, я не дуренъ“, или въ самомъ крайнемъ случаѣ: „положимъ, у меня есть кой-какіе изъянцы и недочеты, да за то физіогномія полна выраженія“. Стало-быть, нечего особенно осуждать Андрея Николаевича, что онъ любованье собой простиралъ до безукоризненной лѣпки слѣдка.

— Здравствуй... Впрочемъ, я не мѣшаю: любуйся, любуйся собой, сказалъ входя Подлещиковъ.

— И вовсе я никогда собой не любуюсь!..

— Полно; будто я не знаю, что ты считаешь себя стройнѣе Аполлона Бельведерскаго.

— Да у Аполлона, вопервыхъ, ноги длинныя...

— А у тебя ступни медвѣжьи.

Рана была нанесена въ самое чувствительное мѣсто.

— А у тебя... быстро поворачиваясь къ пріятелю и крѣпко пожимая ему руку, чтобы прекратить непріятныя пререканія, сказалъ Андрей Николаевичъ.—А у тебя... Э, да у тебя опять новый сюртукъ!..

— Господи Боже мой! всполошился Иванъ Ѳеогностовичъ.—Что это за народъ нынче пошелъ! Сюртука нельзя надѣть, чтобы не оговорили. Ну, скажи, зачѣмъ тебѣ, ради Бога, знать, новый ли у меня сюртукъ?

— Да я просто... Впрочемъ, Агаѳонъ жаловался, что все франтишь...

— Агаѳонъ? Не даромъ я давно собираюсь прогнать этого скота,—вѣчно подглядываетъ да шпіонитъ.

— Иванъ Ѳеогностычъ? спросилъ въ эту минуту Агаѳонъ, заглядывая въ дверь.

— А, ты здѣсь ужь! Я такъ и зналъ. Всюду, всюду суешь свой табачный носъ. Ну, чего тебѣ надо? что забылъ, а? подслушать захотѣлось о чемъ господа разговариваютъ...

— Не очень-то мнѣ любопытно, угрюмо отвѣчалъ Агаѳонъ,—а только...

— Что только? Ну, ну, говори... И врешь все, шпіонить опять пришелъ.

— Кажется, за мной этого не водится, чтобы въ шпигонахъ состоять... а только, что на счетъ сапогъ; такъ что разбить ихъ, что ли, прикажете?..

— Я тебѣ этими сапогами когда-нибудь рожу разобью...

Агаѳонъ только рукой махнулъ, и скрылся.

— Этакая дрянь! И никто меня не разувѣритъ, что не шпіонъ...

Андрей Николаевичъ разсмѣялся.

— Ну, чему, чему ты, ради Бога, хохочешь? Дѣло вовсе не шуточное...

— Да кому нужно за тобой шпіонить.

— Какъ кому? Ахъ, Господи мой Боже! Мало ли кому!.. Наконецъ, правительство... особенно въ настоящее время...

Иванъ Ѳеогностовичъ пустился было въ доказательство, что правительство не только обязано, но сдѣлало бы большое упущеніе, не слѣдя за такими, какъ онъ, лицами, но былъ заглушенъ въ своемъ краснорѣчіи пущимъ хохотомъ Андрея Николаевича.

— Э, полно вздоръ молоть! Просто ты сегодня либо съ лѣвой ноги всталъ, либо не выспался... Ужъ здоровъ ли ты?

Иванъ Ѳеогностовичъ такъ и вспыхнулъ при этомъ невинномъ вопросѣ.

— Ну, вотъ, вотъ опять! Ахъ, Господи мой Боже! Ну, зачѣмъ тебѣ, ради Бога, знать, здоровъ ли я, или боленъ? Докторъ ты, что ли?

И Иванъ Ѳеогностовичъ тревожно пошелъ къ зеркалу, заранѣе направляя языкъ поверхъ нижней губы.

— Да успокойся ты, пожалуста. Я безо всякаго умысла, такъ...

— Эхъ,—придя въ себя послѣ тщательнаго осмотра языка, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—люблю я тебя, Андрей Николаичъ, и даже очень, а только скверная у тебя, братъ привычка все замѣчать и про все разспрашивать. Ужь извини, братъ, а этакъ соваться

въ чужія дѣла, какъ выразился, кажется, Тургеневъ, значитъ подъ кровомъ дружбы залѣзать грязными пальцами въ чужую душу...

— Ну, я тебѣ развѣ въ желудокъ залѣзъ... Впрочемъ, мнѣ, пожалуй, и важно знать, въ какомъ онъ у тебя состояніи.

Иванъ Ѳеогностовичъ чуть было опять не растревожился, но отошелъ, узнавъ, что свѣдѣнія о состояніи его желудка требуются единственно ради участія въ завтракѣ.

— Лишнія деньги у тебя, что-ль, на волю просятся?

— Есть таки. Притомъ, нашему брату художнику, послѣ работы не мѣшаетъ, знаешь, какъ говоритъ Пушкинъ,

И погулять, и отдохнуть.

Словомъ, встряхнуться и душой, и тѣломъ. Что жь, согласенъ?

Иванъ Ѳеогностовичъ не отвѣчалъ.

— День, вѣдь, у тебя свободный? Табель сегодня.

— Точно, что табель, раздумчиво отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Контора заперта?

— Точно, что заперта... А все бы надо завернуть...

— Это зачѣмъ?

— Ужь не знаю, какъ тебѣ объяснить... Не понимаешь ты нашихъ дѣлъ... Словомъ, переписываютъ важную и спѣшную бумагу... Боюсь, не наврали бы...

— Что жь, завернемъ, а оттуда къ Тѣстову рукой подать...

— Хорошо, по нѣкоторомъ размышленіи медленно

проговорилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, отвѣчая, впрочемъ, не на вопросъ пріятеля, а на какія-то свои тайныя соображенія.

— Вотъ, спасибо!

— Что жь, идти, такъ сейчасъ, рѣшилъ нотаріусъ, взглянувъ на часы.

— А не рано?

— А въ контору? Забылъ? Притомъ для аппетита пройдемся пѣшкомъ.

Друзья отправились. Они благополучно дошли до Тверской, но тутъ у втораго или третьяго переулка были остановлены зрѣлищемъ, въ Москвѣ нерѣдкимъ. По ту сторону улицы скучился народъ; всѣ лѣзли къ чему-то находившемуся среди толпы, причемъ руки быстро подымались и опускались. Оказалось, что жуликъ стащилъ, по однимъ, калачъ, а по другимъ цѣлую подошву, былъ пойманъ съ поличнымъ и теперь несъ наказаніе за проступокъ. Иванъ Ѳеогностовичъ, будучи врагомъ всякаго самоуправства, остановился и сталъ искать глазами, нѣтъ ли по близости городоваго. Въ это время изъ переулка выскочилъ мальчишка съ судками въ рукѣ. Увидавъ, что творится на той сторонѣ, онъ сунулъ судки въ уголъ между стѣной и обложеннымъ плитами входомъ въ подвальную лавочку и, чуть не сбивъ съ ногъ Ивана Ѳеогностовича, понесся черезъ улицу, причемъ едва не попалъ подъ карету и, споткнувшись, уже на четверенькахъ вылетѣлъ на противоположный тротуаръ. Быстро вскочивъ на ноги, онъ ринулся въ толпу, протиснулся въ середину, хватилъ два, три раза кого-то по спинѣ, жулика или посторонняго онъ самъ не зналъ, и получилъ на свой пай двѣ, три затрещины, предназначавшіяся, надо думать, тому

же жулику. Для успокоенія возмущенныхъ дикой сценой самоуправства читательницъ прибавимъ, что жуликъ оказался человѣкомъ въ такихъ передрягахъ опытнымъ, а потому послѣ двухъ, трехъ тумаковъ, палъ на колѣна и затѣмъ благополучно пробрался ползкомъ между ногами толпы, предоставивъ ей учить другъ друга и сохранивъ на память стащенную подошву.

Совершивъ подвигъ, мальчишка, съ раскраснѣвшимся и сіяющимъ отъ удовольствія лицомъ, перебѣжалъ улицу и, подхвативъ судки, хотѣлъ было направиться по своему дѣлу, какъ почувствовалъ, что кто-то крѣпко держитъ его за воротъ.

— Ты, что̀ это дѣлаешь, а? грозно спросилъ его Иванъ Ѳеогностовичъ.

— А тебѣ что̀ за дѣло? дерзко огрызнулся мальчишка.

— Что̀ мнѣ за дѣло, а? Ты чуть меня было съ ногъ не сбилъ, а мнѣ дѣла нѣтъ? И ты еще грубить смѣешь?

— Ничѣмъ я не грублю...

— Молчать! Съ тобой баринъ разговариваетъ, а ты смѣешь ему *ты* говорить? Погоди, вотъ я тебя городовому отдамъ. Что̀?

Мальчишка молчалъ.

— То-то! Тебя, негодяй, за дѣломъ послали, а ты что дѣлалъ?

— Да жулика жь учили, пытался было оправдаться мальчишка.

— Жулика учили? А тебѣ что за дѣло? Развѣ тебя съ судками жуликовъ учить послали, а? Иль онъ у тебя укралъ? Да еслибъ и у тебя, такъ самосудъ строго воспрещенъ. Понялъ?

Мальчишка почелъ болѣе удобнымъ не объяснять насколько онъ понятливъ.

— Ты куда, зачѣмъ былъ посланъ?

— Капитану за обѣдомъ.

— За обѣдомъ? А ты судки бросилъ, а самъ драться побѣжалъ. А еслибъ у тебя судки украли, а? Въ чемъ бы ты тогда обѣдъ понесъ? Что жь, отвѣчай: въ чемъ бы ты тогда обѣдъ понесъ?

Мальчишка былъ до нѣмоты пораженъ дальновидными соображеніями Ивана Ѳеогностовича.

— То-то. А капитанъ человѣкъ, поди, старый? Что жь ты молчишь? Иль воды въ ротъ набралъ? а? Отвѣчай же, старикъ?

— Старикъ.

— И, вдобавокъ, привыкъ въ двѣнадцать часовъ обѣдать? а?

— Точно.

— А ты стараго человѣка безъ обѣда бы оставилъ, а номерная хозяйка—вѣдь ты при нумерахъ живешь?

— Вѣрно, дивясь догадливости Ивана Ѳеогностовича, отвѣчалъ окончательно озадаченный мальчишка.

— Въ какихъ нумерахъ?

— У Мавры Ѳоминичны.

— Ну, а Мавра Ѳоминична, что бы тогда сдѣлала, а? Вихры бы тебѣ надрала, да за судки еще вычла, а потомъ отецъ за твоимъ жалованьемъ пришелъ бы, да такую бы тебѣ порку за судки задалъ...

— Да, полно ужь тебѣ, прервалъ Безпаловъ,— мальчишка и то еле живъ стоитъ?

— Ну, ладно. Видишь, баринъ за тебя проситъ; такъ ужь и быть, ничего Маврѣ Ѳоминичнѣ не скажу. А только помни, что коли ты за дѣломъ посланъ, такъ

баловаться не слѣдъ. А жуликовъ учить не твое дѣло, на то судъ есть. Ну, что жь ты стоишь? Ступай; живѣе бѣги, а то капитанъ отощаетъ.

И Иванъ Ѳеогностовичъ выпустилъ изъ рукъ воротъ полушубка. Мальчишка постоялъ въ недоумѣніи, затѣмъ сильно потеръ рукой за воротомъ и проговорилъ: „Ну, и язва жь!.. пробралъ!“ И, нахлобучивъ шапченку, степенно пошелъ за капитанскимъ обѣдомъ.

Друзья, продолжая путь, благополучно уже до половины спустились съ губернаторской горки; у Андрея Николаевича уже сталъ разыгрываться аппетитъ.

— Время о menu подумать, сказалъ онъ.—Сегодня среда; не дурно бы раковаго супа, какъ думаешь?

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ погруженъ въ задумчивость.

— Что жь, Иванъ Ѳеогностовичъ, на раковый супъ согласенъ? переспросилъ Безпаловъ.

— Какой раковый супъ?

— Среда сегодня...

— Среда? Ахъ, Господи Боже мой! Вотъ спасибо, что напомнилъ. А я, вѣдь, все думалъ, что вторникъ... Невозможно!

— Что невозможно?

— Дѣло у меня, и важное. Ну извини, извини, голубчикъ. Въ другой разъ.

И, наскоро простясь съ пріятелемъ, Иванъ Ѳеогностовичъ вскочилъ на перваго извозчика и покатилъ вверхъ по Тверской. Андрей Николаевичъ былъ ошеломленъ и взбѣшенъ такой неожиданностью. Самъ не зная, что дѣлаетъ, онъ кивнулъ встрѣчному извозчику и приказалъ ему „валять за этимъ бариномъ“. Извозчикъ Ивана Ѳеогностовича повернулъ въ первый же

переулокъ направо; Андрей Николаевичъ почему-то принялъ такое обстоятельство за чистѣйшій отводъ глазъ и рѣшилъ неутомимо преслѣдовать пріятеля. Нѣсколько успокоясь, онъ подумалъ, что подобная погоня вещь въ высокой степени неделикатная; на бѣду извозчикъ Ивана Ѳеогностовича опять свернулъ въ переулокъ, и Андрей Николаевичъ окончательно уже убѣдился, что это новая военная хитрость.

— Гм., скрыться отъ меня хочетъ; что-то не ладно,—уже съ сердцемъ подумалъ онъ, не принявъ въ соображеніе, что Подлещиковъ врядъ ли догадывается, что его преслѣдуютъ и забывъ, что извозчики любятъ вертѣться безъ толку по переулкамъ и вообще предпочитаютъ кривую линію, какъ не въ примѣръ болѣе короткую, прямой, хотя самъ нерѣдко обличалъ ихъ по этому поводу въ незнаніи геометріи.

Быть можетъ, Андрей Николаевичъ и отдумалъ бы, наконецъ, гнаться за пріятелемъ, но судьба, какъ нарочно, подзадоривала его ретивость, устроивая ему разнообразныя препятствія, то въ видѣ растянувшагося обоза, то въ видѣ мальчишекъ, катившихъ бочку на двухколесномъ лоткѣ, то въ видѣ бабы, занятой среди улицы интимною бесѣдой съ блюстителемъ порядка. Андрею Николаевичу приходилось, такимъ образомъ, думать не о деликатности, а объ устраненіи помѣхъ; притомъ извозчикъ Ивана Ѳеогностовича продолжалъ вертѣться по переулкамъ.

На Страстномъ бульварѣ стало просторнѣе и Андрей Николаевичъ снова усомнился въ правильности своего поступка.

— Неловко, право неловко, разсуждалъ онъ.—Еще оглянется, замѣтитъ... что я ему скажу?.. Да за такое...

обругаетъ всенепременно. Даже и вздуть не грѣхъ; я, по крайней мѣрѣ, вздулъ бы,—съ увѣренностью рѣшилъ Андрей Николаевичъ.

И въ благомъ порывѣ онъ хотѣлъ было приказать извозчику повернуть, какъ тутъ же, при сильномъ толчкѣ пролетки, вдругъ вспомнилъ объ отвращеніи Агаѳона къ юбченкамъ и чепчишкамъ.

— Э, э! сразу догадался Андрей Николаевичъ.— Вотъ оно въ чемъ дѣло. Тутъ явно или женитьба, или любовная интрижка... А вотъ поглядимъ, поглядимъ, уже потирая руки, продолжалъ Безпаловъ,—если не оглянется, значитъ влюбленъ. Къ предмету стремится, тутъ не до оглядки! Дѣло знакомое.

И Андрей Николаевичъ пустился въ мечтанія насчетъ влюбленности своего друга.

— Э, да гдѣ жь нашъ баринъ? спросилъ онъ извозчика, очнувшись отъ размышленій.

— Въ Каретный рядъ сейчасъ повернули.

— Валяй же скорѣе, не то упустимъ; особенно какъ опять по проулкамъ вилять начнутъ.

Извозчикъ Андрея Николаевича пріударилъ. Вдругъ съ угла сорвался другой, спѣша занять только-что опроставшееся, еще теплое мѣсто, гдѣ счастливый собратъ у него на глазахъ посадилъ сѣдока; онъ летѣлъ, какъ изступленный, устремивъ обезумѣвшія очи на вожделѣнную точку, и такъ ловко задѣлъ за заднее колесо, что чуть не вывалилъ Андрея Николаевича.

— У, чортъ, лѣшій! Глаза-то, видно, въ кабакѣ заложилъ! закричалъ Безпаловскій извозчикъ.

— А ты что не по своей сторонѣ ѣдешь? А еще съ толстымъ бариномъ! укоризненно возразилъ встрѣчный.

— А гдѣ жь нашъ баринъ? Вотъ и потеряли! съ отчаяніемъ вскричалъ Андрей Николаевичъ.

— Ничего, нагонимъ! увѣренно отвѣчалъ извозчикъ.

И не нагнали бы, еслибъ Андрей Николаевичъ, благодаря геніальной сообразительности, не догадался заглянуть въ первый же переулокъ: тутъ у подъѣзда угольнаго дома его другъ расплачивался съ возницей.

II.

Приключенія на лѣстницѣ и ихъ послѣдствія.

Не суй свой носъ, куда не слѣдъ,—
Таковъ всегдашній мой совѣтъ.
Дѣтская книжка.

Андрей Николаевичъ вошелъ въ подъѣздъ. Домъ былъ каменный, трехъ-этажный. Швейцара, по московскому обычаю, не полагалось. Было несомнѣнно, что Иванъ Ѳеогностовичъ находился въ этомъ домѣ; но такое знаніе ничего не объясняло. Андрей Николаевичъ рѣшился произвести строгое изысканіе. Онъ, благодаря живому воображенію, подобно многимъ художникамъ, обладалъ способностями по сыскной или слѣдственной части и любилъ ими тщеславиться.

Въ первомъ этажѣ была всего одна дверь; чуть ли не на аршинной мѣдной, до нестерпимаго блеска вычищенной доскѣ, стояло огромными буквами: *Израиль Іосифовичъ Хапкинъ, помощникъ присяжнаго повѣреннаго.*

Человѣкъ съ обыкновенными способностями, конечно, предположилъ бы, что Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ нотаріусъ, имѣетъ дѣло къ этому адвокату. Но критическій анализъ доложилъ Андрею Николаевичу, что это невозможно. Что за дѣло въ табельный день!

Притомъ, будь у Ивана Ѳеогностовича дѣйствительно *дѣло* сегодня, онъ, какъ человѣкъ точный и осмотрительный, никоимъ образомъ не забылъ, что нынче среда и на прямки бы отказался отъ завтрака; Андрею Николаевичу прекрасно было извѣстно, что его пріятель каждое утро раньше всего, даже раньше чаепитія справлялся съ записною книжкой и неукоснительно слѣдовалъ въ теченіе дня ея указаніямъ.

Нѣтъ, Агаѳонъ правъ. Суть въ какомъ-нибудь чепчишкѣ, или въ какой-нибудь юбченкѣ. Но развѣ не могъ Иванъ Ѳеогностовичъ именно ради одной изъ названныхъ принадлежностей дамскаго туалета отправиться къ Хапкину?

Творческая мечта подсказала Андрею Николаевичу множество возможностей въ данномъ направленіи. Почему у Хапкина не могло быть хорошенькой жены, за которой пріударилъ Иванъ Ѳеогностовичъ? Онъ могъ спѣшить на свиданіе именно потому, что только-что узналъ, что Израиль вчера вечеромъ, или даже нынче утромъ уѣхалъ въ Петербургъ или въ провинцію для защиты кляузнаго дѣла. Наконецъ, развѣ у Израиля не можетъ быть сестры, или свояченицы, на которой вздумалъ жениться Иванъ Ѳеогностовичъ? Вѣдь жидовочки бываютъ прехорошенькія, и не Ивана Ѳеогностовича съ ума сведутъ! Конечно, очаровательную Еврейку придется окрестить... Андрей Николаевичъ не безъ удовольствія воспроизвелъ въ легкомъ наброскѣ обрядъ крещенія, причемъ онъ самъ являлся въ качествѣ воспріемника. Заманчиво, чортъ возьми! Вѣдь не всякому удается увидать до вѣнца чужую невѣсту въ „рѣшительномъ *безбѣльѣ*“, какъ говорятъ образованные охотнорядцы! Андрей Николаевичъ готовъ былъ уже вообра-

зить, какъ во время крестинъ онъ влюбляется въ прелестную Хайку, или Ривку; какъ затѣмъ хлопочетъ и послѣ долгихъ трудовъ добивается наконецъ двойнаго развода, и вдругъ всплываетъ забытое препятствіе: воспріемнику воспрещается жениться на крестной дочери. Положеніе трагическое!..

„И все глупости! И ни въ какую жидовку ты не влюбишься. И притомъ, хоть бы ты распрокрестнымъ былъ, никто тебѣ не дозволитъ видѣть ее въ „безбѣльѣ“, нежданно доложилъ критическій анализъ, и Андрей Николаевичъ не безъ вздоха о разрушенной мечтѣ поднялся во второй этажъ.

Тутъ были три двери. Первая, правая, обитая клеенкой, не отвѣчала на вопросъ, кто за ней живетъ, хотя достаточное количество сиротливо-торчавшихъ въ обивкѣ гвоздиковъ съ оборванными уголками карточекъ и свидѣтельствовало, что въ квартирѣ жильцы были перемѣнные.

— Онъ здѣсь! по наитію, какъ бы прозрѣвая сквозь дверь и стѣну, почти вслухъ воскликнулъ Андрей Николаевичъ и даже указалъ пальцемъ на дверь. — Но почему „онъ тутъ“, прорицатель и самъ не зналъ, а потому направился къ слѣдующей двери. Прочтя на дощечкѣ „Eduard Ferkelstein“, Андрей Николаевичъ съ презрѣніемъ прошелъ мимо, зная отвращеніе своего друга не только къ Нѣмцамъ, но даже къ Нѣмкамъ, по крайности безукоризненнаго поведенія.

За третьею дверью жилъ Владиміръ Романовичъ Сосулькинъ. Что же могла подсказать Андрею Николаевичу самая пылкая творческая мечта, кромѣ того, что онъ уже перегрезилъ предъ дверью Израиля Іосифовича? Вдобавокъ, мечта уже не могла быть столь

заманчива въ виду того, что m-lle Сосулькину никакъ не приходилось воспринимать отъ купели.

Андрей Николаевичъ поднялся въ третій этажъ. Тамъ оказалось цѣлыхъ четыре двери. На первой стояло:

Марія Петровна

Адается

портниха

са сталомъ или безонава

Первая и третья строка были отпечатаны крупнымъ шрифтомъ на бѣлой бумагѣ; вторая и четвертая начертаны карандашомъ и робкою женскою рукой.

— Гм... сказалъ Андрей Николаевичъ и, сжавъ губы, покрутилъ головой.

Благодаря Марьѣ Петровнѣ творческая мечта опять разгулялась; но вскорѣ была разрушена до основанія критическимъ анализомъ. Конечно, Марья Петровна могла быть любовницей, или содержанкой Ивана Ѳеогностовича, но могла и не быть; далѣе, печатная на двери вывѣска какъ бы указывала на близость Марьи Петровны къ какому-нибудь, если не содержателю типографіи, то все же къ метранпажу, или, по меньшей мѣрѣ, къ наборщику.

„Однако,—совѣстливо подумалъ Андрей Николаевичъ,—по какому праву я заподозриваю особу, вполнѣ мнѣ неизвѣстную, въ связяхъ, которыя даже самые легкомысленные прокуроры изъ правовѣдовъ — правда, исключительно въ судебныхъ засѣданіяхъ— считаютъ беззаконными? Быть-можетъ, Марья Петровна — само воплощенное цѣломудріе? Наконецъ, почему метранпажъ или наборщикъ не могутъ быть просто ея жильцами? Далѣе,—продолжалъ свой докладъ критическій

анализъ,—Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ человѣкъ щепетильный и скрытный, ужь, конечно, не позволилъ бы своей любовницѣ держать жильцовъ изъ опасенія, что чрезъ нихъ о немъ пройдетъ дурной слухъ.

Андрей Николаевичъ перешелъ ко второй двери; она ничего изъ себя не представляла: дверь, какъ дверь,—нѣмая, гладкая, безо всякихъ примѣтъ, ничѣмъ не возбуждающая мечтательности. Стоявшій надъ нею № 6 также ничего не говорилъ воображенію. Слѣдующая была болѣе замѣчательна; она была обита клеенкой, поверхъ которой вдобавокъ, ради крѣпости, были прибиты ремни по образцу андреевскаго креста. Не взирая на такую заботливость о прочности, клеенка внизу лѣвой половины была оборвана на значительное пространство, и изъ подъ нея неприглядно лѣзла размочалившаяся рогожа. Въ другое время Андрей Николаевичъ не приминулъ бы помечтать при какихъ именно обстоятельствахъ была оборвана клеенка и почему доселѣ не прибита,—но нынче пропустилъ мимо такія мелочи. Впрочемъ, отъ его вниманія не ускользнула надпись, сдѣланная мѣломъ и почеркомъ, извѣстнымъ подъ именемъ лавочницкаго, а именно: *ватъ но. 7*. Надпись не излишняя въ виду того, что находившійся надъ дверью номеръ былъ замазанъ краской. № 8 былъ столь же безотвѣтенъ, какъ и № 6.

Дойдя до конца лѣстничной площадки, Андрей Николаевичъ усмотрѣлъ въ выступѣ стѣны еще дверь, некрашенную, въ одинъ щитъ, и ведшую очевидно на чердакъ. Хотя было мало вѣроятія, что Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ преступникъ, бѣгущій отъ правосудія, спрятался на чердакѣ, тѣмъ не менѣе Андрей Николаевичъ полюбопытствовалъ заглянуть за некрашенную

дверь, какъ порой сбитый съ толку слѣдователь суетъ носъ въ такіе уголки, гдѣ онъ твердо увѣренъ, что преступника не имѣется.

Дверь была не заперта; за ней оказалась деревянная лѣстница. Андрей Николаевичъ поднялся на нѣсколько ступенекъ; въ это время дверь, ходившая на блокѣ, захлопнулась за нимъ, и нашъ слѣдователь остановился въ совершенной темнотѣ какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лѣстница дѣлала колѣно. Онъ протянулъ руки, чтобы нащупать перила, но ихъ не оказалось. Положеніе критическое; того гляди оступишься и расквасишь носъ. Андрей Николаевичъ сталъ шарить въ карманѣ пальто, нѣтъ ли спичекъ? Не найдя тамъ, онъ полѣзъ въ брюки; вынимая изъ лѣваго кармана спички, онъ почувствовалъ, что у него подъ пальцами зашуршала бумажка и затѣмъ ему показалось, будто она упала на полъ; Андрей Николаевичъ испугался, подумавъ, что выронилъ пятьдесятъ рублей. Отъ волненія онъ уронилъ коробку со спичками и, стараясь поднять ее, потерялъ равновѣсіе, оступился со ступеньки и наступилъ на что-то мягкое, мгновенно и съ фырканьемъ выскочившее у него изъ-подъ ногъ.

— Ахъ, проклятая кошка! и откуда онѣ только берутся! воскликнулъ Андрей Николаевичъ, чувствуя, что вновь теряетъ равновѣсіе; чтобы не свалиться, онъ поспѣшилъ переставить другую ногу внизъ, и слѣдомъ что-то загрохотало, покатилось и стукнуло о дверь.

— И чортъ ихъ знаетъ, зачѣмъ они вѣчно наставятъ на лѣстницахъ разныхъ кадокъ и боченковъ! съ понятнымъ негодованіемъ подумалъ Андрей Николаевичъ, стукаясь головой о дверь.—Давно бы пора запретить!

Какъ ошпаренный вылетѣлъ онъ вслѣдъ за кошкой на площадку; ему казалось, что сейчасъ изо всѣхъ дверей выскочатъ встревоженные жильцы и набросятся на него, какъ на жулика. Онъ тревожно оглядѣлся и вспыхнулъ, какъ попавшійся школьникъ. Чтобы нѣсколько оправиться, Безпаловъ наклонился надъ перилами, принявъ самую беззаботную позу, и сталъ смотрѣть съ любопытствомъ внизъ, причемъ для приданія себѣ вполнѣ невиннаго вида даже сплюнулъ два раза.

— Андрей Николаевичъ, да это ты? раздался голосъ снизу.

Андрей Николаевичъ узналъ фальцетъ своей жены, Лидіи Антоновны.

— Какъ ты сюда попалъ?

— Сейчасъ, сейчасъ сойду, поспѣшно заговорилъ Андрей Николаевичъ и, спустясь во второй этажъ, спросилъ:—А ты здѣсь зачѣмъ?

— Я была у Бурзуковыхъ.

— У какихъ Бурзуковыхъ?

— Ахъ, Боже мой! точно ты не знаешь Лизы Бурзуковой, моей подруги по школѣ!

— А! долгоносая? Я никакъ и не подозрѣвалъ, что ее зовутъ Бурзуковой.

— Она-то Иванова, а только мать ея за вторымъ была за Бурзуковымъ.

— Вотъ видите! Почемъ же было знать?.. А онѣ здѣсь живутъ?

— Здѣсь. А ты какъ сюда попалъ?

— Я-то? медленно протянулъ Андрей Николаевичъ, какъ бы соображая отвѣтъ.—Вообрази, Лидочка, ѣду я по бульвару, а на встрѣчу Подлещиковъ на лихачѣ летитъ и вдругъ повернулъ въ Каретный. Я ему и

машу, и кричу, а онъ не видитъ и не слышитъ. А мнѣ его вотъ какъ нужно,—Андрей Николаевичъ поднесъ ребромъ руку къ горлу,—я даже думалъ заѣхать къ нему. Я въ догонку; вижу, какъ онъ входитъ въ подъѣздъ, и...

— Да онъ у нихъ.

— У кого?

— Ахъ, Господи! непонятный какой! У Бурзуковыхъ.

— Да развѣ онъ съ ними знакомъ?

— Не то, чтобы знакомъ, а только онѣ отдаютъ, знаешь, три комнаты, которыя выходятъ на Каретный, и тамъ у нихъ живетъ актриса, что въ Пьяномъ клубѣ играетъ... Ты еще восхищался ею. Длинная фамилія такая...

— Хотьминская-Горобецъ?

— Ну, да. Такъ у ней. Тебѣ очень его нужно? Хочешь я позвоню, Лиза вызоветъ.

— Нѣтъ, не ловко. Я ея, то-есть Хотьминской, почти не знаю, а онъ такой подозрительный, еще, Богъвѣсть, что выдумаетъ, будто я слѣжу за нимъ, или... Ну, да ты его знаешь. А которая ихъ дверь?

— Вотъ эта.

— Эта? не безъ волненія повторилъ Андрей Николаевичъ, дивясь своей вѣщей проницательности.

— Ну, да. Что жь, позвонить? Нѣтъ? Ну, какъ знаешь. А деньги получилъ?

— Разумѣется, отвѣчалъ Андрей Николаевичъ съ такою увѣренностью, какъ будто еще не было случая, чтобъ онъ да не получалъ денегъ.

— Сколько? Двѣсти?

— Разумѣется.

— Такъ дай мнѣ; кстати надо кой-что купить;

отсюда и пройду. Ванѣ сапожки надо, да Лидочка совсѣмъ обносилась, надо платьице гимназическое, да еще мамкѣ...

И Лидія Антоновна пустилась въ длинный перечень, что̀ именно и для кого именно надо купить.

— Сколько жь тебѣ? Пятидесяти будетъ?

— О, за глаза.

— А то я боюсь, опять къ Иверской зайдешь, а тамъ у тебя стащатъ.

— Скажите, пожалуйста! обидилась Лидія Антоновна.—Что̀ разъ случилось, такъ будто и опять. Ну, и тогда всего девять рублей; правда, что деньги были нужны.

Андрей Николаевичъ, между тѣмъ, полѣзъ въ лѣвый брючный карманъ за деньгами, но тамъ ихъ не оказалось; вспомнивъ приключеніе на чердачной лѣстницѣ, онъ было струхнулъ.

— Ну, вотъ Иверской меня коришь, а сколько разъ я говорила тебѣ, Андрюша, чтобы не совалъ денегъ по всѣмъ карманамъ... Что̀, опять потерялъ?

— Никогда я еще ни копейки не терялъ, прихвастнулъ Андрей Николаевичъ, нащупавъ деньги въ другомъ карманѣ и съ торжествомъ вытаскивая ихъ.

— Какъ же, не терялъ? А тогда, помнишь, двадцать два рубля съ чѣмъ-то...

Андрей Николаевичъ прикусилъ языкъ. Дѣйствительно, однажды онъ прозавтракалъ съ пріятелями сказанную сумму и, не желая сознаться женѣ въ растратѣ, солгалъ, будто потерялъ какимъ-то необъяснимымъ случаемъ. Справедливость заставляетъ прибавить, что и сейчасъ отданные супругѣ пятьдесятъ были нарочито припрятаны изъ заработка въ карманъ на завтракъ съ

пріятелями. Тутъ, впрочемъ, Андрей Николаевичъ выказалъ необычайную предусмотрительность: оставь онъ пятьдесятъ рублей въ бумажникѣ и не застань Ивана Ѳеогностовича дома, то, воротясь къ себѣ, конечно, по разсѣянности отдалъ бы бумажникъ со всѣми деньгами Лидіи Антоновнѣ, и тогда на долго бы пришлось проститься со встряской души и тѣла. Притомъ, нахожденіе денегъ въ брючныхъ карманахъ доставило случай лишній разъ укорить Лидію Антоновну иверскими жуликами, а такія шпильки, какъ извѣстно, составляютъ одно изъ самыхъ пріятныхъ развлеченій семейной жизни.

— Ну, такъ я пойду. А ты домой?

— Куда же, какъ не домой. Я всегда домой.

— А Богъ тебя знаетъ. Попадется по дорогѣ пріятель, съ нимъ до поздней ночи въ трактирѣ и прображничаешь.

Андрей Николаевичъ почелъ за лучшее не возражать.

— А если домой, такъ заѣзжай...

И Лидія Антоновна поручила ему сдѣлать кой-какія хозяйственныя закупки.

Андрей Николаевичъ, сѣвъ на извозчика, почувствовалъ какое-то отупѣніе. Неудача съ завтракомъ, неудача преслѣдованія и слѣдствія и особенно извѣстіе, что Иванъ Ѳеогностовичъ бросилъ его ради свиданія съ актрисой, подѣйствовали на него удручающимъ образомъ. Вотъ если бы Иванъ Ѳеогностовичъ оказался просто у Бурзуковыхъ и можно было бы предположить, что онъ влюбился въ длинноносую Лизу, то несомнѣно такое обстоятельство доставило бы немалое удовольствіе Андрею Николаевичу. Но Хотьминская-Горобецъ! Она такая хорошенькая! Самъ Андрей Николаевичъ выразился однажды, что она „сюжетецъ весьма невредный“,

что означало высокую хвалу. Личико Хотьминской такъ и блеснуло у него передъ глазами. Такое бѣленькое и румяненькое, точно у куколки! И какія бровки! И глаза у нея хорошенькіе, кругленькіе, какъ у совушки. Стой, а кто-бишь совоокая? Да, Аѳина-Паллада, Гера— та волоокая. Гм... Аѳина-то умная была, а Хотьминская... Впрочемъ, это деталь, какъ говорилъ поручикъ. Все жь глазки прехорошенькіе, и мило она ихъ щуритъ, и при этомъ показываетъ свои жемчужные, ровненькіе, какъ на подборъ, зубки! Какъ прелестно, съ такимъ именно выраженіемъ она произнесла: „Что-съ?“ въ комедіи... Андрей Николаевичъ забылъ въ какой именно комедіи, да и вспоминать-то не хотѣлъ.

Предположить, что пріятель влюбился въ такую прелесть, было уже непріятно для Андрея Николаевича; но узнать, что онъ, безъ его вѣдома, сблизился съ нею на столько, что она, она сама пригласила его къ себѣ, положимъ, на кофей или на завтракъ, было просто нестерпимо. „Впрочемъ, куда ему; развѣ онъ съумѣетъ кого-нибудь влюбить въ себя!“

И Андрей Николаевичъ рѣшилъ, что пріятель отправился къ Хотьминской-Горобецъ просто по дѣлу,— мало ли по какому! Можетъ быть, одинъ изъ обожателей поднесъ ей недвижимость и надо совершить купчую, или наконецъ просроченный вексель... Актрисы не то что художники, векселей не боятся. Критическій анализъ еще недавно докладывавшій ему, что Иванъ Ѳеогностовичъ человѣкъ точный и осмотрительный и не можетъ забыть, куда и въ которомъ часу ему надо ѣхать по дѣлу, на сей разъ молчалъ. Критическій анализъ бываетъ порой подловатъ, какъ и творческая мечта, впрочемъ.

Сдѣлавъ порученныя закупки и воротясь домой, Андрей Николаевичъ былъ очень радъ, что не попалъ въ трактиръ. То ли дѣло дома! Онъ освѣдомился у дочери, какіе уроки были сегодня въ гимназіи, и сколько изъ чего она получила; затѣмъ прошелъ въ свою комнату и аккуратно провѣрилъ счета закупокъ и деньги, оставивъ на свой пай вмѣсто предположенныхъ пятидесяти всего двадцать пять; затѣмъ прилегъ на диванъ и сталъ мечтать о прелестяхъ тихой семейной жизни. Въ комнату вбѣжалъ маленькій пятилѣтній бутузъ, крестникъ Иванъ Ѳеогностовича, названный въ его честь Ваней.—Папа, можно къ тебѣ?

— Бѣги, бѣги.

Мальчикъ подбѣжалъ.

— Папа, знаешь, что̀ я тебѣ скажу?

— Нѣтъ, не знаю.

— А сказать?

— Скажи.

— Купи мнѣ пѣтуха.

— Зачѣмъ тебѣ пѣтухъ?

— Я его стану кукарекать учить.

— Да онъ лучше твоего умѣетъ.

— Нѣтъ, ты молоденькаго, который еще не умѣетъ; а я его научу.

— Да ты самъ не умѣешь.

— Я-то? съ увѣренностью проговорилъ бутузъ, ужасно напоминая въ эту минуту своего папашу.

— А ну!

Ваня прокукарекалъ, и отлично прокукарекалъ.

— О, да ты артистъ у меня будешь! вскричалъ восхищенный отецъ и, подхвативъ сынишку, посадилъ его къ себѣ на брюхо верхомъ.

— Ну, не хочешь пѣтуха, давай играть.

— Какъ же мы играть станемъ?

— А ты будто собака и спишь на солнцѣ, а я будто мальчикъ. Помнишь, какъ мы съ тобой чудесно играли!

— Давай.

Андрей Николаевичъ закрылъ глаза и къ восхищенію сына даже слегка захрапѣлъ; мальчикъ осторожненько подкрался къ нему и дернулъ за бороду. Отецъ свирѣпо прорычалъ; мальчикъ дернулъ въ другой разъ, отецъ открылъ глаза, гамкнулъ и сдѣлалъ примѣръ, будто хочетъ схватить его. Мальчикъ отбѣжалъ къ противоположной стѣнѣ. Итакъ далѣе. Чѣмъ больше разгоралась игра, тѣмъ громче и сердитѣй становился лай, наконецъ собака вскочила и стала гоняться за мальчикомъ, который визжалъ на пропалую; стулъ былъ опрокинутъ съ грохотомъ, и та же опасность грозила мольберту.

— Да полно вамъ! Какой гамъ подняли, маленькаго разбудили! сказала входя Лидія Антоновна.

Шалуны затихли, почуявъ, что мама не въ духѣ. Дѣйствительно, съ Лидіей Антоновной случилось то, что предсказывалъ Андрей Николаевичъ; жуликъ, какъ она ни остерегалась, вытащилъ-таки у нея у Иверской,—правда немного, всего рубль съ копейками,—сдачу, которую она положила по оплошности въ наружный карманъ пальто.

— Вотъ получай деньги!—сказалъ Андрей Николаевичъ, отдавая женѣ бумажникъ.

Супруги занялись счетами. Лидія Антоновна даже бумажку и карандашъ взяла, но сколько она не считала, все выходило, что денегъ осталось больше.

— Да ты вездѣ платилъ?—освѣдомилась она.

— Вездѣ.

— Гм.

И Лидія Антоновна снова принялась считать, и все съ тѣмъ же результатомъ.

— Да тутъ больше, Андрюша.

— Ахъ! Я и забылъ сказать, что двадцать пять прихватилъ впередъ.

— Да? А я-то мучаюсь: откуда лишнія? Впрочемъ, хорошо сдѣлалъ, что взялъ. Мнѣ нужно еще...

И Лидія Антоновна пустилась въ хозяйственныя соображенія.

Въ тотъ же день, за вечернимъ чаемъ, Андрей Николаевичъ спросилъ жену, не знаетъ ли она, зачѣмъ Подлещиковъ былъ у Хотьминской.

— О, онъ у нея часто бываетъ.

— Часто?

— Да, Лиза мнѣ говорила.

— Чтожь, онъ влюбленъ, что ли? ухаживаетъ за ней?

— Похоже на то. Ну, да она этакая, знаешь... вѣтренная... Деньги любитъ, подарки...

— Чтожь онъ дарилъ ей что-нибудь?

— Не знаю; Лиза ничего не говорила.

— Ну, она, то есть Хотьминская, разумѣется, водитъ его за носъ.

— Отчего ты думаешь?

— Не можетъ же она влюбиться въ Ивана!

— Отчего же нѣтъ? Не знаю, какъ съ мужчинами, а съ дамами онъ такой деликатный, услужливый и притомъ вкрадчивый такой. Нѣтъ, онъ можетъ нравиться. Вотъ Лиза безъ ума отъ него.

— Лиза? Лиза другое дѣло; она—долгоносая!

III.

О преимуществахъ портретной живописи.

> Позвольте мнѣ прекратить на время вашъ споръ; я, можетъ быть, болѣе, нежели всякій другой, имѣю права на этотъ портретъ.
>
> *Гоголь.*

Андрей Николаевичъ нѣсколько дней кряду безпокоился на счетъ отношеній Хотьминской-Горобецъ къ Ивану Ѳеогностовичу. Онъ пускался въ самыя разнообразныя предположенія и соображенія. Онъ уже не отвергалъ съ прежнею настойчивостью возможности любви, по крайней мѣрѣ со стороны пріятеля, и горько сожалѣлъ о его участи, опасаясь, что Хотьминская разоритъ его въ конецъ.

Положимъ, Подлещиковъ человѣкъ достаточный; онъ нанимаетъ у штабсъ-капитана цѣлое меблированное отдѣленіе съ особымъ ходомъ и даже съ ни на что не нужной кухней; у него, вдобавокъ, всегда можно перехватить взаймы. Но вѣдь Андрею Николаевичу требовалось рублей пятьдесятъ, сто, и ужь никакъ не болѣе двухъ или трехъ сотъ,—данныя слишкомъ слабыя, чтобы судить о доходахъ Ивана Ѳеогностовича. Правда, Андрей Николаевичъ слышалъ, что нотаріусы получаютъ и по двадцати, и даже по сорока тысячъ въ годъ; но сколько именно получалъ Подлещиковъ, онъ не зналъ, и освѣдомиться объ этомъ у пріятеля, не будь даже тотъ такъ щепетиленъ относительно всякихъ вопросовъ, почелъ бы дѣломъ неделикатнымъ.

Быть можетъ, иной черезъ-чуръ проницательный читатель, вспомнивъ о погонѣ Безпалова за Подлещико-

ковымъ, найдетъ, что авторъ впалъ въ противорѣчіе, приписывая Андрею Николаевичу такую деликатность. Тогда Андрей Николаевичъ дѣйствовалъ подъ вліяніемъ страсти; причемъ вообще его любопытство касалось единственно душевныхъ и сердечныхъ обстоятельствъ, никогда не переходя въ навязчивую разспросливость о житейскихъ мелочахъ. Онъ не обладалъ тою, по преимуществу семинаристскою любознательностью, которая суетъ носъ въ самыя мелочныя дѣла знакомыхъ, считая святою обязанностью знать, сколько и откуда именно вы получаете въ годъ, и дорого ли платите за квартиру, и съ кѣмъ крестили у Осьминскихъ, и гдѣ служитъ и много ли получаетъ мужъ вашей кумы, и много ли народу было на крестинахъ и во сколько, примѣрно, обошлось угощенье хозяевамъ, и сколько вы дали попу, и въ какихъ сапогахъ стояли у купели, въ тѣхъ ли, которые купили за десять рублей въ Гостинномъ, или въ тѣхъ, за которые чуть не двадцать слупилъ съ васъ новомодный сапожникъ. Андрей Николаевичъ былъ настоящій художникъ, и для него человѣкъ былъ въ душѣ, а не въ карманѣ.

Итакъ, съ одной стороны Безпаловъ не зналъ доходовъ своего друга, а съ другой, въ виду ограниченности собственнаго бюджета, имѣлъ о большихъ суммахъ понятія самыя миѳологическія. Но ужъ извѣстно, что ухаживанье за самою скромною актрисой всегда, какъ говорится, станетъ въ копеечку, то-есть потребуетъ прорвы денегъ. Какъ, однако, ни мучило Андрея Николаевича любопытство относительно сердечныхъ обстоятельствъ Ивана Ѳеогностовича, онъ ничего не предпринималъ для обслѣдованія дѣла, надѣясь на признаніе самого пріятеля, когда тому станетъ не въ мо-

готу отъ любви, или на благодѣтельный случай, который и не замедлилъ представиться.

Какъ-то утромъ Андрей Николаевичъ прилежно работалъ передъ мольбертомъ.

— Что это, Андрюша, какъ ты накурилъ!—сказала, входя, Лидія Антоновна.

— Заработался и не замѣтилъ.

— Вѣдь это даже вредно столько курить!

— Очень вредно. Особенно для глазъ.

— Вотъ видишь!..

— Думаю вовсе бросить. Гораздо лучше нюхать.

— Ну, этой гадости я тебѣ никогда не позволю.

— Чѣмъ же гадость?

— Ахъ, замолчи, пожалуйста. Еще объясняй ему чѣмъ! И подумать-то даже отвратительно. И что за неопрятность!

— Можно завести цвѣтные фуляровые платки, и ничего не будетъ видно. Или, ради экономіи, такіе, знаешь, клѣтчатые, да пестрые, какіе отставные фельдфебеля употребляютъ...

— Ты, кажется, меня хочешь сегодня вывести изъ терпѣнія.

Андрей Николаевичъ продолжалъ отстаивать пользу нюханья табаку. Въ подобныхъ обстоятельствахъ супруги Безпаловы напоминали Аѳанасія Ивановича и Пульхерію Ивановну.

— Да, вотъ, мой дѣдъ, продолжалъ свои доказательства Андрей Николаевичъ.

— Ахъ, мало ли, что было сто лѣтъ назадъ!..

— Гдѣ же сто лѣтъ, когда я отлично его помню, а мнѣ всего четвертый десятокъ.

— Вотъ у тебя еще скверная привычка: прибавлять себѣ года.

— Гдѣ жь я прибавляю? Мнѣ тридцать шесть стукнуло.

— Такъ и говори, что тридцать шесть. А то четвертый десятокъ. Можно подумать, что тебѣ ужь за сорокъ.

— Какъ за сорокъ-то минетъ, такъ пятый ужь пойдетъ.

— Ну, хорошо! Ты ужасный спорщикъ, и только бы поставить на своемъ... Что ты рисуешь?

— Не рисую я, а пишу. Рисуютъ карандашомъ, или мѣломъ, или...

— Ну, вотъ опять! Только бы поспорить. Что жь ты дѣлаешь? спросила Лидія Антоновна, никакъ не желая употребить принятый у художниковъ терминъ.

— По обычаю, богомазничаю.

— Гм... пренебрежительно фыркнула Лидія Антоновна.

— Ахъ, голубушка, сколько ни фыркай, а безъ боговъ плохо бы пришлось. Они, дай имъ Богъ здоровья, насъ кормятъ...

— Знаю я...

— И я знаю: ты опять насчетъ портретовъ.

— И всегда буду. Ужь извини, а портреты гораздо выгоднѣе твоихъ боговъ... Вотъ у Набойкина гораздо меньше твоего таланта, а сколько получаетъ!..

Андрей Николаевичъ еще съ Академіи питалъ нѣкоторое предубѣжденіе насчетъ портретной живописи. Не малую роль въ этомъ играла и повѣсть Гоголя.

— Эхъ, матушка, рисовалъ бы и я портреты... Вѣдь я не то, чтобъ вовсе противъ нихъ: видѣлъ я

тоже, слава Богу, портреты старинныхъ мастеровъ... Да тогда вѣдь люди были, было съ чего рисовать. Хоть и харя да типическая, а энергіи, силы, страсти хоть прудъ пруди. Такого-то и написать лестно. А нынче народъ пошелъ какой-то плоскорылый да плоскодушный: что ты въ немъ схватишь? Развѣ уродство какое-нибудь? Не спорю и теперь попадаются, особенно въ купечествѣ посѣрѣй, рожества претипичныя, да такихъ-то портретовъ не заказываютъ. А закащики!

— Рисовалъ же ты мальчишку-трубачиста...

— Что жь, развѣ мой трубачистъ дуренъ? задѣтый за живое, прервалъ Андрей Николаевичъ.

— Что говорить, даже очень хорошъ...

— Еще бы не хорошъ! Самъ докторъ похвалилъ, сказалъ Андрей Николаевичъ, употребляя слово „докторъ“ въ какомъ-то условномъ, понятномъ и ему, и женѣ, смыслѣ.

— Да я не къ тому. А, по моему, это тотъ же портретъ.

— Нѣтъ, не портретъ, а если хочешь этюдъ, а вѣрнѣй картинка. Мой трубочистъ, по своему дѣлу, чтобы сажу въ заслонкѣ вычистить, зашелъ въ хорому, какой съ роду не видалъ. Онъ даже присѣлъ отъ удивленія, забывъ, что испачкаетъ дорогое кресло. И на все дивуется: и на убранство, и на свою черномазую рожицу въ великолѣпномъ трюмо. Правда, въ патуру я взялъ того мальченка, который тутъ-вотъ возился въ трубѣ. Да я могъ имъ распорядиться по-своему и выраженіе ему придать, какое *я* хочу. А закащики!.. Знаю я ихъ! Придетъ къ тебѣ баринъ, лицо у него одутловатое, сѣрое, все въ точкахъ вдобавокъ, точно мухи на немъ ночевали, глаза бѣлѣсоватые, самъ весь

сейчасъ, гляди, расплывется, какъ скверный студень какой,—а ты его пиши, а онъ съ тебя еще колориту на чай станетъ просить: вычиталъ, бестія, умное словцо въ газетахъ!.. Другой—гладенькій такой, вылощенный, мяконькій, а вглядись хорошенько: мягокъ онъ только для самого себя, семью—по суровымъ глазамъ видно—въ ежовыхъ рукавицахъ держитъ; рубля, кремень, изъ горсти не выпуститъ, на себя тысячъ не жаль и прохвосту, который къ нему подластиться сумѣетъ, кучищу отвалитъ, а доброму человѣку, особенно на хорошее дѣло, копейки сущей не дастъ... А попробуй, придай ему его же выраженіе, онъ на тебя въ обиду вломится, на пятьдесятъ рублей обочтетъ да еще, чего добраго, къ мировому потащитъ, въ газеты пожалуется! Нѣтъ ты его пиши такимъ, какъ онъ дуракамъ кажетъ, или такимъ же, какъ самъ, скотамъ: почтеннымъ Иванъ Ивановичемъ! Третій—юлой влетитъ, живчикъ такой, вертлявѣй ртути; ты на него глядишь, а у него отъ твоего взгляда лицо передергиваетъ, всякая въ немъ черточка трепака выплясываетъ; и робость въ лицѣ видна: боится, что замѣтишь что-нибудь недоброе. А глаза, что твои мышата въ западнѣ. Какъ ты его напишешь; его развѣ мимикой изобразить можно! А вѣдь онъ про себя свое глазо и лицеморганіе живостью и энергіей зоветъ. И того не довольно. Прежда все на Марса или Юпитера хотѣли походить, а теперь ты его одноглазымъ Гамбетой, или какимъ-нибудь чортовымъ Ауершпергомъ валяй; ну, а купецъ образованный попадается, изъ такихъ, что модныя книжки для стоянья въ шкафахъ покупаетъ, такъ тотъ меньше, какъ на Дарвинѣ, или Боклѣ не помирится! А гдѣ ты у него Бокля или Гамбету, или хоть бы этого плохенькаго

Ауершперга подгладишь? Скотъ, какъ есть скотъ. Или свинья откормленная, или быкъ черкасскій, или мышь травленная. И критика за заказщика: молъ художникъ только животненную сторону сумѣлъ подгладѣть; точно художникъ виноватъ, что люди образъ Божій утратили.

Супруги помолчали.

— Я вѣдь чего, Андрюша, боюсь, заговорила Лидія Антоновна,—что на образахъ ты разучишься. Все одно да одно...

— Богъ дастъ, не разучусь, сурово отвѣчалъ художникъ.

— Ты ужь давно ничего настоящаго не рисовалъ. Ну, не хочешь портретовъ, такъ собрался бы съ силами да опять что-нибудь въ родѣ *Чиновниковъ* написалъ!..

— Ишь, чего захотѣла! Въ другой разъ, пожалуй, и не напишется.

Чиновники составили славу Андрею Николаевичу. Было изображено, какъ канцелярскіе, попавъ, очевидно случайно, на выставку, нежданно наткнулись на портретъ своего начальника во всѣхъ орденахъ и въ полный ростъ. Одинъ точно окаменѣлъ отъ изумленія, и не знаетъ идти ли ему впередъ, поклониться, или дать тягу. Двое другихъ, посмѣлѣе, уже оправились, лукаво между собою переглядываются и какъ бы говорятъ: „Ишь, нашъ-то, нашъ! Каковъ, а? собака его ѣшь"! Четвертый, посолиднѣй и постарше, созерцаетъ изображеніе начальника съ благоговѣніемъ и страхомъ, но поспокойнѣе, чѣмъ смотрѣлъ бы на живого, ибо не предвидится опасности, чтобы начальство съ нимъ заговорило. Пятый, пофрантоватѣе и почище одѣтый, смотритъ однимъ глазкомъ на начальство, а другимъ на своихъ

товарищей, какъ бы желая сказать: „Хамы вы, хамы! а вотъ, мнѣ, такъ ни почемъ“!

— Отчего жь не напишется?

— Вопервыхъ, что въ другой разъ мнѣ не прославиться, потому что такая неожиданность случается съ человѣкомъ всего разъ въ жизни. А вовторыхъ, что я ни пиши, все меня *Чиновниками* будуть корить. Чѣмъ хоть бы тотъ же *Трубочистъ* хуже ихъ? Во многихъ отношеніяхъ даже лучше. А что̀ говорили? Одинъ написалъ, что г. Безпаловъ истратилъ весь свой талантъ на *Чиновниковъ* и *Трубочистъ* не прибавитъ новаго листка къ его лаврамъ, иными словами: удалось молъ скакуну прыгнуть! Другой... Э, да что̀!

И Андрей Николаевичъ махнулъ рукой.

— Я и не думала, Андрюша, что это такъ на тебя дѣйствуетъ.

— И вовсе не дѣйствуетъ. Правду докторъ говоритъ, что рецензенты затѣмъ и существуютъ, чтобы возбуждать въ художникахъ пущее отвращеніе къ пошлости и тупости. А все-таки досадно: невѣжи и дураки пишутъ, невѣжъ и дураковъ только и печатаютъ, невѣжъ и дураковъ и читаютъ. А кто не вретъ, какъ всѣ, кто своимъ умомъ живетъ, тотъ въ отсталыхъ нынче. И выходитъ, что мы не въ Европѣ, а въ мурьѣ живемъ, и художество намъ не къ лицу. Да чортъ съ ними!.. А втретьихъ, Лидочка, потому что и втретьихъ есть...

— Что̀ такое?

— А то, что у самого прежней смѣлости нѣтъ. Прежде писалось какъ-то съ маху, безъ дальней думы, а теперь... Какъ бы уяснить тебѣ?.. Да вотъ дѣти очень маленькія часто ничего не боятся, а какъ станутъ подростать да головенкой работать, и страхъ у нихъ проявится.

Лидія Антоновна припомнила, что и ихъ Лидочка маленькая смѣло къ любой кошкѣ и собакѣ подходила, и даже за хвостъ ихъ дергала, а потомъ опасливѣй стала, а собакъ такъ даже бояться начала.

— Ну, вотъ видишь! И женщинамъ, чѣмъ дальше, труднѣе рожать, а казалось бы привыкнуть надо...

— Ну, ты ужь не можешь, чтобы не сказать чего-нибудь *такого*...

— Ничего *такого* я и не говорю. Сравненіе даже очень удачное. И у насъ замыслы зарождаются, и вынашиваемъ мы ихъ, и роды у насъ бываютъ удачные, или преждевременные выкидыши, легкіе или трудные...

— Ну, занесся! А что сказать хотѣлъ, забылъ.

— Ничуть не забылъ. Такъ, въ-третьихъ то, видишь, съ лѣтами робче и осмотрительнѣй становишься. „Маху“-то не довѣряешь; сперва хорошенько обдумаешь, анализу подвергнешь...

— Ну, сердись, Андрюша, не сердись, а я прямо скажу, съ жаромъ заговорила Лидія Антоновна,—а, по моему, какъ твой докторъ въ Москву перебрался, да ты пуще прежняго сдружился съ нимъ, да разныхъ ученыхъ словъ отъ него наслушался, такъ и мудрить надъ собой сталъ...

— Эхъ, матушка, вывезла! Да старинные-то мастера ученые были, и не въ томъ смыслѣ, какъ наши профессора, а настоящей учености люди, а таланта они отъ того не теряли, а онъ еще крѣпнулъ у нихъ отъ мысли... Не бойся, Лидочка, у меня въ головѣ не заглохло еще, много тамъ кой-чего накопилось. Написать-то мы напишемъ, а угодимъ ли въ данную минуту ученой и неученой толпѣ, не важно есть. За Богомъ молитва, а за потомствомъ художество не пропадаетъ.

И Андрей Николаевичъ съ какимъ-то остервенѣніемъ принялся мазать боговъ. Въ головѣ у него бурлило, всплывали задуманныя картины, яснѣли и одѣвались красками. „А важно, ей-Богу, важно выйдетъ!“ приговаривалъ онъ про себя, соображая подробности той или другой будущей картины, мысленно ихъ передѣлывая и чувствуя удачливость передѣлокъ. И это подбадриваніе самого себя, это сознаніе своихъ силъ, постепенно какъ бы выдѣлялось изъ него, окутывало его со всѣхъ сторонъ и разросталось въ гулъ грядущей славы. Андрей Николаевичъ встряхивалъ при этомъ головой и дѣлалъ такой мазокъ на славу, что самъ любовался.

Онъ продолжалъ работать и мечтать. Въ самомъ дѣлѣ, почему бы и не писать портретовъ; можетъ ему и повезетъ, станетъ и онъ брать тысячи, накопитъ деньжонокъ, да и махнетъ за границу. Тамъ побродитъ опять по галлереямъ, но не такъ, какъ въ былое время, ужь не начинающимъ и легкомысленно самонадѣяннымъ пансіонеромъ Академіи, а какъ художникъ, испытавшій свои силы; тамъ наберется у великихъ мастеровъ геройскаго духа, встряхнется душой, на иной ужь манеръ, чѣмъ въ московскомъ трактирѣ. Да послѣ такой поѣздки онъ, чего добраго, сможетъ взяться за исполненіе своей завѣтной мечты, за созданіе русскаго историческаго жанра. Что теперь пишутъ въ этомъ родѣ? Правда, чистенько, гладенько, опрятно, и красочки даже порой есть, да жизни-то чортъ-ма, какъ говорятъ Хохлы. Не живые люди на картинѣ, а актеры, не умѣющіе носить костюма, или ряженые мастеровые. А чуть кто костюмчикъ повѣрнѣй нарисуетъ, такъ ужь геніемъ себя мнитъ. Нѣтъ, ты такъ пиши, чтобы каж-

дая черточка стариной дышала, чтобъ она у зрителя душу будила, богатырскимъ духомъ на нее вѣяла! А то не картины пишутъ, а такъ, курьезные историческіе анекдотцы малюютъ да и то по примѣру историческихъ писакъ.

— А что, Лидочка,—заговорилъ вдругъ Андрей Николаевичъ,—вѣдь ты и права, пожалуй. И къ портрету принаровиться можно; съ той же стороны къ нему, напримѣръ, подъѣхать, какъ я къ своему *Трубочисту*.

— Только ты, пожалуста, Андрюша... я вѣдь такъ только... робко заговорила Лидія Антоновна.

— Чего только?

— Ну, вотъ, что ты подумаешь, будто я ради денегъ...

— И-и! матушка.

— Нѣтъ, ты, пожалуста; если ты находишь, что это повредитъ тебѣ... Такъ что жь, прожили, слава Богу, безъ портретовъ сколько лѣтъ и впредь, дастъ Богъ, проживемъ...

— Полно тебѣ, Лидочка! съ любовнымъ добродушіемъ сказалъ Безпаловъ.—Замѣчу, что вредитъ, и самъ брошу.

— Ну, вотъ теперь, слава Богу, я буду вполнѣ спокойна, радостно проговорила Лидія Антоновна, и у нея даже глаза загорѣлись.

— А только... Видишь, Лидочка, и у меня свое „только“ есть... Только надо для перваго портрета, чтобы личность была извѣстная... Понимаешь, сходство будутъ находить, спорить, и прочая. Да и физіономія, чтобы сколько-нибудь подходящая была... Ужь ты постарайся!

По лицу было видно, что Лидія Антоновна тотчасъ

же что-то сообразила, но она остереглась высказать свое соображеніе: у нея была примѣта, что какъ выскажешь задуманное, такъ оно и не исполнится.

Дня черезъ три Лидія Антоновна спросила Андрея Николаевича, что онъ думаетъ насчетъ женскаго портрета.

— Ты, помнится, говорилъ, сказала она,—что у насъ женскихъ портретовъ писать не умѣютъ. Вотъ бы попробовалъ!

— Что жь, можно и женскій; точно, что мало ихъ, хорошихъ-то, механически отвѣчалъ Андрей Николаевичъ, думая совсѣмъ о другомъ и не обративъ вниманія на слова жены. Прошла еще недѣля.

— Ну, Андрюша, дѣло слажено, нежданно, воротясь откуда-то румяная отъ холода,—весело сказала Лидія Антоновна.—И какую же натуру я тебѣ достала!

— Ну?—недовѣрчиво отвѣтилъ супругъ.

— Да, да, желая немного помучить мужа, продолжала Лидія Антоновна,—ужь будешь благодаренъ. Прелесть, что за женщина! Ты самъ ею восхищался. Да и всѣмъ она нравится...

— Съ кого же?

— А вотъ, отгадай... Впрочемъ, не стану тебя мучить: съ Хотьминской! Завтра же и отправляйся.

— Какъ завтра?

— Да, такъ, что у нея день свободный: репетицій нѣтъ.

Андрей Николаевичъ даже опѣшилъ. И самъ хорошенько не зналъ съ чего опѣшилъ: съ того ли, что съ хорошенькой придется писать, или оттого, что нежданно для него открывалась возможность проникнуть въ тайну скрытнаго друга.

— Я тогда же на нее подумала, только говорить не хотѣла. А ты не забудь Лизу поблагодарить: она все, спасибо, устроила.

— Ну, Лидочка, спасибо: вотъ такъ удружила!— сказалъ Андрей Николаевичъ и даже ручку у жены поцѣловалъ.

Теперь онъ радовался уже какъ художникъ: передъ нимъ ужь мелькнуло личико Хотьминской, и онъ предчувствовалъ, что изъ него можно сдѣлать.

— Только не забудь, Андрюша, зови ее Фанни, а то она терпѣть не можетъ, если ее Ѳедосьей зовутъ.

— Фанни-то Фанни, а по батюшки, какъ?

— Юрьевна.

— Ладно. Не собьемся.

III.

Салонъ въ Каретномъ ряду.

Если маменька позволитъ,
На театръ опредѣлюсь.
Дѣтская Книжка.

Тѣмъ временемъ долго застоявшаяся хмурая осень смѣнилась ясною зимой. Андрей Николаевичъ весьма этому радовался. Хоть и не долги зимніе рабочіе часы, а все-таки хоть разглядѣть можно. Только вотъ, какъ окна? Окна оказались самыя благопріятныя: они были высоки и выходили на самую любезную художникамъ страну свѣта, на сѣверо-востокъ.

Андрей Николаевичъ установилъ мольбертъ, завѣсилъ окна, приготовилъ палитру, словомъ, хоть садись, да пиши, а Фанни Юрьевна все не выходила. Безпаловъ слышалъ за дверью шуршанье платьевъ, какіе-то

торопливые и ворчливые переговоры, раза два дверь какъ будто пыталась отвориться, но что-то все мѣшало.

„Эхъ, мѣшкаетъ барыня, досадливо думалъ Андрей Николаевичъ,—и такъ свѣтъ не долго, а тутъ чего добраго, тучки еще набѣгутъ!“

Наконецъ дверь отворилась, Фанни Юрьевна вышла въ простенькомъ, но очень миленькомъ платьицѣ. Они поздоровались и вспомнили, что уже встрѣчались. Фанни Юрьевна сказала, что ей очень лестно, что такой извѣстный художникъ, вздумавъ попробовать свои силы въ портретѣ, выбралъ для оригинала именно ее. Андрей Николаевичъ въ долгу не остался и въ свою очередь отпустилъ полновѣсный комплиментъ.

— А это ничего, если я потомъ попрошу васъ перемѣнить платье на портретѣ? Это мнѣ не нравится.

Андрей Николаевичъ отвѣчалъ, что ничего.

— Платье и безъ васъ какое угодно накинемъ, добавилъ онъ.—Только вы ужь будьте милостивы, одолжите мнѣ тогда платьице на денекъ, другой. А то эти рюши-трюши, въ нихъ, того гляди, безъ натуры запутаешься.

Рюши-трюши очень понравились Фанни Юрьевнѣ.

— Ахъ, какой вы милый! — воскликнула она и слѣдомъ подумала: „потому и милый, что смѣшной“.

Андрей Николаевичъ весело принялся за работу. Онъ шутилъ, вспоминалъ роли, въ которыхъ видѣлъ Фанни Юрьевну; при этомъ ему удалось вызвать на ея лицѣ и то выраженіе, которое ему особенно въ ней нравилось.

„Вотъ бы такой и написать ее, подумалъ онъ было, но слѣдомъ передумалъ.—Нѣтъ, не годится, разсуждалъ онъ, — мордочка, правда, выходитъ премиленькая, а

только если ее на полотнѣ задержать, гримасой покажется. Она тѣмъ и мила, что мимолетна. Какъ бы такъ ухитриться, чтобы полотно и напоминало ее, да и гримасы не было-бъ?"

Работа шла скоро, хотя не безъ перебивовъ. То Фанни Юрьевну вызывали въ другую комнату, докладывая, что ее режиссеръ спрашиваетъ, или модистка пришла; то Фанни Юрьевнѣ на серебряномъ подносѣ записочку подавали и она, извиняясь, читала ее, прищуривъ глазки; то ей новую роль приносили, и она, перелиставъ тетрадку, съ презрѣньемъ отбрасывала ее въ сторону. Впрочемъ, эти перерывы не особенно мѣшали; Безпаловъ опасался одного, чтобы, по случаю свободнаго утра, къ Фанни Юрьевнѣ не нагрянули поклонники.

„Набѣгутъ, накурятъ, затормошатъ совсѣмъ мою барыньку, думалъ онъ.—Э, да что жь я?.. Я вѣдь до сихъ поръ не рѣшилъ, какъ ее нарисую. Ну, хорошенькая она. Что жь, мало ли хорошенькихъ!.. Ну, куколка фарфоровая... Гм... и этого мало... Куколка-то, куколка... А развѣ вотъ этакъ: хороша молъ куколка, не дурно бы и мнѣ такую завести!.. Именно, чтобы всякій, какъ взглянетъ на портретъ, это самое и подумалъ... Такъ ее и намалюемъ".

И вотъ онъ уже видѣлъ, какое именно выраженіе придастъ ей. Не то, что ему нравится, а близкое, которое всѣмъ, кто ее знаетъ, напомнитъ о томъ, мимолетномъ. Всѣмъ такъ и покажется, что она сейчасъ-вотъ по-своему глазки прищуритъ, а зубки ужь жемчужною ниточкой блестятъ.

— Да, да, именно это движеніе схватить; задержанное движеніе изобразить. А?.. Какъ у Микель

Анджело въ статуяхъ. А ловко бы было, каналь-ство!..

Предвѣстницей скораго сборища явилась Лиза. Она, впрочемъ, вошла тихо, скромно спросила, не помѣшаетъ ли, и усѣлась въ сторонѣ съ работой. Лиза, на свой страхъ, единственно изъ дружбы къ Лидіи Антоновнѣ, какъ ей думалось, рѣшилась взять на себя роль ангела-хранителя, чтобы не допустить художника впасть въ коварныя сѣти театральной Цирцеи; Андрей же Николаевичъ полагалъ, будто она пришла пораньше ради того, чтобы потомъ не было замѣтно, что она явилась для Ивана Ѳеогностовича. Немного погодя раздался первый звонокъ. Безпалова слегка покоробило. Явилась женщина неопредѣленныхъ лѣтъ и такого же вида; она нѣжно облобызалась съ хозяйкой, назвавъ ее Фаничкой, и немедленно принялась восхищаться ея простенькимъ платьицемъ, котораго, по ея словамъ, она еще не видала. По тону, какъ она лебезила передъ Хотьминской, видно было, что онѣ служатъ въ одной труппѣ и гостья состоитъ у хозяйки въ прихвостняхъ. Восхищаясь и болтая, она вертѣлась передъ Фанни Юрьевной, все порываясь еще разикъ поцѣловать ее, и весьма мѣшала Андрею Николаевичу, такъ что тотъ, чтобъ угомонить вертлявую гостью, былъ вынужденъ попросить Фанни Юрьевну подержать еще минуточку голову извѣстнымъ образомъ.

— Да, Шурочка, не мѣшай намъ, замѣтила въ свою очередь Хотьминская.

Шурочка тотчасъ же повиновалась; она присѣла къ Лизѣ, о чемъ-то съ ней пошепталась, затѣмъ подняла упавшую на полъ роль и стала прилежно читать ее, изрядно притомъ гримасничая. Шурочка видя, что

роль валяется, вообразила, что Хотьминской она не нравится, а стало-быть, по вѣроятности, достанется ей, какъ дублеркѣ, а потому и выкидывала артикулы лицомъ, мечтая, какъ поразить зрителей своей изумительно развитою мимикой,—выраженіе, которое она уже заранѣе читала въ будущемъ отчетѣ о ея игрѣ.

Безпаловъ выгадалъ, такимъ образомъ, еще съ полчаса и когда затѣмъ раздался довольно сильный звонокъ, то онъ уже не растревожился.

— Теперь ничего, хоть оравой вваливайтесь, сказалъ онъ про себя.—Теперь не помѣшаете; чтобы съ натурой справиться на минутку, другую васъ и укротить можно. А вся-то она теперь у меня вотъ гдѣ сидитъ.

И художникъ потыкалъ твердымъ концомъ кисти себѣ въ лобъ. Явился графъ Ворворищевъ, молодой, лѣтъ пятидесяти, человѣкъ, съ помятымъ и подправленнымъ лицомъ, съ усталыми и припухлыми вѣками и вооруженнымъ моноклемъ правымъ глазомъ. Онъ былъ одѣтъ по послѣдней модѣ и довольно смѣло держался на дрябловатыхъ ножкахъ. Послѣдовало общее представленіе. Графъ разслабленнымъ голосомъ отпустилъ нѣсколько любезностей, причемъ казалось будто слова помимо воли сыплятся ему откуда-то на языкъ; затѣмъ, вставивъ монокль, протянулъ свое любимое словцо enfin, какъ въ передней задребежжалъ звонокъ.

Вошла красивая, высокая и полная блондинка въ причудливой мантильи, которую безпрерывно передергивала на плечахъ.

— Здравствуй, Ѳеничка, сказала она, цѣлуя подругу и съ удовольствіемъ замѣчая, что у той отъ Ѳенички передернуло губы.—Bonjour, monsieur Безпаловъ,

кивнула она художнику.—Ну, ну, не бойтесь, я не стану мѣшать вамъ: послѣ поздороваемся. А, графъ! и вы здѣсь, какъ бы удивленно сказала она, лукаво скашивая на него глаза и затѣмъ быстро и съ усмѣшкой переводя ихъ на Ѳеничку.

У Фанни Юрьевны морщинка скользнула между бровями: ей показалось подозрительнымъ, что подруга и графъ явились такъ скоро другъ послѣ друга: ужь не сговорились ли?

— А васъ, графъ, продолжала блондинка, подавая ему руку,—я не ожидала здѣсь встрѣтить. Кажется, вы обѣщали сегодня пить у меня кофе.

— Но я былъ такъ несчастливъ, что уже не засталъ васъ дома.

— А чуточку подождать было нельзя? прищуривъ глазки и глядя чуть-чуть изъ-подлобья, спросила блондинка.

— Mais madame... mais enfin я довольно опытенъ, чтобы знать, что когда хорошенькая женщина скажетъ вамъ, что будетъ непремѣнно въ такомъ-то часу у себя, то ее навѣрно не окажется дома.

— Гляди-ка-сь, какъ ловко вывернулся! мѣщанскимъ говоромъ сказала блондинка и звонко чмокнула Шурочку.

Всѣ усѣлись; послѣдовало небольшое молчаніе.

— Какъ вчера отлично принимали Фанни Юрьевну! внезапно воскликнула Шурочка.—А вы, графъ, вчера не были въ клубѣ?

— Pardon madame, я былъ.

— А я васъ искала, и не видѣла, отозвалась Фанни Юрьевна.

— Видите ли, совралъ графъ,—я немного опоздалъ.

И этотъ несносный обычай стоять въ проходѣ! Я вынужденъ нашелся сѣсть въ заднихъ рядахъ.

— Дѣйствительно, въ первомъ ряду одно кресло весь снектакль пустое простояло, подхватила Шурочка.

Она какъ-то верхнимъ чутьемъ поняла, что слѣдуетъ выручить графа: въ нѣкоторое молъ время онъ еще мнѣ пригодится.

— А какъ вамъ понравился мой первый костюмъ?

— Первый костюмъ? и графъ поднялъ глаза къ потолку, какъ бы припоминая.

— Амазонка? Прелесть! сказалъ Безпаловъ.

— О, да, да! Вы были просто .. dèliciuse.

— А вы развѣ были? спросила Фанни Юрьевна, съ признательностью останавливая взглядъ на художникѣ.

— Всенепремѣнно.

Андрей Николаевичъ не солгалъ; вчера, какъ только жена сообщила ему насчетъ портрета, онъ поспѣшилъ въ клубъ въ надеждѣ не удастся ли подмѣтить кое-какія черты.

— А, вообразите, авторъ остался не доволенъ, обратилась Хотьминская къ графу.

— Но... почему жь?

— Онъ увѣряетъ, что дѣйствіе происходитъ въ деревнѣ, рано утромъ, что я играю женщину небогатую, которой не до амазонокъ.

— Да? не понимая въ чемъ дѣло, воскликнулъ графъ.

— Я ему говорила, что кататься можно и рано утромъ, и что это даже очень здорово, особенно въ деревнѣ, и что амазонка не Богъ-знаетъ чего стоитъ.

— Да, столкуй съ ними! съ негодованіемъ замѣтила Шурочка и даже отвернулась.

— Sont-ils bêtes, ces auteurs! воскликнулъ графъ.

— Истинная правда, ваше сіятельство, подхватила Шурочка, подлетая къ графу,—они должны бы Бога благодарить, что ихъ дребедень ставятъ, особенно когда такія артистки, какъ...

Но тутъ Шурочка уловила взглядъ Хотьминской и понявъ, что, какъ говорится, переборщила, умолкла.

— Но, позвольте, позвольте! заговорилъ графъ, вскакивая съ мѣста.—Ему точно передалось прерванное негодованіе Шурочки. Онъ вышелъ на середину комнаты и, слегка раздвинувъ ноги, помѣстился противъ Хотьминской.—Но, позвольте... если костюмъ вамъ къ лицу, то auteur... mais enfin il vous doit savoir grè! Это украшаетъ его піесу. Cela donne de l'attractiоn...

— Графъ, вы застите, крикнула ему блондинка.

Графъ не понялъ, немного растерялся и съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на нее.

— Вы мѣшаете monsieur Безпалову. Пожалуйте-ка лучше сюда...

И она пересѣла подальше отъ Хотьминской. Графъ не зналъ что ему дѣлать: все, что онъ хотѣлъ высказать,—а высказать онъ хотѣлъ, какъ ему помнилось, нѣчто весьма остроумное—какъ-то нечаянно выскочило у него изъ головы; оно, впрочемъ, столь же нечаянно и влетѣло ему въ голову.

— Да, да, глубокомысленно проговорилъ онъ и потомъ, спохватясь, добавилъ, обращаясь къ Безпалову:—извините, пожалуста, я, кажется, въ самомъ дѣлѣ...

— Да, я попросилъ бы васъ самую крошечку вправо...

— Сейчасъ, сейчасъ... И графъ, стараясь при-

помнить улетѣвшую мысль, завертѣлся во всѣ стороны. Наконецъ ему показалось, что онъ изловилъ ее.—Mais enfin, торжественно возгласилъ онъ и намѣревался опуститься въ кресло подлѣ Фанни Юрьевны, какъ вдругъ раздался звонокъ.

Явился Подлещиковъ; Безпаловъ, не желая чтобъ на его работу было обращено вниманіе раньше, чѣмъ слѣдуетъ, всталъ ему навстрѣчу; хозяйка, блондинка и Шурочка послѣдовали его примѣру. Начались взаимныя привѣтствія, причемъ оказалось, что блондинку зовутъ Глафирой Александровной, а Шурочку Александрой Петровной. Затѣмъ хозяйка, предварительно не безъ удивленія, замѣтивъ: „а вы развѣ не знакомы?“ представила нотаріуса графу. Подавая руку Ивану Ѳеогностовичу, Ворворищевъ нѣсколько подозрительно осмотрѣлъ его и затѣмъ подивился его нахальству, когда тотъ сѣлъ въ то самое кресло, куда за минуту думалъ опуститься самъ графъ, въ надеждѣ блеснуть своимъ остроуміемъ.

— Волей-неволей, а придется вамъ побесѣдовать со мной, сказала Глафира Александровна графу.— Пожалуйте-ка сюда; мнѣ надо еще васъ поисповѣдовать.

И подхвативъ Ворворищева подъ руку, она усадила его подлѣ себя.

— Кто это? тихо спросилъ онъ.

— Подлещиковъ, нотаріусъ, одинъ изъ Ѳеничкиныхъ поклонниковъ... А? что? не нравится?

Графъ съ изумленіемъ осмотрѣлся вокругъ; онъ, конечно, зналъ кое-что о дѣятельности отечественныхъ нотаріусовъ, особенно по вексельной части, но ему почему-то вспомнились нотаріусы французскіе, знакомые ему по театру. Быть можетъ, именно потому, что Под-

лещиковъ не походилъ ни на смѣшныхъ водевильныхъ нотаріусовъ, ни на чрезмѣрно дѣловитыхъ и застегнутыхъ на всѣ пуговицы нотаріусовъ высокой комедіи, графъ и былъ несказанно удивленъ, какимъ образомъ онъ очутился въ одномъ обществѣ съ подобнымъ лицомъ, вдобавокъ не обратившимъ никакого вниманія на его титулъ и не обнаружившимъ къ нему ни малѣйшаго почтенія.

— Ну съ, ваше сіятельство, будетъ вамъ ревновать; потрудитесь-ка лучше отвѣчать, кому вы изволили солгать: ей или мнѣ?..

Графъ никакъ не ожидалъ такого вопроса.

— Comment, madame?..

— Нечего, каманъ, нарочно самымъ грубымъ образомъ выговаривая французское слово, отвѣчала Глафира Александровна,—вы мнѣ обѣщали, что будете вчера въ балетѣ?..

— Ахъ, вы объ этомъ!.. Ну, разумѣется, ей...

— А спроси она, вы тѣмъ же самымъ тономъ отвѣтите: „ну, разумѣется, ей...„

— Но, клянусь вамъ... Наконецъ, вы меня видѣли же вчера въ театрѣ...

— Я не изъ тѣхъ актрисъ, которыя ищутъ глазами своихъ знакомыхъ въ креслахъ...

— Но въ балетѣ?..

— А балетъ, по вашему, не искусство?

— Напротивъ, напротивъ... Самое высокое искусство, если хотите... Enfin, только въ немъ женщина бываетъ вполнѣ женщиной...

— А въ драмѣ она на половину мужчина?.. Но оставимъ это. Извольте-ка доказать, что вчера вы были въ балетѣ...

— Но вы же знаете, что я обожаю, что я боготворю васъ...

— Ахъ, ради Бога!—испуганнымъ голосомъ заговорила блондинка, и даже поднесла руки къ ушамъ, какъ бы въ намѣреніи заткнуть ихъ пальцами...

— Что съ вами?

— Нѣтъ, нѣтъ, если вы хотите быть моимъ другомъ, то никогда не говорите такихъ вещей...

— Но, почему же?..

— Я замужемъ,—съ необыкновенною скромностью отозвалась блондинка.

— Но...

— Нѣтъ, нѣтъ, ради Бога!.. Нѣтъ, перестаньте, это такъ волнуетъ меня... Въ другой разъ... А пока ухаживайте лучше за Ѳеничкой, благо ужь начали...

— Но по вашей теоріи и за ней нельзя. Вѣдь она тоже замужняя...

— Да?—передразнивая графа, спросила блондинка. — Почему же, ваше сіятельство, вы изволите это полагать?

— Но мнѣ говорили; притомъ у нея двойная фамилія.

— Ха, ха! потому что она къ своей фамиліи Горобца пришпилила!.. Но, смѣю увѣрить ваше сіятельство, что я съ большимъ правомъ могла бы приставить къ себѣ цѣлаго Беркута. И не дурно бы вышло: Шелехова-Беркутъ! А? звучно? не правда ли?..

— О, да, да,—поспѣшно согласился графъ, хотя вовсе не постигалъ, почему Глафира Александровна имѣла право на цѣлаго Беркута.—Но развѣ она?..

— О, у нея было семь мужей, но и тотъ, съ кѣмъ она сейчасъ живетъ, ей не мужъ...

— Да вы презлая!.. Ah, ah,—по-французски разсмѣялся графъ,—madame est une femme avec laquelle il ne faut pas se brouiller... Скажите, пожалуйста, откуда это?

— Что это, изреченіе, что ли?

— Да.

Блондинка въ упоръ поглядѣла графу въ глаза.

— Изъ французскаго водевиля, заглавія не помню,— не сморгнувъ, отвѣчала она.

— Да?.. Mais c'est très spirituel, mais très spirituel.

„И болванъ же ты, какъ я на тебя погляжу“,— мысленно покачивая головой, подумала Шелехова.

Иванъ Ѳеогностовичъ тѣмъ временемъ бесѣдовалъ съ Фанни Юрьевной.

— А вы вчера не были?—спросила она и укоризненно поглядѣла на него.

— Какъ ни старался, не могъ отдѣлаться раньше одиннадцати, а потомъ, согласитесь, ужь было поздно.

— Очень жаль; вчера у меня была новая роль.

— Да, я знаю... И удачно вышла?

— Кажется... Впрочемъ спросите Безпалова: онъ былъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ обратился къ пріятелю съ вопросомъ, хороша ли была вчера Фанни Юрьевна.

— Восхитительна! Фанни Юрьевна вчера вполнѣ оправдала мои ожиданія.

— Приходится еще разъ пожалѣть,—сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ. — Впрочемъ, я былъ въ томъ увѣренъ, судя по тому, что вы говорили о роли. И вамъ навѣрно больше всего удался третій актъ.

— По крайней мѣрѣ публикѣ это понравилось больше всего...

— Но, вы, сами, въ душѣ довольны? Говорятъ, что въ подобныхъ случаяхъ довольство самого артиста важнѣе мнѣнія всей публики.

Фанни Юрьевна о чемъ-то подумала, точно припоминая, что въ подобныхъ случаяхъ слѣдуетъ отвѣчать.

— Да, я, знаете, невольно какъ-то чувствовала, что мнѣ удавалось,—съ заученною томностью проговорила она.

— А мою карточку получили?

— Карточку? удивленно спросила Фанни Юрьевна.

— Да, послѣ третьяго акта...

— Ахъ, это отъ васъ? вспыхнувъ вскрикнула она.— Очень вамъ благодарна, чудесный букетъ: онъ у меня въ спальнѣ... Я вамъ покажу потомъ... Не думайте, что я тщеславна, совсѣмъ напротивъ; но, знаете, какъ-то пріятно видѣть, что тебя цѣнятъ, какъ артистку... Притомъ, и публика это любитъ, и всегда при этомъ оживляется... И право... я не умѣю выразиться, но вы понимаете.

— Дѣло понятное, разсудительно сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Публика видитъ въ подобной, конечно ничтожной, дани таланту осязательное подтвержденіе своего сужденія, и это побуждаетъ ее удвоить выраженіе своего восторга.

— Какой онъ, однако, умный, я и не предполагала! подумала Фанни Юрьевна и затѣмъ слегка, но тепло пожавъ руку Ивану Ѳеогностовичу, продолжала вслухъ:

— Мегсі еще разъ. И очень мило съ вашей стороны, что вы сами не могли быть въ спектаклѣ, а все-таки не забыли, что у меня новая роль...

— Я полагалъ, что напоминать о себѣ только пустымъ кресломъ—совсѣмъ пустое дѣло, обнаруживъ внезапную игривость ума, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

Фанни Юрьевна ничего не сказала, но строго повела глазами въ сторону Шурочки.

Андрей Николаевичъ все время внимательно наблюдалъ за пріятелемъ, прислушиваясь къ ихъ разговору. Но тутъ они заговорили такъ тихо, что до него стали долетать только отдѣльныя, безсмысленныя, какъ газетная цитата, слова. Андрей Николаевичъ глядѣлъ на Ивана Ѳеогностовича, и глазамъ не вѣрилъ: нынче онъ казался ему совѣмъ инымъ противъ того, какимъ онъ его всегда зналъ.

— А Лидія-то права! разсуждалъ онъ.—Есть у него и вкрадчивость, и угодливость какая-то особенная... Съ подходцемъ передъ бабенкой юлитъ... А я вотъ ничего такого за нимъ не замѣчалъ... Впрочемъ, это больше все по дамской части.

Портретъ, между тѣмъ, подвигался плохо, работа не клеилась; Андрею Николаевичу начало уже казаться будто и темновато становится и онъ только подмазывалъ кое-гдѣ, занимаясь больше фономъ. Онъ не прочь былъ и вовсе пріостановиться въ работѣ, но опасался, какъ бы не подумали, что онъ умышленно хочетъ обратить на себя вниманіе. Отъ нечего дѣлать, Андрей Николаевичъ вспомнилъ, что Лиза влюблена въ Подлещикова, и сталъ было наблюдать за нею, но Лиза сидѣла по прежнему скромно и тихо и, казалось, была цѣликомъ погружена въ свое вышиваніе.

— И скука же одолѣваетъ! И ноги промять хочется! умно твердилъ про себя художникъ.

— Нѣтъ, вы поглядите, господа, что̀ это за прелесть! нежданно раздалось позади его.

То воскликнула Шурочка. Ей надоѣло, что на нее никто не обращаетъ вниманія, а, главное, нѣтъ на лицо свободнаго мужчины, кѣмъ бы она могла заняться, и она потихоньку пробралась за спину Андрея Николаевича.

Ея слова заставили всѣхъ зашевелиться и броситься къ портрету.

— Ай да, барынька, удружила! сказалъ про себя Безпаловъ,—стòитъ ей за это фунтикъ конфектъ пожертвовать.

Всѣ столпились у портрета, который Андрей Николаевичъ поспѣшилъ поставить такъ къ свѣту, чтобы получился наилучшій эффектъ.

— Ну, Андрюша, молодецъ! первый заговорилъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—въ этомъ портретѣ ты просто превзошелъ себя. Такой нѣжности и тонкости я и не зналъ въ тебѣ.

— Mais monsieur a eminement du talent, отозвался графъ.

— Безъ тебя, я вишь, и не зналъ, что у меня талантъ есть, досадливо подумалъ Безпаловъ,—а только онъ еще что-то прибавилъ... Какъ бишь? миниманъ, что̀ ли?.. Надо будетъ доктора спросить, онъ догадается...

— Ахъ, monsieur Безпаловъ, сказала хозяйка,—я, право, не знаю, какъ благодарить васъ. Мнѣ кажется будто я вижу себя въ зеркалѣ.

— И какъ вы сумѣли схватить самое милое у Фанни Юрьевны выраженіе! промолвила Лиза.

Безпаловъ не безъ удивленія взглянулъ на нее.

— Э, да барышня, кажись, въ нашемъ дѣлѣ кой-что смыслитъ! подумалъ онъ,—не дурно и ей фунтикъ преподнести.

— Виноватъ, заговорилъ графъ, обращаясь къ художнику,—но если не секретъ, позвольте узнать: вы дѣлаете этотъ портретъ по чьему-нибудь заказу, или же...

— Monsieur Безпалову просто хотѣлось попробовать свои силы на женскомъ портретѣ, сказала хозяйка,—и онъ былъ столь добръ, что выбралъ меня для оригинала.

— Это дѣлаетъ честь его вкусу,—любезно отозвался графъ.

— А съ меня, противный, не бось, не могъ!—не безъ злобы шепнула художнику Глафира Александровна.

— Но я, собственно, хотѣлъ бы знать, — продолжалъ графъ, — предназначается ли этотъ портретъ для кого-нибудь, или же...

— Во первыхъ, на выставку, — отвѣчалъ художникъ.

— Мнѣ кажется, monsieur Безпалову не зачѣмъ особенно заботиться о судьбѣ портрета, — сказала Лиза,—у Фанни Юрьевны столько поклонниковъ, что навѣрно кто-нибудь не упуститъ случая сдѣлать ей такой пріятный подарокъ.

— Умница барышня, подумалъ Безпаловъ, — за эти слова еще фунтикъ прикинуть можно.

Иванъ Ѳеогностовичъ и Ворворищевъ вздрогнули отъ словъ Лизы, какъ отъ электрическаго удара. Подлещиковъ сдержался и только скользнулъ глазами по лицу графа, причемъ у него на губахъ мелькнула презрительная улыбка. Графъ, вооруженный моноклемъ, съ

руками на отлетѣ, горделиво всѣмъ станомъ откинулся назадъ, какъ бы желая изобразить, что въ подобныхъ случаяхъ для него не можетъ быть соперниковъ; поза была бы не только внушительна, но даже величественна, если бы дряблыя ножки графа, не ожидавшія столь порывистаго движенія туловища не покачнулись и не...

По счастью, нѣкоторое внезапное обстоятельство, какъ разъ въ это мгновеніе, отвлекло отъ графа общее вниманіе, чрезъ что и авторъ избавленъ отъ обязанности описывать, какъ графъ чуть было не впалъ въ конфузъ.

V.

Сумерки.

Люблю я дружескія враки.
И дружескій стаканъ вина
Порою той, что названа
Порой межь волка и собаки
А. Пушкинъ.

Надо сказать, что въ то время, какъ всѣ были увлечены портретомъ, въ передней раздался никѣмъ незамѣченный звонокъ. Слѣдомъ, какъ разъ въ то время, когда зашла рѣчь о томъ, для кого именно предназначается портретъ, въ комнату довольно грузно ввалился красивый, черный какъ уголь, брюнетъ. Замѣтивъ большое общество, онъ мигомъ оправился и сталъ безшумно на цыпочкахъ, пробираться къ портрету, что̀ и совершилъ благополучно, благодаря замшевымъ ботинкамъ и тому, что отъ набѣжавшихъ тучекъ въ комнатѣ потемнѣло. Всѣ были такъ заняты вызовомъ на пѣтушиный бой, гдѣ герольдомъ явилась Лиза, что и не замѣтили брюнета. Онъ помѣстился среди всѣхъ и теперь вдругъ заговорилъ.

— Важно намалевано! возгласилъ онъ.—Кто это? Кто-то назвалъ Безпалова.

— Безпаловъ? Молодчина! Талантище!.. Не бойся, цѣлуй меня! Я—Макрушинъ.

Макрушинъ былъ даровитый критикъ-фельетонистъ. Вслѣдъ за словами, онъ привлекъ Андрея Николаевича въ свои объятія и съ видимымъ удовольствіемъ поцѣловалъ его своими сочными и пухлыми губами.

— Молодчина! Прославлю! И тебя, Воробышка, также, при семъ удобномъ случаѣ. Ручку! добавилъ онъ и властно поцѣловалъ у хозяйки руку.

Хотьминская, протягивая ему руку, другою широко отвела въ сторону, и взглянула на графа, какъ бы желая сказать „Voila des inconvenients de la vie d'artists". Такъ, по крайности, перевелъ ея жестъ Ворворищевъ; онъ немедленно освѣдомился у стоявшей подлѣ него Лизы, что̀ это за господинъ, и узнавъ, что передъ нимъ нашъ извѣстный критикъ, вполнѣ успокоился.

Шурочка сунулась было здороваться съ Макрушинымъ, но тотъ осадилъ ее.

— Постой, Шурка, не мѣшай! . У меня тутъ кой-что есть, сказалъ онъ, пощелкивая пальцами по значительно порѣдѣвшему взлобью.—Я нынче въ просвѣтлѣніи, или, какъ пишетъ Достоевскій, у меня проникновенный взглядъ... Чудное это слово: проникновенный!.. А?.. Я ему слово скажу. И Макрушинъ указалъ на Безпалова.—Постой, постой, сейчасъ. Макрушинъ сталъ предъ мольбертомъ, покачиваясь изъ стороны въ сторону на разставленныхъ ногахъ, и при внимательномъ молчаніи другихъ, ждавшихъ проникновеннаго критическаго слова, довольно долго смотрѣлъ на портретъ.—А у тебя тутъ, Макрушинъ поводилъ пальцами передъ

лбомъ,—а у тебя тутъ кой-что вертѣлось, когда ты писалъ. Стой, стой, сейчасъ скажу. Вотъ что̀ ты думалъ: „хороша, молъ, бестія!“ или нѣтъ: „хороша, молъ, штучка, а не мѣшало бы эту штучку“...

— Макрушинъ, да вы пьяны! вскрикнула Фанни Юрьевна, изображая изумленіе всѣми ей извѣстными способами, какъ-то раскрытіемъ рта, неподвижностью глазъ, вснлескиваніемъ рукъ, и, наконецъ, шарахнулась назадъ послѣ мгновеннаго остолбенѣнія.

— Ну, теперь и здороваться можно! объявилъ Макрушинъ.—Ну, Шурка...

Обрадованная Александра Петровна только что не бросилась къ нему, но Макрушинъ, вдругъ замѣтивъ Шелехову, обратился къ той, вторично отстранивъ Шурочку:—Э, да и Глаша здѣсь! воскликнулъ онъ и шлепнулъ блондинку по спинѣ.

— Ахъ, дьяволъ! привѣтствовала его блондинка,— да онъ въ самомъ дѣлѣ нализался.

— Ничего не нализался. А такъ, малость отъ заморскаго винца вкусили. А ты, Воробышка не сердись. Это что я сказалъ, тебѣ же на пользу. Ну, ну, помиримся, дай ручку поцѣловать. Да не тутъ, не тутъ, а повыше; ты вѣдь знаешь, я люблю у тебя подъ пульсикомъ руку цѣловать.

Всѣмъ стало неловко, и всѣ зашевелились, какъ бы сбираясь расходиться.

— Э! да вы, кажись, по домамъ? вскричалъ Макрушинъ.—А я куда жь? недоумѣнно добавилъ онъ.

— И ты шелъ бы домой да легъ баиньки, посовѣтовала Глафира Александровна.

— Гм... А ты меня, Глаша, съ собой не прихватишь?

— Охъ, прихватила бы, да не домой ѣду, съ комическимъ сокрушеніемъ отвѣчала она.

— Гм...

Макрушинъ раза два качнулся туловищемъ взадъ и впередъ и обвелъ всѣхъ безучастно-пьяными глазами.

— Стой! какъ бы опомнясь, закричалъ онъ, — а Шурка гдѣ жь?

Александры Петровны въ комнатѣ не оказалось.

— То-то вотъ гдѣ! сказала Глафира Александровна.—Она съ тобой два раза поздороваться лѣзла, а ты какъ ее оборвалъ? Она, бѣдная, даже заплакала.

— Врешь!.. чтобъ я да ее... развѣ нечаянно... Да гдѣ жь она?

— Убѣжала; боялась, что съ ней истерика сдѣлается.

— Ахъ, Господи!..

— То-то Господи! Ты лучше бы извинился передъ ней... Бѣги, она еще съ лѣстницы не сошла:

Макрушинъ съ мигъ простоялъ въ недоумѣніи, потомъ что-то сообразивъ, бросился, ни съ кѣмъ не простясь, въ переднюю.

— Даша, скомандовала Глафира Александровна горничной Фанни Юрьевны,—скорѣй вынеси ему на лѣстницу пальто и шапку, а то, чего добраго, онъ простоволосый за ней побѣжитъ.—И, обратясь къ графу, добавила:—Лихой на бабъ мужчина. Не вашему сіятельству чета.

Въ эту минуту изъ спальни Фанни Юрьевны вышла Шурочка.

— Шурочка! да ты здѣсь? воскликнула хозяйка, готовая вновь всѣми извѣстными ей способами выразить крайній предѣлъ изумленія.

— Гдѣ жь мнѣ быть? обидчиво спросила Александра Петровна.

— Гдѣ жь ты скрывалась?

— Ахъ, Господи!.. ворчливо отвѣчала Шурочка, и слѣдомъ спѣшно прибавила:—я просто платье краской выпачкала и побѣжала оттереть бензиномъ. Вотъ хоть понюхай.

— Ну, Глаша, спасибо! Какъ ты его ловко выпроводила! съ искреннимъ восхищеніемъ сказала Фанни Юрьевна и горячо поцѣловала подругу.—Вы и не повѣрите, графъ, прибавила она, робко опустивъ глаза,—какъ я, мало не люблю, но просто боюсь пьяныхъ...

— Одначе и въ самомъ дѣлѣ пора по домамъ, объявила Глафира Александровна,—Что жь, графъ, смѣю я надѣяться видѣть ваше сіятельство у себя?

Графъ изъявилъ готовность явиться по ея первому требованію. Она назначила ему день и часъ.

— Только, пожалуста, не по сегодняшнему. И помните, что мнѣ надо о многомъ, объ *очень многомъ* поговорить съ вами. Надѣюсь, вы догадываетесь о чемъ? лукаво добавила она и, не давъ ему времени открыть ротъ, обратилась къ Безпалову съ просьбой придти къ ней обѣдать въ такой-то день и часъ.—Обѣщаете?..

— Только вы, пожалуста, будьте дома, отвѣчалъ художникъ.—А то ѣсть простывшій обѣдъ и вдобавокъ въ компаніи...

— А! не забылъ еще? съ хохотомъ перебила его блондинка.—Батюшки! да какой снѣгъ повалилъ. Вы, графъ, въ каретѣ?

Графъ былъ въ отчаяніи, что понадѣясь на хорошую погоду онъ выѣхалъ сегодня въ саняхъ, но изъявилъ готовность сопровождать Глафиру Александровну.

— Нѣтъ, безъ крышки больно зазорно будетъ! со смѣхомъ отвѣчала блондинка, и была такова.

Безпаловъ и Подлещиковъ вышли вмѣстѣ. Иванъ Ѳеогностовичъ освѣдомился, свободенъ ли нынче Андрей Николаевичъ, и получивъ утвердительный отвѣтъ, пригласилъ его закусить въ трактиръ.

— Ты какъ-то звалъ меня, добавилъ онъ,—и я обѣщалъ да вышло нельзя, а сегодня у меня къ тебѣ кстати и дѣло есть.

Андрей Николаевичъ не заставилъ повторять приглашенія. Вскорѣ они обогнали Макрушина.

— Эй, мусьяки, стойте! закричалъ онъ.—Безпаловъ! ты куда?

Андрей Николаевичъ, по наущенію пріятеля, отвѣчалъ, что ѣдетъ по дѣлу.

— Ну, и ступай туда, куда Мефистофель посылалъ Фауста! презрительно отвѣчалъ Макрушинъ.

Пріятели отправились къ Тѣстову. Войдя въ трактиръ, Иванъ Ѳеогностовичъ тщательно изслѣдовалъ всѣ комнаты, ища мѣстечка поукромнѣе; изъ чего Андрей Николаевичъ заключилъ, что бесѣда будетъ имѣть довольно интимный характеръ. Когда былъ заказанъ не то поздній завтракъ, не то ранній обѣдъ и друзья опрокинули рюмочки по три, солидно закусивъ икрой и семгой, Подлещиковъ, предварительно помявшись, завелъ рѣчь:

— Да, Андрей Николаевичъ; не забыть бы о дѣлѣ, озабоченно сказалъ онъ.—Сдѣлай милость, дружокъ, этотъ графчикъ станетъ навѣрно торговать у тебя портретъ...

— Ты думаешь? вставилъ Безпаловъ.

— Такъ, пожалуста, съ прежнею озабоченностью

продолжалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—не отдавай ему, а оставь за мной. Чтобъ онъ ни давалъ, я прибавлю сто, даже двѣсти рублей.

У Андрея Николаевича засвѣтились глаза, но не отъ корыстолюбія: онъ ждалъ дружескаго признанія.

— Что жь, обѣщаешь?

— Помилуй, да я бы безъ всякой надбавки...

— Нѣтъ, тебѣ своего терять нечего; притомъ, онъ могъ спросить тебя врасплохъ, и ты—я тебя знаю—навѣрно бы сконфузился и продешевилъ, а это такая работа!..

— Да съ чего тебѣ такъ загорѣлось имѣть именно этотъ портретъ, а не другую мою работу?

— Ахъ, Господи мой Боже!... Какъ бы объяснить тебѣ? Дѣло, видишь ли, довольно сложное. Отчасти дѣло самолюбія даже. Ну, словомъ, я не хочу уступать его Ворворищеву, и не уступлю.

— Вотъ на!

— Тебѣ, можетъ-быть, это кажется страннымъ, но... я просто терпѣть его не могу.

— Да ты, кажется, его совсѣмъ не знаешь.

— Ахъ, Господи мой Боже!.. впрочемъ, ты, пожалуй, и правъ; я дѣйствительно его почти не знаю; но, видишь, у меня ко всѣмъ этимъ франтикамъ какое-то природное отвращеніе... какъ бы сказать?.. идіосинкразія, что ли... Богъ знаетъ съ чего, они насъ и за людей не считаютъ, воображаютъ, что имъ ни ровни, ни соперниковъ нѣтъ; что всѣ обязаны имъ оказывать какъ говоритъ Хлестаковъ, уваженіе и преданность, преданность и уваженіе, наконецъ, что сами они все знаютъ, все могутъ, на все способны. А въ сущности всѣ они порядочные невѣжды; у нихъ ничего нѣтъ, кромѣ хоро-

шаго выговора, да и учатъ-то ихъ, собственно говоря, однимъ выговорамъ...

— Какъ выговорамъ?

— Ну, понимаешь, самому парижскому, самому лондонскому и ужь не знаю какому еще, а что они станутъ болтать своимъ хорошимъ выговоромъ, о томъ никто не заботится, а они сами, конечно, того менѣе. Что жь получается въ результатѣ? Нахальство, одно нахальство; нахальство всегда и всюду; нахальство самое безобразное, самое возмутительное, самое оскорбительное. Ты, можетъ-быть, и не замѣтилъ, какъ онъ взглянулъ на меня, когда зашла рѣчь, кому будетъ принадлежать портретъ. Ну, и согласись, что оборвать при случаѣ такого франтика дѣло весьма и весьма пріятное...

По оживленію и ѣдкости, съ какими говорилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, Безпаловъ заключилъ, что пріятель не на шутку врѣзался въ Хотьминскую.

— Послушай, однако, сказалъ онъ, не безъ заднѣй мысли еще подзадорить пріятеля и хоть тѣмъ заставить его высказаться откровеннѣе.—Послушай, а что мнѣ дѣлать, если графъ тоже войдетъ въ азартъ и предложитъ такую сумму, что просто брать будетъ совѣстно, особенно съ тебя...

— Гм. Не думаю, пренебрежительно отвѣчалъ Подлещиковъ.

— Однако?..

Подлещиковъ чуть было не бухнулъ, что никакой „такой“ суммы предложено не будетъ, потому де, что графъ промотался насквозь, но, вспомнивъ, что свѣдѣнія о томъ получены имъ особымъ путемъ и составляютъ въ нѣкоторомъ родѣ его профессіональную тайну, воздержался.

— Впрочемъ, сказалъ онъ,—чѣмъ чортъ не шутитъ. Во всякомъ случаѣ я отъ своего слова не отступаюсь и не отступлюсь.

— Чудишь ты что-то, Иванъ Ѳеогностычъ, право! Ну, скажи самъ, что ты станешь дѣлать съ портретомъ? Повѣсишь его, что ли, у себя въ комнатѣ на память о графѣ? И кто его у тебя увидитъ! Дѣловыя свиданія, насколько я знаю, ты назначаешь въ конторѣ, въ клубѣ, въ трактирѣ, а друзей, кромѣ меня, у тебя, кажется, не много.

Иванъ Ѳеогностовичъ, повидимому, не ожидалъ такихъ возраженій, а потому отвѣчалъ не сразу и въ замедленномъ темпѣ.

— Разумѣется, спрятать такое произведеніе, такъ-сказать, подъ спудъ, сказалъ онъ,—было бы обидой и для тебя и для всего общества. Нѣтъ, я помѣщу его въ такомъ мѣстѣ, гдѣ его будутъ видѣть очень и очень многіе.

Андрей Николаевичъ вопросительно взглянулъ на пріятеля.

— Что жъ ты въ музей его, что ли пожертвуешь? уяснилъ онъ словами свой взглядъ.

— Конечно, это было бы прекрасно, попрежнему отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—но этимъ не достигалась бы моя ближайшая цѣль, а потому я полагаю, что благоразумнѣе всего послѣдовать совѣту Елизаветы Ѳедоровны.

— То-есть?

— То есть, подарить портретъ Фанни Юрьевнѣ. Тогда для графа щелчокъ будетъ чувствительнѣе, и онъ уже, надѣюсь, и носа своего туда не покажетъ.

Андрей Николаевичъ хотѣлъ было спросить прія-

теля, чѣмъ собственно ему мѣшаетъ графскій носъ, но вмѣсто того какъ-то нечаянно высказалъ совсѣмъ иное.

— Притомъ всегда пріятно угодить хорошенькой женщинѣ, замѣтилъ онъ.

— Съ этимъ не согласится развѣ отчаянный мезогинъ, съ загадочною улыбкой отвѣчалъ Подлещиковъ и принялся усердно разливать селянку.

Пріятели просидѣли въ трактирѣ довольно долго, но характеръ ихъ бесѣды былъ все тотъ же; то-есть, думали-то они оба все объ одномъ и томъ же: о той хорошенькой штучкѣ, о которой столь откровенно выразился Макрушинъ, но прямаго разговора о ней избѣгали. Андрей Николаевичъ и задиралъ и подзадоривалъ пріятеля, но остерегался непосредственно коснуться до чувствительнаго мѣста; Иванъ Ѳеогностовичъ именно въ то мгновеніе, когда требовалась откровенность, незамѣтно ускользалъ въ сторону, прибѣгая къ слишкомъ общимъ выраженіямъ, которыя можно было толковать и вправо, и влѣво. Благодаря такой осторожности относительно одного пункта, они о другихъ вещахъ высказывались съ большею, чѣмъ въ иное время, неосмотрительностью и при этомъ порой, хотя и невзначай, но довольно жестко задѣвали другъ друга противъ шерстки. Притомъ обѣдали они, разумѣется, не въ сухую, и вино оказывало свое возбуждающее дѣйствіе, усугубляя жесткость ненарочныхъ задѣваній.

— Съ чего тебѣ вздумалось написать портретъ именно съ Фанни Юрьевны?

Художникъ разказалъ, какъ было дѣло.

— А тебѣ при этомъ не приходили въ голову соображенія насчетъ особенностей красоты или типичности лица?

— Откровенно говоря, нѣтъ. Правда, мнѣ хотѣлось, чтобъ личико было хорошенькое и личность извѣстная; но вотъ и все. Я также охотно бы написалъ Шелехову, еслибъ Лидія вспомнила о ней...

— Я не спорю, Глафира Александровна женщина красивая, но въ ней есть что-то грубое, фламандское, что ли...

— Конечно, она халда порядочная, отвѣчалъ художникъ,—и красота у нея не изъ нѣжныхъ, а „опарная", какъ выражается Мей, но только, милый мой другъ Иванъ Ѳеогностовичъ, красота, въ какомъ бы родѣ она ни была, все красота...

— Согласенъ; но въ Фанни Юрьевнѣ больше поэзіи.

Андрей Николаевичъ даже вздрогнулъ при этихъ словахъ, подумавъ, что далеко же зашелъ его другъ, если смогъ въ Хотьминской найти поэзію.

— Поэзіи? переспросилъ онъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ ничего не отвѣчалъ и сталъ подчивать пріятеля какимъ-то соусомъ.

— А я вѣдь не чаялъ встрѣтить тебя у Хотьминской, сказалъ Андрей Николаевичъ.

— Будто? Развѣ ты не зналъ, что я съ ней знакомъ? Мнѣ помнится, будто я встрѣчался у нея съ Лидіей Антоновной.

— Можетъ-быть, Лидія мнѣ и говорила, беззаботно отвѣчалъ художникъ,—но вѣдь ты могъ быть у Хотьминской и по дѣлу. И давно ты знакомъ съ ней?

— Съ конца августа или начала сентября, хорошенько не помню.

„А теперь ужь январь въ половинѣ: каковъ тихоня!" подумалъ Андрей Николаевичъ, и вслухъ: —Ты, кажется, къ ней благоволишь?

— Въ какомъ смыслѣ?

— Ну, любишь смотрѣть ея игру, цѣнишь ея талантъ, находишь ее поэтическою, подносишь букеты.

— Отвѣчу твоими же словами: угодить хорошенькой женщинѣ всегда пріятно, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ и, повременивъ, прибавилъ: — А хорошенькой актрисѣ и подавно.

— Почему же именно актрисѣ?

— Мнѣ кажется это не трудно анализировать: актриса всегда окружена поклонниками, которые на перебой стремятся ей угодить, а потому заслужить ея благосклонную улыбку труднѣй, чѣмъ отъ всякой другой женщины.

— А мнѣ кажется, что актрисы ради своего успѣха такъ привыкли задобривать всѣхъ и до того расточаютъ свои благосклонныя улыбки, что врядъ ли онѣ хоть на грошъ дороже пареной рѣпы.

— Повидимому, ты будто и правъ, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ съ особою нѣжностью и усладой, внушенными, конечно, не словами пріятеля, а кое-какими воспоминаніями въ родѣ сегодняшняго легкаго, но теплаго пожатія руки,—но только, повидимому. Ты забываешь, во-первыхъ, о трудности угодить тѣмъ, кто привыкъ къ услугамъ, а во-вторыхъ, милый мой Андрей Николаевичъ, улыбка улыбкѣ рознь. Il y a fagot et fagot, какъ говорятъ Французы. Актрисы улыбаются часто,—правда, но на большинство ихъ улыбокъ никто не обращаетъ вниманія и никто ни во что ихъ не ставитъ; за то порой она улыбнется такъ, что всѣ о томъ заговорятъ и тотъ, кому это выпадетъ на долю, можетъ считать себя польщеннымъ и счастливымъ: его самолюбіе вполнѣ удовлетворено.

— Для самолюбія оно, пожалуй, и лестно, за то для кармана накладно, безъ всякой задней мысли замѣтилъ художникъ.

Быть можетъ именно потому, что слова эти были сказаны безъ задней мысли, они и задѣли нотаріуса за живое,

— Ахъ, Господи мой Боже! вскричалъ онъ.—Какая у тебя, однако, привычка глядѣть на все съ матеріальной точки зрѣнія! Деньги, конечно, вздоръ, дѣло наживное, какъ говорится, и хвастаться ими было бы глупо. Но согласись, что и съ этой точки зрѣнія твое самолюбіе все-таки будетъ удовлетворено вполнѣ, когда на угожденіе хотя бы мимолетной прихоти хорошенькой женщины у тебя не встрѣтится матеріальныхъ препятствій.

— Въ чемъ же тутъ самолюбіе? Что сумѣлъ на чужія причуды денегъ скопить, что ли?

— А хотя бы и въ этомъ! Не все ли равно? Во всякомъ случаѣ оно доставляетъ намъ одно изъ высокихъ наслажденій.

— Гм... угрюмо отвѣчалъ художникъ.—Ну, а если деньги не нажитыя, не свои кровныя? Повѣрь, что другой, ну хоть бы вотъ этотъ графчикъ, спустивъ тысченку, другую изъ наслѣдственныхъ или даже перехваченныхъ за большія проценты, будетъ столь же счастливъ, и самолюбіе его вздуется нисколько не меньше!..

Невольное, но рѣзкое сравненіе съ графомъ оказалось для Ивана Ѳеогностовича новою шпилькой; онъ ничего не отвѣчалъ и, наливъ себѣ и пріятелю краснаго вина, принялся глубокомысленно смаковать его. Андрей Николаевичъ не дотронулся до стакана; ему вдругъ взгрустнулось; разсужденія о самолюбіи и день-

гахъ рикошетомъ попали и въ него. Ему невольно вспомнилось, какъ часто ему было больно до обиды, что Лидія Антоновна отказывалась, напримѣръ, ѣхать на свадьбу или даже просто на званый обѣдъ или вечеръ по неимѣнію подходящаго платья; разъ, по той же причинѣ, она не могла пойти къ заутренѣ въ Свѣтлое Воскресенье. А тутъ мимолетныя тысячныя прихоти! И для самолюбія пріятно, и высокое наслажденіе!..

— Что ты, Андрей Николаевичъ, а? спросилъ его Иванъ Ѳеогностовичъ.—Взгрустнулось тебѣ, что ли?

— Отяжелѣлъ малость, потирая лицо рукой отвѣчалъ художникъ.—Видишь, весело продолжалъ онъ,— одинъ монашекъ толковалъ мнѣ, что у Іоанна Лѣствичника разныя причины меланхоліи указаны, а въ заключеніе прибавлено: „а есть молъ еще унынie отъ объяденія чрева“. Вотъ и мнѣ, видно, отъ объяденія взгрустнулось.

— А что ты скажешь насчетъ ликёра и кофе?

— Что жь, отъ бездѣлья и то рукодѣлье.

Ликёрамъ была сдѣлана честь.

— А знаешь, Андрей Николаичъ, я очень радъ, что ты принялся за портреты, заговорилъ Подлещиковъ.

— Чему жь тутъ особенно радоваться?

— Ахъ, Боже мой! да хоть тому, что это значительно увеличитъ твои средства.

— Развѣ этому!.. Да и то старуха на двое сказала.

— Но почему же? Портретъ, я въ томъ увѣренъ, будетъ имѣть огромный успѣхъ, и заказы къ тебѣ такъ и посыпятся.

— Эхъ! да закащикамъ-то я потрафлять не мастеръ.

— Ну, вотъ опять!.. Все та же старая пѣсня! Извини, дружокъ, но я прямо тебѣ скажу, и даже почитаю долгомъ высказать, что на этотъ счетъ у тебя отсталые и даже нѣсколько дикіе взгляды... Нѣтъ, нѣтъ! ты сперва выслушай, а тамъ ужь и возражай... Скажи на милость; ну, отчего ты чураешься общества, отчего ты зовешь его не иначе, какъ презрительно „почтеннѣйшая публика“?.. Ты думаешь, что общество, или по твоему публика, ничего въ искусствѣ не смыслитъ. Извини, не правда. Эта столь тобою презираемая публика оцѣнила же твоихъ *Чиновниковъ*, она составила тебѣ имя, дала тебѣ извѣстность, и если ты не сумѣлъ этимъ воспользоваться, то это твоя ужь вина. Но ты, кажется, не согласенъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, ничего; я слушаю.

— Но согласись, что общество такъ же, какъ и ты, имѣетъ право судить по-своему; оно живетъ своею жизнью, у него свои мысли, чувства, стремленія, идеалы. Оно сочувственно отнеслось къ тебѣ, къ твоему творчеству и взамѣнъ того имѣетъ право требовать отъ тебя сочувствія своимъ стремленіямъ. Оно тебѣ послужило, послужи же и ты ему. А ты не хочешь знать ихъ, этихъ общественныхъ стремленій; ты точно задался тѣмъ, чтобъ ихъ игнорировать. Сколько разъ и я—впрочемъ, что я? я тутъ не причемъ, я никогда не былъ, да и не выдаю себя за особеннаго знатока,—но сколько разъ при мнѣ, и притомъ людьми, достойными всякаго уваженія, тебѣ предлагались отличные сюжеты съ общественнымъ значеніемъ, а ты не только вниманія на нихъ не обратилъ, но порой на предложенія, сдѣланныя, конечно, изъ расположенія къ тебѣ, отвѣчалъ съ умышленною грубостью. Между тѣмъ другіе

воспользовались такъ или иначе, и прибавлю, не льстя тебѣ, съ меньшимъ, чѣмъ у тебя талантомъ и искусствомъ, тѣми же задачами и вырвали у тебя успѣхъ, такъ сказать, изъ-подъ носа. И что тутъ, въ подобныхъ требованіяхъ, было обиднаго для твоего художническаго самолюбія? Развѣ литературу не называютъ выраженіемъ, или зеркаломъ народной жизни, то-есть въ сущности выраженіемъ идей того же общества? И чѣмъ живопись въ этомъ отношеніи отличается отъ литературы?

Иванъ Ѳеогностовичъ замолчалъ, какъ бы ожидая возраженія.

— Спасибо за участіе, холодно сказалъ художникъ,—но вѣдь я, кажется, на свою судьбу не жалуюсь, и къ успѣхамъ, о которыхъ ты толковалъ сейчасъ, довольно равнодушенъ.

— Позволь, позволь! Это вовсе не отвѣтъ на вопросъ. Я знаю, ты держишься извѣстныхъ эстетическихъ теорій, но эти теоріи, мой другъ, давно устарѣли, и ты, въ угоду имъ, только глушишь свой прекрасный талантъ. Но я сейчасъ побью тебя твоимъ же оружіемъ; я на основаніи твоихъ же теорій докажу, что ты не правъ. Скажи самъ, вѣдь то именно произведеніе считается хорошимъ, когда, какъ говорится, изъ-за картины забываютъ о художникѣ.

— Положимъ, что такъ.

— Нѣтъ, ты согласенъ?

— Согласенъ, согласенъ!

— И превосходно. Но именно это-то и бываетъ всякій разъ, когда картина написана на общественный сюжетъ; когда она, такъ сказать, живописуетъ злобу дня.

— Однако, голубчикъ, ты ровно ничего въ искусствѣ не понимаешь! подумалъ Безпаловъ.

— Что же въ такомъ случаѣ увлекаетъ всѣхъ? продолжалъ нотаріусъ. — Нѣчто отвлеченное, нѣчто общее, словомъ, идея. Всѣ, забывая о художникѣ, толкуютъ именно о ней, восторгаются ею, и...

— Эхъ, нетерпѣливо перебилъ его художникъ.— Что ты такое путаешь? Да развѣ *это* требуется? Требуется, чтобы художникъ написалъ такъ жизненно и правдиво, чтобы всѣ вы забыли, что это нарисованное, а не живое. Какъ въ картинѣ-то точно сама жизнь проявится, такъ поневолѣ о художникѣ забудешь, и потому именно, что само произведеніе все твое вниманіе поглотитъ. А въ томъ, что ты говорилъ, какъ разъ наоборотъ. Чѣмъ именно восхищаются всѣ? Да своей же собственной идеей, то-есть самими собой. Художникъ просто подольстился къ общему вкусу, стремленію, или назови его, какъ хочешь; выбравъ казистый сюжетецъ, онъ, говоря откровенно, всѣмъ глаза отвелъ отъ картины, заставилъ говорить не о ней, а о томъ, о чемъ люди и безъ того любятъ поболтать. И точно, тутъ всѣ забыли только не о художникѣ, а объ искусствѣ. А художникъ, небось, забвенія не желаетъ; онъ, напротивъ, свое рыльце подставляетъ да приговариваетъ: погладьте молъ меня; видите, какой я умный да еще современный въ придачу.

— Ну, вотъ и столкуй съ тобою! съ досадой сказалъ Подлещиковъ.

— Именно, какъ говорится: столкуй больной съ подлѣкаремъ! А потому лучше оставимъ-ка сіе въ покоѣ.

— Нѣтъ, я такъ не оставлю! Подумай самъ, какія

послѣдствія проистекаютъ изъ твоего равнодушія къ общественнымъ интересамъ? Только то, что и къ тебѣ становятся равнодушны. А это досадно видѣть, потому что у тебя, повторяю, талантъ. И ты самъ что̀ чрезъ это выгадываешь? Я уже не говорю, что это дурно отзывается вообще на твоемъ благосостояніи; но вѣдь и искусство ничего не выигрываетъ. Ты, ради хлѣба насущнаго, принужденъ заниматься чисто ремесленными работами; ты отъ нихъ устаешь, раздражаешься; у тебя времени нѣтъ, чтобы приняться за настоящее дѣло да и необходимаго душевнаго спокойствія при этомъ быть не можетъ. Что жь, развѣ не правда?

Художникъ ничего не отвѣчалъ.

— Нѣтъ, какъ хочешь, Андрей Николаичъ, а это значитъ зарывать свой талантъ въ землю. Если Богъ, далъ тебѣ талантъ, ты обязанъ доставить ему успѣхъ, ты долженъ добиться его во что бы то ни стало!

— Да развѣ я отъ успѣха отказываюсь или ему противлюсь? съ улыбкой отвѣчалъ художникъ.—Да сдѣлай милость, сколько влѣзетъ. Но есть разница между тѣмъ, чтобы дождаться успѣха, если ему угодно будетъ еще хоть разъ пожаловать до моей смерти, и тѣмъ, чтобы добиваться его. Видишь ли, есть два рода заведеній, которыя испоконъ вѣковъ имѣютъ постоянный и несомнѣнный успѣхъ, именно кабаки и публичные дома, и вотъ мнѣ сдается, что для того, чтобы доставить себѣ успѣхъ или его добиться, необходимо обладать, въ извѣстной степени, разумѣется, способностями почтенныхъ содержателей названныхъ заведеній, а я— виноватъ!—ими не обладаю.

— До какой, однако, степени ты пренебрегаешь общественнымъ мнѣніемъ! Что̀ за гордость непомѣр-

ная! Да ты что, Рафаэлемъ себя, что ли, воображаешь?

— Ахъ, милый мой другъ, Иванъ Ѳеогностовичъ, не мы съ тобой Рафаэлей дѣлаемъ, и отъ нашего о себѣ воображенія ничего не станется. Чѣмъ кто родился, тѣмъ тотъ и проживетъ. Быть великимъ, среднимъ или малымъ зависитъ не отъ насъ; но въ нашей власти остаться настоящимъ художникомъ, то-есть самимъ собой, а не лѣзть, да еще добровольно, въ прихвостни. Или вотъ какъ какой-то французскій поэтъ сказалъ: „стаканчикъ, молъ, у меня не великъ, да пью-то я изъ своего стаканчика“. Кому охота лакать изъ публичнаго фонтана, пусть себѣ лакаетъ; да я-то, пойми, не то что не хочу, а не могу этого дѣлать: претитъ оно моему художническому нутру. Можетъ-быть ты или другой кто и скажете, что это отъ того, что у меня нутро поражено катарромъ, да мнѣ-то до такого мнѣнія дѣла мало; въ самомъ крайнемъ случаѣ я только тѣмъ и огрызнусь, что скажу: „врачу! исцѣлися самъ.“

— Ну, сказалъ нотаріусъ, взглянувъ на часы,— мнѣ теперь спорить съ тобой некогда, да и ты слишкомъ раздраженъ сегодня; но, пожалуста, прошу тебя, будь другомъ, подумай на досугѣ о томъ, что я говорилъ. И вѣрь, что все это было сказано никакъ не въ обиду тебѣ, а изъ чистаго къ тебѣ расположенія. Право, оно не такъ глупо, какъ кажется съ перваго взгляда; не даромъ же оно вошло въ общественное сознаніе. И что тебѣ за охота прослыть за непризнаннаго генія!

— Какой же я непризнанный! смѣясь отвѣчалъ Безпаловъ.— Самъ же ты говорилъ, что общество мнѣ

и имя и еще что-то дало. Слава Богу, что хоть талантъ-то я не отъ него получилъ.

Друзья вскорѣ разстались, Иванъ Ѳеогностовичъ, летя въ клубъ на лихомъ извощикѣ, чувствовалъ себя въ отличномъ, возбужденномъ состояніи духа. Онъ былъ доволенъ, что высказалъ пріятелю хотя горькія, но полезныя истины; еще болѣе онъ былъ доволенъ тѣмъ, что анализируя общій вопросъ объ ухаживаньи за актрисами, онъ незамѣтно уяснилъ свои теперешнія и грядущія отношенія къ Фанни Юрьевнѣ; ему думалось, что онъ шелъ доселѣ надлежащимъ путемъ, а покупкой портрета сдѣлалъ рѣшительный шагъ если не къ полному плѣненію ея сердца, но все же къ увеличенію ея благосклонности.

Андрей Николаевичъ рѣшилъ пройтись до дому, въ тупикъ у Малаго Вознесенія, пѣшкомъ. Онъ былъ въ угнетенномъ, даже удрученномъ состояніи духа. Вотъ Подлещиковъ кажется и другъ ему, да не только кажется, но и дѣйствительно его несомнѣнный другъ, готовый всегда ему помочь и выручить изъ затрудненія,—а въ сущности онъ его врагъ, какъ художника.

— Ишь вѣдь имъ чего надо! Успѣха, успѣха во что̀ бы то ни стало; хоть подлизывайся да чтобъ успѣхъ былъ! Тогда, молъ, и мы тебя художникомъ прославимъ. Чудесно, право!.. Что жь, и за то спасибо, что талантъ признаютъ... А что такое талантъ, объ этомъ и не подумаютъ, спустя нѣкоторое время разсуждалъ онъ.—Талантъ-то, господа, простая способность къ извѣстной производительности, къ извѣстному плодоношенію. Вотъ какъ яблонѣ дано яблоки приносить, она и приноситъ. Только дерево, пожалуй, счастливѣй нашего брата. Жизни своей оно не сознаетъ и не ви-

дитъ, хорошенькій ли ребенокъ къ яблочку рученку протянулъ, или свинья свое рыло просунула да вмѣсто яблокъ желудей отъ него требуетъ.

Подходя къ дому, Андрей Николаевичъ подумалъ, что хотя оно еще и не поздно; и девяти еще нѣтъ, а все бы лучше было ему прямо отъ Хотьминской хоть на минуточку домой забѣжать: Лидія такъ интересуется портретомъ.

— А теперь приду я домой, а она меня бранить станетъ. И по дѣломъ.

— А это ты, Андрюша! весело привѣтствовала его Лидія Антоновна.—Ну, спасибо! Чудесно, право чудесно!

И Лидія Антоновна поцѣловала мужа.

— Что чудесно-то?

— Какъ что? Разумѣется, портретъ. Ты думаешь, я утерпѣла? Нѣтъ, слетала, и Лиза мнѣ показала, разказала въ какомъ всѣ были восторгѣ. И про Макрушина.

— Ну, Лидочка, и я тебя порадую: вѣдь портретъ-то я продалъ.

— Какъ, кому? Когда-жь ты успѣлъ?

Безпаловъ разказалъ.

— Ну, слава Богу, сказала Лидія Антоновна и перекрестилась.— Все-таки онъ цѣну порядочную дастъ. И я за тебя рада: хоть не много, а все-жь отдохнешь отъ этой мазни.

Ложась спать, Андрей Николаевичъ чувствовалъ, что у него на душѣ легко.

— Вотъ я все думалъ, кому, молъ, твое художество нужно? А вотъ кому оно нужно: Лидіи. Не деньги ее радуютъ, нѣтъ! Ей именно живопись моя нужна. Что жь, для нея и писать станемъ.

XI.

Затѣи Глафиры Александровны.

Бѣлка тамъ живетъ ручная
Да затѣйница какая.

А. Пушкинъ.

Въ ожиданіи графа, Глафира Александровна стала убираться и прихорашиваться задолго до назначеннаго часа. Особое вниманіе, какъ всегда, она обратила на мантилью; она перебрала ихъ нѣсколько, наконецъ одна мантилька ей угодила. Глафира Александровна спустила ее съ праваго плеча—хорошо, сбросила съ лѣваго—еще лучше; попробовала закутаться въ нее какъ отъ холода до подбородка—оказалось мило; въ заключеніе быстрымъ движеніемъ набросила ее на голову, и тѣмъ осталась нельзя больше довольна.

Окончивъ уборку, Глафира Александровна взглянула на часы; графъ ужь просрочилъ четверть часа.

„А что если этотъ болванъ разсердился, что я его тогда надула“? подумала она.

Шелехова вспомнила, какъ у Ѳенички мысленно назвала его болваномъ, и слѣдомъ—что ей надо во что бы то ни стало оболванить его. Камеръ-юнкеръ Стоумовъ, представившій ей графа, сказалъ, что Ворворищевъ можетъ быть очень полезенъ по ея дѣлу. Именно ради этого дѣла, а не по какимъ инымъ разсчетамъ, Глафира Александровна и рѣшила оболванить графа. Она чувствовала, что сегодня это удалось бы ей; она, впрочемъ, не знала, какъ примется за графа, и вообще не любила заранѣе обдумывать и составлять планы: для этого она была слишкомъ жива; довольно знать, чего

именно желаешь, а остальное, какъ она выражалась, подскажетъ женскій инстинктъ.

Прошло еще двѣ минуты, а графъ не являлся. Глафира Александровна подхватила съ окна довольно истрепанную книжку, повертѣла ее въ рукахъ и даже попыталась было читать, но ничего не поняла. Отбросивъ книжку, она кликнула горничную и справилась, все ли та купила, что̀ было приказано. Прошло еще минуты съ три, въ теченіе которыхъ Глафира Александровна бродила по комнатѣ, пытливо осматривая всѣ вещи, какъ бы ища глазами, не завалилось ли куда-нибудь то, что ей теперь дѣлать. Ничего подходящаго не обрѣталось; Глафира Александровна взглянула въ окно и снова позвала горничную.

— Маша, а что̀ на дворѣ? спросила она.

— Холодновато-съ.

— А вѣтеръ есть?

— Есть-съ вѣтерочекъ небольшой.

— И такой, знаешь, что снѣгъ поддуваетъ, а онъ тебѣ лицо какъ иголками колетъ?

— Именно.

— Такъ давай мнѣ скорѣй одѣваться. Я ужасно люблю такую погоду.

Маша побѣжала, было, за шляпкой, какъ въ передней задребежжалъ звонокъ.

— Ну, вотъ, слава Богу, и графъ! радостно вскричала Маша и бросилась отворять.

„Почему „слава Богу“? Вотъ дура! подумала Глафира Александровна и, быстро подбѣжавъ къ зеркалу, оправилась и затѣмъ, томно опустясь въ низенькое кресло, закуталась въ мантилью до подбородка.

— Ахъ, графъ Петръ Николаевичъ! вотъ неожи-

данность! томно сказала она, едва выставляя изъ-подъ мантильи зябкую ручку.

— Виноватъ, виноватъ! Готовъ на колѣняхъ просить прощенья...

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! перебила его Глафира Александровна,—ради Бога! Я уже предупреждала васъ и прошу, графъ, помнить, что здѣсь вы не у артистки Шелеховой, а у madame Беркутъ.

Графъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее.

— У madame Беркутъ? переспросилъ онъ,—но, стало-быть, есть и monsieur Беркутъ.

— Разумѣется.

— Но кто же онъ?

— Ахъ, Господи! мой мужъ. Вѣдь я говорила же вамъ, что имѣю право называться Шелеховой-Беркутъ. Какой вы, графъ, однако, невнимательный. Ай, ай!

— О, нѣтъ, я отлично помню. Но я воображалъ совсѣмъ другое... Enfin, вѣдь Беркутъ тоже птица?

— Конечно, птица и притомъ важная. Онъ генералъ.

— Генералъ?

— То-есть, вѣрнѣе, какъ говорятъ виленскіе жиды: генералжъ альбо подлѣйшего гатунка.

— Что это значитъ?

— Генералъ, только сортомъ поплоше. Онъ всего статскій совѣтникъ.

— Да?.. И гдѣ же онъ теперь?

— Богъ вѣсть. Гдѣ-нибудь въ пространствѣ.

— И онъ... онъ осмѣлился васъ бросить!

— Ну, про это бабушка на двое сказала.

— То-есть?

— То-есть, можетъ быть, и я его бросила.

— Вы?..

— Да, графъ, что̀ дѣлать, бываютъ такія вѣтреныя женщины, что бросаютъ своихъ мужей, грустно и со вздохомъ сказала Глафира Александровна, и вдругъ, точно опомнившись, вскочила.—Ахъ, Боже мой! Что̀ жь я дѣлаю! вскричала она.—Маша, Маша!

Вбѣжала горничная.

— Маша! скорѣй кофе... Простите, графъ, я вѣдь и забыла, что обѣщала напоить васъ кофе. Видите, какъ я невнимательна. Ай, ай! Да скорѣй же, Маша, поворачивайся. Развѣ ты не видишь, что графъ совсѣмъ замерзъ... Вы озябли, графъ?

— О, нѣтъ, ничуть, увѣряю васъ.

— Не правда, не правда!.. Какъ? вы не озябли? спросила она и пристально поглядѣла ему въ глаза, отчего графъ почувствовалъ легкое содроганіе во всемъ тѣлѣ.—Помилуйте, я просто дрожу отъ холода.

И Глафира Александровна закуталась въ мантилью до подбородка.

— Стали пить кофе, причемъ хозяйка чуть не заподчивала гостя.

— Вотъ вы укоряли меня въ невнимательности, сказалъ графъ.—И я очень радъ, что могу доказать вамъ противное.

— Именно?

— Я прекрасно помню, что̀ вы сказали мнѣ на прощанье у Фанни Юрьевны.

— А я развѣ вамъ что-нибудь сказала?

— Конечно, съ улыбкой отвѣчалъ графъ.—Вы именно сказали мнѣ, что вамъ надо переговорить со мною о многомъ и даже объ очень многомъ. Видите, я отлично помню.

— Удивительно!

— И вы прибавили, что я, конечно, догадываюсь, о чемъ будетъ разговоръ.

— И вы догадываетесь?

— Да, мнѣ кажется, что я не ошибусь.

— Извольте же выкладывать ваши безошибочныя догадки.

Графъ немного помолчалъ, какъ бы обдумывая рѣчь.

— И вы сегодня, не правда ли, едва я вошелъ, тотчасъ же заговорили о monsieur Беркутъ?

— Можетъ-быть.

— Словомъ, я думаю, что вы желаете, чтобъ я помогъ вамъ своими связями и знакомствомъ, и мнѣ, остается прибавить, что съ моей стороны въ этомъ дѣлѣ вы не встрѣтите ничего, кромѣ полнѣйшей готовности.

— Въ какомъ дѣлѣ? съ удивленіемъ спросила Шелехова.

Графъ удивился въ свою очередь.

— Mais enfin... le divorce, сказалъ онъ.

— Разводъ? зачѣмъ? Мы, слава Богу, другъ другу не мѣшаемъ.

— Значитъ, я не отгадалъ?

— Значитъ.

— Но въ такомъ случаѣ о чемъ же вы хотѣли говорить? спросилъ растерявшійся графъ.

— Узнаете послѣ. А раньше извольте отвѣчать на мой вопросъ. Стоумовъ говорилъ мнѣ, что вы очень хорошо знакомы съ нашимъ барономъ.

— Съ барономъ? съ какимъ барономъ?

— Ахъ, Боже мой! съ какимъ! съ нашимъ всемогущимъ и грознымъ театральнымъ барономъ; его правда, никто никогда и нигдѣ не видалъ, но онъ, надо ду-

ать, тѣмъ не менѣе существуетъ. По крайней мѣрѣ, огда начальство хочетъ сдѣлать намъ пакость, то егда говоритъ: „мы готовы для васъ сдѣлать все, но, аете, баронъ“... или просто: „баронъ не хочетъ, баонъ не желаетъ, баронъ не приказалъ“...

— Ахъ, это очень мило!..

— Только не для насъ.

— Я не то... Я хотѣлъ сказать, что вы очень ило все это выразили.

— Я поняла, строго замѣтила Шелехова.— Но олько, пожалуйста, говорите откровенно... дѣло, предупреждаю, для меня очень важное... Итакъ, вы знаомы съ нимъ?

— Но, конечно.

— И онъ уважаетъ ваше мнѣніе? Онъ исполнитъ ашу просьбу?

— Я полагаю, скромно отвѣтилъ графъ.

— Въ такомъ случаѣ, вы обязаны помочь мнѣ...

— Съ величайшей готовностью.

— Позвольте еще разъ. Вы знаете, что Иванъ ванычъ оставляетъ насъ. По крайней мѣрѣ, у насъ о уже ни для кого не тайна...

— Какой Иванъ Ивановичъ?

— Ахъ, Боже мой! ну, нашъ директоръ, управляюій, назовите его какъ хотите...

— Ахъ, да! Ah, ce cher Иванъ Иванычъ!..

— И мнѣ Стоумовъ намекнулъ, что въ такомъ слуѣ вы...

— Я не понимаю.

— Ахъ, пожалуйста, не скрытничайте! Иль, моетъ-быть, это мѣсто для васъ низко? Иль вамъ не ыбается жить въ Москвѣ и управлять нами?

Графъ быстро что-то сообразилъ.

— О, я этого не говорю! отвѣчалъ онъ.—Но, между нами, Стоумовъ, est très indiscret... N'en parlons plus... Enfin, это... это слишкомъ преждевременно, не безъ таинственности прибавилъ графъ.

— Такъ или иначе... все равно, вы обѣщаете помочь мнѣ?

— Повторяю вамъ, милѣйшая Глафира Александровна, что всегда и во всемъ и притомъ съ величайшей готовностью,—отвѣчалъ графъ, зная, что готовность ровно ничего не стоитъ.

— Я хочу перейти въ драму.

— Вы?.. зачѣмъ?

— Вы, думаете, что у меня нѣтъ таланта?

— О, нѣтъ, нисколько!.. Я, собственно, хотѣлъ спросить: на какія роли?

— На трагическія.

Графъ слегка остолбенѣлъ. Онъ вспомнилъ Рашель, и не нашелъ въ ней никакого сходства съ Глафирой Александровной.

— Но мнѣ кажется, что вамъ больше подойдутъ роли кокетокъ.

„Каковъ? Еще не директоръ, а ужь распоряжается!“ мало со злобой, съ остервенѣніемъ подумала Глафира Александровна.

— Почему вы это думаете? сухо спросила она.

— Но... я испытывалъ это на себѣ, отвѣчалъ графъ и былъ весьма радъ своей любезной находчивости.

— Ахъ, какія глупости! вскричала Глафира Александровна; сбросивъ на кресло мантилью, она вскочила и величественно прошлась предъ графомъ.—И съ чего вы взяли, горячо заговорила она,—что трагическая

актриса должна быть непремѣнно сухой селедкой или какой-то безотвѣтной страдалицей.

— Но, я...

— Ахъ, пожалуста, не оправдывайтесь. Я знаю, я прекрасно знаю, что вы думаете то же, что̀ и всѣ другіе. „Ахъ, она слишкомъ полна и потому не можетъ быть трагическою актрисой“. Но съ чего вы выдумали, что полная женщина не можетъ обладать кипучими страстями? А, что̀ же нужно для трагической актрисы, какъ не страсти? Или леди Макбетъ, по вашему, была худенькою, невзрачною женщиной?

— Lady Macbeth? съ чистѣйшимъ англійскимъ акцентомъ воскликнулъ графъ.—О, да, lady Macbeth!

Онъ припомнилъ какую-то Итальянку въ этой роли, правда довольно полную, но длинную, сильно потрепанную и отмѣнно крикливую, и въ ней не было никакого сходства съ Глафирою Александровной.

— Наконецъ, Ристори, съ тѣмъ же жаромъ продолжала Шелехова,—надѣюсь, графъ, что и вы не откажете ей въ трагическомъ талантѣ... Что̀ жь и она, по вашему, была худѣе ножа?

Графъ припомнилъ, что Ристори отнюдь не отличалась худобой.

— Ристори. О, да! это очень удачный примѣръ.

Для графа аргументъ „бывшаго примѣра“ былъ неопровержимъ.

— Надѣюсь, важно сказала Глафира Александровна и сѣла.—Итакъ, дѣло кончено. Вы даете мнѣ слово?

— Ma parole d'honneur.

— Прекрасно. Больше и говорить не о чемъ.

— Какъ? воскликнулъ графъ.—Вы, стало-быть, звали меня единственно затѣмъ, чтобъ поговорить объ этомъ.

— Опять не отгадали! со смѣхомъ сказала Глафира Александровна.—Нѣтъ, у меня есть предметъ поинтереснѣе.

— Смѣю спросить, что же?

— Мы станемъ, говорить о васъ самихъ, графъ. О вашемъ влюбчивомъ и непостоянномъ сердцѣ.

Графъ такъ и просіялъ.

— Я слушаю, съ покорнымъ видомъ сказалъ онъ.

— Знаете, графъ, что мнѣ въ васъ не нравится? То, что вы ужасный притворщикъ.

— Я? въ чемъ же?

— Вы притворяетесь, и очень неискусно, будто ухаживаете за мной.

Графъ хотѣлъ было протестовать, но Глафира Александровна протянула ладонь, какъ бы съ желаніемъ закрыть ему ротъ.

— И я знаю, въ кого вы влюблены. Не отнѣкивайтесь: вы безъ ума отъ Ѳенички, и я сейчасъ докажу вамъ...

— Клянусь...

— Клятвы не помогутъ. Мнѣ стоило видѣть васъ всего разъ вмѣстѣ, чтобы понять все. Вопервыхъ, вы такъ горячо защищали ее въ томъ, что она ни къ селу, ни къ городу выпялилась въ амазонку.

— Но я же нарочно; надо же мнѣ было замаскировать, что я не былъ въ спектаклѣ.

— Вовторыхъ, настойчивѣе продолжала Глафира Александровна,—вы сказали Безпалову, что это дѣлаетъ честь его вкусу, что онъ нарисовалъ именно ее...

— Но это просто вѣжливая фраза.

— Однако тутъ были и другія, съ кого онъ могъ снять портретъ, но вы о нихъ и не вспомнили, отпе-

чатала танцовщица.—Втретьихъ, вы настойчиво добивались, кому будетъ принадлежать портретъ, или вѣрнѣе: кому выпадетъ высокая честь преподнести его Ѳеодосьѣ Егоровнѣ.

— Но это дѣло простаго любопытства.

— Любопытства? охъ, такъ ли? А какъ вы изволили взглянуть на бѣднаго Подлещикова? Я, право, поопасалась за его жизнь.

— Mais enfin... Но увѣряю васъ, что это дѣло простаго самолюбія... Вы не видали, какъ онъ... ce notaire insolent... взглянулъ на меня!..

— Тѣмъ не менѣе, вы вѣдь купите портретъ?

— Я не желалъ бы... но теперь я просто принужденъ... Не могу же я, согласитесь сами, уступить этому...

— Что и требовалось доказать, съ торжествующимъ видомъ возгласила Шелехова.—Я, впрочемъ, вовсе не въ обидѣ, графъ. Я женщина строгихъ принциповъ, и поклялась сохранить вѣрность моему невѣрному супругу. Мало того, я даже готова вывести васъ изъ затруднительнаго положенія. Вы вѣдь не знаете Безпалова?

— Нѣтъ, смущенно отвѣчалъ графъ.

— А вы помните, что я просила его придти на-дняхъ ко мнѣ обѣдать?..

— Дѣйствительно, я вспоминаю...

— Вы видите, какъ дальновидна женская дружба, хотя вы въ нее и не вѣрите. Итакъ, поторговаться за васъ?

— Я принужденъ васъ просить... Но вѣрьте, что тутъ одно самолюбіе, и еслибъ можно было отступить безъ позора...

— Вѣрю, вѣрю. Итакъ, по рукамъ. А теперь... вѣдь вамъ очень жарко, графъ?

— Мнѣ? удивился Ворворищевъ.

— Да, вамъ, вамъ.

— Но право же...

— Какъ? вамъ не жарко?—воскликнула, вскакивая съ мѣста, Шелехова и, близко склонивъ лицо къ нему, такъ поглядѣла графу прямо въ глаза, что того мгновенно бросило въ жаръ.—Ну, и разговаривать нечего: ѣдемте кататься. Я сейчасъ.

И она выбѣжала изъ комнаты.

— Какая странная женщина! — подумалъ графъ, оставшись одинъ, — но, coûte que coûte, а она будетъ моею!

VII.

Обѣдъ и его послѣдствія.

Замыслилъ новую затѣю Дукъ.
А. Пушкинъ.

Графъ Петръ Николаевичъ весьма бы удивился и, пожалуй, оскорбился даже, еслибъ узналъ, что Глафира Александровна черезъ нѣсколько дней, въ ожиданіи Безпалова, убиралась и охорашивалась передъ зеркаломъ съ такимъ же тщаніемъ, какъ и поджидая его собственное сіятельство. Только нынче Шелехова была въ другомъ, болѣе русскомъ, какъ ей думалось, настроеніи, а потому вмѣсто мантилій потребовала косынокъ, изъ которыхъ двѣ,—одна голубая, а другая ярко-алая,—остановили ея вниманіе.

Безпаловъ явился какъ разъ въ назначенный часъ. Въ прихожей его встрѣтила женщина среднихъ лѣтъ

съ постномасленнымъ лицомъ и толсто-подвязанною щекой. Андрей Николаевичъ при видѣ ея даже вздрогнулъ; Ему вспомнилось, какъ однажды тутъ же, въ пріемной, его встрѣтила эта самая во всѣхъ отношеніяхъ непріятная дама, объявила, что Глафира Александровна проситъ его подождать, и послѣ почти полуторачасоваго томленія, сказавъ, что Глаша вѣрно не будетъ, угостила его простывшимъ обѣдомъ и назидательной бесѣдой о протодьяконахъ, понамарицахъ и стихарныхъ дьячкахъ.

—. Глафиры Александровны видно опять нѣтъ дома?—съ безпокойствомъ спросилъ художникъ.

— Не знаю-съ, я сама только-что прибыла, сурово отвѣчала подвязанная дама.

Безпаловъ подумалъ уже, не лучше ли ему повернуть оглобли назадъ, какъ вбѣжала рѣзвая Маша и весело протораторила, что барыня дома и просятъ только чуточку обождать. Андрей Николаевичъ вошелъ въ гостиную и, по свойственной ему, уже извѣстной читателю, любознательности, занялся изслѣдованьемъ комнаты. Первымъ дѣломъ онъ обратилъ вниманіе на книги; онѣ безпорядочной кучей лежали на этажеркѣ; двѣ или три валялись на окнахъ, а одна даже угодила подъ столъ. Тутъ было нѣсколько томовъ въ богатыхъ переплетахъ, очевидно подарковъ, отнюдь, впрочемъ, не береженыхъ; переплеты были попорчены и попачканы да и внутри, если бы заглянуть, оказались бы не малые изъяны; книги безъ переплета были въ растерзанномъ видѣ, съ вырванными и разорванными листками. Тутъ были сочиненія и хорошихъ и пустыхъ авторовъ, какая-то популярно-медицинская брошюра, отчетъ о надѣлавшемъ шума процессѣ съ закладкой на рѣчи извѣстнаго адвоката, причемъ его фамилія была дважды

подчеркнута синимъ карандашемъ, и даже томъ, другой модныхъ ученыхъ сочиненій.

„Гм... скажите, какія книжки почитываетъ, съ удивленіемъ подумалъ Андрей Николаевичъ.—Положимъ, я не великой учености человѣкъ, а все же семь классовъ гимназіи прошелъ, да и то мнѣ не подъ силу читать! Впрочемъ, чорта съ два она ихъ читаетъ!—продолжалъ онъ.—Такъ, для блезира валяются, или какой-нибудь профессорокъ, или передовичекъ за ней ухаживаетъ да думаетъ книжкой на грѣхъ преклонить".

Окончивъ осмотръ библіотеки, Андрей Николаевичъ обратилъ вниманіе на другія вещи. Передъ зеркаломъ стояло два отличныхъ подсвѣчника; одинъ былъ погнутъ, а другой безъ розетки; дорогой абажуръ на лампѣ былъ подпаленъ и закапанъ керосиномъ. Словомъ, на всемъ лежалъ тотъ же отпечатокъ неряшливой франтоватости, что̀ и на книгахъ.

— Ну, вотъ спасибо, что не надулъ!—возгласила Глафира Александровна.—Да чего тутъ балакать? Пойдемъ прямо за столъ. Только не взыщи ужь на моемъ убогомъ вдовьемъ угощеньицѣ.

Начавъ въ такомъ древле-русскомъ тонѣ, Глафира Александровна ужь и продолжала въ немъ и все время почти говорила Безпалову *ты*; впрочемъ, по днямъ на нее нападало, и она ни съ того, ни съ сего становилась даже съ малознакомыми мужчинами на *ты*, находя, что ей такъ ловче.

— А водку потребляешь? Пей, батюшка, пей, не церемонься! Я сама съ тобой полъ рюмочки кюммелю хлопну.

Они усѣлись за столъ.

— Я вѣдь на васъ, сударь, до сихъ поръ сердита,

объявила Глафира Александровна.

— За что̀ такъ?

— Ишь, будто и не знаетъ!.. А не могъ съ меня портрета написать?

— Случай такой подошелъ...

— Разказывай!..

— Право-же.

И Безпаловъ объяснилъ, какъ было дѣло.

— Ой, ой, ой! Какую ахинею развелъ! И жену припуталъ! Просто поволочиться, шельмецъ, задумалъ! Ну, ужь кайся лучше.

Андрей Николаевичъ забожился, что у него того и въ мысли не было, и что хотя Хотьминская, спору нѣтъ, хорошенькая, но ему она не настолько нравится, чтобъ онъ сталъ ухаживать за ней.

— Полно! Макрушинъ не даромъ-же сбрехнулъ.

— Макрушинъ—человѣкъ пьяный; мало-ли ему что̀ во хмѣлю причудится.

— Ну, ладно ужь, всѣ вы мужчины подлецы. А съ меня-то спишешь?

— Съ великимъ удовольствіемъ.

— Гляди же, не надуй! Я тебѣ за то ужь заранѣ сюрпризъ приготовила: на Ѳеничкинъ портретъ покупателя нашла.

— Ой ли? И сильно охотится?

— Рвется просто. А ты много-ль хочешь?

— Спѣшить пока не къ чему, иносказательно отвѣчалъ Андрей Николаевичъ.

— Тыщу хочешь?

— Деньги хорошія. И чистоганомъ?

— Вотъ этого не скажу. Чортъ его знаетъ, при деньгахъ ли онъ. Мнѣ сдается, что векселекъ предло-

жить. Ну, да мы какъ нибудь дѣло уладимъ. Я во всякомъ случаѣ въ пятистахъ ручаюсь, больше не могу. Идетъ, что ли?

— Да кто покупатель?

— Не все тебѣ равно?

— Я и самъ догадаюсь. Графъ, какъ бишь его? Воротищевъ, что ли?

— Почему ты думаешь?

— Онъ же все лопошилъ тогда: кому да для кого?

— Ну, онъ, такъ онъ. Что жь, по рукамъ что ли?

— Невозможно: портретъ ужь проданъ.

— Эвося! Когда жь ты успѣлъ?

— Въ тотъ же день.

— Неужто Подлещиковъ?

— Прямо отъ нея въ трактиръ зазвалъ, тамъ и покончили.

— Эхъ! и нельзя этого передѣлать?

— Невозможно.

— А если графъ накинетъ?

— Хоть бы тысячу еще давалъ, нельзя: слово далъ.

— Вотъ досада! Ну, голубчикъ, ну, миленькій! устрой какъ нибудь. Мнѣ это такъ надо, что и сказать нельзя.

— Да зачѣмъ вамъ?

— Какъ бы тебѣ сказать-то? Вотъ бѣда-то, дѣло секретное.

Наконецъ, послѣ долгихъ отговорокъ и обиняковъ, взявъ предварительно съ Андрея Николаевича чуть не клятву въ сохраненіи тайны, Глафира Александровна объявила, что графъ будетъ у нихъ директоромъ, и ей выгодно услужить ему.

— Кто? онъ-то директоромъ? вскричалъ Андрей Николаевичъ.—Этотъ дуракъ?

— Ну, ужь сейчасъ и дуракъ! Не глупѣй другихъ, чай. Впрочемъ, намъ ужь судьба такая; знаешь, какъ въ анекдотѣ деньщикъ офицеру докладывалъ: умныхъ по умнымъ, а меня къ вашему благородію. Да этотъ еще ничего, смирный, его вокругъ пальца обмотать можно. А то у насъ не умнѣе былъ, да страсть какой свирѣпый; недолго, впрочемъ, насидѣлъ. Разъ какъ-то къ намъ въ балетъ на репетицію актриса Шлюпкина пришла, о бенефисѣ съ нимъ что-ль поговорить. И что они тамъ говорили, намъ не слышно было, а только видимъ, что лица у нихъ у обоихъ раскраснѣлись и стало-быть разговоръ идетъ горячій. И вдругъ онъ какъ заоретъ: „режиссеръ! веревокъ сюда! связать ее!“ Намъ такъ смѣшно это показалось, что мы всѣ фыркнули. Онъ—въ обиду, выговоръ намъ давать сталъ, и въ заключеніе говоритъ: „Вы, mesdames, никакой вѣжливости не понимаете. Гдѣ только вы воспитывались?“ Я тогда совсѣмъ молоденькой была, только что изъ школы выскочила, но бойкости мнѣ и тогда не занимать было и дерзить умѣла. Выскочила я впередъ, присѣла и говорю: „въ театральномъ училищѣ, ваше превосходительство“.

— Что жь онъ?

— Ничего, скушалъ.

— Ну, вотъ такъ-то лучше. А то подслуживаться! Да вамъ и не къ лицу: вы у насъ одна изъ лучшихъ танцорокъ...

— Солистокъ, поправила Шелехова.

— Значитъ, чиномъ выше подымай? тѣмъ паче, прислуживаться не слѣдъ.

— Ахъ, ничего ты не понимаешь! Оставайся я въ балетѣ, я бы въ усъ себѣ не дула. А я хочу въ драму перейти.

— Часъ отъ часу не легче. Да вамъ, барыня, извините, поди двадцать пять стукнуло?

— Скажемъ для вѣрности: и всѣ двадцать семь.

— Поздненько карьеру-то перемѣнять. Вѣдь годика два, три все жь надо поупражняться, чтобъ къ новому дѣлу привыкнуть. Да какія роли вы станете играть?

— Трагическія.

— Что?

Андрей Николаевичъ такъ и отъѣхалъ со стуломъ отъ стола.

— Ну, да, трагическія, рѣзко крикнула Глафира Александровна.

— Не къ лицу онѣ вамъ, барынька. Лицо у васъ веселое, смѣяться хочетъ, да и сами вы, какъ говорятъ купцы, женщина солидарная, въ полномъ тѣлѣ находитесь, даже тетёхой васъ назвать хочется. Вотъ какъ вы русскую пройдетесь, да руками поведете, да плечами заговорите,—тутъ, точно, всякому мужчинѣ капутъ, отдай все да и мало!

— Ишь какъ, шельмецъ, расписываетъ! Вотъ и графъ то же толковалъ, да я его срѣзала.

— Чѣмъ такимъ?

— А леди Макбетъ. Что жь, спрашиваю, развѣ она сосулькой обглоданной была?

— А онъ и обомлѣлъ?

— А по твоему какъ?

— А я вамъ скажу, отчего онъ обомлѣлъ. Вспомнилось, видно, ему, что Макбетъ женѣ говоритъ...

— Что̀ такое? припоминая сама, что̀ бы это могло быть, спросила Глафира Александровна.

— „Рожай мнѣ только мальчиковъ!“ продекламировалъ Безпаловъ.—Какъ ему это пріятное занятіе припомнилось, тутъ...

Глафира Александровна вспыхнула, точно хотѣла вскинуться на Безпалова, но вдругъ прыснула со смѣха.

— Вотъ срѣзалъ, такъ срѣзалъ! сказала она.— Только стой, не торжествуй еще. А Ристори, что жь, худощавая, что ль, была?..

— Да Ристори-то сперва трагической актрисой стала, а потомъ ужь полноту пріобрѣла, убѣдительно отвѣчалъ Безпаловъ.

— Такъ, по твоему, это дѣло бросить надо?

— Выходитъ, что такъ.

— А вѣдь я хотѣла просить тебя, чтобъ ты меня леди Макбетъ нарисовалъ.

— Нѣтъ, ужь я лучше васъ Царь-Дѣвицей намалюю.

— Нѣтъ, коли на то пошло, такъ рисуй меня дѣвкою или бабою простой. Будто я, понимаешь, съ кузовкомъ по грибы собралась. И какъ мило еще выйдетъ! Стой, я тебѣ сейчасъ покажусь.

Глафира Александровна выскочила изъ-за стола и убѣжала. Вскорѣ она вернулась съ двумя шелковыми косыночками, и стала ихъ всячески прилаживать къ лицу, приговаривая: „а вѣдь мило?“ или „а вѣдь хорошо?“

— Да полно вамъ предо мной дьяволить, сказалъ наконецъ художникъ,—я человѣкъ женатый.

— Да, разказывай, женатый! А вотъ въ Хотьминской меня не разувѣришь.

Андрей Николаевичъ и разувѣрять не сталъ.

— Однако, что это я тебя одними баснями кормлю? вспомнила Глафира Александровна.—Кушай, батюшка, кушай.

— Я сытъ.

— Ничего, кушай себѣ съ Богомъ; я и сама покушаю.

И Глафира Александровна стала ѣсть съ такимъ аппетитомъ, что Андрей Николаевичъ, глядя на нее, и самъ разохотился. Между тѣмъ русское настроеніе съ нея слетѣло, и она заговорила въ другомъ тонѣ.

— А, знаете, Андрей Николаичъ, сказала она,— мнѣ все-таки досадно, что не удалось всучить портретъ графу.

— Да что вамъ?

— Нѣтъ, я не потому. А тогда бы ужь я заставила его повѣрить, что онъ влюбленъ въ Ѳеничку.

— Вотъ на! А вѣдь мнѣ, грѣшнымъ дѣломъ, показалось, что онъ больше за вами пріударяетъ, а портретъ хочетъ купить такъ, изъ фанаберіи.

— Точно, что изъ фанаберіи, и то вѣрно, что за мной, да въ томъ-то и бѣда моя. Хотя я ни въ одной Европѣ привилегіи на безпорочное житіе не брала, а мнѣ, по моимъ дѣламъ, это совсѣмъ лишнее; притомъ и гнусненекъ онъ мнѣ кажется, какъ говоритъ дѣвица Пѣжинова. А Ѳеничкѣ онъ бы какъ разъ подъ стать, она тоже, знаете, изъ такихъ: парле франсе, команъ ву портеву.

Безпаловъ разсмѣялся.

— Слушайте: скажите ей, какъ будто невзначай, что вы слышали, что графъ навѣрно будетъ у насъ директоромъ.

— Да вѣдь это секретъ.

— Былъ секретъ, а теперь нѣтъ. Такъ скажете?

— Сказать мнѣ не трудно, да что изъ того выйдетъ?

— А то, что она сама за нимъ пріударитъ.

— Вы думаете?

— Навѣрное. Не вѣкъ же ей по клубамъ да провинціямъ шататься; на казенныя хлѣба, чай, тоже хочется.

— Ну, вотъ видите. И выходитъ, что мнѣ предъ Подлещиковымъ точно и неловко будетъ.

— А онъ сильно въ нее втюрился?

— Съ чего жь бы онъ портретъ сталъ покупать?

— А денегъ у него много?

— Не считалъ, а должно-быть есть, когда на такія дѣла пошелъ.

— Гм. И я тоже слышала, что ему повезло. Жаль же его.

— Что такъ?

— Разоритъ она его.

— О?..

— Не то, чтобъ обобрала, на это у нея ума не хватитъ. А на пустяки растранжиритъ, такъ что ни у него, ни у нея гроша не останется.

— А все-таки вы ужь лучше сами.

— Что сама?

— Про графа-то скажите.

— Сказала бы, да мнѣ она, чего добраго, не повѣритъ. Глупа, глупа, а тоже хитренька.

„Должно быть и принадула же ты ее“, подумалъ Андрей Николаевичъ.

— Впрочемъ, что васъ въ бабье дѣло путать! Я и такъ устрою, рѣшила Глафира Александровна.

Подали кофе. Они довольно долго и молча просидѣли за нимъ. Наконецъ хозяйка зѣвнула.

— А что, старичокъ Божій, сказала она,—шелъ бы ты домой: изъ кушаньевъ больше ничего не будетъ.

Они поглядѣли другъ на друга и расхохотались.

— Откуда это? спросилъ Андрей Николаевичъ.

— Изъ „Горькой Судьбины“.

— Ахъ, да!

И они расхохотались пуще прежняго.

— Ну, и прощайте, Глафира Александровна.

— Прощайте, Андрей Николаевичъ. Заходите какънибудь; со мной будто болтать и не совсѣмъ скучно; все, чай, веселѣе, чѣмъ съ Фаничкой?

— Правда.

— А отчего это? Ну-ка, отвѣчайте.

Безпаловъ подумалъ.

— Оттого, должно быть, отвѣчалъ онъ,—что Фанни Юрьевна все одну и ту же роль играетъ, а вы, какъ котенокъ, или ребеночекъ играетесь.

— А вѣдь, поди, и правда. И откуда ты такой умный?

— Оттого, что какъ образа малюю, дѣлать мнѣ нечего, я все и думаю. Вотъ ума и набираемся.

По уходѣ Андрея Николаевича Глафирѣ Александровнѣ какъ будто и взгрустнулось; сначала она сама не могла рѣшить, по комъ или отчего. Потомъ ей точно что-то мелькомъ припомнилось, и ею овладѣло безпокойство.

— Маша, закричала она, — пойдемъ, я тебѣ почитаю.

Онѣ пошли въ спальню. Глафира Александровна отворила комодъ и вытащила изъ-подъ бѣлья мятую-

перемятую тетрадку. То была роль „леди Макбетъ“. Шелехова съ жаромъ зачитала; Маша, по обычаю, восторгалась. Все шло хорошо, какъ вдругъ чтица натѣнулась съ размаху на роковыя слова о рожаніи мальчиковъ. Она не въ силахъ была сдержаться и расхохоталась.

— Вотъ такъ срѣзалъ, шельмецъ! воскликнула она къ удивленію Маши и слѣдомъ распорядилась, чтобы горничная зажгла свѣчи на письменномъ столѣ.

Твердымъ и размашистымъ почеркомъ писала она къ графу. Она съ грустью извѣщала его, что, несмотря на всю ея поспѣшность, портретъ, оказалось, уже купленъ „ненавистнымъ графу нотаріусомъ“. „Впрочемъ, продолжала она,—если вы говорили правду, что не любите Ѳенички, то избавленіе отъ такого излишняго расхода должно васъ радовать“. Затѣмъ она совѣтовала ему, pour sauver les convenances и для успокоенія самолюбія, подарить Ѳеничкѣ какую-нибудь бездѣлушку. Письмо оканчивалось пожеланіемъ успѣха „въ общемъ нашемъ дѣлѣ“. Плутовка подчеркнула послѣднія слова.

Письмо было немедленно отправлено съ Машей. Графъ воротился поздно и, прочтя записку, страшно разбѣсился на нотаріуса; онъ даже выругался, какъ ругаются Французы въ самомъ крайнемъ случаѣ. Впрочемъ, перечтя письмо на слѣдующее утро, „на свѣжую голову, мудрую“, онъ взглянулъ на дѣло хладнокровнѣе. Возможность отдѣлаться дешевою бездѣлушкой показалась ему счастливою мыслью.

„И притомъ, подумалъ графъ, подымая правую ногу и трясясь на лѣвой,—и притомъ, продолжалъ онъ, совершая то же упражненіе на правой ногѣ, приподнявъ лѣвую,—я могу отлично удружить нотаріусу. Онъ,

конечно, разсчитываетъ сдѣлать сюрпризъ, а я... Хи, хи, хи!"

И графъ, хихикая и потирая руки, извиваясь прошелся по комнатѣ. Затѣмъ онъ присѣлъ къ столу и начерталъ по-французски письмо къ Фанни Юрьевнѣ, именуя ее „Chère madame". Онъ писалъ, что безконечно опечаленъ тѣмъ, что, несмотря на всю поспѣшность, онъ не можетъ поднести ей ея прелестнаго портрета. Болѣе счастливый соперникъ, благодаря единственно своей дружбѣ съ художникомъ, сумѣлъ предупредить его. Но графъ попрежнему остается поклонникомъ ея несравненной красоты и надѣется доказать свою преданность другимъ способомъ.

Тутъ графъ остановился и подумалъ, что надо бы еще что-нибудь прибавить, une phrase bien tournée; но ему ничего не приходило въ голову. Онъ машинально взялъ письмо Глафиры Александровны и сталъ вертѣть его въ рукахъ, какъ бы ища въ немъ вдохновенія. Его глаза упали на подчеркнутыя слова „въ общемъ нашемъ дѣлѣ".

— Она, конечно, намекаетъ на мое предстоящее директорство, сказалъ графъ про себя.—Что, если я воспользуюсь этимъ мотивомъ?

И, не долго думая, графъ добавилъ въ письмѣ, что, восторгаясь ея красотой, онъ нисколько не забываетъ объ ея отличномъ талантѣ и отъ души желаетъ видѣть его въ болѣе достойной обстановкѣ; онъ полагаетъ, что смѣетъ питать полную увѣренность, что его желаніе осуществится въ очень недалекомъ будущемъ.

Письмо было немедленно отправлено съ ливрейнымъ лакеемъ, съ приложеніемъ букета, отнюдь, впрочемъ, не роскошнаго. Воротясь съ репетиціи, Фанни

Юрьевна довольно бѣгло прочла записочку. Она была до того довольна, что портретъ будетъ ея, что не обратила вниманія ни на хитрость графа, ни на его пожеланія, ниже на букетъ. За то она осталась очень довольна Иваномъ Ѳеогностовичемъ и даже назвала его про себя душкой.

Случилось, что Подлещиковъ въ тотъ же день заѣхалъ къ Фанни Юрьевнѣ.

— Ахъ, я не знаю, какъ благодарить васъ, сказала она ему съ первыхъ же словъ.

— За что?

— Какъ за что? Конечно, за портретъ. Мнѣ такъ хотѣлось, и я никогда не забуду...

— Ахъ, этотъ Андрюша! Не могъ не проболтаться!—не въ силахъ будучи побороть досады, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

Фанни Юрьевна струсила; она боялась, когда мужчины сердятся.

— Ахъ, это не онъ! Право, не онъ!..

— Но кто же?

— Мнѣ написалъ графъ.

— Графъ? нахмурясь, переспросилъ Подлещиковъ.

— Хотите, я покажу вамъ письмо?

Такой простодушный знакъ довѣрія не могъ не тронуть Ивана Ѳеогностовича.

— Если это вамъ не въ трудъ, съ самою нѣжною улыбкой сказалъ онъ.

Фанни Юрьевна подала ему письмо.

— Гм... пробурчалъ про себя Иванъ Ѳеогностовичъ, оканчивая чтеніе письма.—А на что онъ намекаетъ въ концѣ? Вы не догадываетесь?

— Я такъ обрадовалась, что портретъ будетъ мой,

что право на остальное не обратила вниманія, съ милою откровенностью, отъ которой чуть не растаяло сердце Ивана Ѳеогностовича, сказала Хотьминская. — Позвольте письмо.

Фанни Юрьевна внимательно дважды перечла письмо.

— Право, я не понимаю.

— Быть-можетъ, это простая свѣтская любезность?

— Конечно... или... Впрочемъ, нѣтъ, не понимаю.

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ доволенъ, что порадовалъ Фанни Юрьевну; онъ еще болѣе былъ доволенъ тѣмъ, что когда на прощанье онъ попросилъ у нея позволенія поцѣловать ручку, то она тепло поцѣловала его въ голову. Бѣдняжка, онъ и не подозрѣвалъ, что за такой подарокъ Фанни Юрьевна охотно бы поцѣловала его въ губы!

Казалось, все бы хорошо, а Иванъ Ѳеогностовичъ, выйдя отъ Хотьминской, чувствовалъ себя неспокойнымъ и озабоченнымъ. Ему было непріятно, что сюрпризъ, собственно говоря, не удался. Онъ думалъ поднести портретъ въ день предстоявшаго бенефиса; теперь же поднести подарокъ, о которомъ она знаетъ и за который такъ тепло благодарила, казалось ему неловкимъ. Для бенефиса надо было придумывать новый, и онъ уже не выйдетъ такой оригинальный. Притомъ, не взирая на страсть, Иванъ Ѳеогностовичъ былъ человѣкъ разсчетливый и бережливый, и новый значительный расходъ ему вовсе не улыбался. Больше же всего Подлещикова озабочивали заключительныя слова графскаго письма. Подъ ними скрывается какой-то намекъ. И была ли Фанни Юрьевна вполнѣ откровенна съ нимъ? У нея вырвалось какое-то двусмысленное *или*, которое она, очевидно, замолчала.

„Нѣтъ, и портрета и бенефиснаго подарка, всего этого мало, подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ. — Разумѣется, своимъ намекомъ графъ хотѣлъ польстить ея самолюбію. Гм... а мы станемъ дѣйствовать прямо на самолюбіе, это самый вѣрный путь".

И Иванъ Ѳеогностовичъ началъ строить разные планы, о которыхъ въ свое время будетъ доложено читателю.

VIII.

Два Эпизода.

> Dans les drames, les épisodes doivent être courts, tandis que l'epopée peut les développer tout à son aise.
>
> *Aristote.*

Портретъ близился къ концу; Андрею Николаевичу желалось узнать о немъ мнѣніе того своего пріятеля, котораго въ разговорѣ съ женой онъ звалъ иносказательно докторомъ. И вотъ, волей-неволей, намъ приходится познакомиться съ новымъ лицомъ.

Назначивъ, по соглашенію съ Фанни Юрьевной, день для осмотра портрета, Безпаловъ написалъ доктору записку. Самое простое было-бы отправить ее по городской почтѣ, но Андрей Николаевичъ, подобно многимъ россіянамъ, столько разъ не отвѣчалъ по лѣни, безпечности, разгильдяйству или нежеланію, на нужныя письма и до того часто, въ свое оправданіе, сваливалъ вину на почту, будто бы затерявшую его отвѣтъ, что наконецъ и самъ увѣровалъ въ ея неисправность. Онъ придумалъ слѣдующій, казавшійся ему самымъ удобнымъ и вѣрнымъ, способъ отправки письма. На углу

тупика, гдѣ онъ жилъ, по московскому обычаю, стояла цѣлая семья извощиковъ; Безпаловъ выбралъ изъ нихъ самаго толковаго и непьющаго, Василія, и послалъ его съ письмомъ, разъяснивъ ему подробно, даже можетъ быть черезчуръ подробно, адресъ доктора.

Швейцаръ при меблированныхъ комнатахъ, гдѣ стоялъ докторъ, тѣмъ не менѣе письма не принялъ, объявивъ, что никакого доктора у нихъ нѣтъ, что по фамиліи г. Голубцовъ точно есть, но такого, чтобы доктора Голубцова не имѣется.

— Да тебя къ дохтуру-ли еще послали? спросилъ онъ извощика.

— Къ дохтуру; это точно, что къ дохтуру. Самъ баринъ наказывалъ; барыня, что-ль, больна; поаккуратнѣе молъ свези.

Болѣзнь барыни была ученымъ домысломъ Василія.

— А если къ дохтуру, такъ я тебѣ вотъ-что скажу; видишь наискосокъ, тутъ же на Тверской, въ номерахъ, Лисабонъ прозываются, только не нашего хозяина, точно что дохтуръ стоитъ; только не Голубцовъ, а Соколовъ прозывается, сказалъ швейцаръ по той собственно причинѣ, что по условію получалъ съ Соколова малую мзду за рекомендацію каждаго паціента.

Извощикъ подумалъ, подумалъ и окончательно убѣдясь, что барыня дѣйствительно больна, подалъ письмо въ Лисабонскіе номера.

Не мудрено, что Андрей Николаевичъ, явясь на другое утро въ назначенный часъ, не засталъ Голубцова дома.

— Да развѣ вчера извощикъ письма не привозилъ? спросилъ онъ швейцара.

— Письмо точно что привозилъ, да какъ онъ все

толковалъ, что барыня очино больны, и велѣно поаккуратнѣе, такъ я его къ дохтуру Соколову и отправилъ. Чудесный дохтуръ, не изволите знать? Прахтика огромнѣющая.

Безпаловъ какъ схватился за шапку при имени доктора Соколова, такъ и стоялъ.

— А развѣ они къ вамъ не заѣзжали? полюбопытствовалъ швейцаръ.

— И куда онъ только провалился! воскликнулъ Безпаловъ.

— По больнымъ, надо полагать, поѣхали; безпремѣнно къ вамъ заѣдутъ, ужь за это побожиться можно. Такъ, развѣ позадержались гдѣ малость. Отмѣнный дохтуръ!

— Да ты про кого? Я о Голубцовѣ спрашиваю.

— А г. Голубцовъ только-что вышли, пятію минутами не застали.

— Одинъ?

— Нѣтъ, какой-то съ ними; не то, чтобъ баринъ настоящій, и ежели скажемъ такъ, что ахтеръ, такъ не ахтеръ, потому—не бритый и невзрачный такой, такъ что даже ихняго лица описать невозможно.

— Куда бы онъ пошелъ? вслухъ ломалъ голову Андрей Николаевичъ.

— Не въ трактиръ-ли; этотъ, что съ ними, на счетъ новой водки будто толковали.

Андрея Николаевича точно озарило, и онъ полетѣлъ къ Тѣстову.

Тамъ, въ комнатѣ налѣво, за угольнымъ круглымъ столомъ, на насиженномъ мѣстѣ, обрѣтался черноволосый, невысокій, худощавый и стройный человѣчекъ, съ умнымъ лицомъ и спокойными голубыми глазами, изъ

породы извѣстной подъ именемъ тараканьихъ мощей. То и былъ докторъ Голубцовъ. Подлѣ него помѣщался господинъ, вида котораго невозможно было описать, по выраженію швейцара. Особенно трудно это было въ настоящую минуту, ибо господинъ сутуловато держалъ голову книзу, при чемъ длинныя космы, падая на лицо, закрывали его до половины, а чернявенькая бородка топорщилась впередъ и даже наровила на концѣ завиться колечкомъ, точно она была не унылой бородкой, а веселымъ собачьимъ хвостикомъ.

— А! докторъ! еще въ дверяхъ вскричалъ Безпаловъ.—А я-то ищу тебя.

Голубцовъ всталъ ему навстрѣчу.

— Въ чемъ дѣло?

Безпаловъ объяснилъ.

— Съ кѣмъ ты? слѣдомъ спросилъ онъ.

— Такъ, штучка довольно интересная... Только я его завтракомъ обѣщалъ накормить: очень ужь расхваливалъ новую водку. А послѣ завтрака не успѣемъ?

— Чего не успѣть? весьма успѣемъ, отвѣчалъ Безпаловъ, взглянувъ на часы.

Они подошли къ столу.

— Вы не знакомы? спросилъ докторъ.

— Угрюмовъ, сказалъ незнакомецъ, сутулясь еще сильнѣе.

Безпаловъ сдѣлалъ видъ, будто припоминаетъ фамилію.

— Драматургъ, добавилъ Угрюмовъ, тщетно стараясь освободить лицо отъ волосъ.

— А!... Какже-съ!... Очень пріятно, не извѣстно для чего солгалъ Безпаловъ, и назвалъ себя.

Польщенный драматургъ осыпалъ его самыми восторженными хвалами.

Но читателю уже давно не терпится узнать, какой именно науки докторомъ былъ Голубцовъ, и я начинаю:

ЭПИЗОДЪ ПЕРВЫЙ.

Какой науки докторомъ былъ Голубцовъ.

О, моя юность, о, моя свѣжесть!
Гоголь.

Внимательный читатель, по нѣкоторымъ подробностямъ и замѣчаніямъ, конечно, уже давно пришелъ къ совершенно вѣрному заключенію, что дѣйствіе нашего разказа происходитъ въ Москвѣ, въ семидесятыхъ годахъ истекающаго столѣтія; теперь я попрошу его перенестись въ Петербургъ и во времена болѣе отдаленныя, въ старину болѣе сѣдую (или юную, если хотите), въ конецъ пятидесятыхъ годовъ.

О полученіи Голубцовымъ степени доктора, а равно о томъ когда и при какихъ обстоятельствахъ это произошло, въ ученомъ мірѣ существуетъ нѣсколько разказовъ и даже легендъ, но всѣ варіанты въ одинаковой степени не заслуживаютъ вниманія, кромѣ того, который я буду имѣть честь сейчасъ предложить читателю.

Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, Голубцовъ былъ молодымъ человѣкомъ, недавно окончившимъ университетскій курсъ. Онъ тогда еще не получалъ наслѣдства, но имѣлъ нѣкоторыя средства, дозволявшія ему, по собственному его выраженію, не столько жить, сколько путаться въ Петербургѣ. Въ тѣ дни онъ былъ друженъ съ неимѣвшимъ практики медикомъ Шперлингомъ (чуть

ли не барономъ) и нерѣдко захаживалъ съ нимъ въ „Золотой Якорь“.

Въ Петербургѣ тогда существовало довольно много трактировъ второй руки, гдѣ готовили изъ свѣжей провизіи и хорошо кормили за недорогую цѣну. Если заведеніе дѣлилось на двѣ половины, то чистая неизмѣнно именовалась „дворянскою“. Между ея посѣтителями нерѣдко встрѣчались господа съ загорѣлыми лицами, крутыми усами и въ венгеркахъ. Дворянскія комнаты были снабжены органами, давно пожелтѣвшими отъ табачнаго дыма занавѣсками, приличною сервировкой, серебряными ложками и большимъ выборомъ трубокъ, съ длинными чубуками, янтарными мундштуками и „свѣженькими“ перышками. Порой эти трактиры носили семейный характеръ; при нихъ находилось нѣсколько небольшихъ комнатъ, но расположенныхъ не вдоль длиннаго корридора, какъ теперь, а другъ подлѣ друга, какъ въ частныхъ квартирахъ: тогда, видно, не опасались, что чей-нибудь нескромный глазъ заглянетъ хотя бы въ самую дальнюю комнатку. Эти трактиры процвѣтали до 1862 года и затѣмъ стали постепенно хилѣть, и, наконецъ, и совсѣмъ закрылись, надо думать одновременно съ исчезновеніемъ послѣдняго выкупнаго свидѣтельства изъ кармана послѣдняго средней руки барина былыхъ временъ.

Года три назадъ, въ холодный и вѣтреный день, случилось мнѣ быть на Острову; я порядочно прозябъ и заѣхалъ обогрѣться въ „Золотой Якорь“, думая воскресить юношескія впечатлѣнія. Увы! никакой не только дворянской, но просто чистой половины въ немъ не оказалось. Трактиръ, тѣмъ не менѣе, процвѣталъ; онъ былъ полонъ народу, но то былъ все простой народъ:

купцы, разнощики, прикащики; въ большой залѣ стоялъ веселый и вольный говоръ. Выпивъ рюмку, я предался унылымъ думамъ. Я сожалѣлъ, что со мной нѣтъ милѣйшаго К. Н. Какою діатрибой разразился бы онъ противъ демократизаціи не только всего изящнаго и высокаго, но даже трактировъ средней руки! И когда онъ вошелъ бы въ полный паѳосъ, то я сразу срѣзалъ бы его, пригласивъ потянуть носомъ воздухъ. Дѣло было въ посту, и въ залѣ нестерпимо пахло постнымъ масломъ. Этотъ запахъ подѣйствовалъ бы благотворно на благочестивое обоняніе моего друга и заставилъ бы его примириться съ демократизаціей... по крайней мѣрѣ трактировъ средней руки. Но я немного занесся.

Голубцовъ и Шперлингъ всегда садились въ комнатѣ съ органомъ, въ излюбленномъ уголкѣ и почти всякій разъ разыгрывали слѣдующую шутку. Голубцовъ раньше всего требовалъ винную карточку и начиналъ чтеніе съ отдѣла шипучихъ.

— Клико, читалъ онъ.

— Далеко, вторилъ Шперлингъ.

— Редереръ.

— Trop cher.

— Креманъ.

— Намъ не по „karman“.

— Эль-де-пердри.

— Morgen früh.

И такъ далѣе. Затѣмъ неизмѣнно заказывалось по двѣ порціи борща съ ветчиной и сосиськами (причемъ Шперлингъ причмокивалъ) и бивштекса по-гамбургски (причемъ Шперлингъ становился необычайно серьезенъ).

— И водочки съ прибавленіемъ шнапса! возглашалъ онъ.

Половой, давно знавшій всю эту рацею, наконецъ свободно вздыхалъ и, взмахнувъ салфеткой, опрометью бросался исполнять заказъ, но черезъ три шага останавливался и подбѣгалъ къ гостямъ.

— А пива: Крона или Фрица прикажете?

— Фрица, непремѣнно Фрица, всенепремѣнно его же, наинепремѣнно того же и всенаипремѣннѣйше онаго! провозглашалъ Шперлингъ, любившій похвалиться полнымъ знаніемъ русскаго языка.

Пиво Фрица было тогда въ модѣ; впрочемъ Шперлингъ чувствовалъ къ нему особую нѣжность съ тѣхъ поръ, какъ въ часъ безденежья и жажды сочинилъ два слѣдующіе стиха:

Какъ бы умудриться
Выпить пива Фрица.

Однажды, утоливъ волчій голодъ (какимъ онъ и долженъ быть въ юности), пріятели принялись за утоленіе гусиной жажды (какой она и должна быть въ молодыхъ лѣтахъ), какъ стеклянная, съ мѣдными прутиками дверь отворилась съ шумомъ и дребезгомъ. Влетѣлъ довольно дюжій кудряватый господинъ съ кіемъ въ лѣвой рукѣ; правой же рукой онъ тащилъ за собою сильно упиравшагося коренастаго Нѣмчика, ухвативъ его за шиворотъ. Лицо господина съ кіемъ было красно и горѣло гнѣвомъ; у Нѣмчика глаза суетливо бѣгали, какъ мыши въ западнѣ, и лицо выражало одновременно и ужасъ, и покорность судьбѣ, какъ у путешественника, отошедшаго по оплошности отъ спутниковъ и невзначай захваченнаго канибалами. Слѣдомъ валила толпа гостей и вдали слышался топотъ спѣшившихъ на скандалъ половыхъ.

— Я тебѣ говорилъ, чортовъ Нѣмецъ, что ты у меня попляшешь, кричалъ кудряватый господинъ.

— Да это Полубоевъ! воскликнулъ Шперлингъ.

Полубоевъ былъ извѣстный въ то врмя стихотворъ импровизаторъ и буянъ.

— А кому я понадобился? отозвался Полубоевъ.

— Что съ тобой? спросилъ Голубцовъ.

Полубоевъ съ волненіемъ разказалъ, что онъ игралъ на бильардѣ „вотъ съ нимъ“,—тутъ онъ такъ энергически ткнулъ кіемъ въ сторону барина съ необыкновенно бѣлыми усами и аннинской петлицей, что тотъ попятился,—а этотъ „чортовъ Нѣмецъ“ сидѣлъ, да посвистывалъ и какъ только ему играть, онъ возьметъ и свистнетъ подъ-руку, а Полубоевъ все мимо и мимо. Нѣсколько разъ онъ предупреждалъ Нѣмца, что онъ у него попляшетъ, если не перестанетъ свистѣть, но тотъ все не унимался. Наконецъ Полубоевъ вышелъ изъ себя.

— Андрей, пускай машину! закричалъ Полубоевъ окончивъ разказъ,—а ты!..

При этомъ онъ такъ тряхнулъ Нѣмца, что тотъ споткнулся; Полубоевъ невольно выпустилъ изъ рукъ чужой воротникъ и самъ чуть было не полетѣлъ.

— Нѣтъ, ты постой! закричалъ онъ, стараясь вновь схватить Нѣмца за воротъ.

— Да погоди же! вступился Шперлингъ, бросаясь между ними.

— Докторъ! не суйся между дракономъ и его яростью, съ величавымъ гнѣвомъ возгласилъ Полубоевъ.

— Голубцовъ, да урезонь же его... Иль ты не видишь самъ, что Нѣмецъ ничего не понимаетъ?.. Я переведу сейчасъ.

Голубцову удалось сдержать буяна, и Шперлингъ

обратился къ своему соплеменнику съ допросомъ понѣмецки. Подсудимый Нѣмецъ объяснилъ, что онъ путешественникъ и, посѣтивъ многія образованныя страны, вздумалъ посмотрѣть на полудикую Россію, куда отправился не зная языка, ибо его другъ, берлинскій негоціантъ, прожившій двадцать лѣтъ въ Петербургѣ, удостовѣрилъ его, что за все указанное время онъ нисколько не нуждался въ туземномъ языкѣ и выучилъ, единственно для разговора съ простымъ народомъ, два энергическія выраженія, при помощи коихъ можно добиться всего. Тутъ Нѣмецъ, къ радостному изумленію и гоготу всей публики, совершенно спокойно и даже съ нѣкоторою важностью произнесъ два русскихъ сквернословія. Затѣмъ онъ показалъ, что придя сегодня въ этотъ трактиръ, онъ пообѣдалъ и закуривъ „свою“ сигару, отправился пить „свой“ кофе въ бильардную, ибо любитъ, куря и прихлебывая кофе послѣ обѣда, смотрѣть какъ господа упражняются въ этой пріятной и полезной для здоровья игрѣ. Господинъ съ кіемъ игралъ съ высокороднымъ господиномъ съ орденскою ленточкой и игралъ дурно, вѣроятно вслѣдствіе опьяненія. Онъ, обращаясь къ нему, Нѣмцу, нѣсколько разъ кричалъ что-то съ явнымъ раздраженіемъ, повторяя особенно часто два слова: „swesti“ и “pleischi“, смыслъ которыхъ остался для подсудимаго непонятенъ. Наконецъ, когда повернувшись спиной, какъ разъ противъ него, Нѣмца, господинъ съ кіемъ сыгралъ особенно неудачно, причемъ шаръ даже перелетѣлъ чрезъ бортъ, то съ остервенѣніемъ набросился на него и нежданно схватилъ за-воротъ, куда-то потащилъ. Вѣроятно онъ, мирный путешественникъ, подвергся бы еще грубѣйшему насилію со стороны этого дикаря,

еслибы не благородное заступничество соплеменника, которому онъ и приноситъ свою сердечную благодарность.

Подсудимый пожалъ руку Шперлингу и умолкъ.

— Ну? нетерпѣливо спросилъ Полубоевъ.

Шперлингъ немного подумалъ.

— Сейчасъ... Слушай, Голубцовъ, какую штуку я выкину надъ симъ Филистимлянином... Будь покоенъ, обратился онъ къ Полубоеву,—онъ у насъ сейчасъ запляшетъ.

— Ну! столь же нетерпѣливо повторилъ тотъ.

— А вы свистали, когда этотъ господинъ игралъ? спросилъ Шперлингъ путешественника.

Путешественникъ отвѣчалъ, что дѣйствительно вспоминалъ нѣкоторые мотивы.

— У насъ, въ Россіи, совершенно серьезно продолжалъ докторъ,—существуетъ обычай, что тотъ, кто свищетъ во время игры другаго, обязанъ потомъ протанцовать предъ нимъ, особенно, если играющій вникнетъ тѣ два кабалистическія слова, которыя васъ такъ смутили и такъ вамъ запомнились.

— О... Oh!.. So-o? протянулъ Нѣмецъ.—Странный, но весьма любопытный обычай. Онъ, впрочемъ, хоть и отдаленно, напоминаетъ древній ирокезскій обычай, о которомъ...

— Что онъ тамъ мямлитъ? спросилъ Полубоевъ.

— Вы согласны? строго обратился Шперлингъ къ соотечественнику.

— Если таковъ народный обычай... Надѣюсь, что и господинъ съ кіемъ не откажетъ мнѣ въ удовольствіи показать свое искусство въ такого рода народныхъ танцахъ.

Шперлингъ передалъ.

— Ну, ладно, Нѣмецъ. Гляди же, потрафляй! Посмотримъ, кто кого перепляшетъ. Андрей! запусти „Комаринскаго“.

„Комаринскаго“ запустили. Нѣмецъ сдѣлалъ нѣсколько медвѣжеобразныхъ движеній и просто остолбенѣлъ, увидѣвъ, какого ловкаго трепака откалываетъ Полубоевъ. Публика разразилась рукоплесканіями.

— Ну, счастливъ твой Богъ! сказалъ Полубоевъ, цѣлуя Нѣмца,—дешево отдѣлался. Другаго раскровянилъ бы. Докторъ! переведи этому уроду.

Шперлингъ такимъ же серьезнымъ тономъ, какъ и раньше, объявилъ путешественнику, что поцѣлуй, который онъ получилъ, называется „поцѣлуемъ Іуды“ и означаетъ, что господинъ съ кіемъ не доволенъ его слабымъ участіемъ въ танцахъ, а потому, согласно обычаю, имѣетъ право, буде успѣетъ выпить въ его присутствіи залпомъ цѣлую бутылку пива, что̀ называется *ex*, вызвать противника на дуэль на ножахъ. Полубоевъ въ это время взялся за бутылку,—и Нѣмца только и видѣли!

Шперлингъ, Голубцовъ и Полубоевъ просидѣли въ трактирѣ до того часу, когда его потребовалось запирать. Полубоевъ заупрямился было уходить, но Голубцовъ что-то шепнулъ ему на ухо.

— А! въ такомъ случаѣ идемъ.

Они вышли благополучно, но едва затворилась за ними дверь, какъ Полубоевъ вспомнилъ, что не выпилъ „посошка“. Онъ сталъ стучать въ дверь; служитель, запиравшій дверь, былъ изъ новыхъ, не зналъ свычаевъ Полубоева и отвѣчалъ, что никакъ нельзя.

— А! нельзя? такъ вотъ же тебѣ.

И стекло въ двери разлетѣлось въ дребезги.

— Что ты дѣлаешь? закричалъ Голубцовъ.

— А вотъ что, спокойно отвѣчалъ Полубоевъ, сходя по ступенькамъ на тротуаръ и слѣдомъ выбилъ палкой еще два окна въ нижнемъ этажѣ.

Поднялся скандалъ. Выбѣжалъ служитель, выскочилъ дворникъ, набралась публика, откуда-то взялся чрезвычайно бѣлоусый господинъ съ аннинской петлицей, проходившій мимо купецъ Фунтиковъ заявилъ, что „мы тоже видѣли", явился и городовой. Всякій галдѣлъ свое. На бѣду проходилъ мимо недавно-поступившій въ полицію офицеръ; изъ ревности къ службѣ онъ приказалъ свести всѣхъ въ кварталъ. Въ кварталѣ никакого толку не вышло. Новый служитель, разсчитывая, что имѣетъ дѣло съ хорошими господами, непривычными къ кварталамъ, заломилъ за стекло тройную цѣну, не безъ тайной надежды прикарманить двѣ трети оной. На него набросились всѣ, причемъ чрезмѣрно бѣлоусый кричалъ и бранился пуще всѣхъ, утверждая, что онъ не позволитъ обидѣть благородныхъ людей. Квартальный не смогъ угомонить расходившіяся страсти, и въ виду благородства буяновъ, распорядился всѣхъ ихъ отправить къ полковнику.

Необходимо припомнить, что въ то время была впервые настоятельно сознана потребность „облагородить полицейскую службу"; ради сего, въ особенности же для занятія должностей поважнѣе, были приглашены молодцоватые на видъ и бравые гвардейскіе офицеры, бойко говорившіе по-французски.

Въ части полковника не оказалось. Приходилось ждать. Трое пріятелей вмѣстѣ со свидѣтелями были помѣщены въ большой низкой, закоптѣлой и запотѣ-

лой комнатѣ, гдѣ, при жалкомъ освѣщеніи, нѣсколько человѣкъ въ сомнительныхъ костюмахъ и съ еще болѣе сомнительными физіономіями что-то быстро строчили, изрѣдка перекликаясь между собою.

Усталый Голубцовъ сѣлъ въ уголъ и задремалъ; онъ не зналъ, долго ли дремалъ; но когда очнулся, то услышалъ бѣготню, перешептыванья и звонъ стекла.

— Что онъ тамъ бьетъ? было первой мыслью Голубцова.

Оказалось, что никто ничего не бьетъ, а нижній чинъ убираетъ пивныя бутылки и стаканы, пришептывая: „Никакъ нельзя-съ; сейчасъ полковникъ войдутъ-съ“. Лица Полубоева, Шперлинга и черезчуръ бѣлоусаго защитника благородныхъ людей доказывали, что они не тратили времени даромъ. Голубцовъ, поглядѣвъ на нихъ, только за-ухомъ почесалъ.

Вошелъ полковникъ. Голубцовъ толково объяснилъ ему въ чемъ дѣло.

— Который г. Полубоевъ? спросилъ полковникъ.

Полубоевъ приподнялся со скамьи и грузными шагами, съ необыкновенно-унылымъ видомъ подошелъ къ полковнику.

— Во-первыхъ, г. Полубоевъ, я принужденъ сдѣлать вамъ замѣчаніе, что вы вели себя не вполнѣ благородно; дворянину буянить не подобаетъ: noblesse oblige. Во-вторыхъ, конечно, виноватъ и половой, запросивъ несоотвѣтственную цѣну и съ него за это взыщется по всей силѣ законовъ. Я вполнѣ согласенъ съ вашимъ знакомымъ, что такихъ денегъ платить не слѣдуетъ, и что требованіе ихъ можетъ привести благороднаго человѣка въ раздраженіе, но видите ли, теперь уже далеко за-полночь и пора спать, а потому я пред-

лагаю вамъ слѣдующее. Оставьте деньги, какія онъ требуетъ, у меня, а завтра утромъ,—условьтесь въ которомъ часу, вотъ съ поручикомъ Томашевскимъ,—(поручикъ выдвинулся впередъ); онъ отправится вмѣстѣ съ вами, оцѣнитъ на мѣстѣ причиненные вами убытки, а остальныя деньги вы получите обратно. Вы, конечно, согласны?

— Нѣтъ, не с... с... согласенъ, съ трудомъ ворочая языкомъ, точно онъ у него прилипалъ и къ небу, и къ деснамъ, сказалъ Полубоевъ.

— Какъ? Почему?

— Не в... в... вѣрю, также сказалъ Полубоевъ.

— Кому? поручику Томашевскому не вѣрите?

— И ему... не... в... вѣрю.

— Но мнѣ-то, надѣюсь, вы повѣрите же? съ очаровательно любезною улыбкою спросилъ полковникъ.

— И вамъ не в... вѣрю.

— Послушайте!.. Почему же вы мнѣ не вѣрите?

— П... п... полиціи не вѣрю.

— Да прежде, конечно, полиція... Но теперь?!

И полковникъ вздернулъ плечами.

Россіяне, добившись до лакомаго и завиднаго мѣста, сразу какъ-то убѣждаются, что вѣдомство, по ихъ же вчерашнимъ словамъ, запущенное и неприглядное, съ *ихъ*-то назначеніемъ, процвѣтетъ въ одну ночь, подобно жезлу Ааронову. Полковникъ въ этомъ отношеніи слѣдовалъ общему мнѣнію.

— Впрочемъ, немного помолчавъ и не слыша къ своему сокрушенію льстиваго одобренія собственнымъ словамъ, продолжалъ полковникъ,—вѣдь и надъ нами есть начальство. Въ случаѣ неудовольствія, вы можете жаловаться г. оберъ-полицеймейстеру.

— И ему... не вѣрю.

— Ну, въ такомъ случаѣ господину генералъ-губернатору, съ усмѣшкой сказалъ полковникъ.

— И ему... не вѣрю.

— Но,—наконецъ... съ особымъ торжествомъ возгласилъ полковникъ.

— И наконецъ... не вѣрю.

Полковникъ вспыхнулъ.

— Ка-акъ? И наконецъ не вѣрите? Да это lèse-majesté!.. Господинъ Ивановъ, потрудитесь составить протоколъ.

— Mais monsieur le colonel, вступился Голубцовъ.

Французскій языкъ мгновенно оказалъ на полковника успокоительное дѣйствіе, и они заговорили на этомъ дворянскомъ нарѣчіи.

— Докторъ, не подличай!.. Нѣмецъ, пляши! совсѣмъ нежданно вскричалъ Полубоевъ.

У него до того помутилось въ головѣ, что давешній скандалъ въ трактирѣ смѣшался съ настоящимъ въ частномъ домѣ.

— А!.. вы докторъ? обратился полковникъ къ Голубцову.

— Да, усмѣхаясь, отвѣчалъ онъ,—только не медицины.

— Какой-же науки, смѣю спросить? съ особымъ уваженіемъ освѣдомился полковникъ.

Голубцовъ чуть подумалъ.

— Ассоціаціонной психологіи, не моргнувъ глазомъ отвѣчалъ онъ,—и занимаюсь вообще феноменологіей человѣческаго духа.

Полковникъ обидился.

— Э! сказалъ онъ про себя,—да ты меня, ка-

жется, почитаешь за круглаго невѣжду. Нѣтъ, братъ, я знаю, что ассосіаціи бываютъ въ политической экономіи, а френологія совсѣмъ другое дѣло! И затѣмъ, обращаясь ко всѣмъ вообще и не къ кому въ особенности, полковникъ звучно произнесъ слѣдующую рѣчь:— Вы видите, господа, что я хотѣлъ окончить дѣло благороднымъ образомъ, но господинъ Полубоевъ... Предоставляю вамъ самимъ произнести судъ надъ его поведеніемъ... Словомъ, я принужденъ его задержать до утра, въ надеждѣ, что онъ станетъ тогда... сговорчивѣе. А вы, господа, обратился онъ къ свидѣтелямъ, кромѣ Голубцова, который стоялъ по другую отъ него сторону,—можете идти.

Свидѣтели раскланялись и стали расходиться, причемъ господинъ съ бѣлыми до странности усами и аннинской петлицей, счелъ долгомъ благодарственно пожать руку полковнику.

— Надѣюсь, и я могу уйти? обратился Голубцовъ къ полковнику.

— Нѣтъ-съ, отвѣчалъ полковникъ, поворачиваясь къ Голубцову съ самой очаровательной улыбкою,—я попросилъ-бы васъ остаться.

Голубцовъ всей своей фигурой выразилъ изумленіе.

— Но почему же?

— Вы... слишкомъ много разговаривали, шутливо отвѣчалъ полковникъ и, быстро повернувшись, пошелъ изъ комнаты.

Новопожалованный докторъ хотѣлъ было протестовать, но подумавъ, что нельзя-же оставлять Полубоева въ такомъ видѣ одного, отложилъ протестъ до завтра.

Вошелъ поручикъ Томашевскій, провожавшій полковника.

— Не угодно-ли пожаловать за мною, любезно предложилъ онъ Голубцову и Полубоеву.

— Полубоевъ, идемъ, сказалъ Голубцовъ.

— А? туда? ладно, отозвался Полубоевъ, все еще воображая себя въ трактирѣ.

— Ничего, ваше благородіе, шепнулъ Голубцову нижній чинъ, убиравшій бутылки,—я вамъ отведу покойчикъ по-чище: для господъ по-лучше держимъ.

Голубцовъ, какъ вошелъ въ покойчикъ по-чище, такъ и повалился въ пальто и калошахъ на кровать. Нижній чинъ вышелъ; въ покойчикѣ водворилась тьма; Голубцовъ закрылъ глаза и досадливо, какъ отъ мухъ, отмахивался отъ лѣзшихъ ему въ голову мыслей.

— Ну, и пусть!.. Ну, и къ чорту! твердилъ онъ, пока мыслямъ точно наскучило толкаться въ неотзывчивую голову. Голубцову показалось, что онъ заснулъ.

— Вставай! будилъ его чей-то голосъ.

Онъ открылъ глаза и увидѣлъ Полубоева.

— Да ты какъ-же трезвъ? изумился онъ. — Иль успѣлъ выспаться?

— Нѣтъ, вѣдь это у меня скоро: вступитъ и сейчасъ-же осядетъ. Ну, вставай-же! не спать же тутъ: клопы заѣдятъ.

При такомъ убѣдительномъ аргументѣ, Голубцовъ спѣшно вскочилъ съ кровати. На столѣ горѣла сальная свѣчка, стояло съ полъ-дюжины пива и два стакана. Полубоевъ мигомъ опорожнилъ стаканъ, другой, и почувствовалъ себя, какъ... въ трактирѣ.

— Пиво не дурно, сказалъ онъ,—а вотъ наше дѣло, такъ Лаврикоко.

Голубцовъ припомнилъ, что имя этого американскаго озера въ устахъ Полубоева нерѣдко замѣняло слово дрянь-

— Да, Титикака порядочная, отвѣчалъ онъ.

— А это что?

— Озерко же.

— Въ тѣхъ же мѣстахъ?

— Въ оныхъ же.

Полубоевъ пропустилъ еще стаканъ.

— Слушай, вдумчиво сказалъ онъ,— я-то, помнится, набуянилъ порядочно, а тебя за что же засадили?

Голубцовъ объяснилъ.

— Ха, ха, ха! Такъ за разговоры? Ну, а докторомъ теперь мы всѣ тебя звать станемъ. И науку же придумалъ! Ха, ха, ха! И слѣдомъ онъ сказалъ экспромтъ:

За болтливость, какъ сорока,
Запертъ въ клѣтку Голубцовъ;
Какъ буянъ и забіяка,
Арестованъ я безъ словъ...

— Какъ, какъ? будто не разслышавъ, перебилъ его Голубцовъ.

— За болтливость, какъ сорока, повторилъ Полубоевъ.

— Вотъ тебѣ и Лаврикоко! подхватилъ Голубцовъ.

— Какъ буянъ и забіяка, продолжалъ импровизаторъ.

— Вотъ тебѣ и Титикака!

— Ахъ, чортъ! воскликнулъ Полубоевъ,— да это великолѣпно!.. Знаешь что, давай-ка поэму сочинять.

— Какую?

— Да такую, чтобы въ ней другихъ риѳмъ, кромѣ Лаврикоко и Титикаки не было.

— Ладно.

И немного подумавъ, докторъ продекламировалъ:

Ты мнѣ скажешь: „глянь, братъ, во-ко!
Сколько риѳмъ на Лаврикоко.“
Я тебѣ въ отвѣтъ: „Однако,
Мало ль ихъ на Титикака?“

— Ахъ, чортъ! Да этакъ и мнѣ за тобой не угоняться.

Плодомъ ихъ совмѣстнаго творчества и ночнаго бдѣнія была поэма, въ коей одни насчитывали до двухъ сотъ стиховъ, другіе же (что явно преувеличено) даже до четырехъ сотъ; къ сожалѣнію эта замѣчательная поэма утрачена, подобно многимъ великимъ произведеніямъ древнихъ и новыхъ временъ. Въ памяти повѣствователя сохранились только ничтожные отрывки. Въ началѣ риѳмы подбирались, какъ пришлось; но затѣмъ былъ составленъ планъ и разрозненныя строфы приведены въ стройный порядокъ. Поэма начиналась описаніемъ озеръ:

Отъ студеныхъ зимъ далеко
Озерко есть Лаврикоко;
Подъ палящимъ солнцемъ *Рака*
Златомъ блещетъ Титикака.

Затѣмъ слѣдовало поэтически-роскошное и научно-вѣрное изображеніе флоры и фауны обоихъ озеръ; далѣе воспѣвалась высокая культура или, точнѣе, грубое невѣжество народовъ, обитающихъ на ихъ берегахъ. Въ самомъ дѣлѣ,

Не читаютъ Поль-де-Кока
Рыбаки на Лаврикоко,
И не вѣдаютъ Бальзака
Рыболовы Титикака.

Еще далѣе повѣствовалось объ ужасномъ трагическомъ событіи. Судите сами:

По могучей волѣ Рока,
Переплывши Лаврикоко,

Наша рыжая собака
Утонула въ Титикака.

Въ заключеніе скромные авторы казнили самихъ себя за виршеписаніе, утверждая будто

Сосланъ въ каторгу безъ срока
Голубцовъ на Лаврикоко;
Полубоевъ-забіяка
Былъ утопленъ въ Титикака.

Нельзя не пожалѣть, что поэма не сохранилась до нашихъ дней, когда, по газетному сказанію, въ нашей интеллигенціи снова пробуждается вкусъ къ поэзіи; она не прошла бы не замѣченной отечественной критикою; болѣе: слава ея, конечно, распространилась бы до далекой и дружественной французской республики, дошла до президента Карно и онъ произвелъ бы обоихъ поэтовъ въ офицеры Академіи и украсилъ ихъ петлицу академическими пальмами,—отличіе котораго, къ общему ликованію Россіянъ, уже удостоились лирическія подергиванія Жидовина Жана Застѣнкина и драматическія передергиванія Осетина Жоржа Пупатова.

На другое утро поручикъ Томашевскій съ сухимъ поклономъ объявилъ арестованнымъ, что ранѣе препровожденія г. Полубоева по принадлежности къ его превосходительству г. оберъ-полицеймейстеру, г. полковникъ желаетъ удостовѣриться, для помѣщенія такого обстоятельства въ рапортъ, тотъ ли это самый г. Полубоевъ, который за поносительный поступокъ относительно военнаго патруля на Петровскомъ острову былъ выдержанъ, по особому повелѣнію, двѣ недѣли на Сенатской гауптвахтѣ.

Полубоевъ видимо смутился, даже слегка поблѣднѣлъ, но твердо отвѣчалъ, что онъ тотъ самый и есть. Поручикъ удалился.

— Плохо, братъ! сказалъ Полубоевъ.—Вотъ когда настоящее Лавриково пришло! И тогда-то хотѣли выслать на мѣсто родины, а ужь теперь!..

— Э?!

Второе явленіе поручика Томашевскаго. Онъ былъ сухъ и дѣловитъ попрежнему.

— Ну-съ, г. Полубоевъ, не угодно ли вамъ отправиться со мною? Что же касается васъ, г. Голубцовъ, то вы, буде пожелаете, конечно, можете сопровождать вашего знакомаго въ качествѣ свидѣтеля.

— Я, конечно, пожелаю сопровождать его, только не въ качествѣ свидѣтеля, съ жаромъ сказалъ Голубцовъ,—а для принесенія жалобы его превосходительству на неправильное мое заарестованіе...

— Въ такомъ случаѣ позвольте мнѣ доложить объ этомъ г. полковнику.

При третичномъ появленіи, поручикъ Томашевскій предсталъ предъ заключенными совсѣмъ въ иномъ видѣ. Куда дѣвались сухость и дѣловитость! Онъ былъ любезенъ, привѣтливъ, ласковъ, даже льстивъ слегка.

Онъ съ обаятельной улыбкой объяснилъ Голубцову, что г. полковникъ поручилъ ему извиниться предъ нимъ въ не совсѣмъ законномъ его задержаніи, происшедшемъ будто бы единственно потому, что полковникъ воротился вчера чрезмѣрно усталымъ и разбитымъ и не вполнѣ отчетливо уяснилъ себѣ всѣ обстоятельства дѣла.

— Впрочемъ, добавилъ онъ,—все можетъ устроиться самымъ благороднымъ образомъ: мы втроемъ отправимся въ „Золотой Якорь“, оцѣнимъ убытки, заплатимъ деньги и возьмемъ съ хозяина, или буфетчика росписку, что онъ никакихъ претензій на г. Полубоева не имѣетъ,

а г. Голубцовъ, смѣю надѣяться, со своей стороны будетъ столь любезенъ, что не откажетъ намъ въ одолженіи и дастъ подписку о неимѣніи никакихъ претензій на дѣйствія полиціи.

Полубоевъ робко, но не безъ надежды взглянулъ на пріятеля,—но тотъ не видѣлъ его взгляда.

— Что жь, глядя на часы, сказалъ Голубцовъ,—оно хотя и рано, а позавтракать все жь можно.

Все было сдѣлано, какъ сказано. Поэты, почувствовавъ къ поручику Томашевскому внезапное влеченіе, приглашали его позавтракать съ ними съ коварною цѣлью накачать его до безчувствія, но поручикъ отказался по долгу службы и единственно по благородству чувствъ предложилъ самъ выпить по рюмкѣ водки, причемъ закусилъ тешкой съ хрѣномъ.

Теперь читателю вполнѣ извѣстно, при какихъ обстоятельствахъ и по какой именно каѳедрѣ Голубцовъ былъ удостоенъ докторской степени, и мы можемъ продолжать прерванное повѣствованіе.

* * *

Не успѣли докторъ Голубцовъ, художникъ Безпаловъ и драматургъ Угрюмовъ распорядиться насчетъ завтрака, какъ изъ комнаты съ органомъ вошли двое. Впереди шелъ коренастый, средняго роста мужчина, въ лицѣ котораго преобладали сѣрые тона; эту сѣроватость усиливали пепельные съ сильною просѣдью волосы, растрепанные и на головѣ, и въ бородѣ, отчего лицо его походило на затуманенный ликъ мѣсяца, только-что прорѣзавшійся сквозь облака. На немъ былъ старый, въ запыленныхъ пятнахъ, побѣлѣвшій по швамъ фракъ,—что помогало общему впечатлѣнію сѣроватости. Несмотря на коренастое сложеніе незнакомца,

фракъ на немъ висѣлъ, какъ на вѣшалкѣ, точно былъ взятъ на-прокатъ съ высокаго и широкоплечистаго барина. Ему, очевидно, было не по себѣ въ такомъ парадѣ, и онъ все прикрывалъ и ерошилъ себѣ грудь нятернею, отчего запонки на рубашкѣ растегнулись и правое жабо стремилось сблизиться съ ухомъ, чему способствовала разсѣянность незнакомца, забывшаго повязать галстухъ.

За нимъ шелъ высокій и плотный молодой человѣкъ, необычайно бѣлый, съ румянцемъ какъ на хорошо выпеченномъ пшеничномъ хлѣбѣ; словомъ, молодецъ изъ породы крупитчатыхъ, какихъ можно видѣть за прилавкомъ у Филиппова или Севостьянова. Быть-можетъ, въ силу такого подобія, казалось будто лицо и голова молодца посыпаны мукой. Онъ былъ также во фракѣ; но на его цилиндрообразномъ тѣлѣ платье точно облипло, что̀ давало ему сходство съ огурцомъ, оставленнымъ на сѣмена, или лучше съ вполнѣ налившейся дубовой почкой, ждущей легкаго пониженія температуры, чтобы разорвать свою оболочку.

— Гляди-ка: Немыкинъ и вдобавокъ во фракѣ! сказалъ Безпаловъ.

— Какой Немыкинъ? редакторъ? жадно спросилъ Угрюмовъ.

— Онъ самый, отвѣчалъ Голубцовъ.

— Пожалуйста, познакомьте меня съ нимъ.

— Ладно.

То былъ дѣйствительно извѣстный Немыкинъ, редакторъ новоявленнаго журнала *Русское Добро*. Собственно, Немыкинъ желалъ назвать свое обозрѣніе *Славянское Вѣче*, но Главное Управленіе по дѣламъ печати не безъ основанія опасаясь, что съ появленіемъ

первой же книжки, а чего добраго, даже перваго объявленія о *Вѣчѣ*, какой-нибудь вольнодумный пономарь отъ Спаса въ Наливкахъ ударитъ въ набатъ, который будетъ подхваченъ всѣми сорока сороками, и въ Москвѣ мгновенно водворится удѣльно-вѣчевой укладъ въ томъ довольно безтолковомъ видѣ, какъ онъ описанъ въ сочиненіи Костомарова,—предложило редактору перемѣнить заголовокъ. Эпитетъ „славянское“ былъ замѣненъ болѣе скромнымъ „русское“, а бурное *Вѣче* превратилось въ скромное *Добро*, по той единственно причинѣ, что остальныя цензурныя существительныя, подходящія къ прилагательному „русскій“ были уже разобраны другими журналами. Чтобы показать любезность и со своей стороны, цензура, скрѣпя сердце, согласилась оставить въ эпиграфѣ стихи Пушкина:

Славянскіе-ль ручьи сольются въ Русскомъ морѣ?
Оно-ль изсякнетъ?—Вотъ вопросъ.

Впрочемъ, все обошлось благополучно; австрійское посольство противъ эпиграфа не протестовало (секретарь не доглядѣлъ), но на бѣду въ то же время какой-то водочный заводчикъ вынустилъ высшій сортъ столоваго вина за № 2.001 подъ тѣмъ же именемъ „Русское добро“,—обстоятельство, подавшее поводъ къ фельетонному зубоскальству, на которомъ не мало заработали сотрудники враждебныхъ газетъ.

Голубцовъ и Безпаловъ пошли на встрѣчу Немыкину. Тотъ, увидавъ подходящихъ, сощурился елико возможно, и наконецъ узналъ Голубцова.

— А, Ѳедоръ Ѳедоровичъ! обрадовался онъ и озарился широкой во все неузкое лицо улыбкой.

— Вотъ ужь не ждалъ васъ здѣсь встрѣтить! отвѣчалъ Голубцовъ.

— Я по дѣлу... Да вотъ, вашего пріятеля, обратился Немыкинъ къ Безпалову,—извините, я сразу васъ не узналъ, здравствуйте!

И Немыкинъ, пожавъ руку художнику, умолкъ, полагая, что послѣдними словами объяснилъ въ чемъ дѣло.

— Какого моего пріятеля?

— Нотаріуса Лещинскаго, то-есть, виноватъ Подлещикова, а Лещинскій польскій король, я все путаю... Его здѣсь нѣтъ? оглядывая комнату разсѣяннымъ и блуждающимъ взоромъ, спросилъ Немыкинъ.

— Онъ человѣкъ аккуратный, сказалъ Андрей Николаевичъ,—и если ужь обѣщалъ...

— Да, мы немного рано, сказалъ Немыкинъ, глядя на часы.

— Такъ не угодно ли вамъ будетъ побесѣдовать съ нами? предложилъ Голубцовъ.

— Превосходно! Кстати, намъ надо еще кончить разговоръ объ Иммерманѣ. Помните, въ прошломъ году, у Писемскаго, но намъ помѣшали...

Они подошли къ столу. Голубцовъ представилъ драматурга редактору. Немыкинъ притворился, будто ему очень пріятно.

— Позвольте же и мнѣ со своей стороны представить вамъ... Пѣшкинъ, мой секретарь, то-есть собственно секретарь редакціи, Иванъ Петровичъ...

— Это васъ Иванъ Петровичъ зовутъ, внушительно сказалъ секретарь,—а я Петръ Иванычъ.

— Ка-акъ? точно вскинувшись отъ глубокаго сна, сказалъ редакторъ.—Ахъ, да!.. Впрочемъ, вы правы...

— Зачѣмъ вы здѣсь, сказалъ Голубцовъ,—мы знаемъ, но отчего вы во фракѣ? Вѣдь это тоже въ своемъ родѣ явленіе необыкновенное.

— Мы были у графа Путивцева.

— Какъ? развѣ онъ здѣсь?

— Да, проѣздомъ въ деревню...

— Ну, что онъ? Разкажите, разкажите.

Немыкинъ сталъ разказывать, но авторъ предпочитаетъ повести рѣчь о томъ же предметѣ отъ своего имени, и его повѣствованіе составитъ:

ЭПИЗОДЪ ВТОРОЙ.

Отставка графа Путивцева.

Вотъ, видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.

А. Пушкинъ.

Отставка графа Путивцева надѣлала большаго шума и радостно взволновала общество. Конечно, въ подобномъ явленіи не было ничего необычайнаго; какъ извѣстно, всякая отставка министра или инаго высокопоставленнаго сановника производитъ въ нашемъ обществѣ радостное волненіе. Наши министры пользуются сочувствіемъ общественнаго мнѣнія только въ то время, какъ идутъ слухи объ ихъ назначеніи, но стоитъ имъ пробыть мѣсяцъ, много два, на мѣстѣ, какъ та же людская молва уже начинаетъ съ злорадствомъ толковать объ ихъ предстоящей отставкѣ. И все-таки отставка графа Путивцева была чѣмъ-то замѣтнѣе. Правда, его не долюбливали, что доказывается успѣхомъ слѣдующаго эпиграмматическаго четверостишія, сочиненнаго на его счетъ:

Леталъ по воздуху Гамбетта
Для внутреннихъ французскихъ дѣлъ;
Умнѣй была бы шутка эта,
Когда бъ Путивцевъ полетѣлъ.

Но, опять-таки, всякія эпиграммы на высокопоставленныхъ сановниковъ, даже безъ соблюденія стихотвроnаго размѣра и грамматическихъ правилъ, пользуются у насъ успѣхомъ. Особое оживленіе въ настоящемъ случаѣ имѣло болѣе тонкую и политическую причину, какъ выражается Гоголевскій судья. Именно, люди консервативнаго направленія видѣли въ графѣ тайнаго либерала и надѣялись, что онъ будетъ замѣщенъ явнымъ консерваторомъ; люди же либерально настроенные усматривали въ Путивцевѣ явнаго консерватора и жили чаяніемъ, что вмѣсто него будетъ назначенъ по меньшей мѣрѣ тайный либералъ. Въ виду того, что либералы у насъ вообще многочисленнѣе консерваторовъ, и что они, въ качествѣ поборниковъ свободы слова, куда болтливѣе своихъ политическихъ соперниковъ, въ то время часто можно было слышать, что теперь-то ужь навѣрное реакціи пришелъ капутъ, причемъ съ засосомъ прибавлялось, что наконецъ-то газетамъ ретроградnаго пошиба заткнутъ глотку,—желаніе не столь либеральное, сколь искреннее.

Въ Химкахъ, въ особое отдѣленіе, занимаемое графомъ, вошелъ его камердинеръ и, доставъ изъ картонки форменную фуражку, которую графъ прежде всегда надѣвалъ предъ въѣздомъ въ Москву, подалъ ее его сіятельству.

— Что это?.. Нѣтъ, мой другъ, дайте мнѣ шляпу, съ умягченною кротостью сказалъ графъ,—а это теперь годится развѣ на проселкѣ.

И графъ затуманился, вспомнивъ какое невниманіе и забвеніе отъ многихъ, даже черезчуръ многихъ испыталъ онъ послѣ отставки. Онъ вспомнилъ, какъ предъ послѣднею аудіенціей онъ встрѣтился съ другимъ

сановникомъ въ залѣ, гдѣ имъ приходилось ждать очереди, и тотъ, будто пользуясь случаемъ, началъ выспрашивать его мнѣніе о дѣлѣ, которое имъ предстояло рѣшить по соглашенію, прекрасно зная, что графъ уже не будетъ принимать участія въ рѣшеніи ни этого, ни другихъ дѣлъ,—шпилька самаго высокаго полета. Онъ вспомнилъ также какая, бывало, огромная и почтительная толпа встрѣчала его при прежнихъ посѣщеніяхъ нашей первопрестольной столицы...

Графъ принялъ всѣ мѣры, чтобъ о его нынѣшнемъ пріѣздѣ не зналъ никто; онъ не написалъ о немъ даже самымъ близкимъ друзьямъ.

Выйдя изъ вагона, онъ плотно закутался въ шинель съ бобровымъ воротникомъ и быстро направился къ выходу. Народу было немного, но все же двое, трое встрѣчныхъ, при видѣ его, посторонились съ почтительнымъ недоумѣніемъ. Графъ былъ очень польщенъ такимъ вниманіемъ; дѣйствительно, если они, при встрѣчѣ съ нимъ, отъ неожиданности и не обнажали головъ, зато, по его проходѣ, долго еще стояли съ открытымъ ртомъ.

Остановясь, какъ подобаетъ, въ *Дрезденѣ*, графъ наскоро убрался, переодѣлся и поѣхалъ поклониться московскимъ святынямъ. Въ Кремлѣ графъ, по обычаю, залюбовался на великолѣпный видъ Замоскварѣчья. Въ его головѣ толпились историческія воспоминанія, и мысли сами собой, по привычкѣ, слагались въ закругленные и звучные періоды. Періоды поочередно начинались словами „здѣсь“ и „отсюда“. *Здѣсь* стоялъ тотъ-то (а много ихъ стояло, начиная съ князя Даніила!), *отсюда* смотрѣлъ тотъ-то (охъ, много ихъ смотрѣло, начиная съ Калиты!), и всѣ стоявшіе, и всѣ смотрѣвшіе думали,

подобно графу, равно глубокую думу. Наконецъ, въ своемъ историческомъ синодикѣ графъ дошелъ до Наполеона, и съ тѣмъ вмѣстѣ, понятно, сталъ думать по-французски. Употребленное при этомъ слово *retraite* невольно ему напомнило о собственной отставкѣ; онъ сравнилъ свою судьбу съ судьбой Французскаго императора.

— Но Наполеонъ, продолжалъ онъ, — развѣ онъ успокоился? Развѣ ему не предстояли годы борьбы, Эльба, и вновь сто дней власти?.. Такъ и я... не навсегда же... нѣтъ, у меня еще будутъ свои сто дней, которые я, какъ дѣятель болѣе мирный и осмотрительный, постараюсь растянуть, по меньшей мѣрѣ, на сто мѣсяцевъ.

Графъ повернулся, чтобъ отправиться въ гостинницу, и вдругъ, увидѣвъ соборы, смутился; онъ изловилъ себя на грѣховной гордости и обуревавшемъ его съ юности честолюбіи. Онъ смиренно снялъ шляпу и искренно прошепталъ прошеніе объ избавленіи его отъ духа любоначалія. И тотъ, кто видѣлъ бы графа въ это мгновеніе, проникся бы невольнымъ къ нему сочувствіемъ; все напускное, привитое, выдѣланное, вицмундирное куда-то спряталось и осталось одно доброе, прямо человѣческое лицо.

Воротясь въ *Дрезденъ*, графъ спросилъ завтракъ, и затѣмъ, закуривъ сигару, сталъ медленно нить кофе, въ ожиданіи времени ѣхать съ визитами. Ему доложили о г. Немыкинѣ. Онъ нѣсколько изумился, но приказалъ просить.

Графъ способствовалъ Немыкину въ полученіи разрѣшенія на изданіе журнала. Немыкину при этомъ сильно помогъ его университетскій товарищъ, служив-

шій у графа секретаремъ. Секретарь остался вѣренъ Путивцеву и извѣстилъ Немыкина о его скоромъ пріѣздѣ въ Москву, добавивъ, что графу, конечно, будетъ пріятно, что о немъ не всѣ забыли. Немыкинъ чувствовалъ нелицемѣрную благодарность къ графу за его содѣйствіе и почелъ долгомъ исполнить товарищескій намекъ. Пѣшкину было поручено слѣдить за пріѣздомъ графа, на что тотъ охотно согласился, выманивъ предварительно съ редактора обѣщаніе, что и онъ будетъ взятъ къ графу. Пѣшкинъ никогда не видалъ вблизи сильныхъ міра сего, не слышалъ, какъ они разговариваютъ, а потому стремился испытать и то и другое. Вообще этого достойнаго молодаго человѣка весьма занимали высокопоставленныя лица, и онъ не упускалъ случая освѣдомиться на счетъ ихъ свычаевъ и обычаевъ; влекла ли его къ тому мечта о будущемъ собственномъ величіи, или же онъ, подобно Чичикову, просто интересовался познаніемъ всякаго рода мѣстностей—пусть рѣшаютъ досужіе умы.

Пѣшкинъ наканунѣ узналъ, что для графа заказаны комнаты въ *Дрезденѣ* и озаботился вовремя явиться къ редактору, чтобы наблюсти за его туалетомъ,—безъ чего Немыкинъ, вѣроятно, не смотря на все желаніе, по разсѣянности, остался бы только при мысленномъ изъявленіи благодарности.

Графъ всталъ на встрѣчу посѣтителямъ. Немыкинъ, кудрявато выразивъ ему свою благодарность, принесъ изъявленіе сожалѣнія, что графъ удалился отъ дѣлъ и надежду, что онъ еще возвратится къ государственной дѣятельности.

— Благодарю васъ за память, отвѣчалъ графъ,— именно за память, ибо люди скорѣе забывчивы, чѣмъ

неблагодарны. Суета, погоня за удовольствіемъ, мечты честолюбія!.. графъ не окончилъ фразы, боясь впасть въ излишнее осужденіе.—Со своей стороны, продолжалъ графъ,—желаю вамъ исполнить программу журнала въ томъ сочувственномъ для меня видѣ, въ какомъ вы передавали ее мнѣ при вашей занимательной и памятной для меня бесѣдѣ въ Петербургѣ. Дай вамъ Богъ счастливаго плаванія; будьте же благоразумны и старайтесь избѣгать по возможности подводныхъ, или, точнѣе сказать, подцензурныхъ камней.

И графъ совершилъ помовеніе рукою, что̀ въ былое время означало въ переводѣ окончаніе аудіенціи; но вспомнивъ о настоящемъ и слегка вздохнувъ о томъ, что посѣтители уже не въ силахъ отнять у него драгоцѣннаго, посвященнаго дѣламъ государственнымъ, времени, графъ сѣлъ и пригласилъ садиться своихъ гостей.

— Вотъ вы изволили сказать, ваше сіятельство, началъ Немыкинъ,—чтобы мы старались по возможности избѣгать подцензурныхъ камней. Таково и мое самое искренное желаніе; къ сожалѣнію, на путевой картѣ журнальнаго плаванія они не обозначены, и порой, не взирая на всякія предосторожности, невольно на нихъ наталкиваешься. Не будете ли вы такъ добры, не согласитесь ли, ваше сіятельство, помочь мнѣ въ этомъ дѣлѣ, и если не стать моимъ кормчимъ, то все же указать на способъ распознавать мѣстонахожденіе этихъ опасныхъ камней.

— На вопросы категорическіе, громко, точно говоря передъ большимъ собраніемъ, сказалъ графъ,—я люблю давать отвѣты категорическіе, но такъ какъ въ вопросѣ, вами предложенномъ, не заключается ничего

категорическаго, то я и позволю себѣ оставить его безъ отвѣта.

Графъ былъ доволенъ своею репликой, или вѣрнѣе, былъ бы доволенъ ею, будь она произнесена всего двѣ недѣли назадъ: о! тогда она произвела бы эффектъ потрясающій, она повторялась бы на разные лады тысячью устъ и, такъ-сказать, попала бы въ ходячую хрестоматію образцовъ политико-ораторскаго краснорѣчія, но теперь!.. Графъ вдругъ почувствовалъ неудовлетворительность своего отвѣта; такія рѣчи внушительны, когда вслѣдъ затѣмъ слушатель удаляется съ покорнымъ поклономъ. Но именно такого финала теперь и недоставало; нельзя же было графу мановеніемъ руки удалить благодарнаго человѣка, который вдобавокъ едва успѣлъ присѣсть.

— Но-о, протянулъ графъ,—вы скажете, что мои слова не способны оказать вамъ услуги практическаго свойства. Заранѣе согласенъ. Я признаю, что дѣло журналиста—дѣло трудное, и что тутъ часто incidit in Scyllam qui vult vitare Charybdin.

Немыкинъ сочувственно улыбнулся.

— Во всякомъ случаѣ, не мнѣ быть вашимъ руководителемъ въ дѣлѣ, которое вамъ свое, а мнѣ чуждое. Вы знаете, что я всегда стоялъ за то, чтобы печати было предоставлено право обсужденія общественныхъ дѣлъ и вопросовъ, но, разумѣется, въ извѣстныхъ предѣлахъ. За это я попалъ въ немилость у господъ, желающихъ возможно ограничить власть, но не терпящихъ даже самомалѣйшаго ограниченія своихъ стремленій. Уже по тому положенію, которое я занялъ съ самаго преобразованія цензуры, я не могъ не интересоваться развитіемъ нашей печати; я съ любозна-

тельнымъ сочувствіемъ, хотя безъ излишняго пристрастія, слѣдилъ за ея попытками, колебаніями и увлеченіями. Прошу васъ помнить, что то, что̀ я скажу вамъ, никакъ не можетъ быть названо соображеніями государственнаго человѣка; это просто, въ самомъ строгомъ смыслѣ, мнѣніе частнаго лица, и если вы остались недовольны моимъ отвѣтомъ насчетъ подцензурныхъ камней, то, быть-можетъ, не откажете въ сочувствіи моему взгляду на неминуемо вамъ предстоящіе камни преткновенія,—кто знаетъ, быть можетъ еще болѣе опасные?

Немыкинъ насторожился.

— Вы издатель ежемѣсячнаго обозрѣнія, или, какъ у насъ принято довольно нелѣпо ихъ называть, толстаго журнала. У васъ есть время обдумать событіе, или правительственную мѣру; у васъ есть возможность быть серьезнѣе и обстоятельнѣе, спокойнѣе и сосредоточеннѣе. Бойтесь же вторженія въ вашу область вліянія ежедневной прессы, вліянія газеты,—а оно, къ сожалѣнію, какъ я замѣчаю, несомнѣнно начинаетъ проникать во многіе, самые серьезные журналы. Говоря далѣе о газетахъ, я буду имѣть въ виду отнюдь не одну отечественную прессу: многое на Западѣ въ этомъ отношеніи, пожалуй, хуже чѣмъ у насъ. Краббъ уже давно назвалъ газетчиковъ:

A traitor-crew, who thrive in troubled times,
Fear'd for their force and courted for their crimes;

къ сожалѣнію, то, что̀ было имъ сказано въ первой четверти столѣтія относительно Англіи, теперь, когда мы вступили уже въ его послѣднюю четверть, можетъ быть повторено, на всемъ континентѣ. Газета, какъ нѣкогда третье сословіе, или—по мѣткому замѣчанію од-

ного писателя—какъ у насъ теперь семинаристы, хочетъ стать всѣмъ. Повторяя на всѣ лады черезчуръ прославленное cecі tuera cela, газеты грозятъ убить не только обозрѣнія, подобныя вашему, но и книги. Быть можетъ, съ горькою усмѣшкой добавилъ графъ, — онѣ мечтаютъ даже замѣнить собою для человѣчества ту Книгу, которую мы зовемъ книгой по преимуществу...

Графъ помолчалъ, опустивъ голову.

— Газетчикъ, продолжалъ онъ,—хвалится тѣмъ, что онъ обязанъ не только составить, но и высказать свое мнѣніе мгновенно, едва совершится событіе, едва задумана мѣра, едва опустился занавѣсъ въ театрѣ, едва книга попала на прилавокъ, едва живописецъ успѣлъ вставить свое полотно въ раму. Этого будто бы требуетъ публика, и кто въ этой своего рода steeple-chase опередилъ другихъ, тотъ и уменъ. Составилъ ли газетчикъ о данномъ предметѣ опредѣленное мнѣніе, или нѣтъ, все равно онъ обязанъ сегодня же mettre du noir sur du blanc, не заботясь о томъ, что ему, весьма возможно, завтра же придется passer du noir au blanc. Что же руководствуетъ нашего скорописателя, если позволителенъ такой неологизмъ? Вы скажете: убѣжденіе, принадлежность въ данной партіи, и такъ далѣе. Но вѣдь всѣ мы имѣемъ убѣжденія, принадлежимъ болѣе или менѣе къ извѣстной партіи и такъ далѣе; однако же мы не хвалимся своею поспѣшностью и не считаемъ своимъ долгомъ провозглашать сужденіе раньше, чѣмъ строго обдумаемъ дѣло. Я скажу прямо, что газетой руководствуетъ реклама, не въ обиходномъ, впрочемъ, значеніи этого слова; но въ томъ, что какъ постоянная цѣль, такъ и главнѣйшая побудительная причина газетной дѣятельности состоитъ въ самореклa-

мированіи, то-есть въ рекламированіи самого себя, а никакъ не предмета обсужденія. Газетчикъ пройдетъ съ холоднымъ молчаніемъ мимо явленія замѣчательнаго, какъ скоро оно, по редакторскому разсчету, не даетъ ему повода къ саморекламированію; онъ выдвинетъ на первый планъ ничтожность, когда чрезъ то будетъ въ состояніи порисоваться самъ. Бранитъ ли онъ, или хвалитъ, онъ думаетъ не о томъ, насколько его статья обратитъ вниманіе на тотъ государственный вопросъ, на то произведеніе, или на ту картину, о которыхъ онъ пишетъ, но единственно о томъ, насколько нашумитъ *его* статья, насколько онъ *самъ* прославится, въ качествѣ обличителя, защитника, великаго критика, или провидца грядущихъ событій. И, ножалуй, онъ правъ: въ публикѣ производитъ шумъ, дѣлаетъ grand éclat не событіе, не книга и тому подобное, а именно его статья; большинству, повидимому, и дѣла нѣтъ до того, о чемъ онъ пишетъ, ни до того, сколько правды въ его писаніи. Оно ослѣплено, оно оглушено, оно ошеломлено и воображаетъ, будто читаетъ свои мнѣнія, свои слова; будто это оно само шумитъ, само блеститъ и бряцаетъ, какъ кимвалъ звенящій:

И вотъ общественное мнѣнье!

Въ свою очередь и самъ газетчикъ оглушается своимъ шумомъ, ослѣпляется своимъ блескомъ, и въ концѣ-концовъ считаетъ себя альфой и омегой умственнаго и политическаго движенія. Онъ полагаетъ себя непогрѣшимымъ во всемъ: онъ непогрѣшимъ, высказывая сегодня одно: высказывая завтра противоположное, онъ еще непогрѣшимѣе. Съ одинаково развязнымъ легкомысліемъ онъ относится ко всему; даже къ народнымъ бѣдствіямъ, будь то война, голодъ, повѣтріе!.. Право, я

порой думаю, что эти господа, столь усердно рекламируя самихъ себя, дойдутъ наконецъ до самообожанія въ буквальномъ смыслѣ слова, то-есть не шутя, какъ нѣкогда Неронъ, вообразятъ себя богами, способными на все; они станутъ сочинять законы, увѣрятся, что они способные администраторы, талантливые писатели, чего добраго, даже доблестные полководцы и... ну, хоть музыканты!

Немыкинъ беззвучно, но сочувственно засмѣялся.

— Въ словахъ вашего сіятельства много правды, сказалъ онъ,—и нельзя не пожалѣть, что вы, вѣроятно, никогда не вздумаете развить свои мысли въ статьѣ, которая, конечно, украсила бы собою страницы любаго журнала.

Графъ скромно опустилъ глаза.

— Отчасти то, что́ вы провидите, графъ, уже сбылось, продолжалъ Немыкинъ.—Если газетчики еще не вообразили себя окончательно богами, то другіе уже считаютъ ихъ божествомъ и поклоняются имъ, какъ древле, римскимъ императорамъ. По ихъ мѣркѣ пишутся романы, рисуются картины и даже порой въ сферахъ правительственныхъ...

— Вы хотите сказать, подхватилъ графъ,—что иные сановники не прочь,—какъ бы выразиться?—если и не вполнѣ заискивать въ газетѣ, то все же, въ жаждѣ популярности, охотно допускаютъ, чтобъ имъ воскурялся ѳиміамъ, съ опасностью de se faire casser le nez à coups d'encensoir... Но оставимъ эту обыденность... Sufficient unto the day is the evil thereof...

Немыкинъ съ невольнымъ изумленіемъ взглянулъ на графа.

— Васъ удивляетъ, не правда-ли? сказалъ графъ,—

что я евангельскія слова привожу по-англійски. Не думайте, чтобъ я не зналъ ихъ по-славянски; скажу болѣе, славянскій изводъ, это „довлѣетъ дневи злоба его“, гораздо полновѣснѣе и величественнѣе англійскаго перевода, но по особенностямъ моего воспитанія я раньше ознакомился съ библіей по-англійски, чѣмъ по-славянски, а привычки дѣтства неистребимы!

Они помолчали.

— Я обѣщалъ, снова заговорилъ графъ,—указать вамъ на нѣкоторые камни преткновенія, но слишкомъ увлекся однимъ изъ нихъ, и по-неволѣ долженъ ограничиться теперь немногими примѣрами. Вы, помнится, въ Петербургѣ говорили мнѣ,—и я даже помню, что говорили прекрасно—о томъ уваженіи, какое питаете ко всему что выросло исторически, на народной почвѣ, какъ вы выразились.

Немыкинъ склонилъ голову въ знакъ согласія.

— Вы, конечно, не станете отвергать историческаго значенія русскаго дворянства?

Немыкинъ отвѣчалъ, что никоимъ образомъ дѣлать этого не намѣренъ.

— Позвольте же указать вамъ, какъ ошибочно, и къ сожалѣнію, не одни демократическіе органы смотрятъ у насъ на нѣкоторые вопросы, тѣсно связанные съ вопросомъ дворянскимъ, хотя эта историческая связь ускользаетъ отъ вниманія людей поверхностныхъ. У насъ принято теперь бранить огуломъ и Нѣмцевъ, и Поляковъ, и забывая полученное отъ нихъ добро, воздавать за причиненное ими зло... Но Поляки, развѣ они не имѣли вліянія на развитіе нашей дворянской идеи? развѣ самое слово дворянинъ, именно благодаря внесеннымъ ими въ нашу жизнь понятіямъ, не пріобрѣло новаго

высшаго значенія, совершенно отличнаго отъ того, которое съ нимъ связывалось въ до-петровскую старину? Вы, конечно, знаете примѣчательное, недавно обнародованное письмо, канцлера Александра Романовича Воронцова, гдѣ онъ своимъ идеаломъ ставитъ не англійскаго лорда, но польскаго магната; вы, полагаю, не забыли, что до изданія грамоты о вольностяхъ дворянства, оно съ гордостью именовало себя шляхетствомъ, что первое воспитательное заведеніе для дѣтей благороднаго сословія носило у насъ названіе шляхетскаго корпуса. Или эти факты не довольно убѣдительны? Подобное же можно повторить и о доблестныхъ потомкахъ „Божьихъ дворянъ“, какъ наши лѣтописцы квалифицировали ливонскихъ рыцарей. Мнѣ не къ чему напоминать вамъ объ ихъ строгой лояльности и вѣрной службѣ новымъ сузеренамъ, засвидѣтельствованной ихъ кровью; прибавлю, что мы во многомъ имъ же обязаны развитіемъ нашей государственной идеи; что не мало искусныхъ администраторовъ и государственныхъ дѣятелей вышли изъ ихъ же школы, или, выражаясь реальнѣе, получили прочный политическій закалъ въ ихъ средѣ, въ тѣ годы своего служебнаго поприща, которые провели въ Прибалтійскомъ краѣ...

Немыкинъ вспомнилъ, что самъ графъ занималъ въ названныхъ губерніяхъ не маловажный постъ.

— И что же? все болѣе одушевляясь продолжалъ графъ, — небезызвѣстные вамъ демагоги, прикрываясь личиной вѣрноподданства и благонамѣренности, подняли руку на этихъ вѣрныхъ сыновъ государства и неприкровенно зовутъ ихъ чуть не измѣнниками. Ненависть къ нимъ перешла уже границу, и всякій Нѣмецъ сталъ подозрителенъ для нашихъ доморощенныхъ террори-

стовъ; особенно же они злобствуютъ на Пруссаковъ, которыхъ нашъ незабвенный Жуковскій почтилъ эпитетомъ „добрыхъ“. Сѣется вражда, и пожнется кровь. И теперь уже замѣчается охлажденіе и принужденность. Я не далѣе какъ нынѣшнимъ лѣтомъ былъ въ Германіи на водахъ, и по обычаю встрѣтился тамъ съ государственными людьми сосѣдней страны. Да, они попрежнему вѣжливы и любезны, но гдѣ былой душевный привѣтъ, былая сердечная предупредительность, былое искреннее сочувствіе? Туча уже надвигается; невольно чувствуешь ея набѣгающую тѣнь, ея приближающійся холодъ. А кто виновенъ?.. Но такъ-то:

Wenn man das Böse thut, sieht man fur klein es an;
Man sieht, wie grose es ist, erst wenn es ist gethan.

Графъ замолчалъ и взглянулъ на Немыкина, ожидая встрѣтить на его лицѣ прежнюю сочувственную улыбку, но редакторъ сидѣлъ, склонивъ на сторону голову, какъ бы все еще прислушиваясь, съ неподвижною физіопоміей и крѣпко сжатыми устами. Графъ слегка заелозилъ въ креслѣ, чѣмъ, какъ извѣстно, нѣкоторыя высокопоставленныя лица даютъ посѣтителямъ понять, что время имъ откланяться. Пѣшкинъ зналъ эту примѣту, но увлеченный краснорѣчіемъ графа проглядѣлъ его граціозный намекъ.

— Вы, помнится, по молчаніи сказалъ графъ,— говорили мнѣ въ Петербургѣ, что не останетесь равнодушны къ вопросамъ религіознымъ вообще и въ частности къ вопросамъ о лучшемъ церковномъ устройствѣ.

Немыкинъ, видя что графъ перемѣнилъ тему, понялъ неловкость своего молчанія послѣ предыдущей рѣчи сановника, и поспѣшилъ многословно выразить свое удовольствіе по поводу того, что графа интересуютъ

вопросы религіозные и отъ его вниманія не ускользнули и потребности церковной реформы.

— Замѣчая ваше сочувствіе къ этому предмету, сказалъ графъ,—я въ короткихъ словахъ выражу вамъ мой, если не вполнѣ проектъ, то мой взглядъ, который былъ уже готовъ облечься въ форму проекта. Дѣло пока касается до нашей высшей духовной іерархіи. Нѣтъ человѣка, который больше моего питалъ бы къ ней самое искреннее почтеніе. Но, согласитесь, что наши власти духовныя слишкомъ не отъ міра сего, слишкомъ—какъ бы сказать?—отвлеченны... надѣюсь, вы понимаете въ какомъ именно смыслѣ я употребляю это слово. Даже по манерамъ и рѣчи, онѣ черезчуръ и, къ сожалѣнію, не къ своей выгодѣ, отличаются отъ властей свѣтскихъ. Я полагалъ бы, что имъ слѣдуетъ предоставить болѣе дѣятельное участіе въ обсужденіи государственныхъ мѣропріятій, сдѣлать ихъ вполнѣ сановниками, выдѣливъ изъ ихъ среды наиболѣе достойныхъ и образовавъ изъ послѣднихъ особый классъ, въ родѣ того, что въ Англіи зовется Lords spiritual...

Тутъ графъ снова взглянулъ на Немыкина и, не встрѣтивъ снова на его лицѣ сочувствія къ своимъ взглядамъ, окончательно потерялъ расположеніе къ дальнѣйшему метанію умственнаго бисера; онъ опять граціозно зашевелился въ креслѣ. На этотъ разъ Пѣшкинъ замѣтилъ выразительное движеніе графа и слегка ущипнулъ редактора за ногу. Оба встали и имѣли честь откланяться его сіятельству.

— Однако, сказалъ Немыкинъ, сходя съ лѣстницы,—я считалъ его прямолинейнымъ, а онъ многосторонній и даже отчасти многогранный...

Секретарь не понялъ, что хотѣлъ выразить редакторъ.

— Н-да! изрекъ онъ, въ свою очередь,—мозгъ государственный.

NB. Читатель! вникни въ два изображенные эпизода и ты поймешь, какъ въ немногіе годы смягчились россійскіе нравы. Во времена отдаленнѣйшія для простыхъ смертныхъ былъ не безопасенъ разговоръ даже съ полицейскимъ оберъ-офицеромъ; во времена ближайшія простые смертные уже удостоивались бесѣды отъ лицъ, предъ коими сами полицейскіе оберъ-офицеры стоятъ въ безмолвной вытяжкѣ. Если отечественная критика не замѣтитъ такого обстоятельства, то ужь никакъ не по винѣ автора.

IX.

Симпосіонъ въ Патрикѣевскомъ трактирѣ.

Агатонъ, только-что увидѣлъ меня, тотчасъ сказалъ: «а! Аристодемъ? Кстати пришелъ; будешь вмѣстѣ съ нами ужинать».
Пиръ Платона.

Минутъ черезъ сорокъ по приходѣ Немыкина съ секретаремъ, за угольнымъ столомъ въ лѣвой комнатѣ Патрикѣевскаго трактира завтракъ былъ въ полномъ разгарѣ. Къ извѣстнымъ уже читателямъ лицамъ присоединилось еще двое: межевой чиновникъ Никандровъ и молодой человѣкъ, въ синемъ вицмундирѣ, Полоуховъ.

Никандровъ, плотненькій съ брюшкомъ человѣчекъ, [illegible] необыкновенно толстыми рыжими усами, напоминавшими туго набитыя подушки или, ближе, подмышные лошадиные хвосты; онъ приходился родственникомъ и свойственникомъ цѣлой дюжинѣ ученыхъ и

литераторовъ и къ довершенію достоинствъ распѣвалъ высочайшимъ тенoромъ собственнаго сочиненія нѣжные романсы, выкраденные изъ забытыхъ произведеній прежнихъ композиторовъ. Полосатовъ пока состоялъ только учителемъ словесности, но тщательно готовился въ профессора и уже успѣлъ выработать себѣ прерывистую и тянучую рѣчь, способную нагонять дремоту даже на хорошо выспавшихся студентовъ.

Общей бесѣды пока не завязывалось. Драматургъ, какъ клещъ, впился въ редактора и не давалъ ему дохнуть. Секретарь и межевой безъ словъ, въ молчанку, поняли другъ друга и, помѣстясь по сосѣдству, по временамъ только обмѣнивались взглядомъ, послѣ чего то тотъ, то другой, поочередно, съ разсѣяннымъ видомъ, наливалъ двѣ рюмки водки. Голубцовъ и Безпаловъ прислушивались къ разговору редактора съ Угрюмовымъ, изрѣдка обмѣниваясь негромкими замѣчаніями. Будущій профессоръ молчалъ и, самоуглубленно пофыркивая, пилъ чай, наотрѣзъ отказавшись отъ завтрака и съ важностью объявивъ, что между уроками не дозволяетъ себѣ иныхъ напитковъ.

— Но, позвольте, однако, обратился Немыкинъ къ драматургу,—отчего же вы не даете своихъ піесъ въ Маломъ театрѣ?

— Вотъ ужь съ вашей-то стороны я никакъ не ожидалъ такого вопроса! отвѣчалъ Угрюмовъ.—Во-первыхъ, я не придерживаюсь того рутиннаго взгляда, что все спасеніе въ казенной сценѣ. Какъ хотите, а рано или поздно будетъ же объявлена свобода театровъ, а для новаго дѣла потребуются новыя силы. Когда явится конкурренція, тогда выяснится, кто пригоднѣе для общества,—казенные ли авторы, или вольные.

Немыкинъ нашелъ такое мнѣніе весьма любопытнымъ и основательнымъ.

— Затѣмъ, возьмите, сколько тамъ препятствій! Бѣгай по бенефиціантамъ, кланяйся, да вдобавокъ всякій тебя заставитъ передѣлывать піесу по его вкусу. Такъ я не Розенкранцъ, чтобъ имъ подчиняться! Или прикажете мнѣ по начальству въ разодранныхъ сапогахъ ходить: „взгляните, молъ, вашество, сапоги каши запросили; поставьте, будьте милостивы, мою піесу". Такъ я не Фуфайкинъ, я лучше вѣкъ безъ сапогъ прохожу! А еще комитетъ,—я вотъ не признаю его, да и только; компетентности его не признаю, понимаете; одинъ у насъ судья—публика. Что жь мнѣ, какъ Лѣнивкину, съ револьверомъ въ комитетъ явиться да кричать, что застрѣлюсь на порогѣ, коли не пропустятъ? Нѣтъ, я на это не пойду, я себѣ цѣну знаю.

— А не правду я развѣ сказалъ, что онъ штучка преинтересная? шепнулъ Голубцовъ Безпалову.

— И долго вы такъ самоотверженно трудитесь для театра? спросилъ Немыкинъ.

— Порядочно-съ. Въ прошломъ году юбилейчикъ даже справилъ; конечно, не полный, а за пятнадцать лѣтъ, и не публично, понятно, а въ кругу близкихъ друзей. И ничего-съ, портсигарчикъ поднесли, не дорогой, но милый; на крышкѣ снутри шестьдесятъ подписей, похвасталъ Угрюмовъ, всего удесетеряя число своихъ поклонниковъ.—А вечеромъ въ клубѣ піесу мою дали; публика узнала, и ничего, почествовала-таки. И въ газетахъ кой-гдѣ проскользнуло.

— А какъ вы назвали вашу піесу? сказалъ редакторъ, морщась отъ хвастливости драматурга и не зная о чемъ бы еще спросить его.

— Которую? юбилейную?

— Нѣтъ, про которую раньше говорили.

— А! радостно воскликнулъ Угрюмовъ, довольный, что самъ редакторъ заговорилъ наконецъ о піесѣ: у него передъ глазами даже три радужныя бумажки блеснули.—*Старыя дрожжи,* но почему?.. Въ ней, видите, выставлена борьба за существованіе, какъ она проявляется въ купечествѣ, между молодымъ поколѣніемъ и старымъ. Ну, происходитъ столкновеніе, и...

— А! коллизія, не менѣе радостно воскликнулъ Немыкинъ, въ надеждѣ свести разговоръ на общую тему.—Борьба и коллизія, уже захлебываясь продолжалъ онъ,—это душа драмы. Вы, конечно, читали новое изслѣдованіе Канегиссера?

— Знаете, такъ, проглядѣлъ только, совралъ Угрюмовъ, не знавшій иной азбуки, кромѣ гражданской.

— Напрасно; это кладъ для драматурга. Прекрасно онъ, напримѣръ, говоритъ...

И Немыкинъ отхваталъ страницы двѣ изъ новѣйшаго Канегиссера, прихвативъ по пути нѣсколько глубокомысленныхъ замѣчаній старика Катценфрессера.

— Ну, вотъ это самое у меня и есть, нежданно прервалъ его скромный драматургъ.

— Что̀ есть? гдѣ есть? растерянно спросилъ редакторъ, досадуя, что его прервали въ тотъ именно моментъ, когда потокъ словъ понесся несдержимо и водянистыхъ нѣмецкихъ эстетиковъ хватило бы, по крайнему разсчету, еще на полчаса.

— А что̀ вотъ этотъ самый Нѣмецъ пишетъ; въ моей комедіи.

— А? Въ такомъ случаѣ, превосходно... Но я долженъ предупредить васъ, что мы рѣшили не печатать

драматическихъ сочиненій, по крайней мѣрѣ въ нынѣшнемъ году...

— Да развѣ я вамъ къ тому сказалъ?.. Эхъ!.. обидчиво отвѣчалъ Угрюмовъ и затѣмъ прибавилъ уже грубо:—вѣдь всѣ вы, извѣстно, казенныхъ предпочитаете... Ну, а Мольеръ съ Шекспиромъ, тѣ казенными не были!..

— Извините, сказалъ Голубцовъ, желая сколько-нибудь загладить неумытость своего протеже,—но въ вашемъ смыслѣ слова ихъ скорѣе можно назвать казенными.

— Да-а? со злобною недовѣрчивостью пробурчалъ Угрюмовъ.—А впрочемъ!.. И онъ махнулъ рукой, на Шекспира ли съ Мольеромъ, или на кого инаго, неизвѣстно.

— А что, Иванъ Петровичъ, обращаюсь къ вамъ въ качествѣ подписчика, сказалъ Голубцовъ Немыкину, чтобы перемѣнить разговоръ, — когда же первая книжка? Вѣдь сегодня, Божею милостью, чуть ли не тридцатое...

— Она вполнѣ ужь готова и сброшюрована, и даже февральская набрана на половину, только нѣкоторыя обстоятельства...

Секретарь подъ столомъ дернулъ редактора за фалду и громогласно сказалъ:

— Правит-тельство!!.

— То-есть цензурныя затрудненія? освѣдомился Голубцовъ.

Пѣшкинъ состроилъ лицо и сдѣлалъ жестъ, которые можно было истолковать такъ: „понимайте, какъ хотите!“

— Позвольте и мнѣ, быстро, быстро засюсюкалъ

межевой,—почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ, дать вамъ совѣтъ, конечно, если я только смѣю давать совѣты человѣку, столь глубокоуважаемому и опытному, но все же въ качествѣ вашего неизмѣннаго почитателя и подписчика... (Да, держи карманъ, такъ и подписался! мелькнуло у него въ головѣ). Вы, конечно, изволите помнить покойнаго Эраста Матвѣевича Сугубскаго, который когда-то былъ адъюнктомъ по каѳедрѣ финансоваго права... Онъ мнѣ приходится съ родни, потому что его сестра, Ѳекуса Матвѣевна, была, какъ вамъ, вѣроятно, извѣстно, замужемъ за Телепневымъ, а старшая сестра Телепнева, Варвара Андрониковна, вышла за Фаняпина... То-есть, собственно говоря, ихъ фамилія была первоначально von Alpin, но еще въ старину...

— Позвольте, однако, какое же отношеніе это имѣетъ къ выходу моей первой книжки?

— Это я къ слову, а собственно я хотѣлъ сказать, что Эрастъ Матвѣичъ, какъ вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, въ началѣ сороковыхъ годовъ, если не ошибаюсь, издавалъ *Оріонъ* и однажды—обстоятельство, быть-можетъ, ускользнувшее отъ вашего вниманія—по какимъ-то причинамъ былъ принужденъ выпустить іюнь и іюль въ одной книжкѣ, и хотя книжки были и лѣтнія, но такое обстоятельство сильно отразилось на подпискѣ.

— Нѣтъ, мы январьскую и февральскую выпустимъ отдѣльно, одну за другой, сказалъ секретарь и въ видѣ иллюстраціи къ своимъ словамъ налилъ двѣ рюмки водки.

— Я тогда, конечно, былъ еще ребенкомъ, продолжалъ неугомонный межевой чиновникъ, — но прекрасно помню этотъ случай, потому что покойная

моя тетка, Анна Михайловна Θеогенова, урожденная княжна Карабулатова, которая, по сохранившимся литературнымъ преданіямъ, которыя, конечно, вамъ памятны больше моего, состояла въ интимной связи съ покойнымъ Эрастомъ Матвѣичемъ и приходилась...

И Никандровъ пустился въ долгую генеалогію и біографію урожденной княжны Карабулатовой. Драматургъ тѣмъ временемъ подсѣлъ къ Андрею Николаевичу.

— Послушайте, по-панибратски сказалъ онъ ему,— вы мнѣ обязаны помочь, какъ художникъ художнику, честное слово.

Безпалова покоробило.

— Вѣдь вы, говорятъ, пишете портретъ съ Хотьминской? продолжалъ драматургъ.

Андрей Николаевичъ не отрекся.

— Такъ, пожалуйста, пристройте ей на бенефисъ мою піесу. Я знаю, что у нея ничего нѣтъ, а потому тутъ съ моей стороны никакой интриги не затѣвается.

— Но какъ же я буду рекомендовать піесу, которой не знаю?

— Это ничего. Впрочемъ, я могу и прочесть вамъ. А, самое лучшее, скажите просто, что слышали какъ въ одномъ многолюдномъ обществѣ хвалили ее.

— Не лучше ли вамъ самимъ объяснить ей это?

— Да я бы, конечно... Что жь, дѣло не мудрое. А только, видите, всѣ актеры лгутъ безбожно, — не удивляйтесь, я ихъ, слава Богу, изучилъ,—а потому она мнѣ не повѣритъ.

— Въ такомъ случаѣ съ чего же она повѣритъ мнѣ?

— Вы—другое дѣло; вы не театральный. И при-

томъ, согласитесь, какой интересъ мнѣ васъ обманывать? Я говорю „хорошо“, потому что дѣйствительно самъ сознаю, что хорошо. Подводить васъ мнѣ не разсчетъ. И, во-первыхъ, сюжетъ хорошъ: за молоденькою вдовушкой ухаживаютъ двое, отецъ и сынъ, оба купеческаго званія: отецъ закорузлый, по старинѣ, самодуръ, своего рода Китъ Китычъ, только похлеще (драматургъ не договорилъ, впрочемъ не изъ скромности, мелькнувшаго у него въ головѣ слова: „написанъ“), а молодой, знаете, изъ нонѣшнихъ, цивилизаціи нахватался. И такой у нихъ карамболь выходитъ, чудо! Чуть не до драки!.. И притомъ, надо вамъ сказать, что сценична необыкновенно. Впрочемъ, со вздохомъ прибавилъ Угрюмовъ, — я теперь до того дошелъ, что не могу ужь писать несценично. Пробовалъ, нарочно пробовалъ, да не выходитъ. Постигъ, значитъ.

— Но вѣдь сценичность, кажется, достоинство чисто внѣшнее, осторожно замѣтилъ Андрей Николаевичъ.

— Да вы насчетъ художественности, что ли, безпокоитесь? Такъ ужь это само собой! Сами знаете, какіе у меня характеры и роли. Да вотъ вамъ Пуговкинъ, не здѣшній пропоица, а петербургскій, извѣстный. Онъ, какъ въ провинцію или лѣтомъ по клубамъ, всегда за мои роли берется, а ужь въ бенефисъ ничего, кромѣ моей *Мели не мели, а муки не выйдетъ*, не ставитъ. А если она, то-есть Фаничка, насчетъ бенефисности безпокоится, то-есть бенефисная ли роль, такъ это дѣло поправимое. Моноложецъ, другой приписать можно; для треску, понимаете. Въ принципѣ я, конечно...

— Э! да у васъ тутъ цѣлая компанія! сказалъ Подлещиковъ какъ разъ сзади Андрея Николаевича.

Немыкинъ такъ и ринулся навстрѣчу Ивану Ѳеогностовичу, забывъ, что между ними тяжелый круглый столъ. Порывистое движеніе редактора имѣло не совсѣмъ пріятныя послѣдствія. Именно, у Никандрова была довольно скверная привычка предъ тѣмъ, какъ выпить рюмку, сперва склониться надъ ней и потянуть винный духъ носомъ, причемъ онъ плотно прижималъ ноздри къ энглизированнымъ хвостамъ, замѣнявшимъ у него усы, находя, что запахъ водки, пройдя сквозь пропитанные табакомъ волосы, получаетъ особый ароматъ. При колебаніи стола, рюмка привскочила и Никандрову все лицо обдало водкой. Редакторъ сталъ усиленно извиняться, но межевой нисколько не былъ въ претензіи, а напротивъ, обрадовался непредвидѣнному случаю, какъ поводу къ разказу о томъ, какъ на свадьбѣ, когда его двоюродный дѣдъ, профессоръ римскихъ древностей Грюнфельдъ, выдавалъ дочку за извѣстнаго поэта Воропаева, то адъюнктъ судебной медицины, впослѣдствіи знаменитый Сластолюбовъ,—но придумать, что̀ именно натворилъ Сластолюбовъ на свадьбѣ у Воропаева авторъ предоставляетъ воображенію читателя.

— А, Андрюша, и ты здѣсь! обратился Подлещиковъ къ пріятелю.

Андрею Николаевичу почему-то бросилось въ глаза, что въ послѣднее время Иванъ Ѳеогностовичъ, встрѣчаясь съ нимъ въ обществѣ, зоветъ его уменьшительнымъ „Андрюша“.

— Видно, я впрямь своего рода знаменитость! подумалось ему.—Стой, постой! сказалъ онъ вслухъ, готовясь облобызаться съ пріятелемъ,—что̀ у тебя на лицѣ?

— Ахъ, Господи Боже мой! Гдѣ на лицѣ? Что̀

тебѣ за дѣло до моего лица? вспылилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, полагая, что у него вскочилъ какой-нибудь ничтожный прыщикъ, который, не будь на него обращено дружеское вниманіе, прошелъ бы незамѣченнымъ.

— Погляди въ зеркало.

Иванъ Ѳеогностовичъ глянулъ и ахнулъ: лицо у него было въ грязи.

— Ахъ, проклятый мальчишка! вскричалъ онъ.— Извините, Иванъ Петровичъ, я сейчасъ.

— Позвольте, и я съ вами. Мнѣ тоже необходимо...

Оба вышли.

Съ Иваномъ Ѳеогностовичемъ вотъ что случилось. На углу Никольской, неподалеку отъ Воскресенскихъ воротъ, къ пузатому, съ огромнымъ привѣшеннымъ на ремняхъ лоткомъ, торговцу съѣстнымъ, подошелъ уличный мальчишка и спросилъ три пирога, предварительно выложивъ деньги на лотокъ. Съѣвъ купленное, мальчишка, уже не вынимая денегъ, спросилъ еще два, и затѣмъ, взявъ по пирогу въ руки, подскакивая изъ-за лотка, сталъ хлестать ими по-носу оторопѣлаго и неповоротливаго торговца, къ великой радости молодцовъ и зѣвакъ. Несчастный торговецъ совсѣмъ замучался, стараясь отогнать юркаго мальчишку, какъ Иванъ Ѳеогностовичъ, подойдя и наскоро узнавъ въ чемъ дѣло, бросился, какъ врагъ всякаго самоуправства, на мальчишку, горя нетерпѣніемъ оборвать ему уши. Мальчишка пустился на-утекъ; на дворѣ стояла оттепель, и проказникъ ловко перескочилъ черезъ огромную лужу какъ разъ предъ проѣзжавшимъ экипажемъ; Ивана Ѳеогностовича, уже протянувшаго руку, чтобы схватить негодяя, обдало грязью. Хотя онъ, при хохотѣ, ржаньи и взвизгахъ молодцовъ и зѣвакъ, и оттиралъ весьма

усердно лицо платкомъ, но слѣды грязи все-таки остались.

— Извините, что запоздалъ, сказалъ Подлещиковъ, когда они вышли изъ комнаты, — я обѣщалъ въ часъ, а теперь уже три... Но я не предполагалъ, что онъ такъ упрямъ.

И Иванъ Ѳеогностовичъ быстро побѣжалъ по коридору; редакторъ нагналъ его уже въ уборной.

— Но онъ, надѣюсь, согласился? спросилъ Немыкинъ.

— Да... да, отвѣчалъ Подлещиковъ съ опасностью глотнуть мыльной пѣны.

— И все оформено именно въ томъ видѣ, какъ мы говорили?

— Сейчасъ... извините... сейчасъ... Ну, вотъ наконецъ я къ вашимъ услугамъ, вытирая лицо, сказалъ нотаріусъ. — На нѣкоторые пункты онъ согласился безпрекословно, но другіе оспаривалъ самымъ упорнымъ образомъ. Пункты о томъ, что изданіе должно продолжаться не менѣе двухъ лѣтъ, и что онъ, въ качествѣ издателя, обязуется выдавать на текущіе расходы по тридцати тысячъ въ годъ, уплачивая за каждый мѣсяцъ впередъ по двѣ тысячи пятисотъ рублей, — прошли безъ возраженій. Далѣе, пришлось поспорить; именно я, согласно съ вашимъ желаніемъ, настаивалъ, чтобы въ случаѣ разногласія относительно направленія, которое приметъ журналъ, или инаго недоразумѣнія, или пререканія между нимъ, какъ издателемъ, и вами, какъ редакторомъ, а равно въ случаѣ его нежеланія совмѣстно продолжать изданіе на третій годъ, вамъ было выдано, при отказѣ отъ редакторства, единовременно шесть тысячъ...

— Тутъ онъ заспорилъ? Я такъ и ждалъ. Онъ человѣкъ жестокій и самовластный... Я, конечно, весьма ему благодаренъ за то, что онъ далъ мнѣ возможность издавать журналъ, но я знаю, я прекрасно вижу, что ему желалось бы вѣчно держать меня въ рукахъ, безпрерывно напоминать мнѣ о томъ, что онъ далъ, но что онъ же можетъ и отнять; я увѣренъ, что въ концѣ-концовъ онъ этого не сдѣлаетъ; но ему хотѣлось бы, чтобъ я ежеминутно чувствовалъ его власть... Но все же онъ согласился?

— Да.

— Ну, покорнѣйше васъ благодарю! Весьма вамъ благодаренъ, сказалъ редакторъ, пожимая Ивану Ѳеогностовичу обѣ руки.

— Позвольте. Взамѣнъ этой уступки, онъ потребовалъ внесенія новаго пункта; вы сейчасъ убѣдитесь въ его несущественности, и именно въ виду этого я и взялъ на себя смѣлость изъявить на него отъ вашего имени согласіе.

— Въ чемъ же онъ? насупясь спросилъ редакторъ.

— Онъ потребовалъ, чтобы въ случаѣ, если на второй годъ подписка окажется меньше, чѣмъ въ первый, то онъ имѣлъ бы право перемѣнить редактора въ февралѣ...

— Гм., мрачно пробурчалъ Немыкинъ.

— При этомъ онъ настаивалъ, чтобы въ такомъ случаѣ, онъ въ виду значительныхъ затратъ съ его стороны въ первый годъ изданія, былъ избавленъ отъ обязательства выплатить вамъ шесть тысячъ, но я, конечно, не могъ согласиться на это; мы долго препирались, и наконецъ...

— Что же? взволнованнымъ голосомъ прервалъ его редакторъ.

— Конечно, я настоялъ на своемъ.

— Благодарю васъ, еще разъ благодарю васъ. Я главнымъ образомъ боялся именно возможности быть выброшеннымъ на улицу по его капризу. А теперь я, право, не знаю даже, зачѣмъ онъ настаивалъ на этомъ пунктѣ; вы совершенно справедливо замѣтили, что это чистѣйшая формальность. Но ему хотѣлось подсунуть мнѣ маленькую шпильку; занисать, такъ-сказать, въ протоколъ, что онъ считаетъ меня неспособнымъ къ редакторству человѣкомъ... О! я его знаю, я его прекрасно знаю.

— Я понималъ, что, при условіи уплаты шести тысячъ, этотъ пунктъ ровно ничего не значитъ; но, признаюсь, нѣсколько опасался, чтобъ онъ не показался оскорбительнымъ для вашего самолюбія.

— Видите, еслибы журналъ дѣйствительно не пошелъ, то это было бы обидно для моего самолюбія; но въ такомъ случаѣ я самъ бы отказался отъ редакторства; но вѣдь оттого, что онъ придумалъ этотъ пунктъ, дастъ Богъ, ничего худаго не случится. Нѣтъ, мнѣ остается только благодарить васъ... А онъ,—онъ, повторяю, человѣкъ подозрительный и жестокій. Онъ думаетъ, я не вижу его затѣй... Не даромъ же онъ навязалъ мнѣ Пѣшкина...

— Какъ Пѣшкина? съ изумленіемъ спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Не можетъ же онъ полагать, что Пѣшкинъ способенъ замѣнить васъ?

— Отчего же?... *Онъ* воспользуется моею возможною болѣзнью или поѣздкой въ деревню ради отдыха, или чѣмъ-нибудь подобнымъ, и станетъ приставать, чтобъ я взялъ Пѣшкина въ соредакторы, а затѣмъ будетъ уже не трудно и вовсе меня отстранить...

— Помилуйте! Да, я думаю, ни одинъ сотрудникъ не согласится работать у такого редактора.

— Отчего же? Деньги будутъ тѣ же, направленіе, по крайности на словахъ, то же...

— Но вашъ умъ, ваши знанія, ваша опытность?

— О! это не цѣнится. Повѣрьте, многіе даже будутъ рады такой перемѣнѣ. Изъ числа сотрудниковъ составится кружокъ, который и захватитъ журналъ въ свои руки; они подѣлятъ между собою разные отдѣлы и станутъ не пускать статей постороннихъ, особенно людей талантливыхъ и независимыхъ. На что̀ другое, а на подобные клики мы, Русскіе, издревле большіе мастера. Вы знаете это, конечно, не хуже моего.

— Все это печально, почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ.—Но не могутъ же они разсчитывать при такихъ обстоятельствахъ на сочувствіе публики?

— Отчего же нѣтъ? По внѣшности, все останется попрежнему. Притомъ, быть-можетъ, они понравятся публикѣ больше. Я вѣдь взялся за редакторство ради того, чтобы вывести журналистику на просторъ, поднять борьбу съ такъ-называемымъ направленствомъ, дать возможность высказывать свои взгляды людямъ независимымъ и самостоятельнымъ; но кто знаетъ, понравится ли такая широта и свобода мысли читателямъ. Быть-можетъ, для публики требуется, чтобы редакторъ, какъ дятелъ, все долбилъ въ одну и ту же точку. По крайней мѣрѣ, вы знаете, что журналы съ самымъ узкимъ, съ самымъ крайнимъ направленіемъ имѣютъ наибольшій успѣхъ...

— Да, съ живостью замѣтилъ нотаріусъ,—пока нѣтъ журнала съ болѣе широкими и нестѣсненными взглядами.

— Можетъ-быть, съ какимъ-то смутнымъ чувствомъ отвѣчалъ редакторъ.— Но оставимъ это. Позвольте мнѣ лучше еще разъ дружески поблагодарить васъ и даже по-русски поцѣловать васъ: благодаря вамъ, я со спокойною душой примусь за дѣло.

Они облобызались.

— Позвольте и мнѣ, почтеннѣйшій Иванъ Петровичъ, въ свою очередь обратиться къ вамъ со всепокорнѣйшею просьбой.

— Сдѣлайте милость; все что въ моихъ силахъ...

— Я тѣмъ охотнѣе обращаюсь къ вамъ, что знаю, что моя просьба придется вамъ по душѣ... Вамъ, конечно, случалось видѣть Хотьминскую?

— Хотьминскую?.. Позвольте... какая это Хотьминская?.. Варвара?..

— Нѣтъ, Фанни Юрьевна, артистка; она играетъ въ клубѣ...

— Ахъ, да! какже, какже-съ! сказалъ Немыкинъ, самъ хорошенько не зная, видѣлъ ли онъ Хотьминскую, или слышалъ о ней, или читалъ про нее.—По общему отзыву, особа преталантливая...

— Да, у нея большія природныя данныя и, по моему мнѣнію,—конечно, я профанъ, и мое мнѣніе не болѣе, какъ простой голосъ изъ публики, и я, понятно, не смѣю спорить съ такимъ глубокимъ знатокомъ искусства, какъ вы,—но, по-моему, у нея много поэзіи и дарованіе не дюжинное, которое, какъ природный алмазъ, требуетъ, такъ-сказать, отдѣлки или граненія, чтобы стать сверкающимъ брилліантомъ.

— Что же вы собственно желаете отъ меня?

— Чтобъ вы обратили на нее вниманіе, помогли

бы ей вашими совѣтами, развили ея художественное пониманіе и природныя средства.

— Весьма охотно, съ величайшимъ удовольствіемъ Вы насъ познакомите, я къ ней заѣду, мы поговоримъ о Шекспирѣ, почитаемъ...

Немыкинъ читалъ стихи съ завываньемъ, рокотаньемъ и особымъ присвистомъ (какъ шипятъ старые порванные мѣхи), а потому въ Москвѣ почитался весьма искуснымъ декламаторомъ и знатокомъ дѣла.

— Мнѣ случалось слышать отъ васъ, глубокоуважаемый Иванъ Петровичъ, что безъ хорошей школы...

— О! школа — великое дѣло! уже съ загорѣвшимися глазами возгласилъ Немыкинъ, — она-то и есть то граненіе алмаза, которое, какъ вы прекрасно выразились...

Какъ ни пріятно было Ивану Ѳеогностовичу согласіе Ивана Петровича, но онъ зналъ, что старый энтузіастъ, дай онъ ему только возможность разойтись, тутъ же въ уборной прочтетъ цѣлую лекцію о декламаціи и важности школы,—а между тѣмъ ихъ долгая уединенная бесѣда, перетолкованная Пѣшкинымъ, можетъ повредить самому же Немыкину во мнѣніи подозрительнаго издателя. Поэтому Подлещиковъ весьма деликатно намекнулъ редактору, что имъ удобнѣе будетъ продолжать разговоръ въ общей комнатѣ, гдѣ ихъ, вѣроятно, уже заждались.

— Какъ вы сказали? вскидываясь отъ умственнаго бреда сказалъ редакторъ.—Ахъ, да!.. Впрочемъ, вы правы... И, пожалуста, поддержите меня... мнѣ надо что-нибудь придумать для Пѣшкина, которому вовсе не слѣдуетъ сообщать подробностей... Такъ ужь будьте добры, подтвердите мои слова...

Въ Москвѣ удивительно умѣютъ сочетать идеализмъ съ практичностью. Въ Петербургѣ люди проще: коли идеалистъ человѣкъ, такъ идеалистъ; коли практикъ, такъ практикъ; въ Москвѣ же самые ловкіе практики не лишены возвышеннаго идеализма, и самые возвышенные идеалисты—ловкіе практики.

Воротясь въ общую комнату, Немыкинъ усѣлся на диванѣ, помѣстивъ подлѣ себя Подлещикова.

— Ахъ, Петръ Иванычъ, обратился онъ къ Пѣшкину,—не забыть бы; я вотъ, какъ вышелъ съ Иваномъ Ѳеогностовичемъ, такъ встрѣтилъ разсыльнаго изъ редакціи: изъ Петербурга получена депеша, что всѣ препятствія къ выходу первой книжки устранены.

Пѣшкинъ испытующимъ образомъ взглянулъ на Подлещикова.

— Да, спокойно подтвердилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, — Ивана Петровича можно поздравить съ большою побѣдой въ Петербургѣ.

— Такъ прикажете разпорядиться выпускомъ книжки? спросилъ секретарь.

— Не безпокойтесь, я уже сдѣлалъ распоряженіе, отвѣчалъ редакторъ. — Господа! обратился онъ ко всѣмъ,—можете меня поздравить: первая книжка выйдетъ завтра, а къ пятнадцатому, дастъ Богъ, выпустимъ и вторую.

Начались поздравленія.

— Благодарю васъ, господа, и позвольте мнѣ, по русскому обычаю, предложить вамъ шампанскаго.

X.

Въ чужомъ пиру похмѣлье.

Уме недозрѣлый! плодъ недолгой науки
Ант. Кантемиръ.

Шампанское было подано, начались тосты. По счастью, дѣло происходило въ общемъ залѣ, гдѣ громко ораторствовать было неудобно, и авторъ, къ своему удовольствію, избавленъ отъ повода описывать широковѣщательныя и пустозвонныя мямленья, присюсюкиванья, пришептыванья и губошлепанья, которыя наши газеты изъ ланинскаго патріотизма зовутъ застольными рѣчами.

Когда поздравленія затихли и чоканья прекратились, будущая слава русской науки, учитель Полосатовъ, доселѣ уединенно и сосредоточенно фыркавшій себѣ подъ носъ, почелъ долгомъ оживить пиръ разумнымъ словомъ.

— Я сердечно радъ, что ваше дѣло окончательно устроилось, сказалъ онъ, обращаясь къ редактору,— и не скрою, что радъ этому отчасти изъ эгоистическихъ побужденій. Мои статьи „О позитивныхъ основахъ исторіи литературы“ почти окончены, и быть-можетъ ихъ начало вы найдете возможнымъ пустить еще въ февралѣ.

— Да, листа два я, кажется, еще могу удѣлить вамъ. Во всякомъ случаѣ, я буду весьма радъ ихъ помѣстить. Вашъ взглядъ на значеніе литературы не лишенъ оригинальности, и притомъ вы серьезно и съ большою эрудиціей разработали вашу тему...

— Если не секретъ, то не будете-ли вы добры, не объясните ли намъ въ нѣсколькихъ словахъ предметъ вашей, судя по отзыву Иванъ Петровича, въ высшей степени занимательной статьи, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ человѣкъ занятой, предпочиталъ подобныя устныя бесѣды съ авторами чтенію ихъ объемистыхъ произведеній; онъ воображалъ, что при этомъ обогощаетъ себя знаніями и получаетъ понятіе о разныхъ предметахъ, — что̀ весьма льстило его самолюбію.

— Въ наукѣ секретовъ не имѣется, важно отвѣчалъ будущій ученый,—и я охотно подѣлюсь съ вами результатами моихъ изслѣдованій... Видите ли, по молчаніи, собравшись съ мыслями, продолжалъ онъ,—мы всѣ, еще со школьной скамьи, твердимъ, что литература есть отраженіе или выраженіе жизни народной; что она представляетъ зеркало, въ которомъ образно запечатлѣвается нравственная физіономія даннаго общества; что она составляетъ фокусъ, гдѣ сосредоточиваются всѣ живительные лучи мнѣній, надеждъ, чаяній и вожделѣній даннаго времени. Но на сколько строго, сознательно и послѣдовательно проводится и иллюстрируется это воззрѣніе въ исторіи литературы? Въ личной бесѣдѣ я, понятно, не могу изложить свой взглядъ съ полной основательностью и подробностью, и поневолѣ долженъ ограничиться самыми существенными чертами. Я нахожу, что доселѣ въ исторіи литературы обращается черезчуръ усиленное вниманіе на личность писателей, на „ихъ“ будто бы вліяніе на общество, на „ихъ“ будто бы идеи. Мнѣ кажется, что центръ тяжести долженъ быть перенесенъ на само

общество, котораго писатель есть не болѣе, какъ выразитель; его же собственная личность представляетъ интересъ весьма второстепенный...

— Извините, пожалуста, съ живостью прервалъ оратора Андрей Николаевичъ,—вы вотъ отвергаете значеніе личности писателя и, вѣроятно, художниковъ вообще... Но вѣдь въ искусствѣ личность—все. Вѣдь писатель тогда только и становится писателемъ, когда у него является *свой* языкъ, *свой* стихъ, *свой* слогъ...

— Извините, что я въ свою очередь прерву васъ, мягко и со снисходительною улыбкой сказалъ Полосатовъ,—я до технической стороны дѣла не касаюсь; меня занимаетъ вопросъ болѣе важный, вопросъ объ общественномъ значеніи литературы.

Андрей Николаевичъ растерянно и точно жалуясь взглянулъ на Голубцова.

— Что жъ это? шепнулъ онъ ему,—да онъ технику съ личностью смѣшиваетъ...

— Погоди, не то еще услышишь, шепотомъ же отвѣчалъ докторъ.

— И такъ, продолжалъ между тѣмъ Полосатовъ, обращаясь по преимуществу къ Подлещикову, какъ къ болѣе внимательному и понимающему слушателю,— центръ тяжести, какъ то, надѣюсь, мнѣ удастся окончательно разъяснить и доказать въ моей диссертаціи, долженъ быть перенесенъ на общество, котораго писатель есть только выразитель. Словомъ, важенъ не онъ, важно изучить умственную дѣятельность и нравственные идеалы тѣхъ мыслящихъ тысячъ, того интеллигентнаго меньшинства, которое составляетъ общество, и которое, строго говоря, и находитъ свое выраженіе въ литературѣ. Искусство не доступно народу въ об-

ширномъ смыслѣ, этой инертной массѣ, подлежащей развитію по идеаламъ меньшинства. Вотъ почему, при опредѣленіи значенія даннаго поэта или прозаика, мѣрой никакъ не можетъ служить его личность, или художественный талантъ; мѣра эта должна быть независима отъ такъ-называемаго вкуса, всегда болѣе или менѣе условнаго, отъ произвольныхъ эстетическихъ теорій и пристрастій; мѣра должна быть фактическая.

Лекторъ сдѣлалъ паузу.

— Все это чрезвычайно любопытно, счелъ долгомъ вставить Иванъ Ѳеогностовичъ.—Въ чемъ же вы усматриваете эту мѣру?

— Въ успѣхѣ; въ успѣхѣ даннаго произведенія или писателя въ свое время.

Подлещиковъ съ торжествомъ поглядѣлъ на Андрея Николаевича. Безпаловъ, повидимому, остался равнодушенъ къ этому взгляду, но онъ точно нырнулъ прямо въ глубину его сердца и запалъ тамъ. Впослѣдствіи онъ не разъ вспоминался художнику.

— Вы, быть-можетъ, скажете, продолжалъ краснорѣчивый лекторъ,—что не всегда легко опредѣлить величину и напряженіе этого успѣха. И да, и нѣтъ. Конечно, самое важное значеніе, въ научномъ отношеніи, тутъ принадлежитъ, или, вѣрнѣе, будетъ принадлежать, статистическимъ даннымъ, всегда точнымъ и непогрѣшимымъ; тотъ, конечно, и имѣлъ успѣхъ, за кого высказалось большинство, чьи сочиненія разошлись въ бо́льшемъ количествѣ экземпляровъ; тотъ и былъ выразителемъ эпохи, кого болѣе другихъ читали, кѣмъ сильнѣе другихъ интересовались и увлекались. Тамъ, гдѣ нельзя добыть положительныхъ статистическихъ данныхъ, мы можемъ руководствоваться отдѣльными отзывами со-

временниковъ, или извѣстіями объ ваціяхъ или средневѣковыхъ тріумфахъ...

— Извините, съ лукавою улыбкой вставилъ Голубцовъ,—а что вы скажете о томъ успѣхѣ en permanence, который имѣютъ всѣ истинные поэты и художники изъ вѣка въ вѣкъ?

— Видите ли, я не отвергаю ихъ успѣха, но чтобъ оцѣнить его солидность, слѣдуетъ опредѣлить ту среду, гдѣ они имъ пользуются. Повторяю, что тѣ художники, о которыхъ вы упомянули, пользуются успѣхомъ, но въ средѣ весьма ограниченной и въ условномъ смыслѣ. Они имѣютъ успѣхъ у эрудитовъ, у людей болѣе или менѣе спеціально занимающихся эстетикой; пожалуй, еще школьный успѣхъ ознакомленія съ прекрасными формами, а равно успѣхъ пріятнаго препровожденія времени у праздныхъ дилетантовъ; но такой успѣхъ странно даже сравнивать съ живымъ общественнымъ успѣхомъ, который только и имѣетъ серьезное историческое значеніе. Прибавлю, что порой одинъ и тотъ же писатель, въ разные періоды своей дѣятельности, можетъ имѣть различные успѣхи; успѣхъ по существу или общественный, и успѣхъ формально-эстетитескій или у дилетантовъ. Такъ Пушкинъ, въ ранній періодъ своей дѣятельности, когда онъ былъ выразителемъ лучшихъ общественныхъ стремленій, реформаторскихъ идей лучшихъ своихъ современниковъ, когда, словомъ, онъ былъ охваченъ вѣяньями своей эпохи,—имѣлъ успѣхъ желательный, успѣхъ общественнаго дѣятеля. Въ позднѣйшій же періодъ своей жизни, когда онъ, быть-можетъ, и полнѣе выражалъ свою личность, общество относилось къ нему равнодушно, и было неоспоримо право. Онъ, конечно, создалъ въ это время нѣсколько формально-пре-

красныхъ произведеній, которыя служатъ и будутъ служить образцами, но его общественное значеніе понизилось почти до точки замерзанія. Обществу было душно въ тѣхъ роскошныхъ палатахъ, гдѣ подобострастные царедворцы безмолвствовали, пока „одинъ“ долго бесѣдовалъ съ Гомеромъ; ему было холодно въ той заоблачной кельѣ, въ сосѣдствѣ отвлеченнаго существа, куда стремился поэтъ.

Окончивъ хлесткою фразой, способною возбудить на публичной лекціи взрывъ рукоплесканій, Полосатовъ взглянулъ на Голубцова, дабы насладиться тѣмъ ошеломляющимъ впечатлѣніемъ, которое неминуемо должны были произвести послѣднія слова. Но къ изумленію оратора, Голубцовъ вовсе его не слушалъ и спокойно разговаривалъ съ редакторомъ о какихъ-то общихъ знакомыхъ. Полосатовъ нѣсколько смутился, взглянулъ на часы, но видно у него еще оставалось довольно свободнаго времени, ибо онъ не спохватился и не заторопился уходомъ,—что было бы для него прекраснымъ выходомъ изъ неловкаго положенія. Иванъ Ѳеогностовичъ, по свойственной ему деликатности, поспѣшилъ на помощь будущему жрецу науки; онъ поблагодарилъ его за вполнѣ ясное и популярное изложеніе результатовъ его ученыхъ изысканій.

Полосатовъ опять заговорилъ, и если авторъ не приводитъ его дальнѣйшихъ рѣчей, то единственно изъ опасенія быть обличеннымъ въ плагіатѣ сразу цѣлою дюжиной ученыхъ. Ораторъ высказалъ бездну учености; онъ такъ и сыпалъ малоизвѣстными фактами о средневѣковыхъ и новѣйшихъ литературныхъ тріумфахъ, что Подлещикову оставалось только подбирать ихъ.

Никто изъ присутствовавшихъ не подозрѣвалъ какое

впечатлѣніе произвели ученыя разглагольствованія будущаго свѣтила на Андрея Николаевича. Ему стало не по себѣ, смутно и тяжко. И это смутное чувство въ сознаніи художника отразилось примѣрно слѣдующимъ монологомъ:

— Ну, и денекъ же выдался!.. Наслушался!.. И все вѣдь объ искусствѣ... Аѳины, да и полно... И всѣ довольны!.. Развѣ, вотъ, драматургъ не совсѣмъ, что его не въ одинъ разрядъ съ Шекспиромъ поставили! Ну, да этотъ живо утѣшенье найдетъ въ своемъ портсигарчикѣ!.. Зато межевой какъ доволенъ, что ему удалось и родней похвалиться, и разказать литературное преданіе о непотребномъ житіи тетки. Немыкинъ, конечно, радешенекъ, что ему пришлось потолковать о Нѣмцѣ. Про профессора и говорить нечего: Иванъ Ѳеогностовичъ ублажилъ его по горло. И докторъ, шельмецъ, доволенъ, что подвелъ ученаго и заставилъ его здорово сбрехнуть... А Иванъ, право, для меня загадка. Человѣкъ онъ умный, а съ какимъ благоговѣніемъ слушалъ вздоръ, что̀ мололъ Полосатовъ. У него страсть какая-то, какъ онъ самъ выражается, „имѣть обо всемъ понятіе“. Только чортъ его толкаетъ обращаться съ вопросомъ объ искусствѣ къ людямъ, которые сами о немъ понятія не имѣютъ...

Тутъ Андрею Николаевичу припомнилось, что докторъ какъ-то сказалъ при немъ, что нѣтъ на свѣтѣ людей отвлеченнѣе русскихъ интеллигентовъ.

— Я вотъ прежде не понималъ, то-есть и понималъ, но не отчетливо, что̀ онъ именно хотѣлъ выразить. А теперь, какъ до своего дѣла дошло, отлично понялъ. Цѣлый-то день почти толковали они объ искусствѣ, а, вѣдь, ни у одного прямаго, живаго чувства

къ нему нѣтъ. Будто оно, искусство-то, для нихъ вовсе не существуетъ, а есть какое-то отвлеченное понятіе о томъ, что человѣку образованному нельзя имъ не интересоваться. Ну, съ чужаго голоса еще кое-какъ поютъ, а поставь любаго изъ нихъ предъ живымъ созданіемъ искусства, онъ и спасуетъ; оттого и спасуетъ, что ничего не почувствуетъ. О старомъ, о чемъ онъ читалъ, еще поговоритъ, и умно поговоритъ; разумѣется если умное прочелъ. Ну, а отъ новаго, или вообще отъ того, о чемъ не писано, сердце у него не забьется. Развѣ Немыкинъ пророкочетъ что-нибудь, свернувъ на общія мѣста. Полосатовъ станетъ искать общественныхъ интересовъ по собственному образцу; вѣдь художество для него такъ, форма какая-то, въ родѣ синяго вицмундира; въ синемъ вицмундирѣ—ученый, а нѣтъ, такъ невѣжда. А мой милый, Иванъ Ѳеогностовичъ справится, имѣетъ ли вещь успѣхъ; всѣ хвалятъ, и мы станемъ хвалить, а нѣтъ, и мы нѣтъ: люди ложь, и мы тожь...

И Безпаловымъ овладѣло еще болѣе тяжелое чувство, издавна ему знакомое, и которое съ годами находило на него чаще и гнело его сильнѣе. Вотъ въ какой безучастной средѣ ему приходится жить! да не просто жить, а работать, художествовать. Его вновь посѣтила мысль о своей отчужденности ото всѣхъ, о своей никому ненужности, о своей излишности, о какомъ-то скорѣе призрачномъ, чѣмъ дѣйствительномъ существованіи внѣ времени и пространства. Онъ охотно бы бѣжалъ отъ нея, но куда? Идти домой? но онъ зналъ, что не сумѣетъ скрыть своихъ чувствъ отъ жены, и пришлось бы только пуще разстроить себя, да и ее измучить вдобавокъ. Нѣтъ, ужь лучше потерпѣть и одному отсидѣться отъ тоски.

Андрей Николаевичъ и сидѣлъ; долго отсиживался. Только происходившее внутри его казалось ему дѣйствительностью; внѣшняя же дѣйствительность, въ тѣ короткіе промежутки, когда онъ безучастно къ ней присматривался, проходила предъ нимъ, какъ сонное мечтаніе. Даже обычная наблюдательность оставила его. Онъ еще помнилъ, какъ драматургъ удалился съ гордымъ видомъ въ ту самую минуту, когда стали пить за процвѣтаніе журнала, куда не хотѣли принять его „вольной“ комедіи. Но уже не досмотрѣлъ, какъ межевой и секретарь, перемигнувшись, поняли, что имъ тутъ больше дѣлать нечего и удалились въ мѣста болѣе злачныя и прохладныя. Онъ не замѣтилъ, какъ Полосатовъ, взглянувъ на часы, съ великою важностью объявилъ, что ему пора поспѣшить, чтобъ успѣть переодѣться и ѣхать на обѣдъ къ князю Русланбекову, гдѣ затѣмъ, для княженъ и ихъ знакомыхъ дѣвицъ, онъ прочтетъ лекцію „о причинахъ общественнаго успѣха Августа Коцебу и равнодушія общества къ Вольфгангу Гёте“; какъ Немыкинъ, увлекшись разговоромъ о новой психо-физикѣ, наконецъ-то вспомнилъ, что не сдѣлалъ еще никакихъ распоряженій относительно выпуска книжки.

Когда Андрею Николаевичу немного полегчало и думы его лишились жгучести и остроты, то онъ съ нѣкоторымъ изумленіемъ увидѣлъ, что они остались всего втроемъ и имъ подаютъ какую-то ѣду, вѣроятно обѣдъ.

— Э! да, видно, ужь не рано! подумалъ онъ, но въ качествѣ художника, пришедшагося въ мірѣ не ко времени и не ко двору, не взглянулъ даже на часы.

Подлещиковъ разговаривалъ съ Голубцовымъ; онъ прислушался.

— Итакъ, говорилъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—по вашему мнѣнію, въ наше время не можетъ появиться замѣчательный художникъ, именно въ силу особенно неблагопріятныхъ условій среды?

Андрею Николаевичу почему-то показалось, будто Подлещиковъ задалъ этотъ вопросъ, имѣя въ виду именно его и притомъ съ коварною цѣлью. Ему вспомнился недавній разговоръ съ пріятелемъ въ этомъ же трактирѣ, его сегодняшній взглядъ при словахъ Полосатова объ успѣхѣ, и въ его незлобивомъ сердцѣ зашевелилось непріятное чувство противъ любимаго человѣка; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ замеръ въ ожиданіи отвѣта Голубцова, точно отъ него зависѣла его судьба.

— Вы не совсѣмъ точно меня поняли, отвѣчалъ докторъ,—я говорилъ только, что нынче среда неблагопріятна для оцѣнки художественныхъ произведеній; что же касается до появленія талантовъ, то они, кажется, могутъ являться въ любое время. Время Людовика XIV, конечно, было весьма богато талантами, и талантами весьма крупными. Притомъ и король, и общество, повидимому, готовы были привѣтствовать и способны оцѣнить ихъ. А между тѣмъ, въ этомъ самомъ усиленномъ вниманіи къ талантамъ заключалось нѣчто вредное для ихъ развитія; художникамъ были навязаны условныя правила и они имъ малодушно подчинились; послѣдствіемъ была извѣстная условность изображенія. Времена французской революціи, казалось бы, вовсе не благопріятствовали появленію таланта, обществу было не до него, и, однако, именно въ это время является такой несомнѣнный поэтъ, какъ André Chenier. Пожалуй, на повѣрку выйдетъ, что для свободнаго развитія таланта требуется либо полное рав-

нодушіе общества къ искусству, либо живое, прямое безхитростное сочувствіе къ художественнымъ произведеніямъ, какъ то бывало порою въ Италіи и, вѣроятно, въ древней Греціи. А вотъ когда и критика, и публика (кто за кѣмъ—вопросъ еще нерѣшенный) примутся хитрить-мудрить, да пойдутъ въ ходъ всякія разглагольствованія...

— Именно разглагольствованія! повторилъ Безпаловъ, а дальше не сталъ слушать.—А все же, продолжалъ онъ про себя,—никто меня не разувѣритъ, что Иванъ сдѣлалъ этотъ вопросъ безъ умысла. Нѣтъ, онъ хотѣлъ уколоть меня...

Такимъ образомъ, для недовольства Андрея Николаевича нашлась новая тема, которую онъ сталъ усердно разрабатывать.

— Да, что съ тобой, Андрюша? нѣкоторое время спустя спросилъ его Иванъ Ѳеогностовичъ.—Что ты все киснешь и не ѣшь ничего? Я нарочно для тебя жареную осетрину заказалъ, подъ снѣтками; знаю, что любишь...

Эти слова были сказаны такимъ ласковымъ, такимъ дружескимъ тономъ, что Андрей Николаевичъ невольно устыдился своего недавняго подозрѣнія. Онъ мысленно встряхнулся и съ большимъ вниманіемъ сталъ слушать о чемъ бесѣдуютъ Подлещиковъ съ Голубцовымъ.

— А я, Ѳедоръ Ѳедорычъ, обращаюсь опять къ прежнему вопросу, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—отчего вы не пишете?

— А я вамъ повторяю, что самой-то побудительной причины къ писательству у меня не имѣется: человѣкъ я обезпеченный и вдобавокъ холостой, каковымъ, надо полагать, и до конца дней пребуду. Нѣтъ, не для письма я созданъ, а для разговора.

— Но вы такъ понимаете, такъ знаете, такъ любите искусство!

— Эти качества, если они у меня только есть, обнаружатся и въ разговорѣ. А для писательства я не гожусь: слишкомъ я тонкокожъ для этого...

— Я не совсѣмъ васъ понимаю...

— Да, вотъ, видите, есть у меня пріятель въ Питерѣ, писательствуетъ. Ставили тамъ въ театрѣ Пушкинскаго *Бориса*; онъ по этому поводу статью написалъ, гдѣ нѣсколько разъ назвалъ Пушкина великимъ поэтомъ. Что жь? редакторъ—и, замѣтьте, вовсе не крайняго направленія, а самаго средненькаго—взялъ да и вычеркнулъ вездѣ эпитетъ „великій". Случись это со мной, тѣмъ бы мое писательство и кончилось, а пріятель ничего: онъ только посмѣялся надъ редакторомъ, да въ письмѣ ко мнѣ выругалъ его дуракомъ. „Вѣдь онъ, говоритъ,—мысли-то мои всѣ оставилъ, и эпитетъ всякій, кто статью пойметъ, самъ приставитъ". Но у моего пріятеля цѣль есть, онъ мечтаетъ дожить до того времени, какъ его мысли восторжествуютъ.

— Но развѣ вы не могли бы преслѣдовать подобную благородную цѣль?

— Нѣтъ; выдержки у меня надлежащей нѣтъ. Да и въ разговорѣ все какъ-то проще. Я какъ дѣйствую? Найду подходящаго человѣка, насяду на него, да такъ его все и накачиваю, пока въ свою вѣру не обращу. Я вотъ и самъ Пушкина не меньше пріятеля люблю, и ужь многихъ на его счетъ просвѣтилъ. Конечно, ихъ не столько, сколько именъ на портсигарѣ у Угрюмова, а все же съ десятокъ наберется. А, главное, эти ужь до конца вѣрными останутся, а читатель,—читатель не надеженъ; того гляди, завтра противоположное прочтетъ, да и пойдетъ по новому бредитъ!..

— А я бы указалъ вамъ отрасль, гдѣ не только ваше слово было бы въ высшей степени полезно, но гдѣ именно требуется насядать и накачивать, какъ вы выразились.

— Что такое?

— Нашъ театръ такъ нуждается въ знающемъ и безпристрастномъ критикѣ...

Голубцовъ разсмѣялся.

— Э, э! подумалъ Безпаловъ,—я-то голову ломаю, съ чего Иванъ объ искусствѣ такъ безпокоится, а онъ все для Фанни Юрьевны старается.

— Ну, на это я ужь вовсе не гожусь, сказалъ Голубцовъ.

— Но почему же?

— Видите, мнѣ ужь за сорокъ. Я помню то время, какъ актеры дѣлились на хорошихъ и дурныхъ. Я не спорю, и теперь еще хорошіе остались, особенно въ Москвѣ. Я даже поэтому Москву предпочитаю Петербургу; но пора сознаться, что и здѣсь уже новое теченіе обозначается, и здѣсь актеровъ начинаютъ дѣлить на симпатичныхъ и несимпатичныхъ; а вотъ лѣтъ чрезъ десять, пятнадцать хорошихъ вовсе не останется, а пойдутъ одни симпатичные. Сами подумайте, изъ чего же мнѣ хлопотать. Возьмемъ такой примѣръ: играетъ барынька хорошенькая, граціозная и гримаски премилыя строитъ; ну, словомъ, симпатична необыкновенно. Публика въ нее влюблена на половину. И она довольна, и всѣ въ восторгѣ. А я вдругъ ввалюсь въ театръ и брякну: „Никакого у васъ, милая барынька, таланта нѣтъ; всюду-то и всегда вы самое себя изображаете, а вѣдь слѣдуетъ лицедѣйствовать“. И ей обидно, и поклонникамъ досадно, да и мнѣ, вѣдь, никакого удоволь-

ствія не доставитъ видѣть свое мнѣніе въ печати.

Андрею Николаевичу показалось, что, приводя примѣръ, Голубцовъ мѣтитъ въ Хотьминскую; онъ не ошибался: докторъ, нежданно вспомнивъ про портретъ, дѣйствительно невольно подумалъ о ней. Безпалова такъ и подзуживало подчеркнуть это обстоятельство и спросить прямо Голубцова, какого онъ мнѣнія о Фанни Юрьевнѣ. Двигало ли его при этомъ желаніе посмотрѣть какое впечатлѣніе произведетъ его вопросъ на Ивана Ѳеогностовича, или то безсознательно всколыхнулось въ немъ недавнее злобное чувство противъ пріятеля? Андрей Николаевичъ и самъ не зналъ. Спросить, однако, не удалось, ибо какъ разъ въ это время къ нимъ подошелъ чистенькій и бритый старичокъ и попросилъ позволенія присѣсть.

— Я вотъ Самоквасова дожидаю, сказалъ онъ.— Какже... Самоквасовъ, этотъ самый... извѣстный... ну, да вы навѣрно его знаете... онъ тоже что-то гдѣ-то пописываетъ.

Голосъ старичка звучалъ престранно; казалось, будто у него во рту небо серебряное и слова, раньше, чѣмъ выйти изъ устъ, ударяются о небо и отражаются отъ него съ резонансомъ.

— Милости просимъ, очень пріятно, отвѣчалъ за всѣхъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Мы кстати о театрѣ говорили.

Старичокъ былъ отставной актеръ Мачихинъ, уже около сорока лѣтъ жившій на пенсіи; онъ приводилъ въ отчаяніе преемственно трехъ казначеевъ, которыхъ пережилъ, и не отчаявался пережить четвертаго, еще далеко не стараго человѣка.

— Да!.. о театрѣ, по молчаніи отозвался Мачихинъ.—Что жь, театръ!.. Да, конечно...

— Вотъ у васъ вѣрно сохранилось много воспоминаній? продолжалъ любознательный нотаріусъ.

— Воспоминанія, какже!.. Гоголя помню, отвѣчалъ старичокъ, выговаривая букву т твердо, по-хохлацки,— спорилъ даже съ нимъ, какже!.. Въ 1836 году... Да!.. И доказалъ, переспорилъ... блистательно доказалъ.

И старичокъ погрузился въ молчаніе.

— А что вы скажете о нынѣшнемъ театрѣ по сравненію съ прежнимъ? нашелся предложить новый вопросъ Иванъ Ѳеогностовичъ, не безъ желанія провѣрить слова Голубцова авторитетнымъ отзывомъ.

— О нынѣшнемъ?.. Какже, какже-съ!.. Вѣдь и нынче тоже театръ есть... Есть... Ваня Самаринъ первымъ актеромъ считается... А въ мое время, изволите видѣть, въ Москвѣ французскій театръ существовалъ, и былъ тамъ актеръ Брэкуръ... Да! именно Брэкуръ. Прескверный актеръ: Самаринъ ему подражаетъ.

— Позвольте, съ нѣкоторою горячностью сказалъ Голубцовъ,—да Самаринъ, по-моему, уже потому выше многихъ, что онъ Пушкина читалъ и на немъ образовалъ свой вкусъ...

— Пушкинъ!.. Александръ Сергѣичъ!.. Какже, какже, помню!.. Отличный поэтъ, даже можно сказать великій, но... но устарѣлъ; устарѣлъ... Прекрасно сказалъ Твердо... нѣтъ, Слово...—И старикъ сталъ про себя повторять азбуку:—твердо, слово, фертъ, херъ... Да, именно херъ! громко сказалъ онъ.—Такъ Хлѣбодаровъ прекрасно сказалъ, что устарѣлъ. Именно, что былъ поэтомъ эротическихъ поползновеній и военныхъ

экс... позвольте!.. экзекуцій или эксерсицій?.. Именно экзекуцій. Теперь припомнилъ... Какже, какже-съ!

— Послушайте, уже съ раздраженіемъ сказалъ Голубцовъ,—если вы въ другой разъ вздумаете повторять чужія глупости, то подыщите въ слушатели дураковъ.

Мачихинъ съ изумленіемъ взглянулъ на него.

— Какже Самоквасовъ? подумалъ онъ.—Иль надулъ?.. Надъ старикомъ поглумился?

Голубцову, между тѣмъ, стало досадно, что онъ обошелся черезчуръ рѣзко со старикомъ, и онъ придумывалъ, какъ бы поправить дѣло.

— А вотъ и Самоквасовъ! Честь имѣю кланяться, господа, объявилъ актеръ и отошелъ отъ собесѣдниковъ.

— Вотъ вамъ обращикъ моей литературной полемики! сказалъ Голубцовъ, обращаясь къ Ивану Ѳеогностовичу.—И за что только я неповиннаго старичка обидѣлъ?

— Ну, круто сказалъ Безпаловъ,—конечно, того бы слѣдовало, давешняго, но и этотъ!.. Вотъ въ баснѣ оселъ лягаетъ умирающаго льва, а тутъ развалившійся ужь и не знаю кто... И не докончивъ рѣчи, Андрей Николаевичъ съ большимъ озлобленіемъ добавилъ:—Но тотъ-то, тотъ-то, давешній, Полосатовъ!.. Скажи, докторъ, слышалъ ты что-нибудь пошлѣе его разглагольствованій?..

Голубцовъ немного подумалъ.

— Слышалъ, отвѣчалъ онъ.—Осенью я былъ въ Петербургѣ, и по старой привычкѣ зашелъ къ Доменику. Неподалеку отъ меня усѣлось двое Альфонсовъ, восточнаго происхожденія, и стали они, *судырь ты мой*,

ученымъ образомъ о своемъ гнусномъ ремеслѣ разсуждать. Толковали они, напримѣръ, „о суммѣ наслажденія, которую можетъ дать мужчина женщинѣ“ и такъ далѣе, и все учеными терминами сыпали, ссылаясь на какихъ-то сквернавыхъ французскихъ и итальянскихъ докторишекъ.

Андрей Николаевичъ расхохотался, но вовсе не весело. При воспоминаніи о Полосатовѣ, въ немъ опять зашевелились тяжелыя думы о своей никому ненужности и отчужденности. Видно онъ еще не совсѣмъ отъ нихъ отсидѣлся.

Иванъ Ѳеогностовичъ почти обомлѣлъ отъ докторскаго сравненія. Имя Полосатова уже пронеслось по Москвѣ, и во многихъ кружкахъ произносилось съ уваженіемъ; онъ самъ слышалъ, какъ гдѣ-то въ обществѣ одинъ спросилъ: „Какой Полосатовъ? извѣстный?“, а другой отвѣтилъ: „ну, да!“ Положимъ, что ни тотъ, который спрашивалъ, ни тотъ, который отвѣчалъ, не знали съ точностью чѣмъ собственно извѣстенъ Полосатовъ, но все же это доказывало несомнѣнный успѣхъ будущаго профессора. И вдругъ такой непочтительный, болѣе: такой глумительный отзывъ!

Они посидѣли нѣкоторое время молча, чувствуя, что имъ болѣе не разговориться.

— Однако пора! провозгласилъ Андрей Николаевичъ и всталъ.

Подлещиковъ и Голубцовъ послѣдовали его примѣру.

XI.

Муза, подпрапоръ и Фихтошка.

Ради Бога, Людовико,
Гдѣ вы столько откопали
Всякой чуши?

Атта Троль.

Savez-vous, mes drôles,
Que cette chanson
Sent pour vos épaules
Les coups de bâton?

Molière.

Простясь, они тотчасъ же разошлись, словно имъ тошно было дойти вмѣстѣ даже до сѣней. Раньше всѣхъ бодрымъ и твердымъ шагомъ двинулся Подлещиковъ. За нимъ поплелся Голубцовъ; онъ порою пріостанавливался и оглядывался, точно приглашая Безпалова догнать его, но Андрей Николаевичъ тащился еще медленнѣе, опустивъ голову и согнувшись, какъ старикъ.

— Фу ты, пропасть! ворчалъ онъ про себя.—Точно въ мертвомъ царствѣ побывалъ! Хоть бы на что живое наткнуться, хоть бы глупость какую живую встрѣтить, хоть бы дурачество какое откинуть!

Онъ вышелъ на лѣстницу и увидѣлъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ спустился уже до половины тѣмъ же мѣрнымъ и бодрымъ шагомъ.

— Вотъ бы теперь, пришла ему въ голову дурашная мысль, — подбѣжать сзади, вскочить Ивану на спину, да до конца лѣстницы на немъ и проѣхаться.

Иванъ Ѳеогностовичъ, точно догадываясь о коварной мечтѣ пріятеля, вдругъ сталъ спускаться почти бѣгомъ и вскорѣ скрылся въ швейцарской. Иванъ Ѳеогностовичъ, по обычаю, былъ доволенъ своимъ днемъ.

Обстоятельства какъ бы нарочно складывались въ пользу ближайшей цѣли его жизни,—овладѣнія Фанни Юрьевной при помощи угодливости ея самолюбію. Онъ устроилъ дѣльце Немыкину, и Немыкинъ обѣщалъ обратить свое просвѣщенное вниманіе на Фанни Юрьевну; несомнѣнно, что явится возможность подсунуть въ журналъ своего театральнаго критика, который изъ признательности будетъ благосклоненъ къ Фанни Юрьевнѣ. Иванъ Ѳеогностовичъ еще не терялъ надежды залучить Голубцова.

— А что̀ если подхватить будущаго профессора, вдругъ пришло ему въ голову,—и попросить его, по случаю бенефиса Фанни Юрьевны, развить теорію успѣха въ приложеніи къ сценическому искусству,—а успѣхъ-то всегда можно устроить!

Именно подгоняемый этой мыслью Иванъ Ѳеогностовичъ и пустился чуть не въ припрыжку съ лѣстницы.

Потерявъ изъ виду Подлещикова, Андрей Николаевичъ обратилъ вниманіе на доктора, который спускался осторожно, держась за поручень. Докторъ также былъ въ кисломъ настроеніи.

— Да, узенька у насъ колея образованности, думалъ онъ,—чуть въ сторону, либо на колоду наткнешься въ видѣ дубоватаго ученаго, какъ Полосатовъ, или же по щиколодку въ труху уйдешь въ родѣ этой актерской муміи. А далеконько, однако, у насъ прогрессъ зашелъ: не только молодыхъ, и старичковъ насквозь прошпиговалъ!

И Голубцовъ скрылся въ сѣняхъ.

— Э! я гляжу, гляжу, а это вотъ кто: докторъ! привѣтствовалъ его чей-то молодой, свѣжій и веселый голосъ.—Корнелій! глянь-ка, докторъ здѣсь.

При первыхъ же звукахъ этого свѣжаго голоса, на

Андрея Николаевича пахнуло безпечальнымъ житьемъ, беззаботнымъ весельемъ, беззавѣтнымъ смѣхомъ, шуткой и дурачествомъ.

„Кто бы это былъ?“ подумалъ онъ и невольно прибавилъ шагу.

Прямо противъ дверей стоялъ свѣжій, здоровый, красивый и кудрявый молодой человѣкъ въ мѣховомъ пальто на-распашку и въ бараньей шапкѣ на-бекрень.

— Э, и Безпаловъ пожаловалъ! возгласилъ онъ.— Корнелій! иль ты не видишь Андрей Николаича?

У вѣшалки, спиной къ Безпалову, стоялъ высокій и красивый бритый мужчина въ шубѣ и надѣвалъ глубокія калоши, но по-московски глубокія, то-есть доходящія безъ малаго до колѣнъ. Бросивъ калошу, онъ быстро обернулся, поцѣловалъ художника и принялъ его въ свои медвѣжьи объятія. Благодаря широкой скунсовой шубѣ, онъ дѣйствительно напоминалъ огромнаго чернаго медвѣдя, ставшаго на заднія лапы.

Курчавый молодецъ былъ Павелъ Иванобичъ Ивановъ, суфлеръ той труппы, гдѣ служила Фанни Юрьевна, а высокій и полный, слегка отяжелѣвшій брюнетъ съ самою чутошною просѣдью на вискахъ, актеръ того же театра, Корнелій Ѳомичъ Черезовъ.

— Корнелій! а Подлещикова видѣлъ? спросилъ суфлеръ.

— Гдѣ, гдѣ?

— Сейчасъ вышелъ: видный мужчина такой, пониже тебя, но за то безъ пуза, темно-русый...

— Ахъ, досада! опять пропустилъ. А ужь какъ хочется поглядѣть, съ кѣмъ нынче Фаничка путается!..

— Ужь и путается! осудительно замѣтилъ Безпа-

ловъ,—точно человѣкъ не можетъ быть просто влюбленъ въ актрису.

— Да что онъ дуракъ что ли, иль невольный монахъ безъ рясы? спросилъ Черезовъ.—Скажите ему, Андрей Николаичъ—онъ, говорятъ, вамъ пріятель,—что съ Фаничкой такъ нельзя: она любитъ скорымъ маршемъ.

— Ужь онъ твердо это знаетъ: два сезона съ ней въ Орлѣ прохлаждался, добавилъ суфлеръ.

— Нечего грѣха таить, съ комическимъ сокрушеніемъ сказалъ Черезовъ,—точно что было дѣло, происходило.

— Ахъ, господа! Какъ это вы про женщинъ, право...

— Нашелъ кого корить, актеровъ! перебилъ Безпалова Голубцовъ,—еще Шекспиръ сказалъ, что они не умѣютъ держать языкъ за зубами: стоитъ только женщинѣ не постыдиться показать имъ пантомиму, а они ужь не постыдятся разказать всѣмъ.

— Охъ, ужь этотъ докторъ со своимъ Шекспиромъ! сказалъ суфлеръ.

— Что-жь, развѣ не правда?

— Что тутъ толковать, почесывая въ затылкѣ, съ необыкновеннымъ добродушіемъ отвѣчалъ Черезовъ,—не такой Шекспиръ человѣкъ былъ, чтобъ врать.

— Однако, нечего лясы точить, пора и за дѣло, провозгласилъ суфлеръ.

— Да вы входите, или выходите? спросилъ Андрей Николаевичъ.

— Вотъ ужь и не припомню хорошенько, отвѣчалъ Черезовъ.

— Необходимо атмосферу перемѣнить, серьезно сказалъ суфлеръ,—у насъ сегодня ужь такая зарубка: какъ

на восемнадцать рублей выпьемъ, такъ душа въ другой трактиръ просится.

— Это точно, подтвердилъ Корнелій Ѳомичъ.

— Да вы въ который же по счету теперь собираетесь? спросилъ Голубцовъ.

— Ну, вотъ! Въ кои-то вѣки удастся рабочему человѣку рюмочку, другую выпить, сейчасъ и считать пойдутъ! съ прежнимъ добродушіемъ, природнымъ, или выработаннымъ, но вызывавшимъ невольную улыбку, сказалъ Черезовъ.

— Что-жь, докторъ, съ нами, что-ль? спросилъ суфлеръ.

— Куда мнѣ съ вами: старъ я становлюсь.

— Ахъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, не говорите такъ, не накликайте на себя старости! остерегъ его Черезовъ,—она, подлая, тутъ какъ тутъ, сейчасъ привяжется.

— А Безпалова и спрашивать нечего, рѣшилъ суфлеръ,—онъ старый бражникъ.

— Домой бы мнѣ, нерѣшительно замѣтилъ Андрей Николаевичъ.

— Это зачѣмъ? съ непритворнымъ изумленіемъ спросилъ актеръ.

— Эхъ, Макрушина нѣтъ! пожалѣлъ Ивановъ,— онъ сейчасъ бы продекламировалъ:

Дома
У насъ печальны: юность любитъ радость!

— Да, бѣднята, слабъ становится, замѣтилъ Корнелій.

— А что? освѣдомился Голубцовъ.

— Да что, махнувъ рукой, съ негодованіемъ отвѣчалъ суфлеръ:—двухъ полныхъ трактировъ выдержать не могъ, погасъ!.. Стой, Корнелій! а къ Переверзеву заѣдемъ?

— Какже, какже! необходимо: мы его завтракомъ обѣщали угостить.

— Да теперь который же часъ? точно спохватясь, при общемъ хохотѣ, спросилъ Андрей Николаевичъ.

— Десятый, надо быть въ исходѣ, отвѣчалъ Черезовъ.

— Все одно, поужинаетъ! добавилъ суфлеръ.

Голубцовъ отправился домой, а Черезовъ, Безпаловъ и Ивановъ покатили къ Переверзеву на одномъ извощикѣ, причемъ суфлеръ, какъ человѣкъ болѣе молодой, легковѣсный и менѣе объемистый, помѣстился на облучкѣ.

Хотя пріятели взяли и лихаго извощика, все же мы раньше ихъ успѣемъ побывать у Переверзева.

Въ большой низкой комнатѣ перваго этажа, выходившей окнами на Мясницкій бульваръ, на широкомъ турецкомъ диванѣ сидѣлъ съ ногами Никифоръ Прохоровичъ Переверзевъ. Онъ былъ въ халатѣ, какіе продаютъ Татары, подпоясанномъ шалью отнюдь не кашемирской и даже никогда не лежавшей подлѣ простаго кашемира, и въ фескѣ. Въ рукахъ у него была гитара и онъ отъ времени до времени пощипывалъ ее. Въ другомъ углу того же дивана, поджавъ по-турецки ноги, помѣщалась его временная сожительница, хорошенькая кордебалетная танцовщица *у воды*. Она была не въ духѣ и очень мило дула свои пухленькія губки. Звали ее Музой. Съ точностью не извѣстно была ли она наречена такъ въ честь святой отроковицы, или же ее такъ прозвалъ Никифоръ Прохоровичъ. Всѣ, впрочемъ, нѣжно именовали ее Музочкой, или просто Музой, или Музой Ивановной; одинъ Переверзевъ, въ минуты гнѣва, обзывалъ ее мерзавкой.

Диванъ приходился противъ простѣннаго зеркала, подъ которымъ стоялъ старинный, тяжелый, краснаго дерева столъ. На немъ, въ подсвѣчникѣ, видавшемъ виды, тускло горѣлъ огарокъ, засыпанный пепломъ, и стояла опорожненная пивная бутылка и стаканъ, до половины заваленный окурками.

У стола, облокотясь на него лѣвымъ локтемъ, сидѣлъ мужчина среднихъ лѣтъ, нѣкогда, судя по остаткамъ, красивый, но теперь отекшій и опившійся; онъ неумолимо палилъ папиросы, изрѣдка съ тщетною надеждой взглядывая на пустую бутылку.

Мужчина былъ въ сильно поношеномъ, скорѣй демисезонномъ, чѣмъ зимнемъ пальто и въ резиновыхъ холодныхъ калошахъ. Онъ только растегнулся и распустилъ красный, вязанный шарфъ, обмотанный вокругъ воловьей шеи. То былъ актеръ одной труппы съ Переверзевымъ и Черезевымъ, по родовой фамиліи Фихтенбаумъ, по афишамъ Сосногоровъ, болѣе впрочемъ извѣстный за кулисами подъ именемъ Фихтошки.

Два часа назадъ Фихтошка забѣжалъ къ Переверзеву на „минуточку“, почему и ввалился въ комнату въ пальто и калошахъ. Присѣвъ гдѣ онъ и сейчасъ сидѣлъ, онъ немедленно запалилъ папироску и сталъ усиленно расхваливать Переверзева за послѣднюю роль.

— Понимаю, прервалъ его Никифоръ Прохоровичъ,—тебѣ надо три рубля...

— Я вовсе не къ тому, обидѣлся Сосногоровъ.

— Все равно: у меня, знай, ни гроша нѣтъ. Но погоди, Черезовъ обѣщалъ заѣхать; можетъ-быть и дастъ.

— А скоро онъ?

— Должно-быть скоро... Пораньше хотѣлъ, добавилъ Переверзевъ, стыдясь сознаться, что тотъ обѣщалъ заѣхать еще передъ завтракомъ.

— Я подожду. Только пивка бы.

— На, послѣдній, больше не проси, сказалъ Переверзевъ, великодушно жертвуя гривенникъ, дѣйствительно послѣдній.

Фихтошка ждалъ бы вполнѣ терпѣливо, окажись пивная бутылка неистощимою. На бѣду онъ выпилъ ее черезчуръ скоро, и чуть заикнулся о второй, какъ Переверзевъ предложилъ ему немедленно убираться къ чорту. Съ тѣхъ поръ они сидѣли молча, Переверзевъ потренькивая на гитарѣ, Фихтошка паля папиросы, а Муза куксясь и надувъ губки.

Звонокъ задребезжалъ какъ-то весело, точно поздравляя хозяевъ съ пріѣздомъ давно жданныхъ гостей; слѣдомъ Безпаловъ, Черезовъ и Ивановъ съ говоромъ и шумомъ ввалились въ комнату въ верхнемъ платьѣ, облегчивъ только ноги отъ калошъ.

— Подлецы! привѣтствовалъ ихъ хозяинъ.

— Мы не виноваты: Макрушинъ задержалъ, оправдывался суфлеръ.

— Гдѣ жь онъ? грозно спросилъ Переверзевъ.

— Нализался.

— Жаль. Мнѣ еще надо бы съ нимъ насчетъ послѣдней рецензіи поговорить.

— Значитъ, мы умно сдѣлали, что не заѣхали раньше за тобой: вы поругались бы...

— Я бы ему!..

Но что сдѣлалъ бы или сказалъ Переверзевъ Макрушину, осталось тайной: онъ вдругъ взглянулъ на Музу и гнѣвно закричалъ:

— А ты и рада съ этимъ ласуномъ лизаться!..

Дѣйствительно, Корнелій Ѳомичъ, здороваясь съ Музой, поцѣловалъ ее и найдя, вѣроятно, что поцѣлуй довольно вкусенъ, продолжалъ то же недурное занятіе.

— Ну, что ты! съ добродушнымъ недоумѣніемъ отвѣчалъ Корнелій Ѳомичъ, подходя къ товарищу, — я вѣдь такъ, милый, по-братски!

— Знаю я твое братство! свирѣпо проскрежеталъ Переверзевъ и направился трагическими шагами въ дальній уголъ комнаты.

— Оставьте его, Корнелій Ѳомичъ, сказала Муза, вскакивая съ дивана,—онъ нынче страсть золъ, что вы его завтракомъ надули. За обѣдомъ чуть было въ меня графиномъ не пустилъ.

— И стоило! злобно, продолжая свое трагическое путешествіе въ дальній уголъ, прошипѣлъ Никифоръ Прохоровичъ. Затѣмъ онъ остановился и, оборотясь къ Музѣ, взмахнулъ рукой и сказалъ: — И удивительно, изумительно и трогательно даже, какъ эти твари наровятъ корчить изъ себя Мессалинъ!

Тутъ Переверзевъ сильно хлопнулъ себя по ляжкѣ,—что, благодаря дурной привычкѣ Мочалова, считается доселѣ трагическимъ жестомъ.

— Да полно тебѣ трагедь-то ломать, одѣвайся! сказалъ Ивановъ.

Переверзевъ, однако, не сразу освободился отъ трагическаго наитія; онъ крупными шагами подошелъ къ суфлеру (на сценѣ, въ сильныхъ мѣстахъ, онъ именно такъ прибѣгалъ къ суфлерской будкѣ) остановился и, скрестивъ руки на груди, напыщенно проговорилъ:

— Зачѣмъ одѣваться, зачѣмъ наряжаться, зачѣмъ облекаться? Отвѣчай, несчастный!

Суфлеръ въ свой чередъ сталъ въ позу и скрестилъ руки.

— Чтобъ ѣхать ужинать, о мой Родриго! отвѣчалъ онъ, ловко передразнивая Никифора Прохоровича.

— Такъ бы давно сказалъ, отвѣчалъ Родриго, вдругъ перемѣнивъ тонъ.—Муза, сюртукъ.

И схвативъ Музу за руку, Переверзевъ увлекъ ее въ сосѣднюю комнату. При затворѣ дверей послышались возгласы „дуракъ!“ и „мерзавка!“, и затѣмъ водворилась тишина.

Фихтошка между тѣмъ отвелъ Черезова къ окну и сталъ съ нимъ шептаться. Черезъ минуту онъ, радостный и сіяющій, подлетѣлъ къ суфлеру:

— Ахъ, Паша! я тебя еще не цѣловалъ сегодня.

— Проваливай! отозвался суфлеръ.—Получилъ съ Черезова, и довольствуйся!..

— Я вовсе не къ тому... А познакомь меня съ Безпаловымъ.

— Вотъ, Андрей Николаевичъ, позвольте вамъ представить нашего непризнаннаго трагика Сосногорова, Фихтошку тожь.

— Непризнанный! разказывай! А въ Урюпинѣ въ *Гамлетѣ*—фуроръ.

— Развѣ въ Урюпинѣ, съ сильнымъ сомнѣніемъ сказалъ суфлеръ.—А все же, Андрей Николаевичъ, онъ у васъ сейчасъ клянчить начнетъ, такъ вы не давайте.

— Я вовсе не къ тому, обычною формулой протестовалъ Фихтошка.

Въ это время вошли Никифоръ Прохоровичъ и Муза.

— Ну, ѣдемъ, Петръ Ивановичъ, ѣдемъ! провозгласилъ Ивановъ.

Всѣ хоромъ повторили это обращеніе Городничаго къ Добчинскому.

— А гитару захватить? спросилъ Фихтошка.

— Давай сюда, сказалъ Ивановъ, выхватывая у него гитару,—а то ты безъ перчатокъ: руки поморозишь.

По близости, сверхъ извощика, на которомъ трое пріятелей прикатили отъ Тѣстова, оказался всего одинъ; на него усѣлись Переверзевъ и Муза. Фихтошкѣ мѣста не оказалось; какъ онъ ни просился на облучекъ, всего до перваго извощика, Муза осталась неумолима.

— Хотя на извощика, черти, киньте! взмолился онъ.

— На, получай! бросая ему мелочъ сказалъ Ивановъ, и слѣдомъ извощику:—Трогай.

— Да, вы куда? бѣгомъ нагоняя ихъ, кричалъ Фихтошка.

— Въ Московскій! крикнулъ ему суфлеръ и потише добавилъ извощику:—Валяй въ Эрмитажъ.

— Что.жь вы его, бѣднягу, надуваете? пожалѣлъ Андрей Николаевичъ.

— Ужь больно во хмѣлю несносенъ, отвѣчалъ суфлеръ.

— Безъ него много веселѣй будетъ, подтвердилъ Корнелій Ѳомичъ.

Едва наша компанія, оставивъ платье внизу, подошла къ отворившейся передъ ними словно по волшебству стеклянной двери на лѣстницу, какъ на верхней площадкѣ появился плотный и мускулистый мужчина со сложеніемъ и выраженіемъ бугая, одѣтый не то кучеромъ по-русски, не то средневѣковымъ Евреемъ.

— Шире грязь, навозъ ѣдетъ! вскричалъ онъ.

Восклицаніе, повидимому, относилось къ скромному

лысенькому господину, который, опустя голову, задумчиво взбирался на лѣстницу не по своей сторонѣ.

— Говорятъ, шире дорогу: Любимъ Торцовъ идетъ! повторилъ средневѣковой Еврей, одѣтый кучеромъ, стоя всего на двѣ ступени выше скромнаго господина.

Не успѣлъ скромный поднять головы, какъ средневѣковой Еврей переодѣтый кучеромъ, взмахнулъ рукой, и тотъ покатился внизъ по лѣстницѣ. Переверзевъ хотѣлъ было броситься на помощь, поверженному, но Черезовъ и Ивановъ ловко подхватили его подъ руку и повлекли назадъ въ швейцарскую.

— Ахъ, что за ужасъ! поблѣднѣвъ вскричала Муза и кажется упала бы, не подхвати ее Андрей Николаевичъ.

— Что за безобразіе! возмущался между тѣмъ Переверзевъ.—Да это чистѣйшая Бухара, Афганистанъ, Британская Индія!

— Суматра, Ява, Борнео! подхватилъ суфлеръ,— а ты всетаки не суйся: расшибетъ.

Вскорѣ бугай былъ торжественно, на рукахъ, внесенъ въ швейцарскую шестью дюжими молодцами; онъ барахтался и кричалъ:—Качай меня, ребята! повыше, ур-ра! Уголъ на водку.

Наши пріятели помѣстились въ отдѣльномъ кабинетѣ. Эпизодъ съ буйнымъ кучеромъ взволновалъ ихъ не только нравственно, но и желудочно: всѣ почувствовали аппетитъ. Когда первый приступъ голода былъ утоленъ, подали вино.

— А винцо не вредное, сказалъ, пробуя, суфлеръ.

— Винишко ничего, хоть бы богатымъ пить!—подтвердилъ Безпаловъ.

— Винцо ласковое: ходко пьется, заключилъ Черезовъ.

А ты что-жь молчишь? обратился Ивановъ къ Переверзеву.

— Я все думаю.

— О чемъ такомъ, умная голова?

— Однако, если онъ былъ провинціалъ, или иностранецъ?

— Кто онъ-то?..

— Да тотъ, что съ лѣстницы полетѣлъ.!.

— Ну?

— Что онъ подумаетъ о московскомъ гостепріимствѣ! съ паѳосомъ возгласилъ Переверзевъ.

— Ну, Ильична, вывезла! сказалъ суфлеръ, дружески хлопая его по спинѣ.

Прозвище Ильичны было дано Переверзеву по слѣдующему случаю: сверхъ актерскаго таланта, онъ обладалъ поэтическимъ дарованіемъ, которое охотно прилагалъ къ разнымъ обстоятельствамъ артистическаго обихода. Однажды, по случаю сорока-двухлѣтняго юбилея знаменитой провинціальной актрисы, Поджаровой, онъ смастерилъ хорошенькіе привѣтственные стишки, которые начинались такъ:

Добраго времени, стараго,
Марья Ильична Поджарова!

Ильична вмѣсто Ильинична, разумѣется, было не болѣе, какъ піитическою вольностью, но актеры, а особенно суфлеры, въ этомъ осношеніи придирчивѣе даже наименѣе грамотныхъ критиковъ.

— И неужто все это ему даромъ проходитъ? сказалъ Андрей Николаевичъ.

— Ну, до мирового ежели дойдетъ, недѣльку, другую отсидитъ, сказалъ Черезовъ.

— Какже, отсидитъ! возразилъ суфлеръ.—Нѣтъ,

братъ, у его покровителя долгія руки. Его мировой въ кутузку упрячетъ, а тотъ переведетъ въ Тверскую часть, а оттуда его выпускаютъ...

— И онъ, подхватилъ Черезовъ,— какъ Хотенъ Блудовичъ въ былинѣ.

Ѣздитъ по городу, уродуетъ.

— А что сегодняшняя исторія—ты тамъ, Муза, близко стояла—чѣмъ кончилось? спросилъ Переверзевъ.

— Ахъ, отвѣчала она,—этотъ лысенькій оказался его пріятелемъ; они узнали другъ друга и расцѣловались. И лысенькій, прихрамывая, на верхъ побрелъ; только сказалъ: „какъ это я неловко оступился“.

— А отчего Хотена-то Блудовича на рукахъ понесли? освѣдомился суфлеръ.

— Это онъ нарочно фортель откинулъ, пообѣщалъ швейцарамъ двадцать пять рублей на водку.

— Чудодѣй, истинный чудодѣй! сказалъ Черезовъ.

— Удивительно, какъ ему легко все съ рукъ сходитъ: выпало же человѣку счастье на мордобитіе! сказалъ суфлеръ.—Разъ какъ-то онъ одного фельетониста въ Большомъ театрѣ, на маскарадѣ, смазнулъ. Фельетонистъ не жаловался, но полиція привлекла Хотена къ отвѣтственности за нарушеніе тишины въ общественномъ мѣстѣ. Вызвали къ мировому и фельетониста, въ качествѣ свидѣтеля. Мировой спрашиваетъ Хотена: „что вы сдѣлали?“—А вотъ, говоритъ, этого по рылу хватилъ. Мировой къ фельетонисту: „билъ онъ васъ по лицу?“ а фельетонистъ: „я что-то не припомню такого обстоятельства“. Всѣ въ хохотъ, а его всего къ пяти рублямъ штрафа приговорили.

— Нѣтъ, вотъ я съ нимъ такъ въ передѣлку попалъ, сказалъ Черезовъ,—еле живъ ушелъ.

— Вы не знаете, Андрей Николаевичъ? подхватилъ суфлеръ.—Корнелій! разкажи непремѣнно Андрей Николаичу.

— Видите, пригласилъ онъ меня какъ-то къ себѣ на дачу. Народу насъ человѣкъ шесть было; пили-мы, пили, цѣлую прорву выпили. Наконецъ кто-то придумалъ шартрезу стаканами истреблять. Можете вообразить, что̀ изъ этого послѣдовало. А у Хотена, надо вамъ сказать, страсть разныя коллекціи составлять; въ то время онъ револьверы всякихъ системъ скупалъ. И зайди у насъ съ чего-то разговоръ про фатализмъ. „Что жь“, испроговорилъ Хотенъ Блудовичъ,—давайте судьбу пытать. Ночь нынче темная, возьмемъ по револьверу, пойдемъ въ садъ и начнемъ палить: кому судьба, того укокошимъ“. Спьяну-то намъ куда какъ забавно это показалось. Вывелъ онъ насъ въ садъ, съ фонаремъ въ рукахъ, разставилъ по мѣстамъ; потомъ фонарь задулъ и скомандовалъ „пли“!

— И ты палилъ? съ удивленіемъ спросилъ Переверзевъ.

— Еще бы! вѣдь я страстный охотникъ, прихвастнулъ Черезовъ.

— И что̀ же?

— Пальнулъ я раза два и очувствовался. „Убьютъ“, думаю. Палъ я скорехонько на мать сыру-землю да ползкомъ, ползкомъ по дорожкѣ; по счастью, на калитку наползъ. И были ли только у меня ноги! Такъ, повѣрите, безъ шляпы въ Москву и прибѣжалъ!

— Жаль, что я тамъ не былъ! съ дико вылупленнымъ взоромъ какъ бы про себя проговорилъ Переверзевъ.—Сильное должно быть ощущеніе!.. А убить?.. Что-жь, убійство въ такой моментъ даже поэтично!..

— Ну, опять забредилъ! прошептала Муза.

— Остальные не замѣтили *a parte* Переверзева и продолжали разговоръ.

— Чѣмъ же кончилось? спросилъ Андрей Николаевичъ.

— Все сошло благополучно, только на сосѣднемъ дворѣ у извощиковъ двухъ лошадей подстрѣлили. Разумѣется, онъ имъ заплатилъ въ три-дорога, а тѣ и рады: „хоть каждый молъ день пали, баринъ хорошій“.

За разказомъ Черезова пошли воспоминанія о былыхъ кутежахъ, смѣшныхъ случаяхъ, глупостяхъ и дурачествахъ; о старинныхъ и новыхъ актерахъ, о ихъ свычаяхъ и обычаяхъ, о томъ кто и какъ игралъ такую-то роль и кто и какъ оговорился на сценѣ. Смѣшнѣе другихъ показалась оговорка уже упомянутой артистки Поджаровой, которая, играя одну изъ вѣдемъ въ „Макбетѣ“, неизмѣнно вмѣсто:

Кровь младенца незаконнаго
Грѣшной матерью рожденнаго,

говорила:

Кровь младенца незаконнаго,
Крестной матерью рожденнаго.

Все это пересыпалось шутками, смѣхомъ и нелѣпыми возгласами Переверзева. Всѣмъ было весело. Время летѣло, шампанское лилось и даже былъ потребованъ поджаренный съ солью миндаль, для возбужденія дальнѣйшей жажды.

* * *

— Нѣтъ, что такъ сидѣть-то, скука! сказалъ часъ, другой спустя суфлеръ.

— Атмосферу, что-ли, перемѣнить?—спросилъ Черезовъ.

— Нѣтъ, куда теперь, ужь поздно! А я часто ду-

маю: пьемъ мы, пьемъ, болтаемъ, болтаемъ, а все вздоръ, а все одно и то же. Развѣ Ильича что̀ новое совретъ. Надо бы какъ-нибудь по иному. Скажемъ такъ: ну, хоть бы старикъ какой почтенный въ нашу компанію попалъ да поученіе намъ о жизни сказалъ...

— Э! прервалъ его Черезовъ, — да ты, я вижу, опять до благочестиваго житія допился! Это съ нимъ по временамъ бываетъ, объяснилъ онъ Безпалову.

— Или вотъ Андрей Николаевичъ съ нами сидитъ, художникъ, — ну, пусть бы хоть живую картину, что ли, поставилъ.

— Да мы еще не мертвую пьемъ, чтобъ живыя картины ставить, отозвался Безпаловъ.

— Нѣтъ, шутки въ сторону, все бы разнообразіе было: было бы что̀ вспомнить.

— А что̀ въ самомъ дѣлѣ? вставилъ Черезовъ.

— Да гдѣ жь тутъ? спросилъ художникъ.

— Мѣсто найдемъ. А вотъ вамъ тема: видали вы Музу Беранже?

— Не припомню что-то...

— Ахъ, Боже мой! при роскошномъ изданіи его сочиненій...

— Право, не помню.

— Что жь это, ей-Богу! До лысины человѣкъ дожилъ, а Музы Беранже не помнитъ!..

— Лысину мою не порочьте, поглаживая себя повыше лба, сказалъ Андрей Николаевичъ,—она у меня отъ ума. Такъ и въ народѣ говорится: Богъ лба за умъ прибавилъ. Сзади плѣшинка, точно будто и предосудительна; та отъ разврата заводится.

— Да у васъ, Андрей Николаевичъ, заглядывая

ему на затылокъ сказалъ Черезовъ,—кажется, и сзади просвѣчиваетъ.

— Значитъ, у меня и отъ ума, и отъ разврата, съ особымъ удовольствіемъ прихвастнулъ Андрей Николаевичъ.

Всѣ расхохотались.

— А досадно, что вы не помните; она, знаете, Андрей Николаичъ, въ родѣ вакханочки, съ вѣночкомъ на головѣ: наша Музочка чудо бы какъ пошла.

— Это мы потрафимъ! оживляясь, сказалъ Безпаловъ.—Только мѣсто вотъ...

— Мѣсто-то? вскакивая на ноги, закричалъ суфлеръ.

Онъ быстро, чисто режиссерскимъ глазомъ осмотрѣлъ комнату и въ мигъ намѣтилъ столъ, помѣщавшійся поближе къ окну, у затворенныхъ дверей въ другую комнату, и на которомъ стояли остатки закуски. По его командѣ, закуска мигомъ была перенесена на тотъ столъ, за которымъ они сидѣли, скатерть сдернута и на опростанный столъ водруженъ стулъ. При этой уборкѣ была потревожена гитара, стоявшая у дивана, и слабымъ звукомъ напомнила о себѣ.

— А! и гитара здѣсь! восторженно воскликнулъ Переверзевъ.—Ну, Муза намъ споетъ.

— Пошелъ ты со своими дурацкими пѣснями! окрысился на него Ивановъ.

— Дурацкими? вспылилъ Переверзевъ.

— Конечно. И Муза ничего, кромѣ *Подпрапора*, пѣть не умѣетъ.

— А! ничего, кромѣ *Подпрапора*, пѣть не умѣетъ? А я вотъ покажу вамъ, что можно сдѣлать изъ *Под-*

прапора! Андрей Николаевичъ, вы художникъ, вы оцѣните! Вы поймете, что артистъ можетъ сдѣлать изъ самой пустой роли, изъ самой дурацкой пѣсни. (Слово „дурацкій“ онъ произнесъ съ особой силой и сверкнувъ глазами на суфлера). Да, вы увидите, вы вотъ сейчасъ сами увидите, Андрей Николаевичъ! Надо только провести вещь сквозь громило вдохновенія!

— Ахъ, скотина безграмотная! съ негодованіемъ вскричалъ суфлеръ.—Какое громило? какое громило?..

— Что жь, оговориться, что ли, нельзя? огрызнулся Перевервевъ,—безъ тебя знаю, что горнило.

— А *сквозь* зачѣмъ? *Чрезъ*, ослопятина; пойми: *чрезъ*...

— Ну, черезъ, такъ черезъ, все равно.

— Какой опять *черезъ*? какъ, все равно? вскакивая съ мѣста горланилъ суфлеръ.

— Паша, голубчикъ! сядь ты лучше подлѣ меня на диванчикъ, сказалъ Черезовъ, беря его за плечи и усаживая такъ, чтобъ ему неудобно было вскакивать.

— Постойте, я примирю васъ, сказалъ Андрей Николаевичъ,—сперва мы преобразимъ Музу Ивановну въ богиню пѣснопѣнія, а потомъ она ужь споетъ намъ, какъ настоящая Муза. Ну-съ, Муза Ивановна, не угодно-ли?

Безпаловъ усадилъ Музу на столѣ. На полу, ради вящаго эффекта освѣщенія, были установлены большія канделябры. Картина удалась на славу. Круглолицая, смугленькая, съ алыми, какъ вишеньки, щечками, съ черненькими глазками, слегка растрепавшимися волосами и пухленькимъ полуоткрытымъ ротикомъ, Муза была прелесть какая хорошенькая: чистая вакханочка! Недоставало только сатира: и онъ явился во образѣ Корнелія Ѳомича. Но едва онъ протянулъ губы къ

лакомому кусочку, какъ зоркій Переверзевъ закричалъ:

— Прошу подальше *губы*! Не то съ гитарой похристосуешься.

— Эхъ, добродушно сказалъ Черезовъ,—говорилъ я тебѣ, Никишка: больше трехъ рюмокъ водки не пей; съ нея ты всегда золъ становишься.

— Котъ ревнивый! проворчала Муза.

Никифоръ Прохоровичъ не слышалъ послѣдняго замѣчанія; онъ, подобно пушкинскому импровизатору, уже чувствовалъ приближеніе бога и сталъ во вдохновенную позу дирижора цыганскаго хора.

— Вотъ вы увидите, Андрей Николаевичъ, сказалъ онъ, считая возможнымъ обращаться только къ художнику.—И кстати я покажу всѣмъ разницу между тремя родами выразительной декламаціи: эпической, лирической и драматической. Ну, Муза! не осрамись.

Муза, богиня! воспой о свирѣпомъ подпрапорѣ-мужѣ,
Грозный, который женѣ натворилъ неисчетныя бѣдства.

Возьми сперва эпическій тонъ: спокойно, величаво, но безъ напыщенности.

Онъ взялъ на гитарѣ аккордъ и Муза запѣла:

Нѣтъ ни кофею, ни чаю,
Нѣтъ ни водки, ни вина.
И теперь я примѣчаю
Что я подпрапора жена.

— Повтори, но въ видѣ перехода къ лиризму, съ нѣкоторой задумчивостью, но безъ волненія.

Муза повторила.

— Теперь лирика. Постой!.. Вы вотъ вѣрно слышали, Андрей Николаичъ, что артистовъ часто обвиняютъ за то, что они измѣняютъ слова авторовъ, но вы увидите какой изъ этого выходитъ эффектъ. Итакъ,

Муза, вычеркни въ третьей строкѣ глупое *и* и замѣни его нѣжнымъ *ахъ*!

Муза такъ мило и правдиво выразила грусть жены подпрапора, что суфлеръ не удержался и одобрительно прошепталъ:

— Браво, Муза, браво!

— Смѣни нѣжное *ахъ*! на печальное *охъ*!

Муза смѣнила, и опять такъ удачно, что всѣ уже были готовы разрѣшиться рукоплесканіями, но Переверзевъ не далъ вылиться восторгу, готовя новый сильнѣйшій эффектъ.

— Покруче *охъ*, Муза, покруче! чтобъ онъ почувствовалъ.

Крутое *охъ* было истиннымъ торжествомъ Музы: рукоплесканьямъ, восторгамъ и крикамъ не было конца, какъ пишутъ въ газетныхъ отчетахъ.

— Переходъ къ драмѣ, Муза! Возьми опять *ахъ*! но ужь съ угрозой.

Муза пригрозила подпрапору.

— Свирѣпѣй, Муза, свирѣпѣй; возвышайся до трагизма! Замѣни *охъ*!—*у!* Понимаешь:

У! теперь я понимаю.

Муза освирѣпѣла.

— Теперь протяни *у*; такъ вотъ: *у-у!* и ножкой притопни, ножкой, чтобъ онъ въ страхъ пришелъ.

Взрывъ рукоплесканій.

— Слушай, слушай внимательно, Муза! Полное неистовство; стучи ногами, колотись головой и локтями о дверь, а *у!* прикрути такъ, чтобы всѣ подпрапоры затрепетали!

Муза съ такимъ совершенствомъ выразила неистовство, что зрители опять взволновались, но Перевер-

зевъ и на сей разъ не допустилъ преждевременнаго выраженія восторга.

— Crescendo, Муза, crescendo! *Ура!* валяй его! въ кулаки!

Муза такъ занеистовствовала, что стало страшно за семейную жизнь Никифора Прохоровича. Восторженные зрители даже съ мѣста вскочили,—что, какъ извѣстно, въ театрѣ случается весьма рѣдко: пишущій эти строки за сорокъ лѣтъ всего три раза былъ свидѣтелемъ такого явленія.

— Усиль, Муза, усиль еще, если можешь, но въ предѣлахъ искусства!

— Могу, отвѣчала Муза, и дѣйствительно смогла.

— А теперь...

Неизвѣстно, чтобъ еще выскочило изъ горнила вдохновенія Никифора Прохоровича: въ это мгновеніе въ комнату опрометью влетѣлъ половой и быстрымъ шепотомъ сталъ о чемъ-то докладывать Черезову.

Дѣло въ томъ, что въ сосѣдней комнатѣ кутили молодые офицеры, но не совсѣмъ простые, а петербургскіе гвардейцы, настолько важные, что объ ихъ прибытіи въ Москву было оповѣщено въ газетахъ. Между ними было двое прапорщиковъ,—чинъ, увы! отошедшій въ область преданій вслѣдъ за бригадиромъ и майоромъ: sic transit gloria mundi. Офицеры времени не теряли, и поджаренный съ солью миндаль былъ имъ поданъ ровно часомъ раньше, чѣмъ нашей компаніи. Вдобавокъ, послѣ шампанскаго они принялись кто за ликеры, а кто за водку, по бывшей тогда въ модѣ англійской или американской системѣ.

Пѣсня о подпрапорѣ сначала показалась имъ забавною. Старшіе поострили даже по этому случаю надъ

младшими; но когда пѣсня стала повторяться, какъ имъ казалось, до безконечности; когда до нихъ стали долетать, хотя и не цѣликомъ, сопровождаемыя гвалтомъ и рукоплесканіями слишкомъ расходившейся компаніи, командныя слова Переверзева, то они, быть-можетъ именно потому, что слова имъ были слышны не вполнѣ, приняли ихъ за грубое обращеніе къ себѣ, за несомнѣнную насмѣшку и даже за неслыханно дерзкій вызовъ. Была надавлена пуговка электрическаго звонка и вбѣжавшему половому былъ отданъ приказъ немедленно унять буяновъ.

Половой растерялся и бросился къ буфетчику, который жестово струсилъ и заметался, какъ кошка съ гремушкой на хвостѣ. По счастію, половой, услуживавшій актерской компаніи, былъ поумнѣе; выслушавъ въ чемъ дѣло, онъ хотѣлъ было предложить соотвѣтственныя мѣры, какъ трижды кряду самымъ ужасающимъ образомъ задребезжалъ звонокъ. Буфетчикъ самъ бросился въ комнату сердитыхъ господъ и выскочилъ оттуда весь блѣдный и съ трясущейся челюстью.

— Вышвырнуть вонъ! пролепеталъ онъ дрожащимъ голосомъ.

— Не извольте безпокоиться, обойдется: господа хорошіе, честные господа, успокоимъ его умный половой и вскочилъ къ актерамъ.

Выслушавъ грозный ультиматумъ, Черезовъ торопливо вышелъ изъ комнаты, увлекая за собою половаго изъ предосторожности, чтобы тотъ не разболталъ чего лишняго.

— Что? вышвырнуть! кого вышвырнуть? насъ? закипятился Переверзевъ, шагая по комнатѣ,—насъ вышвырнуть вонъ! За что? за то, что мы мирно занима-

лись искусствомъ? Нѣтъ, я живъ не отдамся. Безпаловъ! строй баррикаду. Суфлеръ! запѣвай марсельезу.

Тутъ суфлеръ, точно сраженный пулей, повалился на диванъ и захрапѣлъ.

— Хамъ! въ видѣ надгробной рѣчи произнесъ надъ нимъ Никифоръ Прохоровичъ.—Притворяется... Но все равно, мы и вдвоемъ сумѣемъ отстоять свободу искусства.

— Разумѣется, разсудительно отвѣчалъ Андрей Николаевичъ,—только вотъ подождемъ, какъ вернется Черезовъ.

— А онъ исчезъ? Холопъ! Навѣрно побѣжалъ извиняться, клянчить прощенья!.. Но я живъ не отдамся; я докажу имъ, что Великая Екатерина не даромъ начертала на фронтѣ академіи: „вольнымъ художествамъ!“

— И я также, спокойно подтвердилъ Андрей Николаевичъ.—Только надо раньше снять Музу Ивановну со стола.

— Правда! взоромъ полководца окидывая комнату, сказалъ Переверзевъ.—Они могутъ ворваться оттуда, съ тыла.

— Конечно, тѣмъ болѣе что дверь заперта на ключъ и столъ претяжелый, съ самымъ серьезнымъ видомъ отвѣчалъ Андрей Николаевичъ.

— Да, я такъи думалъ! не разобравъ въ чемъ дѣло, согласился Переверзевъ.

Андрей Николаевичъ, между тѣмъ, бережно снялъ Музу съ одного стола и усадилъ за другой.

— Мегсі, сказала она.

— А вамъ спасибо и за картину, и за пѣсенку.

— Развѣ хорошо вышло? скромно и вспыхнувъ въ ожиданіи благосклоннаго приговора, спросила Муза.

— Прелестно, отвѣчалъ Андрей Николаевичъ и въ подтвержденіе словъ поцѣловалъ у Музы ручку.

— Однако, что жь намъ дѣлать? обратился Перевезевъ къ Андрею Николаевичу.

— Оставаться въ выжидательномъ положеніи; къ наступательнымъ дѣйствіямъ повода пока не имѣется.

— Гм., вы думаете?

— И что это, Ника, ты чуть выпьешь, сейчасъ буянить тебѣ надо, сказала Муза.

— Кому? мнѣ? развѣ я кого-нибудь задѣваю? развѣ со мной было что-нибудь подобное въ жизни?

— А статскій совѣтникъ?..

— Дура!

— Вообразите, Андрей Николаевичъ, ѣдемъ мы разъ съ нимъ ночью на извощикѣ и впереди, я вижу, какой-то господинъ, мимо фонаря идетъ. Онъ вдругъ какъ выскочитъ изъ саней подбѣжалъ къ этому господину да, не говоря дурнаго слова, хлопъ его!.. Видите, ему показалось, будто тотъ нагло поглядѣлъ на меня...

— Молчи, когда не понимаешь силы страсти!

— Еще, можетъ-быть, лучше твоего понимаю, съ увѣренностью сказала Муза, и не безъ злорадства добавила: — А въ Саратовѣ портнаго за что въ окошко изъ уборной выбросилъ?

— Тварь! возгласилъ Никифоръ Прохоровичъ, и сталъ въ волненіи, заложивъ руку за спину, бѣгать покомнатѣ.

— А что, Андрей Николаевичъ? спросила Муза,— шампанское еще есть?

Безпаловъ поспѣшилъ ей налить.

— А мороженое?.. растаяло?.. я такъ и думала... Нѣтъ, фруктовъ я не люблю, благодарствуйте... А не осталось ли тамъ кусочка селедки?

Андрей Николаевичъ услужливо поставилъ передъ ней продолговатую тарелку. Муза хорошенькими пальчиками осторожно взяла кусочекъ рыбки и, отправивъ ее въ ротъ, немедля запила шампанскимъ.

— Чудо, какъ вкусно! объявила она.

Въ это время Никифоръ Прохоровичъ остановился какъ разъ противъ нея и, перенеся руки со спины на грудь, заговорилъ.

— О, женщины! возгласилъ онъ,—кто васъ возвысилъ, кто васъ опоэтизировалъ, кто васъ возвелъ въ идеалъ? Идіотъ, или такой же безумецъ, какъ я! Вашъ языкъ—бритва, ваши взоры—манящіе насъ въ болото блуждающіе огни, ваше сердце—губка, готовая впитать въ себявсякую дрянь...

И Никифоръ Прохоровичъ понесъ совершеннейшую чепуху. Безпаловъ съ изумленіемъ взглянулъ на него и вспомнилъ, что слышалъ про Переверзева, будто на него „находитъ“. Такое обстоятельство приписывалось тому, что бабка у него была пылкая южная женщина, по однимъ Итальянка, по другимъ Турчанка и даже бѣлая Арапка. Послѣднее, однако, мало вѣроятно, ибо какъ извѣстно въ былое время въ бѣлые Арапы производили при отставкѣ придворныхъ скороходовъ, ради усиленія пенсіи, а стало быть бѣлая Арапка (будь она бабкой Переверзева) могла быть уроженкой одной изъ самыхъ сѣверныхъ губерній. Впрочемъ, не благоразумнѣе ли оставить этотъ вопросъ на попеченіе будущихъ біографовъ нашего знаменитаго артиста? Они рѣшатъ его на основаніи документовъ, или собственныхъ измышленій, взятыхъ изъ внушающихъ довѣріе источниковъ.

— Не обращайте на него вниманія, Андрей Ни-

колаевичъ, шепнула Муза,—это онъ новую комедію сочиняетъ: я ужь привыкла.

И Муза стала разказывать съ какимъ успѣхомъ сама дебютировала въ Саратовѣ.

— Но, ехидна, продолжалъ нести Никифоръ Прохоровичъ,—твой часъ близокъ, онъ уже насталъ: мститель у дверей, онъ...

— Да вотъ и онъ! сказалъ суфлеръ, подымаясь съ дивана при видѣ входящаго Черезова.

— А! это ты? набросился на него Переверзевъ,— что жь ты унижался, извинялся, лобзалъ прахъ подошвъ? кричалъ mea culpa, падалъ до ногъ, билъ челомъ?

— Нѣтъ, я расплачивался по счету...

— А!.. Но отчего жь такъ долго?

— Если хочешь знать, я засидѣлся въ кабинетѣ уединенныхъ размышленій германскаго императора.

— Гм-м... А они?

— Давно уѣхали.

— А!.. Стало-быть, мы можемъ спокойно сидѣть и пить шампанское?

— Сидѣть-то, конечно, можемъ, но шампанское пить врядъ ли.

— Это почему?

Вмѣсто отвѣта Черезовъ вынулъ пустой бумажникъ и, потряся имъ, сказалъ:

— Хоть выжми.

Они вышли.

— Ефремъ! крикнулъ Ивановъ извощика.

Ефремъ подъѣхалъ. Къ общему удивленію въ саняхъ оказалось нѣчто въ родѣ свиной туши, завернутой въ коверъ.

— Это что?

— Баринъ. Тотъ самый, что вотъ еще вашъ знакомый, отвѣчалъ Ефремъ.

Подъ ковромъ оказался Фихтошка.

— Ты откуда взялся? спросили его.

— Подлецы, надувалы-мученики, жулики! вылѣзая изъ-подъ ковра заговорилъ Фихтошка тѣмъ глухимъ и хриповатымъ голосомъ, какимъ актеры изображаютъ Тѣнь отца Гамлета, вѣроятно въ силу того соображенія, что мертвецы въ сырой могилѣ не могутъ не простудиться.

— Мы по дорогѣ передумали, извини, голубчикъ! сказалъ суфлеръ.

— Разказывай, передумали!.. А я вѣдь въ Московскій, да тамъ, спасибо, швейцары знакомые, забожились, что нѣтъ. „Завтракали, говорятъ, точно что у насъ, и г. Макрушинъ съ ними, а послѣ не бывали“.

— Да въ-коверъ-то ты какъ же попалъ?

— Я изъ Московскаго домой; иду по Неглинному и думаю: „дай загляну сюда, не тутъ ли“. Узналъ Ефрема; говоритъ: „тутъ“.

— Что жь ты не вошелъ?

— Тью! тутъ, братъ, аристократія: въ такихъ какъ я, балахонахъ не пускаютъ. Я въ низокъ, народные нравы изучать, съ извощиками на гривенникъ во-какъ чайкомъ налился, а Ефрему наказъ, чтобы позвалъ, какъ вы выйдете. Наконецъ низокъ заперли, а на дворѣ стало морозить. Я попрыгалъ, попрыгалъ по тротуару да въ коверъ и придумалъ.

— Умная же голова, нечего сказать! сказалъ суфлеръ,—а теперь прощай: мы по домамъ.

— Какъ по домамъ? Да вы обязаны, анаѳемы, меня водкой напоить: не то у меня завтра тифъ сдѣлается.

— Чудакъ человѣкъ! сказалъ Черезовъ, — да коли все заперто.

— Эге, заперто! съ волненіемъ, въ виду предстоящей выпивки, заговорилъ Фихтошка,— здѣсь близехонько, у Петровскихъ воротъ, Бакастова трактиръ есть, мнѣ во всякое время отопрутъ.

— А шампанское тамъ есть? серьезно спросилъ Переверзевъ.

Всѣ расхохотались.

— Разумѣется, есть, къ пущему хохоту компаніи отвѣчалъ Фихтошка.—Ну, что горло деретe? со злостью продолжалъ онъ. — Думаете, что вы одни шампанское лопаете? А есть сѣрый купецъ, который такимъ товаромъ торгуетъ, что самъ отъ него весь въ грязи, а иной и попахиваетъ: ему въ чистый трактиръ и войти нельзя. А денегъ у него побольше, чѣмъ у васъ, и шампанское квасомъ разводить онъ также любитъ. А? что? замолчали? съ торжествомъ добавилъ Фихтошка.— То-то же, еще артистами называетесь, а народнаго быта не знаете! А ужь осетринки подадутъ, — лучше, чѣмъ въ Московскомъ, ей-Богу!

— А любопытно бы, отозвался Переверзевъ.

— Оно бы, конечно, любопытно, подтвердилъ суфлеръ,—да на пенензы мы слабы.

— У меня рублей восемь найдется, замѣтилъ Андрей Николаевичъ.

— На наши ли глотки восемь! сказалъ Ивановъ,—да одинъ Фихтошка рубля на три водки выпьетъ.

— Деньги найдутся, отозвался Черезовъ.

— Ну, ты опять, кажется, до неразмѣннаго рубля допился!

— Я-то? сказалъ Черезовъ, и полѣзъ за голенище.

— Ну, коли за голенище полѣзъ, значитъ, точно что̀ есть. Ѣдемъ, ребята! скомандовалъ суфлеръ.

Они отправились, кромѣ Музы, которая подъ конвоемъ гитары, была отпущена домой. Фихтошка съ Переверзевымъ ѣхали впереди.

— Ну, сказалъ Сосногоровъ, когда они повернули къ трактиру,—видишь, во второмъ этажѣ огонекъ свѣтится, значитъ отопрутъ. Слава Богу, слава Богу!

И онъ сталъ усердно креститься.

Компанія подъѣхала. Фихтошка постучался, но безуспѣшно, и его уже начали бранить за хвастовство. Ему на выручку явился городовой; строго осмотрѣвъ позднихъ посѣтителей, онъ убѣдился, что подъѣхали господа хорошіе, а стало-быть за нарушеніе полицейскихъ постановленій выпадетъ изрядная мзда.

— Не извольте безпокоиться, сказалъ онъ Фихтошкѣ,—я сейчасъ.

И свернувъ небольшой снѣжокъ, онъ ловко пустилъ его въ свѣтившееся окно; стекло задребезжало и вскорѣ по лѣстницѣ послышались шаги.

— Гляди, Кондратій Савельичъ, какихъ я тебѣ гостей привезъ! хвастливо объявилъ Фихтошка буфетчику, и тотчасъ себѣ добылъ бутылку водки и порцію осетрины.

Осетрина оказалась такъ хороша на видъ, что нѣкоторые потребовали ее и себѣ. Отвергнувъ рюмку, какъ сосудъ маловмѣстительный, Фихтошка хватилъ стаканчика два водки и наскоро закусилъ осетриной.

Вскорѣ онъ сталъ несносенъ. Раньше всего онъ пустился въ особый родъ острословія, довольно жалкій, но распространенный въ актерскомъ кругу и состоящій въ переворачиваніи словъ.

— Черезовъ! сказалъ кто-то.

— Почему Черезовъ, а не Сквозевъ? спросилъ Фихтошка.

— Ты опять за свое! строго замѣтилъ суфлеръ.

— Что жь, ты и его мнѣ прикажешь звать Безпал-овымъ, когда онъ Со-встал-овъ! Пойми, о Ногенфовъ!

— Это что̀ еще?

— Не понялъ? То-то. Пошевели мозгами! „И“—союзъ, и „но“—союзъ. Генфъ—озеро и Ванъ озеро. Стало-быть, Но-генф-овъ равенъ И-ван-ову.

— Человѣкъ! закричалъ суфлеръ,—уберите у этого барина водку и больше ему не давайте.

— Не буду, ей-Богу, не буду! залепеталъ Фихтошка, страстно прижимая бутылку къ груди.

— И помни, ослопятина, что никакого озера Генфъ нѣтъ, а есть Женевское, и Ваннъ пишется съ двумя "н". Вдобавокъ я тебѣ сто разъ толковалъ, что я не Ива̀новъ, а Ивано̀въ.

— Ива-но̀въ? радостно воскликнулъ Фихтошка, — такъ будь же ты Верба-старъ. Тебѣ же выгоднѣе, въ чехи попадешь. Тебя за безталанность въ хормейстеры или капельмейстеры въ Большой Театръ возьмутъ, а чего добраго и директоромъ гимназіи сдѣлаютъ.

Всѣ расхохотались и Фихтошка на сей разъ былъ прощенъ. Не прошло и минуты, какъ онъ сталъ опять ввязываться въ разговоръ и съ крикомъ нести вздоръ.

— Да замолчишь ли ты, поганая нѣмчура! вспы-

лилъ на него Переверзовъ, къ которому онъ приставалъ сильнѣе, чѣмъ къ другимъ.

Въ Фихтошкѣ проснулся Фихтенбаумъ.

— Да я горжусь, что я Нѣмецъ! объявилъ онъ.— Ну вы, Русскіе, несчастный народъ! что вы, кромѣ самовара выдумали? Стамеска, верстакъ—то-то, подумаешь, какія коренныя русскія слова, а на повѣрку-то выходитъ Stemmeisen, Werktish. Даже кухарки съ кучеромъ, и тѣхъ придумать не могли. Да и шуба наше же нѣмецкое Schaube. А хвастать—васъ взять! А хвастать-то не чѣмъ. Возьмемъ театръ. У насъ кто? Шиллеръ, а у васъ всего Островскій. У насъ народный герой свободолюбивый маркизъ Поза, а у васъ самодуръ Китъ Китычъ Брусковъ. У насъ...

— Ну, Фихтошенька, ласково прервалъ его Черезовъ,—кончай водку да расплачивайся.

— Какъ расплачивайся! Да у меня всего три цѣлковыхъ, которые ты же далъ.

— Въ другой разъ не станешь хвастать шампанскимъ.

— Шампанскимъ? Что жь ты не приказалъ! Саша, голубчикъ, обратился онъ къ половому,—что Кондратій Савельичъ не спитъ еще?

— Нѣтъ, еще подсчитываетъ.

Фихтошка сорвался съ мѣста и бросился въ буфетъ. Вскорѣ, вслѣдъ за нимъ, половой принесъ бутылку Редерера.

— Только настоящее ли? съ сомнѣніемъ сказалъ суфлеръ.

Черезовъ внимательно осмотрѣлъ бутылку.

— Ну, Фихтошка, если не настоящее, такъ и знай, что на твой счетъ.

— Сдѣлай одолженіе! спокойно отвѣчалъ Фихтошка.

Вино было откупорено и розлито всѣмъ, кромѣ Сосногорова, который сказалъ:

— А мнѣ, Саша миленькій, знаешь, православной поповочки еще, да на закусочку чего-нибудь, а главное хрѣнку побольше.

Всѣ взоры обратились на Черезова, который считался великимъ знатокомъ шампанскихъ. Онъ отвѣдалъ.

— Что за чудо: настоящее! оповѣстилъ онъ.

— Чудо, а не вино! отпивъ, рѣшилъ суфлеръ.

— Не вино, а чудо! подтвердилъ Андрей Николаевичъ.

Переверзевъ, держа стаканъ за донышко, прищурясь любовался, какъ прыгали иголки. Выслушавъ присловія, онъ улыбнулся и экспромтомъ сказалъ:

Да, чудесъ не мало въ мірѣ:
Вотъ вамъ на примѣръ:
У Бакастова въ трактирѣ
Пилъ я Редереръ.

Экспромтъ былъ встрѣченъ съ восторгомъ и дважды повторенъ по общему требованію.

* * *

Поздно въ эту ночь, или рано на слѣдующее утро воротился Андрей Николаевичъ домой. Лидія Антоновна ждала его; она не могла заснуть, когда не знала куда запропастился супругъ, и придумывала всякіе страхи.

— Гдѣ это шлялся до сихъ поръ? сурово встрѣтила она мужа.

Андрей Николаевичъ вспомнилъ, что Лидія Антоновна терпѣть не могла, когда онъ кутилъ въ актерской компаніи; она, впрочемъ не безъ основанія, полагала, что гдѣ актеры тамъ, если не членовредительство, то по меньшей мѣрѣ скандалъ.

И увѣрена, что опять съ какой нибудь дрянью связался! продолжала Лидія Антоновна.

— Да! повяжись съ влюбленнымъ, не до того еще дойдешь, иносказательно отвѣчалъ Безпаловъ.

— Такъ ты съ Подлещиковымъ? отчего жь такъ долго?

Андрей Николаевичъ юмористически описалъ завтракъ и послѣдовавшій за нимъ обѣдъ. Лидія Антоновна значительно смягчилась, и раза два даже улыбнулась.

— Но все же я не понимаю, отчего такъ долго.

— Послѣ обѣда онъ потащилъ меня въ циркъ.

— Въ циркъ?

— Да. Фанни Юрьевна обѣщала быть. А потомъ— ужинать.

— И она съ вами?

— Какое! Въ томъ-то и дѣло, что она надула и въ циркъ не пріѣхала. Отсюда огорченіе, а слѣдомъ изліяніе. Разумѣется и возліяніе послѣдовало, и значительное.

— Что жь вы пили?

— Шампанское, понятно.

— Ну шампанское ничего, уже совсѣмъ мягко сказала Лидія Антоновна,—а только, пожалуста, Андрюша, не пей ты много водки, особенно съ актерами... И что жь онъ, сильно влюбленъ?

— Съ макушкой.

— Такъ, что, пожалуй, и жениться готовъ?

— Чего добраго.

— Ахъ, этого нельзя! непререкаемымъ тономъ объявила Лидія Антоновна;—ты бы, Андрюша поговорилъ съ нимъ.

— Мудрено съ нимъ разговаривать-то теперь.

— Ну, какъ знаешь, а я поговорю.

— Твое дѣло, матушка.

И Андрей Николаевичъ заснулъ какъ-то весело. Онъ былъ доволенъ, что, хотя нѣсколько и безобразно, а все же въ обществѣ такихъ же, какъ самъ художниковъ, избылъ тоску, навѣянную на него сегодня мудрыми разсужденіями совопросниковъ вѣка сего.

XII.

Успѣхи графа Петра Николаевича.

J'ai du bien, je suis jeune, et sors d'une maison
Qui se peut dire noble avec quelque raison;
Et je crois par le rang que me donne ma race,
Qu'il est fort peu d'emplois dont je ne sois en passe
Molière. *Le misanthrope*

Кто нынче маркизовъ играетъ?
А. Островскій. Не сошлись характерами.

Затѣя Глафиры Александровны возымѣла, между тѣмъ, полный успѣхъ. Стоило ей, подъ строжайшимъ секретомъ, шепнуть тремъ, четыремъ завѣдомымъ болтунамъ, что графъ Ворворищевъ назначается на мѣсто Ивана Ивановича, какъ слухъ немедленно дошелъ до театра и черезъ двѣ недѣли вся Москва трещала о грозящей перемѣнѣ. Кстати сказать, нѣтъ людей болѣе падкихъ на новости и болѣе усердныхъ вѣстовщиковъ, какъ актеры. Быть-можетъ, это зависитъ оттого, что у актеровъ есть врожденное желаніе нравиться тому, съ кѣмъ они говорятъ въ данную минуту, а ужь чѣмъ же скорѣе угодишь современному человѣчеству, какъ не сообщеніемъ свѣженькой новости? (Впрочемъ, по послѣднимъ изслѣдованіямъ, то же было и до потопа).

Выдумщики и сплетники знаютъ такую актерскую повадку, и у нихъ есть всегда пріятели за кулисами.

При первыхъ намекахъ, Ворворищевъ нѣсколько смутился и подумалъ: „откуда бы это пошло?“ Потомъ вспомнилъ свой разговоръ съ Глафирой Александровной, вспомнилъ, что какъ-то, бесѣдуя со своимъ пріятелемъ, камеръ-юнкеромъ Стоумовымъ, на его вопросъ: „а ты взялъ бы это мѣсто?“ отвѣчалъ: „съ удовольствіемъ“, и... вздохнулъ.

— Мечта прелестная, разсуждалъ онъ самъ съ собою,—и почему бы ей не стать обаятельною дѣйствительностью? Распорядиться я сумѣю вездѣ, а въ театрѣ и подавно,—ну, а для черной работы тамъ, вѣроятно, есть же кто-нибудь, и во всякомъ случаѣ такихъ людей легко найти!

Убѣдясь въ своей распорядительской способности, графъ Петръ Николаевичъ принялся за собираніе болѣе положительныхъ свѣдѣній. Онъ только встрѣчался, но не былъ знакомъ домами съ „ce cher Иванъ Иванычъ“, котораго столь коварно хотѣлъ вытѣснить изъ-за кулисъ; поэтому онъ раньше всего обратился къ первому виновнику пріятныхъ слуховъ, камеръ-юнкеру Стоумову, какъ къ своему другу и близкому пріятелю Ивана Ивановича, съ разспросами: велика ли и хороша ли казенная квартира, куда онъ вознамѣрился переселиться, а главное, есть ли въ ней большой и свѣтлый кабинетъ. Убѣдясь, что квартира подходящая и кабинетъ своею величиною вполнѣ соотвѣтствуетъ его обширнымъ административнымъ способностямъ, Ворворищевъ, слыша все усиливающіеся намеки, уже пересталъ отрицать на-отрѣзъ ложность слуховъ, а отнѣкивался такъ-сказать условно.

— Это вовсе не входитъ въ мои планы, говорилъ онъ,—и я, право, не понимаю, откуда взялись такіе слухи, но... но, какъ думаете, вѣдь это дѣло можно повести хорошо?

Одни просто соглашались съ нимъ относительно возможности хорошаго веденія этого дѣла; другіе, поподлѣе, восклицали: „О, у васъ, графъ (или ваше сіятельство) оно навѣрное пойдетъ отлично"; у весьма немногихъ хватало гражданскаго мужества промолчать на вопросъ графа Петра Николаевича; возражателей же вовсе не было.

Довольный явно ему благопріятнымъ общественнымъ мнѣніемъ, графъ рѣшился на дальнѣйшую попытку, именно на разговоръ со своею тетушкой, княгиней Недрыгайло-Сорочинской, которая благоволила къ нему и обѣщала заняться устройствомъ его дальнѣйшей карьеры. Выслушавъ племянника, тетушка улыбнулась.

—Voilà de quoi rève la jeunesse! сказала она.—Что жъ, я увѣрена, что ты былъ бы очень полезенъ въ театрѣ: tu as du goût, и у тебя были бы хорошенькія актрисы... Но здѣсь, въ Москвѣ... Enfin, mon garçon, ce n'est pas la place pour un Ворворищевъ... Другое дѣло, еслибы въ Петербургѣ...

— Но, ma tante, я смотрю на Москву, какъ на переходную ступень...

— Нѣтъ, отсюда не переступишь, сухо отвѣчала тетушка.—Для этого нужны иные пути... Mais ce n'est pas dans mes moyens... Стало-быть, и толковать не о чемъ. Притомъ, раньше всего тебѣ надо устроить свои дѣла и, главное, спасти тамбовское имѣніе...

— Но, ma tante, Натрыжкинъ обѣщалъ...

Натрыжкинъ былъ такъ-называемый „частный повѣренный“, взявшійся устроить дѣла графа.

— Я говорила съ нимъ. C'est, sans doute, un homme habile, mais bien finaud... Въ сущности, ему все равно, разоришься ты или нѣтъ: онъ свой гонораръ всегда получитъ. Но я заставила его сознаться, что, какъ онъ выражается, „безъ наличныхъ тутъ, ваше сіятельство, ничего не подѣлаешь“. Стало-быть, тебѣ надо жениться на дѣвушкѣ съ приданымъ. А для этого il faut se faire estimer comme un homme posé, un homme rangé, un homme de principes. А то мѣсто, о которомъ ты мечтаешь, въ этомъ случаѣ можетъ только повредить тебѣ. On dira que c'est l'appât des plaisir dèfendus qui t'y attire. Выйдутъ еще сплетни. Словомъ, гораздо лучше, если ты сдѣлаешься губернаторомъ. Притомъ, графъ Путивцевъ, qui est un viel ami à moi, еще на дняхъ повторилъ, что онъ почти все уже устроилъ. Князь Андроникъ Архимедовичъ сказалъ ему, что если не первая, то ужь навѣрное вторая ваканція—твоя, а чтобы князь не забылъ, ему будетъ напоминать Serge Пустотузовъ que est mon cousin par les Bolotvintzeffs. Теперь такъ нуждаются въ дѣльныхъ людяхъ... И, какъ мило говоритъ Путивцевъ: on les cherche partout: и въ бурсѣ, et à la bourse, и въ банкѣ, и за штоссомъ“.

Послѣ этого разговора, графъ Петръ Николаевичъ убѣдился, что его сладостной мечтѣ не суждено осуществиться; онъ, однако, велъ себя по прежнему, то-есть не то, чтобы совсѣмъ отнѣкивался отъ мѣста, а только утверждалъ будто самъ еще не рѣшилъ хорошенько, но что во всякомъ случаѣ это дѣло можно повести хорошо. Главнѣйшею причиной, побуждавшею его такъ хитрить, было то, что кое-чьи женскіе глазки, со вре-

мени слуховъ, останавливались на немъ съ большею нѣжностью. И въ числѣ ихъ были и кругленькіе, какъ у совушки, глазки Фанни Юрьевны.

Несомнѣнно, что Фанни Юрьевна, со времени поднесенія портрета, чувствовала склонность къ Ивану Ѳеогностовичу; думая о немъ, она и про себя не иначе его звала, какъ милымъ. Но потребуй Иванъ Ѳеогностовичъ, чтобъ она не принимала графа Ворворищева, для нея было бы весьма трудно согласиться на это. Она вовсе не питала къ нему сколько-нибудь нѣжныхъ чувствъ, онъ ей вовсе не нравился, какъ мущина, — по крайней мѣрѣ, она была въ томъ увѣрена. Въ самомъ дѣлѣ, если и не вовсе еще полинялаго, то все же значительно побѣжалаго графа нельзя было и сравнивать съ красивымъ и цвѣтущимъ нотаріусомъ. Въ Иванѣ Ѳеогностовичѣ Фанни Юрьевнѣ нравился ростъ и мужественное сложеніе (она говаривала, что ни за что не могла бы влюбиться въ коротенькаго мущину), его скромно-вкрадчивый взглядъ и его мягкія, но отнюдь не робкія манеры, свидѣтельствовавшія о соединеніи силы и деликатности.

Со всѣмъ тѣмъ Фанни Юрьевнѣ было бы жаль лишиться общества графа: съ нимъ ей весело болталось, въ разговорѣ съ нимъ она самое себя сознавала и умной, и находчивой; она не искала выраженій и знала, что все, что она ни скажетъ, покажется ему и мило, и остро; съ Подлещиковымъ ей было не такъ ловко говорить, она порой задумывалась надъ выраженіями, боялась прямо высказать свою мысль: Богъ его знаетъ, можетъ-быть она ему покажется глупостью. Наконецъ, графъ былъ человѣкомъ высшаго общества и у него было такое чудное французское произношеніе! Къ

этимъ двумъ вещамъ Фанни Юрьевна чувствовала пристрастіе отъ юныхъ корней, еще съ того времени, когда ея отецъ былъ управляющимъ богатымъ имѣніемъ и они жили въ деревнѣ, куда на лѣто пріѣзжали князья Коко, Тото и Ѳедя, — одинъ молоденькій офицеръ, а двое другихъ пажи. Они обучали ее верховой ѣздѣ, французской болтовнѣ и всякимъ пакостямъ, которыя только можно было преподать такому подростку, какимъ она была въ то незабвенное время.

Слухи о назначеніи графа управляющимъ московскими театрами ветревожили Фанни Юрьевну; она рѣшила даже пококетничать съ нимъ, но только чуточку, самую крошечку, безо всякихъ послѣдствій, даже безъ мысли о возможности какихъ-либо послѣдствій. Безъ заигрыванія же съ графомъ обойтись было нельзя: Фанни Юрьевна знала о тайныхъ замыслахъ Шелеховой перейти въ драму, и была того мнѣнія, что графу, въ какой бы силѣ онъ ни оказался, все же будетъ неудобно принять въ труппу Малаго Театра двухъ первыхъ актрисъ сразу. Притомъ она вовсе не желала соперничества, не столько опасаясь таланта Шелеховой,—какая же актриса опасается таланта другой? — сколько ея хитрости и умѣнія вербовать поклонниковъ. Стало-быть, требовалось ослабить пылъ графа къ Глафирѣ Александровнѣ.

Ворворищевъ тотчасъ это замѣтилъ и былъ не прочь пріударить совмѣстно за обѣими дамами. Онъ былъ того мнѣнія, что если нельзя гнаться за двумя зайцами сразу, потому что они бѣгутъ въ разныя стороны, то весьма возможно одновременно волочиться за двумя женщинами, потому что всѣ онѣ идутъ по одной дорожкѣ.

Десять дней спустя послѣ достопамятнаго симпосіона, столь недостойно и слабо (каюсь!) описаннаго въ одной изъ предыдущихъ главъ, графъ заѣхалъ къ Фанни Юрьевнѣ и въ разсчетѣ, что почва уже достаточно обработана, пустился въ самое пламенное изъясненіе своихъ восторговъ отъ ея красоты.

— Извините, графъ, прервала она его, — но я убѣждена, что не дальше, какъ вчера или третьяго дня вы точно также восторгались красотой одной нашей знакомой...

— Это было бы для меня новостью... Кто же эта особа?

— А вы не знаете? покачивая головой и растягивая слова, спросила Хотьминская. — Или забыли, графъ?.. И вы хотите меня увѣрить, когда я видѣла собственными глазами?.. И вамъ ни капельки не стыдно?

— А! теперь я догадываюсь, на кого вы намекаете... Глафира Александровна? n'est ce pas?

— Что жь, вы станете отрицать, что ухаживали за ней самымъ усерднымъ образомъ?

— Ухаживалъ!.. Le mot est un peu fort... Я, впрочемъ, не отвергаю, что слегка интересовался ею... Но тогда я не зналъ васъ...

— Не знали?.. А вы ужь забыли, какъ въ тотъ день, когда monsieur Безпаловъ началъ писать съ меня портретъ, вы, въ этой самой комнатѣ, удалились съ нею въ уголокъ и шептались, по меньшей мѣрѣ, два часа?

— Я хотѣлъ сказать, что зналъ васъ очень мало...

— Такъ что не успѣли разглядѣть? со снисходительною улыбкой подхватила Фанни Юрьевна.

— Притомъ, я долженъ вамъ сознаться, что она интересовала меня болѣе своимъ характеромъ... Un drôle de caractère, n'est-ce pas?

— И она, по вашему, не хороша?

— Она, конечно, не дурна, но знаете въ томъ же смыслѣ, какъ по пословицѣ au royaume des aveugles, les borgnes sont rois... Но когда я увидѣлъ васъ...

— То-есть разглядѣли?

— Скажите лучше, прозрѣлъ... тогда я понялъ, что сравненіе невозможно.

— Ахъ, не правда, не правда! горячо заступилась за подругу Фанни Юрьевна.—Извините, графъ, но она чудо, какъ хороша собой, обоятельно, ослѣпительно хороша! Фанни Юрьевна для вящей наглядности своего мнѣнія даже глаза зажмурила.—И притомъ она такая belle-femme! Ахъ, еслибъ я была мущиной, я влюблялась бы только въ такихъ, какъ она...

Графъ хотѣлъ было вставить словцо, но Фанни Юрьевна, какъ говорится, разошлась.

— Но все же я удивлена, я до-нельзя поражена тѣмъ, что вы, положимъ и не надолго,—хотя я въ этомъ вамъ и на столько не вѣрю (Фанни Юрьевна отмѣрила самую чуточную долю своего розоваго ноготка), —но все же ухаживали за ней. Какъ, вы, человѣкъ высшаго общества, вы, который видали на своемъ вѣку столько блестящихъ, столько порядочныхъ женщинъ, des femmes comme il faut enfin, какъ же вы рѣшились влюбиться въ нея!...

— Вы такъ горячо меня упрекаете, сказалъ графъ, весьма польщенный жаромъ Фанни Юрьевны и не подозрѣвая цѣли, которая ее воспламеняла,—что я, право, теряюсь, и даже боюсь d'avoir commis un crime...

— И вы еще говорите, что изучали ея характеръ!... Неужто же вы не разглядѣли, что это за ужасная женщина?...

— Но что же въ ней такого ужаснаго?...

— Ахъ! я, право, не знаю, какъ выразиться... Mais enfin c'est une femme dépravée! ..

Графъ никакъ не могъ придти въ ужасъ отъ такого обстоятельства. Онъ только вспомнилъ, какъ Шелехова остроумно выразилась на счетъ семи мужей своей подруги.

— О! я и не зналъ, что вы такая prude...

— Я вовсе не prude, обидчиво возразила Фанни Юрьевна.—Je ne suis pas une vielle fille pour être... (Фанни Юрьевна чуть-чуть запнулась, и подумала: Ахъ, Господи! надо тутъ ставить *une* или нѣтъ?)... une prude... съ особымъ восторгомъ добавила она, воображая, что избѣжала ошибки.—Но все же я не понимаю такихъ женщинъ, какъ она...

— Какъ? вы не допускаете даже увлеченія?

— О, увлеченіе совсѣмъ иное дѣло! съ томнымъ взглядомъ отвѣчала Фанни Юрьевна.—Но я понимаю только полное, безотчетное, беззавѣтное увлеченіе, когда дѣйствительно полюбишь человѣка, когда тобой не владѣетъ никакой разсчетъ, а одна страсть, которая все объясняетъ, все извиняетъ, все прощаетъ, когда наконецъ просто любишь, любишь и любишь!

Графъ пришелъ въ восторгъ.

— Enfin, подумалъ онъ,—разница только въ терминологіи.

И графу въ свою очередь захотѣлось столь же пламенно, какъ и актриса, изложить свою теорію увлеченія, а буде явится возможность, то и показать ея прак-

тическую удобопримѣнимость, какъ Фанни Юрьевнѣ подали двѣ карточки.

— Ахъ, это Голубцовъ, проси, сказала она горничной, и обращаясь къ графу:—Это monsieur Голубцовъ... Онъ любитель и... словомъ, connaisseur, добавила она, довольная, что вспомнила французское слово. — Monsieur Безпаловъ очень дорожитъ его мнѣніемъ.

Послѣ обычныхъ церемоній, Голубцовъ занялся долгимъ и внимательнымъ осмотромъ портрета; отъ времени до времени онъ на разные лады кивалъ и качалъ головой, подмигивалъ и слегка даже подмыкивалъ, указывая художнику на ту или другую точку портрета и раза два сильно пожалъ ему руку, ущемивъ ея между большимъ и указательнымъ перстомъ. Затѣмъ оба сѣли.

— Что жь вы ничего не скажете, monsieur Голубцовъ? спросила его хозяйка.—Или вамъ не нравится *мой* портретъ?

Фанни Юрьевна была увѣрена, что суть именно въ томъ, что это *ея* портретъ, а какъ онъ написанъ, дѣло второстепенное.

— Напротивъ, очень нравится: портретъ превосходный! сказалъ Голубцовъ.

— Такъ изложите же намъ ваше мнѣніе подробно. Вы такой знатокъ, и намъ будетъ очень пріятно услышать... *ваше* мнѣніе въ подробности. („Ахъ, не умѣю, не умѣю я разговаривать съ этими учеными: опять напутала!“ подумала она).

— Извините, отвѣчалъ Голубцовъ,—я не умѣю приходить въ быстрый восторгъ и шумно выражать свое мнѣніе. Мнѣ надо сперва обдумать и сообразить. Вѣдь художники народъ бѣдовый: чуть выразишься не точно, или скажешь не то, что̀ есть въ картинѣ, а какую-ни-

будь отсебятину, какъ говаривалъ Карлъ Павловичъ Брюловъ, они сейчасъ замѣтятъ и осмѣютъ.

„Ну, это какой-то мудреный, въ родѣ Немыкина“, подумала Фанни Юрьевна и рѣшила, что на Голубцова не стоитъ обращать вниманія.

Немыкину суждено было въ этотъ день разыграть роль пословичнаго волка: едва Хотьминская успѣла о немъ подумать, какъ онъ и объявился, въ сопровожденіи Ивана Ѳеогностовича. Немыкинъ пріѣхалъ уже въ третій разъ; желая возможно скорѣе отплатить Подлещикову за услугу, онъ съ горячностью принялся за артистическое развитіе Фанни Юрьевны. Въ первый разъ онъ просидѣлъ у нея около часу, и Фанни Юрьевна нашла, что онъ „ничего,—не такъ еще страшенъ“; во второй—онъ разглагольствовалъ цѣлыхъ три часа и чуть не заговорилъ ее до истерики.

Хозяйка познакомила Немыкина съ графомъ.

— Ахъ, я очень радъ, что случай доставилъ мнѣ удовольствіе познакомиться съ вами, графъ, сказалъ редакторъ.—Я такъ много о васъ слышалъ, и мнѣ хотѣлось бы побесѣдовать съ вами объ искусствѣ...

Графъ отвѣчалъ любезностью.

— Извините, Иванъ Петровичъ, что прерву васъ на минутку, сказала хозяйка.—Но мнѣ такъ не терпится узнать судьбу моего protegé.

— Какого протеже? съ изумленіемъ спросилъ Немыкинъ, нежданно задержанный въ задуманномъ полетѣ мыслей.

— Макрушина. Что жь, вы рѣшили взять его въ театральные критики?

Фанни Юрьевна хлопотала о Макрушинѣ за свой страхъ: онъ не только не заикался предъ ней о сво-

емъ желаніи попасть въ „Русское Добро“, но даже и не подозрѣвалъ ея замысловъ. Дѣло въ томъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ, предлагая ей познакомиться съ Немыкинымъ, между прочимъ, упомянулъ, что по всей вѣроятности редакторъ согласится взять въ театральные критики то лицо, на которое онъ укажетъ, и просилъ Фанни Юрьевну подумать объ этомъ. Фанни Юрьевна, въ надеждѣ на благосклонность Макрушина, рѣшила, что самое лучшее рекомендовать его.

— Видите ли, отвѣчалъ редакторъ,—онъ для насъ не совсѣмъ удобенъ.

— Но почему же?..

— Онъ нѣсколько запятналъ себя сотрудничествомъ въ газетѣ черезчуръ ужь ретроградnаго направленія...

— Извините, горячо заговорила Фанни Юрьевна,— я ничего не понимаю въ этихъ вашихъ направленіяхъ,— такъ, кажется?—но по-моему о театрѣ долженъ писать человѣкъ понимающій, а вы не станете же отвергать, что Макрушинъ понимаетъ.

— Собственно я лично ничего противъ него не имѣю: онъ очень талантливъ, и я всегда съ величайшимъ удовольствіемъ читаю его статьи...

— Но въ такомъ случаѣ за чѣмъ же дѣло стало?

— Какъ я уже имѣлъ честь докладывать вамъ, что по направленію...

— Но я не понимаю, какъ это можетъ касаться театра?

— Повѣрьте, Фанни Егоровна, что я совершенно искренне говорю, что лично самъ я ничего противъ него не имѣю, былъ бы весьма радъ имѣть его своимъ сотрудникомъ и даже на направленія вообще смотрю съ

болѣе широкой, такъ-сказать, примиряющей и совокупляющей точки зрѣнія, но я не могъ не посовѣтоваться съ тѣми сотрудниками, которыми дорожу, и они напрямки мнѣ объявили, что если я помѣщу хоть строчку Макрушина, то они немедленно напечатаютъ протестъ во всѣхъ газетахъ и выйдутъ изъ журнала, а это можетъ повредить...

— Такъ что этого никакъ нельзя устроить? прервала его Фанни Юрьевна.

— Къ моему величайшему сожалѣнію, нѣтъ, и повторяю, что я лично...

Фанни Юрьевна дальше и слушать не стала, и надула губки.

— А съ вами, графъ, окончивъ свое довольно длинное оправданіе, сказалъ Немыкинъ,—я желалъ поговорить собственно вотъ о чемъ. Въ настоящее время меня, видите ли, занимаетъ вопросъ о значеніи школы въ искусствѣ вообще и въ драматическомъ въ особенности.

Иванъ Петровичъ, какъ всѣ наши знатоки, охотно смѣшивалъ драматическое искусство со сценическимъ.

— И мнѣ весьма любопытно, продолжалъ онъ,— познакомиться съ вашимъ мнѣніемъ объ этомъ важномъ, въ наше время даже главенственномъ, предметѣ, особенно въ виду настоятельныхъ слуховъ, достовѣрность которыхъ вамъ, безъ сомнѣнія, прекрасно извѣстна.

До Ивана Ѳеогностовича, конечно, давно дошли вѣсти о предполагаемомъ назначеніи графа, но до сихъ поръ онъ, какъ говорится, пропускалъ ихъ мимо ушей, собственно потому, что вовсе не желалъ ихъ осуществленія. При послѣднихъ словахъ Немыкина, Иванъ Ѳеогностовичъ, понятно, не спускавшій глазъ съ Фанни

Юрьевны, замѣтилъ, что лицо у нея оживилось, глаза загорѣлись, и она видимо боялась и словечко проронить изъ отвѣта графа.

— Ахъ, слухи!.. n'en parlons pas, скромно отвѣчалъ Ворворищевъ,—но я, знаете, долго жилъ въ Парижѣ, и слѣдилъ, даже изучалъ это дѣло, которое, согласитесь, можно повести хорошо... И, наконецъ, conservatoire... Я бывалъ тамъ на урокахъ, на экзаменахъ... Я считалъ между своими друзьями многихъ профессоровъ... И все, что я успѣлъ узнать, къ вашимъ услугамъ...

Фанни Юрьевна внимательно выслушала отвѣтъ графа, и надо думать еще болѣе убѣдилась, что онъ непремѣнно будетъ назначенъ, потому что во время послѣдней бесѣды двухъ тонкихъ знатоковъ, она глазъ не сводила съ графа. Иванъ Ѳеогностовичъ счелъ такой признакъ опаснымъ; въ самомъ дѣлѣ, если онъ разсчитывалъ на побѣду при помощи воздѣйствія на самолюбіе Фанни Юрьевны, то вѣдь и графъ, хотя быть-можетъ и безсознательно, дѣйствовалъ въ томъ же самомъ направленіи. И еще вопросъ, на что она скорѣе поддастся: на журнальныя ли хвалы и бенефисныя овація, или же на возможность стать артисткой Императорскихъ театровъ. Пока можно было, впрочемъ, утѣшать себя тѣмъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ являлся передъ нею уже съ готовою синицею въ рукахъ, графъ же самъ еще только созерцалъ въ воображеніи того журавля въ небѣ, котораго сулилъ ей. Во всякомъ случаѣ, игра завязывалась серіозная, и приходилось держать ухо востро.

Бесѣда двухъ знатоковъ длилась довольно долго. Немыкинъ, какъ всегда, съ увлеченіемъ излагалъ измыш-

ленія двухъ самоновѣйшихъ Нѣмцевъ; онъ говорилъ довольно складно, хотя съ нимъ и случилась маленькая бѣда. Именно, одинъ изъ пары Нѣмцевъ, которыхъ въ настоящемъ случаѣ нанялъ за себя думать Иванъ Петровичъ, выдалъ свои разсужденія въ двухъ томахъ; взявъ ихъ въ книжной лавкѣ, Немыкинъ, горя нетерпѣніемъ немедленно познать истину, сталъ просматривать сочиненіе на извощикѣ, по дорогѣ домой; ему подвернулся второй томъ; первый же, думая засунуть въ карманъ, онъ по разсѣянности обронилъ. Втораго экземпляра въ магазинѣ не оказалось, и Иванъ Петровичъ ограничился тѣмъ, что досконально проштудировалъ второй томъ, дополнивъ недостающее идеями другаго Нѣмца. Оба Нѣмца были противоположныхъ взглядовъ, но Немыкинъ благодаря своему „примирительному и совокупительному“ уму, кое-какъ сплавилъ ихъ въ одинъ комъ, не замѣчая-дыбомъ торчавшихъ противорѣчій, какъ всѣ люди, изучающіе предметъ не непосредственно, а по „новѣйшимъ изслѣдованіямъ“. Графъ, понятно, прихвастнулъ своимъ парижскимъ изученіемъ театральнаго дѣла; онъ ограничился самымъ шапочнымъ знакомствомъ съ нимъ. Но онъ удержалъ въ памяти два, три замѣчанія одного изъ профессоровъ парижской консерваторіи и, слегка перевравъ ихъ, преподнесъ редактору подъ видомъ результатовъ собственнаго изученія предмета. Немыкинъ, по своему обычаю, нашелъ одно чрезвычайно дѣльнымъ, другое крайне интереснымъ, а третье необыкновенно глубокомысленнымъ.

Исчисленныя оплошности, впрочемъ, отнюдь не мѣшали собесѣдникамъ нести вздоръ, ни сколько не уступающій по своимъ качествамъ той меледѣ, которую въ большинствѣ случаевъ разводятъ доселѣ о томъ же

предметѣ въ газетахъ и журналахъ столь же тонкіе знатоки.

Прослушавъ съ четверть часа, Безпаловъ и Голубцовъ простились съ хозяйкой. Едва за ними затворилась дверь, какъ Андрей Николаевичъ тутъ же, на лѣстницѣ, разразился жестокой бранью:

— Ахъ, ослы, ахъ, болваны! кипятился онъ.—И, что мнѣ за счастье въ послѣднее время: куда ни приду всюду натыкнусь на разговоръ объ искусствѣ... И не стыдно имъ такой вздоръ молоть?.

— Стоитъ обращать на это вниманіе, успокаивалъ его Голубцовъ, осторожно спускаясь внизъ.

— Какъ тебя обухомъ по головѣ хватятъ, такъ поневолѣ вниманіе обратишь. И не стыдно Немыкину, — вѣдь онъ сѣдойужь человѣкъ — врать такъ безсовѣстно, хоть бы на Щепкина. Точно Щепкинъ семьсотъ лѣтъ назадъ жилъ, и всѣ, кто его зналъ, давнымъ давно перемерли... Точно мы и не знаемъ, что Щепкинъ именно противъ ихъ рутинной школы ратовалъ, что онъ училъ актеровъ самостоятельно вникать въ дѣло, своею головой работать!.. И вѣдь чему учить задумали! не то, чтобъ техникѣ, о которой они, впрочемъ, тоже никакого понятія не имѣютъ, — а творческимъ пріемамъ!.. Ну, не негодяи ли, не мерзавцы ли?

— Да полно тебѣ.

— Нѣтъ, не полно! Что они въ самомъ дѣлѣ воображаютъ, будто мы и не знаемъ, что такое школа. Слава Богу, наглядѣлся я въ Италіи. Цѣлые дворцы стоятъ, сверху до низу увѣшаны картинами, и картины все хорошія, не простая мазня, ничего противъ нихъ сказать нельзя. Только сколько на нихъ ни гляди, ни-

какого впечатлѣнія не вынесешь. А почему? потому что это школа. Кто производитъ впечатлѣніе? Личность, и у каждаго изъ нихъ потому и свое имя есть, Рафаэль, Тиціанъ, Доменикино, и тѣ, что̀ поменьше, и тѣ со своимъ именемъ, со своею головой, со своей кистью!.. А школа, что̀?—гладко, чисто, прилизано, посредственно, — ни дать, ни взять чиновники въ департаментѣ сидятъ. Я вотъ съ Николай Григорьевичемъ Рубинштейномъ разговаривалъ... Что жь, въ концѣ-концовъ заставилъ его сознаться, что онъ въ шестьлѣтъ лучше многихъ профессоровъ игралъ, и что обученіе собственно нужно для приготовленія цеховыхъ музыкантовъ. „А безъ нихъ, говоритъ, въ нашемъ дѣлѣ обойтись нельзя“. Я и самъ понимаю: въ оркестрѣ, въ хорѣ, вездѣ они надобны: талантовъ не напасешься. И въ театрѣ безъ нихъ не обойдешься. Такъ и тамъ, и тутъ они инструментъ простой, а художникъ-то капельмейстеръ или режиссеръ... Вотъ и наша Академія отличныхъ цеховыхъ поставляетъ: вѣдь и они тоже нужны, кому портретъ, кому образокъ намалевать... А эти-то болваны школой искусство возродить задумали.. Ахъ, варвары! ахъ, души ремесленныя, цеховые мыслители!..

— Говорю: оставь втуне, пренебреги...

— Не могу *я*, не могу! на всю улицу крикнулъ Андрей Николаевичъ. — Тебѣ что? съ полугоря, а я вѣдь этимъ и душевно и духовно живу!.. Знаешь, я какъ-то съ докторомъ однимъ столкнулся, такъ онъ сталъ увѣрять меня, что художника воспитать не трудно: стоитъ, молъ, ребенка кормить бобами или горохомъ, ужь не помню чѣмъ именно, а главное—макаронами. Ей-Богу, по-моему у него болѣе возвышен-

мые взгляды на искусство, чѣмъ у этихъ. Ну, матеріалистъ онъ, и баста, да онъ хоть въ силу макаронъ вѣритъ, что онѣ самостоятельно создадутъ художника, а эти свое болванство выше всего, даже выше макаронъ съ бобами ставятъ, и только въ натаскиваніи зиждительную силу видятъ!.. А я по-твоему и взругнуть ихъ не смѣй, мнѣ ужь и вспылить нельзя!..

— Господь съ тобой! Пыли, дружокъ, вспыливай! Я даже этотъ пылъ весьма люблю. Таковъ вѣдь и Фебъ-Апполонъ. Греки не даромъ его, прототипъ всѣхъ художниковъ, изображали не только свѣтлымъ, всеозаряющимъ, полнымъ идеаловъ богомъ, но и раздражительнымъ, нетерпимымъ, гнѣвнымъ, подчасъ жестокимъ даже. И понятно, что онъ долженъ былъ съ живаго шкуру спустить съ какого-нибудь бездарнаго подражателя, въ родѣ Марсіаса.

— Нѣтъ, я бы вотъ съ этихъ новѣйшихъ эстетиковъ шкуру содралъ! Вѣдь всѣ ихъ разглагольствованія только посредственность и распложаютъ, только ей впрокъ и на-руку. И еще...

— Стой! крикнулъ Голубцовъ,—а то и я за тобой увлекусь и забуду что хотѣлъ сказать о портретѣ.

— Ахъ, да!.. Ну, что, какъ ты вообще, доволенъ, одобряешь?

Они ѣхали уже на извощикѣ, и Безпаловъ при послѣднихъ словахъ повернулся къ Голубцову лицомъ; вмѣсто отвѣта, докторъ обнялъ и поцѣловалъ художника. Что-то о нихъ подумали прохожіе?

Но поспѣшимъ воротиться къ Фанни Юрьевнѣ. Бѣда, если она узнаетъ, что мы хотя на минуту, хотя мысленно измѣнили ей!

Наболтавшись вдосталь, Немыкинъ совершенно не-

чаянно, думая сдѣлать что-то другое, взглянулъ на часы и, быстро вскочивъ, тотчасъ же сталъ усиленно прощаться. Хозяйка встала, чтобы проводить его; за нею поднялись и остальные гости.

— А вы уже уходите, графъ? сказала она.

Хотя графъ и не думалъ уходить, но почелъ невѣжливымъ оставаться дольше.

— А васъ, Иванъ Ѳеогностовичъ, я попрошу остаться, сказала Фанни Юрьевна, — мнѣ надо съ вами посовѣтоваться объ одномъ дѣлѣ.

Графъ взревновалъ было, но услышавъ, что разговоръ будетъ дѣловой („вѣроятно, по вексельной части", подумалъ онъ), мигомъ успокоился.

Оставшись вдвоемъ съ Иваномъ Ѳеогностовичемъ, Фанни Юрьевна пустилась, что̀ называется, прямо въ карьеръ.

— Нѣтъ, это невозможно, это ужасно, это просто невыносимо! капризно заговорила она. — Нѣтъ, ради Бога, Иванъ Ѳеогностовичъ, избавьте меня отъ него: я не могу, онъ мнѣ мѣшаетъ, а у меня нѣтъ минуты свободной, у меня бенефисъ на носу. Помилуйте, придетъ, разсядется и пойдетъ, пойдетъ безъ конца... Я не спорю, онъ, можетъ-быть, ученый и очень умный, но я... я неученая, я даже, можетъ-быть, глупенькая... только я ничего не понимаю. Помилуйте; третьяго дня онъ чуть не пять часовъ разглагольствовалъ; мнѣ надо роль повторить, у меня голова разболѣвалась, а онъ свое... И все какія-то мудреныя слова: коллизія, катастрофа... Впрочемъ, это еще ничего, это я еще понимаю... А то онъ выдумалъ... позвольте, какъ это?.. Да, катарсисъ какой-то... Повѣрьте, Иванъ Ѳеогностовичъ, у насъ на сценѣ не все же не-

вѣжды... Черезовъ даже въ университетѣ былъ, но и онъ не знаетъ... И зачѣмъ, къ чему намъ этотъ катарсисъ, я васъ спрашиваю? Что мы съ нимъ станемъ дѣлать? или мы отъ него лучше играть начнемъ?..

— Но вы попросили бы его объяснить, мягко возразилъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—и я увѣренъ, что это страшное слово оказалось бы въ сущности весьма простымъ...

— Я и просила...

— И что же?

— Онъ сказалъ такое слово... Право, не знаю какъ и передать... Словомъ, я только отъ акушерокъ слышала...

— Онъ, конечно, только въ началѣ счелъ необходимымъ высказать теоретическіе взгляды; но я собственно просилъ, чтобъ онъ поговорилъ, почиталъ съ вами...

— Нѣтъ, ради Бога, увольте отъ его чтенія!.. Оно, быть-можетъ, по ученому такъ и слѣдуетъ читать, но если мы такъ завоемъ на сценѣ, то всѣ разбѣгутся... Я не смѣю спорить, можетъ-быть для Шекспира это и надо; но намъ въ клубѣ, право, не до Шекспира... И притомъ я не вижу никакой, никакой пользы отъ него... Вотъ вы обѣщали, что онъ возьметъ въ критики того, кого я захочу, а вы слышали...

— Но это еще можетъ устроиться, я переговорю съ нимъ.

— Нѣтъ, я вижу, онъ на Макрушина никакъ не согласится...

— Не одинъ же Макрушинъ!..

— Кто же, кто? Вы кого-нибудь придумали?

— Я полагаю, что вотъ Голубцовъ могъ бы писать очень хорошія статьи...

— Этотъ что̀ сейчасъ былъ? съ задоромъ вскричала Фанни Юрьевна.—Нѣтъ, нѣтъ! онъ такой не любезный, ни слова со мной не сказалъ, даже портрета не сумѣлъ похвалить. „Мнѣ надо подумать, сообразить“, передразнила она доктора.—Нѣтъ, въ театрѣ такіе не годятся.

— Затѣмъ я имѣлъ въ виду еще г. Полосатова...

— Это еще кто такой? съ удивленіемъ спросила Хотьминская:—Я о немъ ничего не слышала, добавила она въ видѣ неопровержимаго аргумента негодности бѣднаго Полосатова...

— Молодой ученый, уже довольно извѣстный; готовится въ профессора...

— Въ профессора?.. Нѣтъ, нѣтъ, ради Бога!.. Онъ вмѣсто статей станетъ писать лекціи, и ихъ будутъ читать только послѣ обѣда, чтобъ поскорѣй заснуть.

— Но, Фанни Юрьевна, на васъ, право, мудрено угодить... Ужь я и не знаю... Не Ворворищева же пригласить, хотя онъ и прикидывается знатокомъ.

— Ахъ, не обижайте, не троньте, оставьте мнѣ моего графа! Онъ такой милый; я его никогда никому, ни за что не уступлю...

— Конечно, съ сухою ироніей, сказалъ Подлещиковъ,—гдѣ же намъ равняться съ нимъ!.. Притомъ, съ язвительною живостью добавилъ онъ,—онъ можетъ оказаться для васъ полезнѣе, чѣмъ всѣ мы. Не даромъ же онъ намекалъ вамъ въ письмѣ...

— На что̀ намекалъ? Въ какомъ письмѣ? съ удивленіемъ спросила Фанни Юрьевна.

— Въ письмѣ, которое вы мнѣ показывали, гдѣ онъ зачѣмъ-то увѣдомлялъ васъ насчетъ портрета...

— Я не помню...

— Онъ намекалъ, что вскорѣ надѣется увидѣть васъ въ обстановкѣ, болѣе достойной вашего таланта. Очевидно, онъ подразумѣвалъ тутъ свое будущее директорство.

— Вы думаете? съ сильнымъ оживленіемъ спросила Хотьминская.—А какъ по вашему, Иванъ Ѳеогностовичъ, попадетъ онъ въ директора?

Иванъ Ѳеогностовичъ пожалъ плечами.

— Почемъ мнѣ знать? отвѣчалъ онъ.—Слуки держатся упорно, и этимъ олухамъ вездѣ дорога открыта.

— Ахъ, дай Богъ, дай Богъ, дай Богъ! съ молитвеннымъ жаромъ проговорила Фанни Юрьевна, подымая сложенныя руки и возводя глаза къ потолку.

Иванъ Ѳеогностовичъ взялся за шляпу.

— Куда же вы? изумилась Хотьминская.—Или, впрочемъ, ступайте... Богъ съ вами!.. Я такъ и знала, я всегда подозрѣвала, я даже была увѣрена, что вы сухой эгоистъ. Вы видите, что я мучаюсь, терзаюсь, что пока я не избавлюсь отъ этого нарыва...

Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ нарочно, прочелъ нынче въ газетѣ какъ какому-то знаменитому сановнику или писателю дѣлали операцію: прокалывали грудь между реберъ, вставляли трубку и выпускали гной изъ внутренняго нарыва, и онъ живо вообразилъ себѣ Фанни Юрьевну подъ ножомъ хирурга.

— Вы больны? вскричалъ онъ и поблѣднѣлъ.

— О, это хуже всякой болѣзни, хуже всякаго нарыва!.. Да поставьте же шляпу, какой вѣсносный!.. Помогите же мнѣ... Дайте ее сюда!

И Фанни Юрьевна вырвала шляпу у него изъ рукъ.

— Ахъ, Боже мой, да объясните же чѣмъ вы стра-

даете, какой у васъ нарывъ, гдѣ?.. Теперь дѣлаютъ операціи, и удачно; я сегодня читалъ.

Фанни Юрьевна расхохоталась.

— Вы думаете, я больна? у меня настоящій нарывъ? сказала она.—Нѣтъ, у меня нашъ простой актерскій нарывъ: скоро мой бенефисъ, а вы мнѣ не хотите помочь! Хватаетесь за шляпу при первой моей просьбѣ, хотите уйти, думаете выйти...

И Фанни Юрьевна разрыдалась, отчасти отъ волненія, все сильнѣе ее обуревавшаго, отчасти просто съ досады, что въ такое важное мгновеніе запнулась въ рѣчи и не могла найти трехъ сильныхъ глаголовъ для выраженія своихъ чувствъ. Фанни Юрьевна участвовала почти исключительно въ піесахъ новѣйшихъ драматурговъ, а они, извѣстно, не могутъ обойтись безъ трехъ глаголовъ, безъ трехъ нарѣчій или трехъ прилагательныхъ кряду, и вотъ она до того привыкла къ этому риторическому уснащенію, что и въ живой рѣчи не могла обойтись безъ него. Отъ внимательнаго читателя, конечно, не ускользнуло, что такая же привычка была и у Никифора Прохоровича Переверзева, но артистъ никогда не запинался въ рѣчи,—что, конечно, зависѣло оттого, что онъ обладалъ не только исполнительскимъ даромъ, но, выражаясь газетнымъ слогомъ и творческою способностью, то-есть по-просту сочинительствовалъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ бросился къ Фанни Юрьевнѣ, которая, уронивъ его шляпу, привалилась на диванъ.

— Боже мой!.. Вамъ дурно? Съ вами истерика?.. Что прикажете... воды? есть у васъ лавро-вишневыя капли?

— Ничего мнѣ не надо, внезапно вскакивая съ дивана и топнувъ ногой, отвѣчала Фанни Юрьевна.

Иванъ Ѳеогностовичъ немного растерялся: онъ еще не видалъ ее такой иначе, какъ въ театрѣ изъ креселъ; теперь же, волей-неволей, ему самому приходилось вести съ ней сцену.

— Ничего мнѣ не надо, мечась по комнатѣ, продолжала Фанни Юрьевна,—кромѣ піесы, піесы, піесы!

— Но, позвольте... успокойтесь, ради Бога, присядьте, взволнованнымъ голосомъ приговаривалъ нотаріусъ.—Поговоримте спокойно; я готовъ на все отъ меня зависящее...

Фанни Юрьевна вняла его просьбѣ и присѣла.

— Во-первыхъ, милая Фанни Юрьевна, взявъ ее за руку и поглаживая по тылу кисти въ видахъ ея успокоенія, сказалъ Подлещиковъ,—когда вашъ бенефисъ?

— Въ пятницу на Масляной, двадцать седьмаго.

— Сегодня у насъ девятое, стало-быть всего черезъ восемнадцать дней. Ахъ, Боже мой! Но неужто у васъ вовсе нѣтъ піесы?..

— Ахъ, я ихъ перебрала цѣлый ворохъ, тамъ у меня (она указала на спальню) цѣлая бѣлевая корзина...

— И неужто все плохія?..

— Нѣтъ, есть очень много недурныхъ и хорошихъ даже, и всякихъ, но нѣтъ ни одной бенефисной. Вы понимаете: *бенефисной*?

— Не совсѣмъ; но вы объясните, и я постараюсь понять.

— Какъ вамъ объяснить? Мало, чтобъ роль была хорошая, выигрышная, надо чтобъ она была выдающейся, чтобъ все вниманіе было обращено на меня. Надо, чтобъ были эффектные костюмы, не просто богатые и роскош-

ные туалеты, а что-нибудь новое, невиданное, оригинальное! Надо еще... но я, право, сама не умѣю сказать, что еще надо, но это такъ понятно... Словомъ, въ нынѣшнемъ году мнѣ хочется особенно блеснуть, поразить, увлечь, ослѣпить!..

— Понимаю, радостно воскликнулъ нотаріусъ.— Можно бы даже нарочно заказать Фуфайкину такую піесу и онъ, конечно, сдѣлалъ бы ее какъ разъ по мѣркѣ: не даромъ же его зовутъ театральнымъ закройщикомъ,—но Боже мой!.. времени такъ мало... И, скажите, къ которому числу нужно чтобъ была піеса?

— Надо чтобъ роли были переписаны къ субботѣ предъ Масляной, тогда мы сдѣлаемъ считку, и затѣмъ...

— То-есть восемнадцатаго, живо сосчиталъ Иванъ Ѳеогностовичъ,— черезъ 9 дней... Но когда же вы успѣете выучить, приготовить, срепетовать? спросилъ онъ, не подозрѣвая, что въ увлеченіи Фанни Юрьевной самъ начинаетъ подражать въ рѣчи новѣйшимъ драматургамъ.

— О, это пустяки!.. Мы привыкли съ двухъ, трехъ репитицій, а тутъ будетъ четыре, или пять,—вѣдь въ клубѣ на Масляной утреннихъ спектаклей не бываетъ, а учу я скоро, самую большую роль въ одну ночь.

— Да, конечно, при вашихъ способностяхъ... Но только гдѣ бы, гдѣ бы, гдѣ бы? схватясь за голову, чуть не заголосилъ Иванъ Феогностовичъ.

— Ахъ, Боже мой! У васъ такая бездна знакомыхъ во всѣхъ кругахъ. Поѣзжайте къ Макрушину, спросите у актеровъ,—мнѣ они не скажутъ, а вамъ легко выпытать. Только не говорите, что для меня, а скажите, будто васъ Немыкинъ просилъ, что онъ ищетъ такую піесу для журнала... Словомъ, придумайте, что

хотите: вы такой умный... Наконецъ, спросите у журналистовъ... Можетъ-быть, они знаютъ... Только не обращайте вниманія, если они станутъ бранить: они въ театрѣ ничего не понимаютъ; они бранятъ, а публика ломится...

— Благодарю, благодарю васъ, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, съ жаромъ цѣлуя обѣ ручки Фанни Юрьевны,— теперь понимаю, что̀ именно требуется, и постараюсь нынче же добыть піесу.

И Иванъ Ѳеогностовичъ вышелъ полный геройской рѣшимости выхватить, хоть у чорта изъ когтей, хоть у кровожаднаго бульдога изъ пасти (послѣднее сравненіе, принимая во вниманіе отвлеченность чорта и реальность бульдога, куда сильнѣе!) бенефисную піесу съ необыкновенными костюмами, съ вниманіемъ, обращеннымъ на одну Фанни Юрьевну, съ тѣмъ, что̀ еще нужно, но чего она сама не въ силахъ выразить; наконецъ, если на то пошло, то и съ наводненіемъ, и даже съ бенгальскимъ огнемъ.

XIII.

Иванъ Ѳеогностовичъ развертывается.

О, сцена, сцена! не поетъ,
Кто не былъ театраломъ.

Некрасовъ.

Быстро и весело сбѣжалъ нотаріусъ по лѣстницѣ, и еще быстрѣе и веселѣе неслись его мысли. Онъ сознавалъ, что ему рѣшительно повезло; что чуть понадобится услужить Фанни Юрьевнѣ, ужь онъ тутъ, какъ тутъ, и, главное, услуга всегда въ его силахъ и сред-

ствахъ. Онъ вспомнилъ свое недавнее сравненіе собственной синицы съ графскимъ журавлемъ.

„И опять синица просится мнѣ въ руки, а его журавль все еще призракъ, облачко, имѣющее, правда, нѣкоторое, впрочемъ отдаленное, сходство съ журавлемъ, но которое можетъ расплыться такъ, что останется одинъ длинный носъ. Но если?..“

Мысль чуть чуть запнулась и отважно перескочила черезъ послѣднее препятствіе.

„Если его и назначатъ, подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—то вѣдь никто мнѣ не мѣшаетъ скупить предварительно нѣсколько его вексельковъ и вмѣсто денегъ потребовать опредѣленія Фанни Юрьевны. Кстати, въ театрѣ это не будетъ нововведеніемъ“.

Но едва Подлещиковъ спустился съ лѣстницы и вышелъ на улицу, и на него повѣяло морознымъ воздухомъ, какъ онъ ясно увидѣлъ, что требуемая синица, нимало не просится ему въ руки, а напротивъ запряталась Богъ-вѣсть гдѣ.

„Куда-жъ теперь? съ безпокойствомъ спросилъ онъ самого себя.—Къ Макрушину, или?..“

И онъ уперся въ рѣшительный тупикъ. Съ досады онъ выругалъ дожидавшагося его извощика, весьма основательно обратившагося къ нему съ вопросомъ: „куда прикажете?“ По счастью, Иванъ Ѳеогностовичъ вспомнилъ, что Андрей Николаевичъ какъ-то мелькомъ упоминалъ при немъ о новой піесѣ Угрюмова съ великолѣпной женской ролью. Онъ на минутку заѣхалъ домой и погналъ въ тупикъ у Малаго Вознесенія.

Андрей Николаевичъ отсутствовалъ, но Лидія Антоновна была дома; Иванъ Ѳеогностовичъ, зная, что у мужа съ женой все общее, былъ даже радъ, что

Андрюши не случилось налицо, ибо онъ, конечно, не преминулъ бы вышутить пріятеля въ новой роли поставщика бенефисныхъ піесъ.

— А Андрюши нѣтъ? спросилъ онъ, поздоровавшись съ хозяйкой.

— Нѣтъ. Онъ съ Голубцовымъ пошелъ къ Хотьминской...

— Я самъ сейчасъ оттуда, но они вышли раньше, и я, по правдѣ, думалъ, что онъ уже дома.

— Что-жъ, понравилось Голубцову? съ живостью спросила Лидія Антоновна.

— Конечно, отвѣчалъ по догадкѣ Подлещиковъ и, вспомнивъ, что говорила Фанни Юрьевна, добавилъ:— только онъ обѣщалъ еще что-то обдумать и сообразить и потомъ сообщить вашему мужу. Вѣроятно, ради этого, онъ и увлекъ его куда-нибудь...

— Разумѣется: онъ всегда такъ, радостно отвѣчала Лидія Антоновна, окончательно убѣдясь изъ послѣдняго обстоятельства, что портретъ понравился Голубцову.—И я очень рада, продолжала она,—Андрей Николаичъ такъ его любитъ и говоритъ, что докторъ настоящій критикъ, потому что говоритъ именно о томъ, что есть въ картинѣ, а остальные просто по поводу художественнаго произведенія спѣшатъ выболтать все, что у нихъ изъ книжекъ застряло въ головѣ. И, знаете, Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ-то разговоръ объ этомъ зашелъ при самомъ Голубцовѣ. А онъ и говоритъ: „это оттого, что я по образованію натуралистъ: у насъ нельзя вѣдь фантазировать насчетъ животнаго или растенія, а надо его разсмотрѣть хорошенько и изучить, а потомъ ужъ толковать о немъ. Ну, а другіе-то больше разглагольствуютъ на адвокатскій

манеръ. И ты, Андрей Николаевичъ, прибавилъ онъ мужу, никогда съ адвокатомъ не спорь: потому, что ему истина не дорога, а важно хоть на минуту отвести глаза и озадачить и судъ, и присяжныхъ!..“ Не правда ли, и умно, и просто, и ясно?

Нотаріусу, говоря откровенно, это казалось далеко не такъ просто и ясно, какъ женѣ художника.

— Да, конечно, естественныя науки даютъ особый складъ уму, отдѣлался онъ общей фразой, чтобъ не обнаружить своего непониманія.—А я вѣдь къ вамъ, кумушка, мало по дѣлу, даже по дѣламъ. Во-первыхъ, намъ надо расчесться.

— За что это? съ удивленіемъ спросила Лидія Антоновна.

— Какъ за что? за портретъ. Вотъ извольте, получите.

И Подлещиковъ выложилъ предъ нею на столъ пачку радужныхъ бумажекъ. Лидія Антоновна пересчитала деньги.

— Да тутъ слишкомъ много, сказала она.

— Ровно тысяча. Столько же, сколько предлагалъ графъ.

— Позвольте, позвольте, горячо заговорила Лидія Антоновна.—Глафира Александровна ручалась всего за пятьсотъ, а остальное по векселю.

— Вексель тѣ же деньги, отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Ну, Богъ еще знаетъ, заплатилъ ли бы онъ...

— Я желалъ бы видѣть, какъ бы онъ посмѣлъ не заплатить.

— Но вѣдь Андрюша не сталъ бы подавать ко взысканію!..

— Это почему?

— Помилуйте! что̀ мы, ростовщики, что ли?

— Вотъ и столкуй со старосвѣтскими людьми! Точно получить по векселю значитъ совершить уголовное преступленіе.

— Нѣтъ, какъ хотите, а все же какъ-то стыдно...

— Ничуть, кумушка, не стыдно; стыдно, напротивъ, не платить по векселю...

— Ахъ, какъ это вы говорите!.. Ну, положимъ, мы сами были бы должны, и не могли уплатить въ срокъ, а на насъ подали бы ко взысканію...

— Вы другое дѣло, разсудилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Андрей Николаевичъ человѣкъ трудящійся и занимаетъ деньги не на прихоти; онъ не заплатитъ въ срокъ только въ томъ случаѣ, когда самъ во̀-время не получитъ, или заболѣетъ. А вѣдь графъ выдалъ бы векселъ вмѣсто платы за готовую работу, и притомъ единственно для удовлетворенія своей прихоти... Впрочемъ, что тутъ спорить! Вамъ, вѣроятно, не пришлось бы и возиться съ нимъ; Андрюша, конечно, пожелалъ бы получить поскорѣе, я учелъ бы векселъ въ банкѣ, и вамъ и дѣла бы не было, какъ и чѣмъ заплатилъ графъ.

— Ну, какъ бы то ни было, а все же Андрей Николаичъ больше пятисотъ съ васъ не возьметъ. Онъ мнѣ такъ и сказалъ.

— Во-первыхъ, никакого права на то не имѣетъ: я ему самъ сказалъ, что̀ бы графъ ни далъ, я заплачу двухстами рублями выше. И никто, ни самъ Андрей Николаичъ, не заставитъ меня отказаться отъ своего слова... Нѣтъ, ужь извините, кумушка, а я и вамъ этого не позволю.

— Ну, положимъ, семьсотъ, подумавъ отвѣчала Лидія Антоновна,—а триста все-таки получайте обратно.

И она подвинула къ нему три радужныхъ. Иванъ Ѳеогностовичъ никакъ не могъ допустить, что бы люди изъ ложной деликатности, какъ ему думалось, обсчитывали самихъ себя.

— Нѣтъ, вы ужь меня, пожалуйста, не обижайте сказалъ онъ.

— Право же, Андрей Николаичъ не согласится... Все равно, онъ завтра же возвратитъ вамъ...

— Да вы ему не говорите!..

— Какъ не говорить! широко раскрывая глаза воскликнула Лидія Антоновна.

— Да такъ, просто, не говорите...

— Нѣтъ, этого нельзя... Мы не привыкли ничего скрывать другъ отъ друга...

— Ну, кумушка, такихъ какъ вы съ Андрюшей другихъ и днемъ съ огнемъ не сыщешь. Только двое васъ на свѣтѣ и осталось... Вы мало старосвѣтскіе, вы ветхозавѣтные какіе-то!..

— Ну, какіе бы мы ни были, съ улыбкой отвѣчала Лидія Антоновна,—а все-таки возьмите.

— Сейчасъ, сейчасъ, проговорилъ Подлещиковъ и, взявъ деньги въ руку, спросилъ:—а какъ вы, кумушка, полагаете: имѣетъ ли право крестный дѣлать подарки своему крестнику?

— Къ чему вы это спрашиваете? удивилась Лидія Антоновна.

— Да такъ, просто, для соображенія.

— Конечно, подумавъ отвѣчала Лидія Антоновна.

— Ну, вѣдь вы спорить не станите, что Ваня мой

крестникъ, а потому покорнѣйше прошу принять отъ меня эти деньги ему въ подарокъ.

— Зачѣмъ же такъ много? сказала Лидія Антоновна, чувствуя, что попалась на удочку.

— Ну, тутъ ужь моя воля.

— Благодарю васъ, Иванъ Ѳеогностовичъ, за любовь къ Ванѣ; только право... Ужь и не знаю какъ... Развѣ на его счастье выигрышный билетъ купить.

— И отлично. А теперь потолкуемте о другомъ дѣлѣ.

Лидія Антоновна ужасно заинтересовалась о чемъ еще хочетъ говорить съ нею Иванъ Ѳеогностовичъ. Она была почему-то увѣрена, что рѣчь непремѣнно пойдетъ о Хотьминской.

— Видите ли, сказалъ Подлещиковъ,—Андрюша какъ-то говорилъ при мнѣ, что Угрюмовъ написалъ новую піесу, и въ ней будто бы великолѣпная женская роль.

— А вамъ зачѣмъ это?

— Ахъ, Господи мой Боже!.. Не все ли вамъ равно зачѣмъ?.. Впрочемъ, тутъ особаго секрета нѣтъ: меня просто просили разузнать.

— Эго, кажется, вовсе не по вашей части, не безъ хитрости замѣтила Лидія Антоновна.

— Нѣтъ, отчего же? нѣсколько смутясь отвѣчалъ Подлещиковъ.—Вѣдь меня просили не какъ нотаріуса, а какъ добраго знакомаго... Такъ вы не знаете ничего объ этой піесѣ?

— Нѣтъ, кое-что знаю, продолжала хитрить Безпалова.

— Что-жъ женская роль дѣйствительно великолѣпная?

— Смотря по актрисѣ. Вамъ для кого?

— Ахъ, Господи мой Боже!.. Не все вамъ равно для кого?.. Въ чемъ же сюжетъ?

— Сюжетъ довольно грязноватый.

— Грязный? озабоченно спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Да. Мнѣ говорилъ Черезовъ, а онъ, знаете, человѣкъ образованный и со вкусомъ... Выведена, извините за выраженіе, простая содержанка и изъ-за нея спорятъ отецъ съ сыномъ, оба купцы, одинъ другаго безобразнѣе.

— Да это, конечно... Удивительно, право, что за охота разрабатывать такіе сюжеты!..

— Вотъ еслибъ я знала для кого, такъ могла порекомендовать вамъ піесу... Чудная роль, къ Хотьминской какъ разъ бы подошла... Но вѣдь вамъ не для нея?

Иванъ Ѳеогностовичъ промолчалъ.

— Мнѣ очень хвалилъ Переверзевъ, и даже прямо сказалъ, что роль точно для Хотьминской написана... Настоящая бенефисная роль...

— Бенефисная? съ замираніемъ переспросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Да. Надо будетъ сказать Лизѣ, или, впрочемъ, я сама зайду къ ней... Я давно хотѣла, да все забывала. Спасибо, что напомнили. Непремѣнно сегодня же схожу... У нея, кажется, скоро бенефисъ, и я буду очень рада ей услужить...

— А какъ заглавіе?

— *Страдалица отъ любви* или *Мученица страсти* не помню хорошенько, но что-то въ этомъ родѣ.

— Заглавіе заманчивое и даже эффектное. Особенно, если *Мученица любви*...

— Да, кажется, такъ оно и есть...

— А чья это піеса?

— Курто.

— Переводъ?

— Нѣтъ, улыбаясь сказала Безпалова,—онъ Русскій... Молодой еще человѣкъ... Я даже не знаю, говоритъ ли онъ по французски...

— А вы не знаете, какъ добыть піесу?

— Знаю, да не скажу... Я сама рада услужить Хотьминской... сейчасъ же и отправлюсь... Впрочемъ, вѣдь вамъ не для нея?

— Ну, кумушка, изъ васъ вышелъ бы отличный судебный слѣдователь. Такъ и быть, каюсь, что для нея.

— Скажите какой секретъ! Точно я не знала!.. Да мнѣ актеры давно сказали.

— Какъ актеры?

— Черезовъ, Переверзевъ, вѣдь они у насъ бываютъ. И что вы такъ удивляетесь. Актеры все другъ про друга знаютъ, особенно по сердечнымъ дѣламъ. Они слѣдятъ другъ за дружкой, подстораживаютъ, подглядываютъ. Будьте покойны, Иванъ Ѳеогностовичъ, они знаютъ сколько разъ въ недѣлю вы у нея бываете, и въ какіе часы и долго ли сидите... И уже давно успѣли разнести по Москвѣ. Такъ что вашъ секретъ, какъ говорится, le secret de Polichinelle...

Иванъ Ѳеогностовичъ не вспомнился отъ удивленія.

— Ну, если это такъ гласно, сказалъ онъ,—то...

— То что?

— Такъ дайте мнѣ адресъ Курто, если знаете, или вообще научите, какъ добыть піесу...

— Хорошо, сейчасъ, отвѣчала Лидія Антоновна и, немного помолчавъ, продолжала:—Ну, сердитесь на

меня, Иванъ Ѳеогностовичъ, не сердитесь, а я дала себѣ слово, что скажу вамъ и скажу...

Иванъ Ѳеогностовичъ нѣсколько смутился отъ этого обѣщанія.

— Что̀ скажете? спросилъ онъ.

— Видите ли, я не стану ее судить, это не мое дѣло, да вы и сами, вѣроятно, слышали... И не буду я нарочно увѣрять васъ, будто она вовсе не такъ хороша собой, какъ вы думаете... Вы не повѣрите, да я и сама знаю, что она прехорошенькая. Мой Андрюша, какъ увидѣлъ ее въ первый разъ, тоже влюбился и бредилъ ею цѣлую недѣлю...

— Но что̀ же собственно вы хотѣли сказать?

— Видите, вѣдь вамъ тридцать три... Я знаю, отъ меня не скроете, вы на три года моложе Андрюши... Право, въ ваши лѣта нельзя же влюбляться, какъ мальчишкѣ, и слѣдуетъ хоть немного подумать о послѣдствіяхъ.

— Вотъ и неправда, съ нервной усмѣшкой сказалъ Подлещиковъ,—лѣта мои самыя опасныя. Уголовная статистика учитъ насъ, что именно на эти лѣта приходится наибольшее число преступленій.

— И глупостей также, строго прибавила Лидія Антоновна.—А все же не мѣшаетъ подумать о послѣдствіяхъ.

— О какихъ послѣдствіяхъ? съ удивленіемъ спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Что̀ жь, вы намѣрены жениться на ней?

— О, о! Какъ вы далеко хватаете! Богъ съ вами! У меня и въ мысли того не было! Помилуйте! Да я просто, такъ, увлекаюсь слегка, ухаживаю. Вотъ и все. Дурю, если хотите, но никакъ не больше.

— Будто мы не знаемъ, къ чему ведутъ такія увлеченія! съ усмѣшкой сказала Лидія Антоновна.—А спрашивали вы себя, если у васъ будутъ отъ нея дѣти?

— Боже избави! воскликнулъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Надѣюсь, что такого несчастія не случится.

— Вотъ видите, какъ вы легкомысленно отзываетесь о дѣтяхъ, съ горечью сказала Безпалова.—И въ этомъ, повѣрьте, на васъ уже отразилось ея вліяніе. Но я васъ знаю: вы человѣкъ честный, и если у васъ родится ребенокъ, то вы на ней женитесь.

Иванъ Ѳеогностовичъ потупилъ голову.

— А спрашивали ли вы себя, такая ли она женщина, чтобы стать вашей, или чьей бы то ни было женой? Охъ, сказала бы еще словечко, да боюсь, что вы обидитесь.

— Нѣтъ, ничего; говорите, говорите.

— Удержу на васъ нѣтъ, оттого и дурите...

— Будто ужь на меня одного удержу нѣтъ? точно вдругъ махнувъ рукой на свою обычную сдержанность, заговорилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Ни на кого теперь, кумушка, удержу нѣтъ. Право. Всѣ удержи, сколько ихъ ни было, оказались несостоятельными и полопались... И развѣ наша въ томъ вина? Вы о другихъ по себѣ съ Андрюшей не судите: вы вѣдь вѣтхозавѣтные. А современное человѣчество совсѣмъ иное. Видите, лѣтъ пятьдесятъ, если не больше, одинъ умный человѣкъ, Фурье, сталъ проповѣдывать свободу страстей. И онъ оказался пророкомъ; мы всѣ теперь,—меньшинство сознательно, а большинство безсознательно,—слѣдуемъ его ученію и тѣ, кто его читалъ, и тѣ, кто не читалъ и даже ничего про него не слышалъ. И послѣдніе, пожалуй, еще пуще. Кажется, для нынѣшняго человѣ-

чества только одинъ удержъ и остался,—уложеніе о наказаніяхъ.

— Да и того, кажется, не очень боятся...

— И то правда... Такъ вы ужь меня не очень браните, а лучше... скажите, какъ добыть піесу Курто.

— А вы все-таки подумайте о томъ, что я сказала. Можетъ быть въ рѣшительную минуту и пригодится.

— Подумаю, подумаю, а пригодится ли... Ну, да не сердитесь, не сердитесь!..

— Что жь мнѣ сердиться? Я что сказала, то сказала. И что самой себѣ обѣщала сдѣлать, исполнила, а затѣмъ... Да! насчетъ піесы. Вотъ тутъ гдѣ-то есть карточка Переверзева.

Она порылась въ карточкахъ и нашла требуемую.

— Поѣзжайте къ нему, а сама я адреса Курто не знаю.

Иванъ Ѳеогностовичъ поцѣловалъ ручку у кумушки и помчался на Мясницкій бульваръ.

„Да, да,“ разсуждалъ онъ по дорогѣ,—„современное человѣчество именно сорвалось съ петель, которыя, впрочемъ, давно перержавѣли, и понеслось куда-то въ пространство... Не мудрено, что и я увлекся общимъ примѣромъ и мнѣ пришла очередь задурить!..“

Иванъ Ѳеогностовичъ нѣсколько оглянулся на свое прошлое. Онъ зналъ себя всегда человѣкомъ сдержаннымъ, умѣющимъ держать языкъ за зубами, разсудительнымъ, бережливымъ; правда, отнюдь не строгаго житія монахомъ, но умѣреннымъ даже въ самыхъ распутныхъ удовольствіяхъ. А теперь онъ не только чувствовалъ, но даже сознавалъ, что задурилъ, что на него никакого удержу нѣтъ. Когда же, какъ это случилось?

Сегодня, будто бы. Но въ какой именно моментъ? Въ ту ли минуту, какъ Фанни Юрьевна упрекнула его въ сухомъ эгоизмѣ, или немного позже или же раньше, когда она слушала отвѣтъ графа? Или когда Лидія Антоновна заговорила о послѣдствіяхъ? Нѣтъ, тутъ онъ, кажется, уже былъ, что называется, совсѣмъ готовъ. Или на него подѣйствовало извѣстіе, что актеры уже успѣли оповѣстить всю Москву насчетъ тайнъ его сердца?

„Впрочемъ, не все ли равно въ какой именно моментъ?“ рѣшилъ онъ.—„Сколько ни разбирай, а самого-то момента зарожденія не уловишь... А вотъ, какъ онъ вступитъ въ сознаніе и явится на свѣтъ, тутъ только его и замѣтишь“.

Убѣдясь въ невозможности уловить моментъ, Иванъ Ѳеогностовичъ отъ личныхъ дѣлъ опять обратился къ созерцанію современнаго человѣчества.

„Да, именно свобода страстей!“ говорилъ онъ самъ съ собою.—„Въ газетахъ толкуютъ, что нашъ вѣкъ—вѣкъ матеріальныхъ интересовъ, что всѣ увлечены идеей наживы, что всѣми дѣйствіями руководитъ именно любовь къ ней. Вздоръ!.. Не было вѣка, когда бы меньше любили деньги... То-есть, ради ихъ самихъ. Въ старину, точно, денежки любили: ихъ копили, ихъ берегли, ихъ не тратили, а припасали на черный день, оставляли дѣтямъ и внукамъ... А нынче, если за ними гоняются, если ихъ берутъ, хватаютъ и даже хапаютъ, то рѣшительно ради того, чтобы завтра же пустить по вѣтру... Послушать купцовъ, такъ ни у одного изъ нашихъ скороспѣлыхъ богачей солиднаго состоянія нѣтъ. „Попробуйте, ликвидируйте!“ говорятъ они... Да и гдѣ быть! Ему сейчасъ виллу въ Ниццѣ подавай, крышу

на хоромахъ золоти, лошадей диковенныхъ добывай, чтобы свести въ подарокъ французскому или нѣмецкому герою, иль хоть султану морокканскому... А ужь насчетъ женскаго пола лучше и не заикаться!.. Какая же тутъ всепоглащающая идея наживы?.. А вотъ что̀ значитъ умная женщина, сразу отгадала: удержу, говоритъ, нѣтъ... И правда! Именно, страсти разнуздались, порвали всѣ путы, и пошло писать самолюбіе!.. Вѣра, долгъ, идеалъ, все это давнымъ-давно осмѣяно, изруганно! О нихъ твердятъ одни лицемѣры... И въ самомъ дѣлѣ, кто изъ нашего брата, изъ интеллигентовъ, серьезно думаетъ объ этихъ страшныхъ словахъ?.. И вѣдь чѣмъ дальше, тѣмъ это вѣянье сильнѣе! Вода все прибываетъ, заливаетъ все бо̀льшее пространство... По судебнымъ дѣламъ видно, что то же броженіе начинаетъ проникать и въ народъ... Въ концѣ-концовъ, чего добраго, анархисты и правы... Они именно вѣдь на это и разсчитываютъ... Что̀ жь, они успѣли уже возбудить къ себѣ общее вниманіе, а это своего рода успѣхъ. Мы любуемся на ихъ подвиги, похваливаемъ ихъ молодечество, протестуемъ противъ жестокаго съ ними обращенія... Совершенно въ родѣ того, какъ древніе Римляне любовались на уличныя битвы между приверженцами двухъ претендентовъ на власть... Да, человѣчество рѣшительно покатилось подъ-гору, и чортъ его знаетъ, до чего докатится... Страшно подумать, что будетъ черезъ пятьдесятъ, сто лѣтъ. Вѣдь нынче все идетъ быстро, на всѣхъ парахъ,—куда! шибче: по электрическимъ проводникамъ. Нѣтъ, какъ вникнешь во все это, такъ начинаешь поневолѣ вѣрить, что дѣйствительно нѣкогда родъ человѣческій за свои безобразія былъ почти поголовно истребленъ потопомъ... Да и

нынче добромъ не кончится. Что-нибудь въ родѣ страшнаго суда да будетъ, можетъ-быть и не такъ, какъ описано въ апокалипсисѣ, а все-таки будетъ!"

И Подлецковъ впалъ въ самый жестокій пессимизмъ. То не былъ, впрочемъ, мрачный, самоубійственный, разлагающій душу пессимизмъ уединенныхъ мыслителей, разочаровавшихся въ собственномъ величіи; то былъ нашъ родной русскій пессимизмъ, скорѣй безшабашный, чѣмъ повергающій въ отчаяніе; тотъ пессимизмъ, которымъ какъ самымъ изысканнымъ лакомствомъ любятъ себя угощать россійскіе интеллигенты, которымъ они, какъ нестерпимо-крѣпкими и рѣзкими духами, освѣжаютъ свои усталыя отъ напряженнаго пустодуманья и усиленнаго пустодѣланья, чувства.

Оттого-то и Иванъ Ѳеогностовичъ былъ вовсе не въ мрачномъ и удрученномъ состояніи духа, а въ бодромъ, даже веселомъ и... но тутъ читатель ждетъ отъ меня моднаго словечка, выхваченнаго изъ словаря защитниковъ вдовъ, отравляющихъ при помощи юныхъ любовниковъ старыхъ мужей, и сиротъ, ускоряющихъ отходъ своихъ родителей на вѣчный покой, и я, такъ и быть, въ угоду ему добавлю: и... въ жизнерадостномъ настроеніи.

Никифоръ Прохоровичъ сидѣлъ дома и былъ, напротивъ, въ самомъ мрачномъ настроеніи. Муза съ утра ушла на репетицію, а оттуда отправилась на весь день на имянины къ какой-то подругѣ. Никифору Прохоровичу и побраниться-то, ради развлеченія, было не съ кѣмъ. Онъ въ тоскѣ бѣгалъ по комнатѣ, какъ левъ по клѣткѣ. Онъ думалъ, что поступилъ, конечно, весьма благоразумно, заплативъ впередъ за квартиру и столъ; но затѣмъ отъ жалованья остались такіе пустяки,

что никакъ не могли удержаться въ актерскомъ карманѣ, вообще довольно дырявомъ, долѣе пятаго числа, а нынче, слава' Богу, уже девятое. И дѣлать ничего не хочется: не пишется, не читается, не думается даже, и идти некуда и не къ кому, ибо и въ товарищескихъ карманахъ такая же пустота... И вотъ шагай себѣ изъ угла въ уголъ еще цѣлый часъ, въ ожиданіи обѣда, который, какъ предчувствовалъ раздраженный желудокъ Никифора Прохоровича, нынче будетъ особенно плохъ!..

Но, чу, звонокъ; можетъ быть, что-нибудь и представиться.

— Я къ вамъ по дѣлу, съ первыхъ же словъ объявилъ нотаріусъ.

— Очень радъ. Чѣмъ могу служить? сказалъ артистъ, усаживая гостя и заботясь, чтобы тотъ какъ можно скорѣе надымилъ въ комнатѣ.

— Видите ли, въ чемъ дѣло...

Подлещиковъ помолчалъ, соображая дальнѣйшую рѣчь, и это мгновеніе оказалось весьма тяжело для артиста: онъ вдругъ вспомнилъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ нотаріусъ.

„А что, если онъ съ протестомъ? А что, если подлецъ Кислощейкинъ?...“ мысленно содрогнулся Никифоръ Прохоровичъ.

— Дѣло литературное, надумавшись продолжалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Видите ли, моего хорошаго знакомаго, редактора одного изъ самыхъ почтенныхъ нашихъ журналовъ, просили обратить вниманіе на произведеніе нѣкотораго начинающаго драматурга. Рекомендація идетъ со стороны одной дамы, на столько важной, что ее не хотѣлось бы обидѣть отказомъ. Но съ другой стороны, согласитесь, обѣщать, что непремѣнно

напечатаешь вещь, вовсе ее не зная, единственно потому, что авторъ изъ хорошей семьи, un enfant de bonne maison, какъ онѣ выражаются, и нуждается...

Тутъ Иванъ Ѳеогностовичъ спохватился, замѣтивъ, что пустился о лицѣ, ему совершенно незнакомомъ, въ нѣсколько излишнія и вполнѣ ему невѣдомыя біографическія подробности, изъ которыхъ, пожалуй, послѣ и не выпутаешься,—и рѣшилъ оборвать рѣчь.

— Словомъ, добавилъ онъ,—редакторъ, зная что у меня есть кое-какія связи съ артистическимъ міромъ, просилъ собрать предварительныя свѣдѣнія.

— Что жъ это за піеса? глубокомысленно спросилъ Переверзевъ, стараясь вдохновеннымъ взоромъ проникнуть литературную тайну.

— Нѣкоего г. Курто.

— Ахъ, это навѣрно *Мученица любви*!..

— Да, сколько припомню, именно такъ... Что жъ вы скажите о ней?

— Для печати не годится, рѣшительно заявилъ артистъ.

— Но почему же?

— Знаете, ужъ очень она нелитературна и неопрятна: ни языка, ни слога!.. Вѣдь этотъ Курто, entre nous, человѣкъ совсѣмъ необразованный... Чтобы дать вамъ о немъ понятіе, я скажу, что онъ принадлежитъ къ нарождающемуся у насъ типу драматурговъ. Видите ли, въ послѣднее время, съ тѣхъ поръ, какъ образовалось Драматическое общество, и клубы, и провинціи стали платить авторскій гонораръ, въ драматурги, въ надеждѣ заработка, полѣзла, съ позволенія сказать, всякая шваль. Знаете, какъ у Давыдова:

И полѣзли изъ щелей
Мошки да букашки.

А работающихъ для театра, настоящихъ писателей, которыхъ имя мы произносимъ съ уваженіемъ, немного: два, три, да и обчелся, а остальные—посмотрите, что это за мушера, какія обстоятельства побудили ихъ сдѣлаться драматическими писателями! Чиновникъ остался за штатомъ, актеру не выгорѣло свое дѣло, бухгалтеръ потерялъ мѣсто,—въ драматурги! Или сидитъ, сидитъ приказчикъ въ книжной лавкѣ, разсылаетъ по провинціямъ литографированныя піесы и видитъ, какъ шибко требуется всякая драматическая труха. „Что жь, думаетъ онъ, такъ и я могу передѣлывать иностранныя піесы и выдавать за свои“. И злодѣй вноситъ пятнадцать рублей въ Общество и начинаетъ строчить... Не удивляйтесь! Подобное происходитъ и въ артистическомъ мірѣ. Истинныхъ артистовъ, любящихъ искусство, идущихъ на сцену по призванію, становится все меньше и меньше, а между тѣмъ новые театры устраиваются всюду, и въ городишкахъ, и въ столицахъ, требованіе на нашего брата растетъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ увеличивается и заработная плата. Всѣ и бросились на сцену. Жена измѣнитъ мужу—на сцену, дѣвица поведетъ себя не совсѣмъ благопристойно—въ актрисы; гувернанткѣ надоѣстъ учить дѣтей, швейкѣ сидѣть за работой, и хоть у нихъ, какъ говорится, нѣтъ ни кожи, ни рожи,—на дешевые хлѣба, въ театръ! Казначей, кассиръ, нотаріусъ проворуются—къ намъ, офицеръ выйдетъ изъ полка вслѣдствіе исторіи,—милости просимъ, теперь въ театрѣ не требуется ни таланта, ни умѣнья!

— Все, что вы изволили сказать, чрезвычайно живо рисуетъ современные нравы, сказалъ Иванъ Ѳеогносто-

вичъ,— но я позволю себѣ возвратиться къ предмету...

— То-есть къ господину де-Курто? Извольте. Ну-съ, онъ тоже торговалъ апельсинами или лимонами, прогорѣлъ и записался въ драматурги, какъ раньше записывался въ гильдію... Но это еще ничего, это еще интеллигенція, такъ сказать, аристократія! А то у насъ, батюшка, сочинительствуетъ отставной трактирщикъ!..

— Такъ, что̀ піеса?..

— Помилуйте! да откуда же ей быть литературной? Она можетъ быть овощенной, фруктовой, ренсковой, какой угодно, только не литературной. Для лучшаго уясненія дѣла, я дозволю себѣ маленькое сравненіе... Изволите вы знать мою піесу?

— *Скучные люди*? поспѣшно подхватилъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—какже, прелестная вещь!

— Нѣтъ, это что! скромно отвѣчалъ польщенный артистъ,—это такъ, пустяки, шутка на досугѣ, шалость пера! Я спѣшилъ ее окончить къ бенефису и не успѣлъ отдѣлать... Но у меня есть вещь серьезная, капитальная, вещь идейная!.. Не знаю, знакомы ли вы съ моей драмой *Дочь и капиталъ*?

— Какъ же! вещь замѣчательная...

— Ну, вотъ видите! и она ужь, конечно, по меньшей мѣрѣ въ сорокъ разъ литературнѣе сорока тысячъ *Мученицъ*, но и я даже не мечталъ о ея помѣщеніи въ журналѣ.

— Съ вашей стороны, по моему мнѣнію, это совершенно излишняя скромность, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, рѣшась слегка польстить строгому артисту, дабы на эту привадку, по выраженію Полонія, „выудить рыбку правды“ относительно *Мученицы любви*.

— Вы думаете? Правда, мнѣ самому порой приходило это въ голову, особенно видя какія слабыя вещи помѣщаются порой въ журналахъ... Но для этого нужны связи...

— Если вамъ угодно, то я могу вамъ доставить случай познакомиться съ Иваномъ Петровичемъ Немыкинымъ.

— Ахъ, мнѣ будетъ очень пріятно. Я не изъ тѣхъ артистовъ, которые боятся литераторовъ пуще чѣмъ чортъ ладона.

Они условились, какъ и когда устроить предположенное знакомство.

— Извините, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—но я еще разъ возвращусь къ г. Курто. Не то, чтобъ я лично сколько-нибудь имъ интересовался, но надо же Ивану Петровичу что-нибудь отвѣтить знатной дамѣ и, такъ-сказать, позолотить пилюлю...

— А! понимаю... Что жь піеса не литературна, она ни драма, ни комедія, но какъ сценическое представленіе, надо сказать правду, она обладаетъ многими достоинствами. Она сценична, эффектна, выигрышна, и съ этой стороны вы ее можете смѣло рекомендовать Немыкину. Типовъ нѣтъ, но роли превосходныя! Языка нѣтъ, но все же онъ пишетъ не хуже всѣхъ этихъ Фуфайкиныхъ, Розенкранцовъ *e tutti quanti*... Я ни мало не преувеличиваю и готовъ подписаться подъ своимъ мнѣніемъ. Женская роль настоящая бенефисная, и я удивляюсь, чего зѣваетъ Хотьминская!..

— Виноватъ, но отчего же вы не обратили вниманія Фанни Юрьевны на эту піесу?

— Видите, мнѣ сказали будто она рѣшила уже взять на бенефисъ *Старыя дрожжи*. Порекомендуй я

ей Курто, она, конечно, бросила бы Угрюмовскую дрянь; но за то меня обвинили бы въ интриганствѣ, а Угрюмовъ—вѣдь онъ, если это только возможно, еще дряннѣй своихъ піесъ—настрочилъ бы на меня пасквиль. Какъ видите, въ нашемъ театральномъ мірѣ правда не уважается и зовется интригой...

— Напрасно вы думаете, что только въ вашемъ театральномъ, смѣясь сказалъ Подлещиковъ,—то же и во всемъ остальномъ... Но, позвольте, сколько мнѣ извѣстно, Фанни Юрьевна вовсе еще не выбрала піесы для бенефиса; по крайней мѣрѣ, она еще на дняхъ жаловалась при мнѣ, что не можетъ найти подходящей піесы.

— Въ такомъ случаѣ смѣло рекомендуйте ей *Мученицу любви.*

— А, что, въ самомъ дѣлѣ, будто раздумывая сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—почему бы мнѣ и не услужить ей?.. Только... только какъ добытъ г. Курто?

— О! это очень просто. Поѣдемте сейчасъ къ нему; онъ, вѣроятно дома... Но,—условіе: не говорите никому изъ актеровъ, что я свелъ васъ.

— Будьте покойны, отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, крѣпко пожимая руку обязательному артисту.—А гдѣ онъ живетъ?

— На Моховой; тамъ, знаете, противъ манежа есть нумера. Итакъ, двинемтесь!..

Когда они выѣхали на площадь Большаго театра, то Никифору Прохоровичу, при видѣ вывѣски Тѣстова, пришла въ голову по истинѣ геніальная мысль.

— Знаете, что? сказалъ онъ,—я думаю, ловко ли намъ вдвоемъ явиться къ Курто. Онъ живетъ довольно бѣдно, и съ нимъ совмѣстно и совокупно, или какъ

говорится *maritalement*, жительствуетъ барышня, знаете, изъ нынѣшнихъ: пренепріятная особа. Притомъ, мы можемъ застать у него кого-нибудь изъ артистовъ или, чего добраго, самого Угрюмова.

— Какъ же сдѣлать? спросилъ Подлещиковъ.

— Вы обѣдали? въ свою очередь спросилъ Переверзевъ.

— Нѣтъ еще.

— Въ такомъ случаѣ, я заброшу васъ къ Тѣстову или въ Московскій, а самъ съѣзжу за Курто. Онъ, вѣроятно, тоже не обѣдалъ, а если и обѣдалъ, то вѣдь меблированный обѣдъ только возбуждаетъ аппетитъ.

— Превосходно, отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ,— куда же прикажите: къ Тѣстову или въ Московскій?

— А вамъ все равно?

— Рѣшительно.

— Въ такомъ случаѣ, я предпочитаю Московскій, оттуда все же ближе, отвѣчалъ Никифоръ Прохоровичъ, соображая, что у Тѣстова онъ остался долженъ половому и безъ денегъ туда ему являться неудобно.

— Только попросите, чтобы онъ и піесу захватилъ съ собой, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, сходя съ извозчика у Московскаго трактира.

— И тотъ, и другая будутъ доставлены въ исправности.

Минутъ чрезъ двадцать, вошедъ въ Московскій и отыскавъ Ивана Ѳеогностовича на условленномъ мѣстѣ, Никифоръ Прохоровичъ почелъ долгомъ удивиться нечаянной встрѣчѣ.

— Вы, что же, откушали, или только собираетесь? спросилъ онъ затѣмъ.

— Только собираюсь.

— И одни?

Иванъ Ѳеогностовичъ почелъ долгомъ поддержать артиста и разыграть сцену до конца.

— Быть-можетъ, сказалъ онъ,—вы будете на столько любезны, что составите мнѣ компанію. Я, по правдѣ, даже поджидалъ, не завернетъ ли кто изъ знакомыхъ. Одному, знаете, скучно.

— Въ такомъ случаѣ позвольте вамъ представить monsieur Курто, начинающаго драматурга, еще не знаменитаго, но который, я увѣренъ, скоро обгонитъ многихъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ отвѣчалъ, что ему очень пріятно, и заказалъ три двухрублевыхъ обѣда. Мгновенно была подана закуска, которой Подлещиковъ распорядился раньше.

— Я такъ много слышалъ о вашей новой піесѣ, сказалъ нотаріусъ драматургу послѣ втораго блюда.

— Отъ кого это? полюбопытствовалъ Курто.

„На кого бы солгать?“ подумалъ Подлещиковъ и отвѣчалъ:—отъ Лидіи Антоновны Безпаловой, жены нашего извѣстнаго художника.

— Мнѣ чрезвычайно лестно, хотя я еще не имѣлъ чести быть представленнымъ Лидіи Антоновнѣ... Она, вѣроятно, отъ кого-нибудь слышала.

— Отъ меня, съ нѣкоторой торжественностью заявилъ Никифоръ Прохоровичъ.—Я даже просилъ ее намекнуть, будто отъ себя, Хотьминской...

— Узнаю вашу неизмѣнную обязательность и благосклонность ко мнѣ, милѣйшій Никифоръ Прохоровичъ...

— Заглавіе показалось мнѣ чрезвычайно заманчивымъ, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— *Мученица любви?* сказалъ драматургъ, да оно, кажется, довольно эффектно. За то мнѣ не мало трудовъ стоило провести его чрезъ цензуру. Наши драматическіе цензора люди весьма любезные, прекрасно образованные и крайне обязательные, но, знаете, немного придирчивы. Впрочемъ, на ихъ мѣстѣ, это такъ понятно: вѣдь къ нимъ всѣ придираются. И мидѣйшій Петръ Иванычъ говоритъ мнѣ: „нельзя *мученица*; мученицы бываютъ святыя: я, конечно, самъ лютеранинъ, и мы святыхъ, какъ вамъ извѣстно, не признаемъ, но по обязанностямъ службы, я долженъ блюсти интересы господствующей церкви“.—Позвольте, однако, возразилъ я ему,—развѣ мы не говоримъ: онъ мученикъ своего долга, или своей страсти, и такъ далѣе, и такъ далѣе. Я говорилъ долго, пламенно, логически, и, наконецъ, мнѣ удалось убѣдить Петра Иваныча. „Да, вы правы“, сказалъ онъ.

— У васъ, я вижу, отличныя дипломатическія способности, замѣтилъ Подлещиковъ.

— Ничуть; я просто поставилъ себѣ за правило: быть со всѣми мягкимъ, обходительнымъ и любезнымъ. Эти качества не лишнія, по моему мнѣнію, ни для кого, положительно необходимы для драматическаго писателя, которому приходится столько терпѣть отъ интригъ, непониманія, зависти и тому подобныхъ вещей. Вотъ и Никифоръ Прохоровичъ подтвердитъ вамъ, какъ нѣкоторые даже талантливые авторы проигрываютъ рѣшительно потому, что рѣзки, неуступчивы и правдивы.

— Этого у насъ не любятъ, смѣясь подтвердилъ Переверзевъ.

— Но позвольте полюбопытствовать: ваша піеса уже совершенно готова для постановки? Извините, я

можетъ быть не совсѣмъ правильно употребляю театральные термины.

— Напротивъ, совершенно точно, любезно отвѣтилъ Курто.—Да, піеса моя совершенно готова, то-есть прошла и комитетъ, и цензуру, и можетъ быть поставлена какъ на Императорскихъ театрахъ, такъ и на частныхъ сценахъ.

— Правда, у васъ кто-то изъ казенныхъ просилъ даже ее на бенефисъ, сказалъ Переверзевъ.

— Видите ли, окончивъ піесу я раньше всего обратился къ нашей знаменитой артисткѣ Аннѣ Михайловнѣ Тятиной, надѣясь, что она возьмется за созданіе заглавной роли, которую, конечно, отдѣлала бы до тонкости: вышло бы нѣчто въ родѣ брюсельскихъ кружевъ, или филигранной работы. Піеса очень понравилась Аннѣ Михайловнѣ, и она даже рѣшила взять ее на бенефисъ. Но потомъ, какъ мнѣ передавали, ее кто-то отговорилъ, увѣривъ будто бы въ піесѣ выставлена распущенная женщина, между тѣмъ, какъ я имѣлъ въ виду изобразить женщину только страстную; но вы знаете, Анна Михайловна немного prude, и я за это нисколько на нее не въ претензіи, хотя, конечно, она могла бы отказать мнѣ въ болѣе приличной формѣ.

— Что же, спросилъ Переверзевъ,—сдѣлала съ вами эта..?

Тутъ Никифоръ Прохоровичъ, по свойственной артистамъ любви къ сильнымъ выраженіямъ, употребилъ такое словцо, что хотя его и можно бы напечатать, но лучше предоставить догадливости читателя.

— Она завернула піесу въ какой-то невозможно грязный лоскутокъ бумаги и прислала ее ко мнѣ съ лакеемъ. И когда я спросилъ у этого господина, нѣтъ

ли записки, то онъ очень дерзко отвѣчалъ, что „барыня просто приказали сказать, что никуда мол не годится".

— Ну, попробовала бы она поступить такъ со мною! потрясая кулакомъ, воскликнулъ Никифоръ Прохоровичъ.

— Извините, Никифоръ Прохоровичъ, но въ этомъ я никогда не соглашусь съ вами. Утонченно-вѣжливый отвѣтъ, по моему, сильнѣе дерзости. Я на другой же день написалъ Аннѣ Михайловнѣ письмо, въ которомъ поблагодарилъ ее за тотъ бережный видъ, въ какомъ мнѣ была доставлена моя піеса, а равно за тотъ любезный и остроумный отказъ, который мнѣ передало отъ ея имени лицо, повидимому, пользующееся ея особымъ довѣріемъ.

— Что же она?

— Мнѣ передавали, что она и рвала, и метала, и показывала артистамъ письмо, желая, чтобъ они наложили *veto* на всѣ мои будущія произведенія, но всѣ нашли, что мое письмо написано вѣжливо и не заключаетъ въ себѣ ничего оскорбительнаго.

— А знаете что? сказалъ Переверзевъ,—вы изъ нея создали себѣ злѣйшаго врага; теперь она ни одной вашей піесы не пуститъ на сцену: о! она своего добьется не мытьемъ, такъ катаньемъ. А приди вы къ ней лично, и выругай ее по-извощичьи, она бы въ другой разъ побоялась... Съ этими шкурѣхами иначе нельзя! добавилъ Никифоръ Прохоровичъ въ видѣ нравоученія, обращаясь къ Ивану Ѳеогностовичу.

— Но, позвольте, сказалъ нотаріусъ, нѣсколько сконфуженный выходкой Переверзева,—какая же была дальнѣйшая судьба вашей піесы?

— Другая наша знаменитая и высокодаровитая артистка, Ольга Павловна Мамина, какъ только узнала о поступкѣ Анны Михайловны, тотчасъ же написала мнѣ чрезвычайно любезное письмо и объявила, что ставитъ *Мученицу* въ свой бенефисъ. Я прочелъ ей піесу, она потребовала нѣкоторыхъ передѣлокъ, на которыя я согласился съ величайшею готовностью. Но какъ мы ни бились, въ концѣ-концовъ пришлось все-таки сознаться, что роль совершенно не въ средствахъ Ольги Павловны. Впрочемъ, я нисколько не сѣтую, что трудился даромъ; во-первыхъ, Ольга Павловна обѣщала непремѣнно взять слѣдующую мою піесу себѣ на бенефисъ, а, во-вторыхъ, она придумала необыкновенно эффектный и эксцентрическій костюмъ.

— Какой это? спросилъ Перевервевъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ насторожилъ уши.

— Въ той редакціи піесы, которую вы читали, его еще нѣтъ; я вставилъ его только на дняхъ, но, извините, Никифоръ Прохоровичъ, если я умолчу о немъ до поры до времени. Вы, если костюмъ вамъ понравится, по экспансивности своей натуры, непремѣнно сообщите кому-нибудь и, того гляди, одинъ изъ моихъ коллегъ по профессіи воспользуется моей идеей. Какъ ни коротка моя драматическая карьера, но мнѣ уже не разъ приходилось раскаиваться въ излишней откровенности, и хотя эффекты, слава-Богу, даются мнѣ легко, все же, согласитесь, не слѣдуетъ ихъ расточать подобнымъ образомъ.

— Что жъ вы теперь намѣрены дѣлать съ вашей піесой? спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Видите ли, въ Петербургѣ она пойдетъ въ началѣ будущаго сезона въ бенефисъ Аделаиды Филип-

повны Хорохорцевой,—это дѣло, какъ говорится, рѣшенное и подписанное. А здѣсь... Здѣсь я, знаете, даже отчасти радъ, что Анна Михайловна Тятина немного покапризничала... Потому что, если я кого желаю видѣть въ роли Агнесы—мою героиню зовутъ Агнесой, — то рѣшительно нашу прелестнѣйшую Фанни Юрьевну Хотьминскую... Она къ ней *такъ* подходитъ!

— За чѣмъ же дѣло стало?

— Но согласится ли Фанни Юрьевна?..

— Извините, но мнѣ ваше замѣчаніе кажется нѣсколько страннымъ, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.— Какое же можетъ быть въ томъ сомнѣніе? Вы сами думаете, что роль подходитъ къ ней болѣе, чѣмъ къ другимъ артисткамъ, и я,—конечно, я профанъ и мое мнѣніе не болѣе какъ голосъ одного изъ любителей театра,—но насколько я успѣлъ ознакомиться съ вашей піесой, и я прихожу къ тому же заключенію. Наконецъ, у насъ, сверхъ того, имѣется мнѣніе такого авторитетнаго судьи, какъ Никифоръ Прохоровичъ, который и самъ артистъ, какихъ мало, и, наконецъ, весьма даровитый драматическій писатель.

— Что вы скажете Никифоръ Прохоровичъ? не безъ робости взглянувъ на него, спросилъ авторъ.

— Конечно, согласится. Фанька не дура и пойметъ, что можно сдѣлать изъ такой роли, особенно по части костюмовъ.

Какъ ни лестно было для Ивана Ѳеогностовича услышать изъ устъ авторитетнаго судьи хвалу уму Фанни Юрьевны, все же его порядочно покоробило отъ грубаго уничижительнаго „Фанька“, хотя оно, конечно, вполнѣ оправдывается вольностью артистическаго языка и тою привилегированною нервностью артистовъ,

которая, встрѣчаясь въ простыхъ смертныхъ, зовется запросто распущенностью.

— Только вотъ-что, Курто, добавилъ Переверзевъ, — подумайте, не будетъ ли это для васъ убыточно. Мнѣ помнится, что вы говорили, будто Растегаевъ также просилъ ее у васъ. Правда, бенефисъ у него весенній, — но все же въ казенномъ театрѣ, она пройдетъ большее число разъ, чѣмъ у насъ; притомъ, тамъ поспектакльная значительно выше.

Иванъ Ѳеогностовичъ рѣшился дѣйствовать на чистоту.

— Я согласенъ съ Никифоромъ Прохоровичемъ, сказалъ онъ, — вамъ своего упускать не слѣдуетъ; но за то, что вы поставите піесу въ клубѣ раньше, чѣмъ въ Маломъ театрѣ, вамъ можетъ быть предложена компенсація въ видѣ преміи... Такъ вѣдь, кажется, это называется?

— Именно такъ, подтвердилъ Курто. — Какого вы на этотъ счетъ мнѣнія, Никифоръ Прохоровичъ?

— Что жь, преміи начинаютъ входить въ обычай, отвѣчалъ Переверзевъ. — Говорятъ, что Фуфайкинъ проектируетъ сборъ съ казенныхъ артистовъ даже за простое назначеніе роли, такъ сказать въ видѣ процента съ ихъ поспектакльной.

— Въ такомъ случаѣ, сколько бы вы желали получить, прямо спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ. — Не думайте, что я спрашиваю изъ простого любопытства; Фанни Юрьевна просила меня разузнать о подходящей піесѣ для ея бенефиса, и если возможно немедленно и непосредственно условиться съ авторомъ.

— Какъ вы думаете, Никифоръ Прохоровичъ?

— Что жь, рублей двѣсти пятьдесятъ, триста.

— Итакъ, триста, подхватилъ Подлещиковъ и, запуская руку къ себѣ въ карманъ, добавилъ:—И я попросилъ бы васъ сейчасъ же получить сто рублей въ задатокъ.

— Право, я не знаю... Какъ вы посовѣтуете, Никифоръ Прохоровичъ?

— Что тутъ раздумывать: берите! благословилъ Переверзевъ.

— Правда, въ случаѣ, если противъ чаянія дѣло почему-нибудь не состоится, то я всегда могу..., сказалъ авторъ, принимая деньги.

— Только одно небольшое условіе, прервалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Именно?

— Вы сегодня же должны отправиться со мною къ Фанни Юрьевнѣ и прочесть ей піесу.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ... Кстати, я точно предчувствовалъ и захватилъ ее съ собою... Сознаюсь, я давнымъ давно мечталъ объ этомъ счастіи, и даже намѣревался лично отправиться къ очаровательной Фанни Юрьевнѣ, но...

— Но?

— Все Угрюмовскіе фокусы, вставилъ Переверзевъ.—Однако, господа, добавилъ онъ, взглянувъ на часы,—не сейчасъ же вы отправитесь къ ней?

Иванъ Ѳеогностовичъ, въ свою очередь, справился съ часами.

— Нѣтъ въ половинѣ девятаго, отвѣчалъ онъ.

— Въ такомъ случаѣ, Курто, рѣшилъ Никифоръ Прохоровичъ,—вы обязаны поставить мнѣ могарычъ...

— То-есть бутылку шипучаго? Съ величайшимъ удовольствіемъ.

— Нѣтъ, я этого не допущу, возразилъ нотаріусъ,— позвольте мнѣ вспрыснуть ваше первое произведеніе и быть, такъ сказать, его воспріемникомъ. Намъ, дѣловымъ людямъ, такъ рѣдко выпадаетъ счастье бесѣдовать съ талантливыми писателями.

— Нѣтъ, видите ли, въ виду того, что, по всей видимости, запутался талантливый писатель.

— Позвольте мнѣ прервать эту борьбу великодушія, сказалъ Никифоръ Прохоровичъ,— и примирить васъ.

Соперники согласились.

— Каждый изъ васъ поставитъ по бутылкѣ!

— Превосходно.

Въ половинѣ девятаго, какъ было условлено, Иванъ Ѳеогностовичъ представилъ Фанни Юрьевнѣ monsieur Курто.

— Ахъ, monsieur Courtaud, какъ я рада!—обратилась она къ гостю. — Вы не повѣрите, я только что хотѣла писать вамъ, даже ужь начала... Вы, говорятъ, написали чудную піесу?

— То-есть, можетъ-быть, благодаря исполненію такихъ, какъ вы высокоталантливыхъ артистовъ, она и окажется не совсѣмъ дурной, скромно отвѣчалъ авторъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, именно чудную!.. У меня сейчасъ была Шурочка...

— То-есть, если не ошибаюсь, Александра Петровна Бѣрдышева?

— Да, она.

— Ей, вѣроятно, наговорила о піесѣ моя хорошая знакомая m-lle Агреева, которая живетъ въ тѣхъ же меблированныхъ комнатахъ, гдѣ и мы съ Александрой Петровной.

— M-lle Агреева была такъ мила, что сегодня утромъ, пока васъ не было дома, дала, потихоньку отъ васъ, прочесть Шурочкѣ, и та тотчасъ же прибѣжала ко мнѣ. И скажите m-lle Агреевой, что я за это одно ужь полюбила ее.

— Мы какъ будто предчувствовали, что піеса заинтересуетъ васъ,—сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—И, если вамъ угодно, можемъ сейчасъ же устроить чтеніе.

— Ахъ, mercі, mercі, Иванъ Ѳеогностовичъ... Извините, я и не поблагодарила васъ, пожимая его руку, сказала Фанни Юрьевна. — Право, вы такой милый: у васъ просто даръ отгадывать мои малѣйшія желанія.

Слова сопровождались теплымъ и благодарственнымъ взглядомъ. Взглядъ произвелъ на сердце Ивана Ѳеогностовича то же дѣйствіе, какое оказываетъ заводной ключъ на часовую пружину.

— Чего вамъ, сахарной воды? спросила Фанни Юрьевна драматурга.

Не извѣстно съ чего, у насъ авторовъ любятъ угощать сахарною водой. Вѣроятно, французскіе писатели любятъ прихлебывать это отвратительное пойло.

— Виноватъ, но если позволите, то сельтерской воды и двѣ, три... капли коньяку. Вы не повѣрите, добавилъ драматургъ, обращаясь къ нотаріусу,—какъ это очищаетъ голосъ; но именно не болѣе пяти... капель на стаканъ.

— Но не лучше ли limonade gazeuse?—любезно переспросила хозяйка.

— Виноватъ, но я позволю себѣ въ этомъ случаѣ быть нелюбезнымъ и настойчивымъ, и предпочту зельтерскую воду, отвѣчалъ monsieur Курто.

Приступили къ чтенію. Иванъ Ѳеогностовичъ пред-

варительно снялъ съ себя часы съ массивною золотою цѣпочкой, обремененной брелоками и желѣзнодорожными жетонами, положилъ ихъ передъ собою на столъ и запасся карандашемъ и бумагой, чтобъ отмѣчать длительность актовъ; онъ, какъ всѣ присяжные любители, былъ увѣренъ, что успѣхъ піесы зависитъ именно отъ длины отдѣльныхъ актовъ.

— О! не безпокойтесь, сказалъ monsieur Курто,— у меня всѣ акты вымѣрены по часамъ, и нѣтъ ни одного длиннѣе двадцати пяти минутъ.

— Пусть все-таки отмѣчаетъ, сказала хозяйка, садясь на диванъ подлѣ Подлещикова и пожимая ему подъ столомъ руку.

Фанни Юрьевна была въ восторгѣ отъ піесы; то же впечатлѣніе она произвела и на Ивана Ѳеогностовича; но кого именно слѣдуетъ тутъ разумѣть подъ *она*, піесу или Фанни Юрьевну, еще не рѣшено комментаторами. Особенное удовольствіе доставляли ему чувствительныя сцены, во время которыхъ Фанни Юрьевна брала его за руку и долго не выпускала ее изъ своей нѣжной и теплой ручки. Отъ времени до времени артистка дѣлала замѣчанія, и авторъ съ величайшей готовностью тутъ же распарывалъ сшитую на живую нитку піесу и гдѣ вставлялъ клинушекъ, гдѣ дѣлалъ маленькую зарубку. Monsieur Курто, къ своей выгодѣ, не походилъ на другихъ нашихъ великихъ драматурговъ которые, при малѣйшемъ указаніи на необходимость урѣзки, вопятъ, что ихъ кровь проливается, хотя въ ихъ піесахъ рѣшительно нѣтъ ни капли ихъ собственной крови, а болтается разбавленная сукровица, перелитая изъ чужихъ произведеній. Въ одномъ мѣстѣ Фанни Юрьевна вспылила даже.

— Ахъ! какъ можно было такой чудный монологъ вставить въ уста этого... Круповицкаго, кажется, воскликнула она.

— Такъ точно Круповицкаго, подтвердилъ monsieur Курто.—И я спѣшу добавить, милѣйшая Фанни Юрьевна, что въ вашемъ замѣчаніи сказалось удивительное художественное чутье. Надо вамъ знать, что первоначально его произносила Агнеса, но Никифоръ Прохоровичъ, думая взять піесу на свой бенефисъ, уговорилъ меня отдать его Круповицкому.

Въ своемъ повѣствованіи monsieur Курто забылъ упомянуть, что еще раньше онъ перемѣстилъ тотъ же монологъ изъ роли Круповицкаго въ роль Агнесы по настоянію Анны Михайловны Тятиной.

— Такъ передѣлайте опять, приказала Фанни Юрьевна.

— Съ величайшей готовностью. И, знаете, по моему, въ женскихъ устахъ онъ будетъ гораздо эффектнѣе. Какъ хотите, а по замѣчанію многихъ, онъ имѣетъ важное общественное значеніе, а наша женщина, наша чудная русская женщина всегда и во всемъ въ теченіе всей исторіи шла впереди мужчины.

По окончаніи чтенія авторъ былъ награжденъ рукоплесканіями восхищенныхъ слушателей.

— Позвольте одинъ вопросъ, сказалъ ублаженный авторъ;—вполнѣ ли вы довольны развязкой?

— О, да! Чудная развязка! въ какомъ то разслабленіи чувствъ протянула Фанни Юрьевна.

— Я потому спрашиваю васъ, милѣйшая Фанни Юрьевна, продолжалъ авторъ,— что когда я передѣлывалъ піесу для бенефиса Никифора Прохоровича, то мы придумали другую развязку, которая въ своемъ родѣ чрезвычайно эффектна.

— Именно?

— Именно дѣйствіе происходитъ въ очаровательной мѣстности, въ окрестности Москвы, близъ шоссе. Оврагъ и черезъ него мостъ; по дну бѣжитъ ручей. Круповицкій, въ отчаяніи отъ измѣны Агнесы, рѣшается покончить съ собою. Онъ читаетъ монологъ и спускается въ оврагъ подъ мостъ. И въ то время, какъ раздается выстрѣлъ, по мосту проносится бѣшеная кавалькада, и впереди Агнеса съ хохотомъ и гикомъ...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! на-крикъ закричала Фанни Юрьевна,—въ свой бенефисъ я непремѣнно хочу умирать сама! Другое дѣло въ бенефисъ Перевертева,—о! я тогда бы согласилась! И какъ бы еще лихо проскакала!.. Только, знаете, эта сцена все-таки не вышла бы у насъ...

— Но почему же? съ грустью спросилъ авторъ— и поспѣшилъ добавить самымъ любезнымъ тономъ:— Пожалуйста, не подумайте, добрѣйшая Фанни Юрьевна, чтобъ я настаивалъ на ней именно для *Мученицы*; но согласитесь, что ее можно вставить въ любую піесу, и мнѣ интересно бы знать собственно на будущее время, и, такъ-сказать, съ технической точки зрѣнія. Говоря правду, всѣ наши эффекты такъ пріѣлись, а этотъ...

— Ахъ, monsieur Courtaud! Повторяю, что я проскачу, и проскачу удивительно! съ жаромъ сказала Фанни Юрьевна,—но другія артистки? развѣ онѣ имѣютъ какое-либо понятіе о верховой ѣздѣ? И наши неуклюжіе артисты! А они всѣ неуклюжіе, даже Черезовъ! Вообразите ихъ верхомъ! Да они возбудятъ смѣхъ, и только!..

— Но можно пригласить наѣздниковъ изъ цирка!

вскричалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, у котораго, подъ вліяніемъ артистическаго міра, очевидно стали развиваться режиссерскія способности.

— Въ самомъ дѣлѣ! съ восторгомъ воскликнула Фанни Юрьевна.—И мы непремѣнно это попробуемъ! Только не въ мой бенефисъ, добавила она,—а въ вашей слѣдующей піесѣ!..

— Я буду имѣть въ виду вашу артистическую готовность, сказалъ авторъ, признательно цѣлуя руку хозяйки.

— Благодарите не меня, а Ивана Ѳеогностовича, сказала она, — онъ придумалъ какъ осуществить на сценѣ вашъ драматическій эффектъ. И обратясь къ нотаріусу, добавила:—А вы, я вижу, страстный любитель верховой ѣзды. Вотъ мы весной попробуемъ, и я заранѣе предупреждаю, что замучаю васъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ изъявилъ живѣйшее согласіе на пробу, хотя въ то же время подумалъ, что надо будетъ взять хоть нѣсколько уроковъ верховой ѣзды, чтобы не осрамиться окончательно.

— Позвольте и мнѣ съ своей стороны сдѣлать вамъ небольшое замѣчаніе насчетъ пятаго акта, сказала Фанни Юрьевна, обращаясь къ автору.

— Что прикажете?

— У васъ, когда она умираетъ, къ ней приходитъ Персіянинъ, и предлагаетъ купить бирюзу. Она невольно любуется чудною бирюзой и мечтаетъ, какъ появится въ ней при первомъ выѣздѣ въ свѣтъ. Это такъ поэтично и такъ женственно!.. Не правда ли, Иванъ Ѳеогностовичъ?

Иванъ Ѳеогностовичъ поспѣшилъ согласиться и мгновенно сообразилъ, что къ бенефиснымъ подаркамъ

необходимо добавить браслетъ съ бирюзой, осыпанной брилліантами.

— Но вотъ въ чемъ затрудненіе, продолжала артистка, — кому вы думаете поручить роль Персіянина?

— Сосногорову. Онъ увѣрялъ меня, что мастеръ на такіе типы.

— Ахъ! онъ всегда увѣряетъ, презрительно буркнула Фанни Юрьевна, — и вѣчно проваливаетъ. При этомъ онъ будетъ стараться смѣшить, и эта чудная сцена пропадетъ.

— Но какъ же быть?

— Нельзя ли Персіянина замѣнить, ну... хоть кружевницей. Шурочка сыграла бы очень мило...

— Александра Петровна? О! навѣрное, восторженно отвѣчалъ авторъ, и еще съ бо̀льшимъ восторгомъ продолжалъ:—А, знаете, вѣдь это идея! Сопоставить Агнесу, этотъ утонченнѣйшій и изнѣженнѣйшій плодъ европейской цивилизаціи, съ простою русскою женщиной въ видѣ кружевницы!... Вѣдь тутъ есть даже своего рода гражданскій мотивъ! Что̀ вы на это скажете, Иванъ Ѳеогностычъ?

— Да, да, разсѣянно отвѣчалъ нотаріусъ, раздумывая: что̀ же теперь подносить, бирюзу или кружева, или то и другое вмѣстѣ?

— Только вы, пожалуйста, много не давайте Шурочкѣ, а то она испортитъ, строго замѣтила хозяйка.

Когда Иванъ Ѳеогностовичъ и monsieur Курто вышли отъ Фанни Юрьевны, то нотаріусъ еще на лѣстницѣ спросилъ драматурга, не чувствуетъ ли онъ аппетита послѣ чтенія. Курто отвѣчалъ, что послѣ пережитаго имъ нервнаго волненія освѣжиться не мѣшаетъ.

— Въ такомъ случаѣ поѣдемте.—Я кстати вручу вамъ остальныя двѣсти рублей и редижирую маленькую записочку, что вы предоставляете г-жѣ Хотьминской право поставить въ первый разъ свою піесу въ ея бенефисъ на клубной сценѣ. Вы понимаете, что мнѣ это нужно какъ оправдательный документъ для Фанни Юрьевны. Нашъ братъ нотаріусъ, расходуя чужія деньги, долженъ быть аккуратенъ.

— Совершенно съ вами согласенъ, почтеннѣйшій Иванъ Ѳеогностовичъ. Куда жь мы отправимся?

— Куда угодно.

— Въ такомъ случаѣ не воротиться ли въ Московскій? Быть-можетъ, Никифоръ Прохоровичъ еще тамъ, и мы сообщимъ ему...

При имени Переверзева, Ивану Ѳеогностовичу точно кто надъ ухомъ крикнулъ „Фанька!“ и онъ поспѣшно отвѣчалъ:

— Не лучше ли въ Эрмитажъ? Оно и ближе, и вдобавокъ при дѣловомъ разговорѣ свидѣтели не всегда удобны.

Никифоръ Прохоровичъ успѣлъ перехватить при прощаньи у Курто десять рублей и весь вечеръ прохлаждался въ Московскомъ, попивая кофе съ киршемъ. Ему было не скучно; какъ у всѣхъ актеровъ, у него была бездна шапочныхъ знакомыхъ и такихъ же пріятелей; они поочередно присаживались къ нему, и онъ расточалъ предъ ними свое остроуміе. Время шло; передъ театральнымъ разъѣздомъ трактиръ сталъ замѣтно пустѣть; Никифору Прохоровичу сдѣлалось скучно, и онъ началъ подумывать, не перекочевать ли въ другое мѣсто. Къ Тѣстову и думать было нечего, ибо по расплатѣ за кофе, у Переверзева осталось всего пять руб-

лей! то-есть именно столько, сколько онъ былъ долженъ тѣстовскому половому.

„А вотъ что, вдохновенно рѣшилъ Никифоръ Прохоровичъ,—махну-ка я въ Эрмитажъ. Во-первыхъ, оттуда къ дому ближе, а во-вторыхъ, пока я туда доберусь, начнется театральный разъѣздъ, и авось-либо“...

Едва Никифоръ Прохоровичъ успѣлъ занять мѣсто и сказать половому, что пока ничего не требуется, потому что сейчасъ подойдутъ другіе, какъ увидѣлъ Ивана Ѳеогностовича въ сопровожденіи monsieur Курто.

„Вотъ оно, предчувствіе!“ сказалъ про себя Переверзевъ.—И откуда выдумали, будто *онъ* скупой: да онъ, право, премилый! Надо будетъ выпить съ нимъ на *ты*, и“...

И, не додумавъ, Никифоръ Прохоровичъ всталъ навстрѣчу Подлещикову. Какіе еще виды имѣлъ онъ на нотаріуса, читатель, конечно, догадается самъ.

XIV.

Мытарства Ивана Ѳеогностовича.

Тамъ мнѣній всѣхъ смѣшеніе,
Какъ въ погребѣ всѣхъ винъ;
Равно годны въ тисненіе
И Фотій, и Дарвинъ.
Изъ сатирической поэмы.

И мы здѣсь всѣ таланты тоже,
Но... съ позволенія сказать.
Д. Т. Ленскій.

Въ субботу на Пестрой, какъ и было предположено, на сценѣ клуба состоялась считка *Мученицы любви*. Актеры явились съ тетрадками, чтобы провѣрять роли и мѣшать авторскому чтенію. Monsieur Курто привезъ

съ собою своего хорошаго знакомаго, Ивана Ѳеогностовича Подлещикова, и просилъ артистовъ дозволить ему присутствовать при чтеніи, въ качествѣ извѣстнаго любителя театра, желающаго заранѣе ознакомиться съ піесой. Актеры нѣсколько сконфуженно потупили головы изъ боязни, что, взглянувъ другъ на друга, расхохочатся. Изъ неучаствующихъ въ піесѣ артистовъ, явился одинъ Фихтошка, который на вопросъ: „да ты развѣ играешь?“ неизмѣнно отвѣчалъ: „конечно, Персіянина въ пятомъ актѣ; вотъ увидишь“. Собственно же Сосногоровъ явился потому, что до него дошли темные слухи, будто послѣ чтенія затѣвается завтракъ.

„Роль отняли, такъ хоть водкой поспектакльную выберу“, рѣшилъ онъ.

Чтеніе прошло блистательно. Артисты остались довольны ролями и наградили автора рукоплесканіями. Авторъ благодарилъ артистовъ за честь и просилъ отнестись посерьезнѣе къ его піесѣ. Никифоръ Прохоровичъ отвѣчалъ за всѣхъ, что онъ и его товарищи весьма польщены тѣмъ довѣріемъ, которое оказалъ имъ авторъ, ставя у нихъ піесу, предназначенную для казеннаго театра; что они отнесутся къ ней съ тѣмъ вниманіемъ, котораго она заслуживаетъ и приложатъ всѣ старанія, чтобы доставить ей успѣхъ. Авторъ снова поблагодарилъ артистовъ и затѣмъ всѣ разбились на кучки.

— А что, Алексѣй Ивановичъ, что скажете? обратился почтительный къ начальству комикъ Поплескинъ къ режиссеру, обладавшему необыкновенно глубокомысленной бородой.—Будетъ піеса имѣть успѣхъ?

Режиссеръ запустилъ въ бороду изъ-подъ низу пятерню, протащилъ ее сквозь чащу волосъ и, высво-

бодивъ ее не безъ труда на свѣтъ Божій, повернулъ ладонью къ себѣ и тщательно осмотрѣлъ, точно производилъ хиромантическія изслѣдованія.

— Какъ разыграется, отвѣчалъ онъ.

— А все-таки, какъ вы полагаете? не отставалъ Поплескинъ.

Режиссеръ снова посовѣтовался съ бородой и невнятно промычалъ: „н-н-дэ,“—что съ равной вѣроятностью можно было принять и за „да“, и за „нѣтъ“.

— О чемъ тутъ безпокоиться? вступился въ разговоръ Переверзевъ, обращаясь къ комику:—Довольно вашего, Василій Васильевичъ, участія, чтобы піеса имѣла успѣхъ. Вы ее поддержите своимъ неизмѣннымъ и неистощимымъ комизмомъ.

Комикъ прищурился и подозрительно оглядѣлъ Никифора Прохоровича.

— Весьма лестно слышать это, особенно изъ устъ такого строгаго и нелицепріятнаго критика, отвѣчалъ онъ.

— Что жь, я говорю правду, у васъ на любую роль хватитъ и... вару, и плевковъ.

Стоявшіе по близости расхохотались.

— Въ какомъ это смыслѣ? спросилъ комикъ.

— Въ томъ, что вы для типичности замажете себѣ передніе зубы варомъ, а для комизма въ сильныхъ мѣстахъ станете, по обычаю, поплевывать.

Комикъ ничего не отвѣчалъ и только, стиснувъ зубы, свирѣпо поглядѣлъ на Никифора Прохоровича. „Ты у меня еще варъ попомнишь!“ подумалъ онъ.

— Полно тебѣ, предостерегъ суфлеръ Переверзева, дернувъ его за руку.

— А ты думаешь, онъ плевки и варъ самъ изо-

брѣлъ? Нѣтъ, проѣздомъ черезъ Ригу, заимствовалъ у великаго нѣмецкаго комика Фальшгаммера.

Фихтошка подошелъ къ Шурочкѣ.

— Ну-съ, madame Бёрдышева, сказалъ онъ.

Шурочка терпѣть не могла, когда ее звали по фамиліи, видя въ томъ какой-то неприличный намекъ. Впрочемъ, актеры въ этомъ отношеніи народъ преподозрительный и способны усмотрѣть неприличность тамъ, гдѣ простой смертный и мушиной точки не разглядитъ.

— Чего тебѣ? окрысилась она на Фихтошку.

— Благодарю, что рольку отняли.

— Какую рольку.

— Персіянина.

Шурочка была туговата на соображеніе.

— Какого Персіянина? Что ты врешь?.. Я играю бабу, кружевницу.

— Хоть и бабу, а все усы наклеить придется.

— Какіе усы?

— Спроси хоть автора.

Шурочка бросилась къ автору, а Фихтошка, состроивъ рожу, которую считалъ Мефистофельской, пустилъ демоническій хохотъ на нижнихъ нотахъ.

— Ну что? спросилъ суфлеръ Ивановъ, подходя къ Черезову.

— Дрянь, отвѣчалъ Корнелій Ѳомичъ.

— А успѣхъ, пожалуй, будетъ имѣть.

— Дѣло возможное: бенгалики подпущено довольно. Мою роль въ Петербургѣ играетъ Бурдинъ: то-то лампы будетъ глотать.

— А не дурно бы и намъ чего-нибудь проглотить: у меня въ желудкѣ ужь *бурдинизмъ* начинается.

— Что жь, у меня малая толика есть; пойдемъ къ Егорову: тамъ и дешево, и блины хороши.

— Не прихватить ли Ильичну?

— Денегъ, пожалуй, не хватитъ.

— У него есть: онъ у Подлещикова перехватилъ.

— Уже! Молодецъ, хвалю.

Къ нимъ тихо подкрался Фихтошка, уже въ пальто и калошахъ.

— Вы это куда же, други милые, задумали? спросилъ онъ.

— Въ церковь, на евѳимоны, отвѣчалъ суфлеръ.

— Что жь, ты меня за Поплескина, что ли, принимаешь? Я, братъ, Паша, знаю, что евѳимоны на первой недѣлѣ бываютъ.

— А знаешь, такъ проваливай.

И Ивановъ съ Черезовымъ направились въ уборную; чтобы надѣть верхнее платье. Когда они снова вышли на сцену, къ нимъ подбѣжали Курто и Спѣхинъ, талантливый актеръ на вторыя роли, всѣми любимый за ровное обращеніе,—послѣдствіе его увѣренности въ собственной полезности для труппы.

— Куда же вы, испуганно сказалъ авторъ,—развѣ Василій Васильевичъ Поплескинъ не передалъ вамъ моего приглашенія?

Дѣло шло о завтракѣ.

— Ничего не говорилъ, отвѣчалъ Ивановъ,—да и самъ навѣрное не пойдетъ: сытъ. Вотъ онъ, добавилъ суфлеръ, указывая на подходящаго Переверзева,—его накормилъ по горло варомъ.

— Что, что? полюбопытствовалъ Спѣхинъ.

Суфлеръ разказалъ.

— Что же, господа, подошедъ освѣдомился Никифоръ Прохоровичъ,—а дамъ развѣ не приглашали?

— Я просилъ Фанни Юрьевну, но она, къ моему величайшему огорченію, не рѣшилась отправиться съ нами, сказавъ, что никогда въ жизни не была въ ресторанѣ, сказалъ Курто.

- Вретъ, ѣздитъ, только не съ нами, сказалъ Спѣхинъ. — Да вотъ вы всѣ, господа, полового Ѳедора знаете, что у машины стоитъ...

— Ну, ну? въ голосъ закричали актеры.

— Такъ прежде онъ при отдѣльныхъ комнатахъ состоялъ, и очень мнѣ ее расхваливалъ: „Благородномолъ кушаютъ". Чѣмъ же благородно? спрашиваю. „А всегда, бывало, закажутъ порцію ботвиньи съ осетриной и бутылочку Клико".

— Что жь это она одна? спросилъ Переверзевъ.

— Ну, гдѣ одна! Тоже вывезъ младенецъ невинный!

— Съ кѣмъ же? Съ Подлещиковымъ? съ живостью спросилъ Черезовъ.

— Нѣтъ, раньше. А про Подлещикова, не хочу грѣха на душу брать, ничего не слышалъ.

— А надо бы ихъ съ Подлещиковымъ словить, сказалъ Черезовъ.

— Случится, такъ изловимъ, съ увѣренностью отозвался Спѣхинъ.

— Однако, господа; какъ же насчетъ дамъ? повторилъ свой вопросъ Никифоръ Прохоровичъ.

— Леночка не пойдетъ, рѣшилъ суфлеръ.

Леночка была ingénue труппы. При ея имени Корнелій Ѳомичъ оживился необыкновенно и у него даже лицо просвѣтлѣло.

— Ахъ, Леночку непремѣнно, непремѣнно надо! засуетился онъ.

— Но почему жь ты думаешь, что она съ нами не пойдетъ? съ филосовскимъ глубокомысліемъ спросилъ Переверзевъ.

— Съ Шуркой пойдетъ, замѣтилъ Спѣхинъ.

— А!.. въ такомъ случаѣ... съ живостью вскричалъ Черезовъ и не договоривъ бросился въ женскую уборную.

Спѣхинъ что-то шепнулъ на ухо суфлеру.

— Неужто? сказалъ Ивановъ.—Я и не зналъ... А чтобъ онъ и съ Шуркой кстати валандался, мнѣ и въ мысль не приходило...

— Кому же такое, кромѣ Корнелія Ѳомича, въ голову влѣзетъ? сказалъ Спѣхинъ.

Вскорѣ Черезовъ явился съ обѣими дамами. Леночка была весела и сіяла; Александра Петровна держалась важно и съ достоинствомъ и имѣла видъ матери, ведущей дочь къ алтарю Киприды. Только-что успѣли они подойти къ остальнымъ, какъ на горизонтѣ показался Фихтошка.

— Спровадь его, шепнулъ Переверзевъ Иванову.

— Фихтошка! крикнулъ суфлеръ.

Тотъ рысцой подбѣжалъ къ кучкѣ.

— Что? что? куда? кричалъ онъ на бѣгу.

— Видѣлъ Хотьминскую? спросилъ суфлеръ.—Она тебя ищетъ.

— Гдѣ-жь она?

— У себя въ уборной, съ Подлещиковымъ, отвѣчалъ Спѣхинъ.

— Бѣги же туда; ей очень тебя нужно, добавилъ суфлеръ.

— Только, гляди, сперва постучись, а то они, пожалуй, цѣлуются, крикнулъ вслѣдъ ему Черезовъ и, обратясь къ Леночкѣ, добавилъ: — Съ новинки-то въ охотку.

Леночка ничего не отвѣчала и только, засмѣясь, погрозила ему пальчикомъ.

— Ну, теперь скорымъ шагомъ, маршъ! скомандовалъ суфлеръ.

И всѣ чуть не бѣгомъ пустились изъ театра.

У Фанни Юрьевны шелъ, между тѣмъ, съ Иванъ Ѳеогностовичемъ дѣловой разговоръ о бенефисной афишѣ, долженствовавшей появиться нынче вечеромъ, о билетахъ, которые нотаріусъ бралъ за себя, чтобы раздать участникамъ въ подпискѣ на подарокъ, и тому подобномъ.

— Entrez, сказала Фанни Юрьевна на стукъ Фихтошки.

— Вы меня звали...

— Я? удивилась Хотьминская. — Ахъ, впрочемъ, погодите, вы мнѣ будете нужны, Фихтоша... Итакъ, обратилась она къ Подлещикову, — афиши и билеты принесутъ мнѣ сегодня въ пять часовъ, а къ шести я пришлю вамъ. А вы, Фихтоша, голубчикъ, пожалуйста, зайдите ко мнѣ въ половинѣ шестого и снесите билеты вотъ къ Ивану Ѳеогностовичу.

— Позвольте представиться, обратился Фихтошка къ Подлещикову, — артистъ Карлъ Емельяновъ Сосногоровъ.

Послѣдовало рукопожатіе.

— Только, пожалуйста, Фанни Юрьевна, не забудьте двухъ билетовъ для Немыкина, озабоченно сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Будьте покойны, я пришлю всѣ по вашему списку.

— Больше, Фанни Юрьевна, ничего не потребуется? спросилъ Фихтенбаумъ.

— Нѣтъ, Фихтоша, ничего; только помните: ровно въ половинѣ шестого.

— Не опоздайте, пожалуйста, добавилъ нотаріусъ.

— Не безпокойтесь: я Нѣмецъ,

И надо честь отдать, что Нѣмцы аккуратны,

продекламировалъ Фихтошка.

Когда онъ вышелъ вновь на сцену, тамъ уже никого не было; только Поплескинъ, отдуваясь и переваливаясь, тащился въ тяжелыхъ енотахъ по направленію къ выходу.

— А тебя, что жь, на кормёжку не допустили? спросилъ онъ Сосногорова.

— Какая кормёжка? гдѣ? съ аппетитомъ спросилъ Фихтошка.

— Въ Московскомъ, авторъ угощаетъ. Видишь, прежде лошадей передъ дорогой кормили, а нынче актеровъ передъ піесой...

— А ты развѣ не пойдешь? съ удивленіемъ, близкимъ къ ужасу, спросилъ Карлъ Емельяновичъ.

— Я, братъ, не лошадь...

— Знаю: ты оселъ, съ демоническимъ хохотомъ сострилъ Сосногоровъ и, убѣгая отъ разъяреннаго комика въ енотахъ, опрометью выскочилъ на лѣстницу и большими и рѣшительными шагами направился въ Московскій трактиръ.

Простясь съ Фанни Юрьевной, Иванъ Ѳеогностовичъ отправился по своимъ дѣламъ. Служащіе въ конторѣ

замѣтили, что онъ нынче какъ-то особенно озабоченъ, суетливъ не по обычаю и безпрерывно поглядываетъ на часы, точно боясь куда-то опоздать. Какъ ни странно, а Подлещикова тревожила именно своевременная доставка билетовъ Немыкину. У редактора собирались по субботамъ; сегодня, правда, была послѣдняя суббота передъ бенефисомъ, но у него сидѣли долго и къ нему можно было пріѣхать поздно. Времени, стало-быть, оставалось еще много, а Иванъ Ѳеогностовичъ точно боялся опоздать. Его заботило, кто же будетъ писать о театрѣ въ *Русскомъ Добрѣ?* Рекомендація Фанни Юрьевны не удалась; Голубцовъ, съ которымъ Иванъ Ѳеогностовичъ толковалъ еще разъ, отказался на-отрѣзъ; Полосатовъ объявилъ, что хотя онъ до чрезвычайности любитъ театръ, этотъ міръ успѣха и провала, по выраженію одного изъ нашихъ юныхъ писателей, и охотно бы послѣдовалъ совѣту Ивана Ѳеогностовича, но опасается, что, выступивъ въ литературѣ въ качествѣ театральнаго критика, повредитъ своей ученой карьерѣ. Другихъ подходящихъ людей у Ивана Ѳеогностовича въ виду не было, а онъ придавалъ такое важное значеніе хвалебной статьѣ!

Конечно, редакторъ кого-нибудь да найдетъ, но будетъ ли рецензентъ въ должной мѣрѣ благосклоненъ къ Фанни Юрьевнѣ? Далѣе, съ будущей ли книжки начнется театральная хроника? Спустя мѣсяцъ, статья, если въ ней будетъ даже подробное и сочувственное описаніе торжества Фанни Юрьевны, окажется горчицей послѣ ужина.

Въ обуявшей его торопливости, Иванъ Ѳеогностовичъ покончилъ нынче дѣла раньше и пораньше отобѣдалъ; въ пять часовъ онъ былъ уже дома. Безпо-

койство его не покидало; онъ не зналъ за что приняться. Онъ перечиталъ черновой списокъ затребованныхъ имъ билетовъ, дабы удостовѣриться, что никого не пропустилъ; онъ пересмотрѣлъ подписной листъ, и сообразилъ кого еще можно привлечь къ подпискѣ, какіе именно подарки необходимо поднести и сколько ему самому придется доплатить за удовольствіе быть устроителемъ бенефиснаго торжества. Что жь еще надо? Адресъ уже составленъ при помощи monsieur Курто, и составленъ, по мнѣнію Ивана Ѳеогностовича, весьма не дурно; онъ былъ даже отданъ каллиграфу для переписки.

„Но стихи? вдругъ вспомнилъ Иванъ Ѳеогностовичъ. — Вѣдь Переверзевъ прочтетъ ихъ съ большимъ чувствомъ“.

Разумѣется, строго говоря, можно бы обойтись и безъ стиховъ; но бенефисъ, конечно, выдетъ не такой блестящій, а Фанни Юрьевна прямо сказала, что въ нынѣшнемъ году ей особенно хочется блеснуть.

Иванъ Ѳеогностовичъ не былъ поэтомъ, музы ему не благосклонствовали, но онъ водилъ знакомство съ тѣми низшаго разбора богинями, которыхъ Греки звали богининными богинями и которыя на Олимпѣ играли роль въ родѣ той, какую въ старинныхъ помѣщичьихъ домахъ исполняли барскія барыни. При помощи одной изъ такихъ нимфъ онъ и отважился на сочиненіе привѣтственныхъ стиховъ. Дѣло пошло на ладъ; онъ весьма удачно срифмовалъ „искусство“ и „чувство“ и чуть было не присовокупилъ къ нимъ столь же популярныхъ риѳмъ „вѣка“ и „человѣка“, но по счастію вспомнилъ, что онѣ годятся только въ юбилейные стихи, а въ гимнѣ, посвященномъ молодой красавицѣ, о лѣтахъ и

упоминать-то не годится. А попробуй, скажи: „вѣка“, и меньше четверти его никакъ не отмѣришь!

Послѣ этихъ размышленій Ивану Ѳеогностовичу пришелъ въ голову чудный стихъ:

Искусства пламенная жрица

и слѣдомъ третій и четвертый той же строфы:

Первопрестольная столица
Тебѣ дары свои несетъ!

Четвертый былъ тотчасъ же исправленъ и замѣненъ болѣе поэтичнымъ:

Восторга дань тебѣ несетъ!

Но проклятый второй никакъ не давался; Иванъ Ѳеогностовичъ думалъ было помочь горю, замѣнивъ „жрицу“ въ первомъ стихѣ „царицей“, но дѣло оттого не наладилось. Риѳмъ приходило множество, но все самыя нелѣпыя: „ботъ, вотъ, годъ, котъ, родъ, ротъ, рветъ, жретъ и даже животъ“. Иванъ Ѳеогностовичъ разсердился и сосредоточилъ всѣ свои умственныя способности на изобрѣтеніи втораго стиха; но едва онъ настроилъ себя на самый высокій ладъ, какъ ему точно кто въ ухо шепнулъ: „салотопенный заводъ“. Иванъ Ѳеогностовичъ взбѣсился, сломалъ карандашъ, схватилъ перо, сломалъ и его, и наконецъ, какъ укушенный тарантуломъ, закружилъ по комнатѣ. Онъ пробѣгалъ долго, пока ему не пришла благая мысль справиться съ часами. Было уже четверть восьмаго. А Фанни Юрьевна обѣщала прислать ровно въ шесть. Куда-жь дѣвался этотъ Снотворовъ, или какъ его тамъ? Подлещиковъ кликнулъ Агаѳона.

— Никто меня не спрашивалъ? освѣдомился онъ.

— Никакъ нѣтъ-съ.

— А мнѣ съ полчаса назадъ показалось будто кто-то звонилъ.

— Это точно, что звонили.

— Ну?

— Пьянчужка какой-то ломился, или жуликъ, кто его знаетъ. Такъ что, словомъ, вниманія не стоющій.

— Да онъ говорилъ же что-нибудь? Съ чѣмъ, отъ кого, къ кому?

— Я, признаться, дверь пріотворилъ, а онъ тутъ съ дворникомъ связался. Ну, и сволокли.

— Какъ сволокли? куда?

— Извѣстно, куда ихняго брата волочатъ, въ часть.

— И врешь, все врешь! вдругъ освирѣпѣлъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Знаю я тебя, это все твои штуки. Ты меня убить, зарѣзать, погубить хочешь! Ты зналъ, что письмо нужное, и нарочно, скотина, не принялъ; притворился будто не понялъ.

— Да, помилуйте, Иванъ Ѳеогностычъ...

— Молчи, или я задушу тебя!.. И ступай, бѣги, сейчасъ же бѣги...

— Куда прикажете?

— Вороти его, найди!.. но только безъ него не смѣй мнѣ и на глаза показываться!

— Да, помилуйте, гдѣ же!..

— Гдѣ знаешь, какъ хочешь... Говорятъ тебѣ: найди, роди, выдумай, но только безъ него не являйся!

Агаѳонъ попробовалъ было еще разъ образумить барина, но Иванъ Ѳеогностовичъ до того закричалъ и затопалъ на него ногами, что вѣрный слуга струсилъ не на шутку и какъ ошпаренный выбѣжалъ изъ комнаты.

Въ дѣйствительности дѣло происходило не совсѣмъ

такъ, какъ разказалъ Агаѳонъ, но и не такъ, какъ оно представлялось Ивану Ѳеогностовичу.

Фихтошка, еще по дорогѣ въ Московскій, положилъ въ точности исполнить порученіе Фанни Юрьевны. Онъ разсчитывалъ, что по передачѣ билетовъ Подлещикову, получитъ за нихъ деньги, которыя отнесетъ къ Хотьминской, причемъ выпроситъ у нея малую толику взаймы. Въ случаѣ же, если нотаріусъ отвѣтитъ, что онъ деньги передастъ лично бенефиціанткѣ, Фихтошка намѣревался объяснить ему печальное положеніе артистовъ, въ концѣ мѣсяца и занятъ у него елико возможно, разумѣется также безъ отдачи.

„Онъ добрый, утѣшалъ себя Сосногоровъ.—Вотъ Перевервевъ стянулъ же съ него, говорятъ, цѣлую прорву. Ну, а я что? я, конечно, человѣкъ маленькій; довольно, если пять рублей... Нѣтъ, меньше какъ на десяти, чортъ возьми, не помирюсь! вдругъ съ порывомъ гордости воскликнулъ онъ про себя;—что я имъ, въ самомъ дѣлѣ, лакей, что ли, чтобы даромъ бѣгать!“

Согласно съ этимъ, Фихтошка опредѣлилъ ѣсть и пить въ Московскомъ, сколько влѣзетъ, но отнюдь не до положенія. Исполнивъ свою программу, надоѣвъ всѣмъ до невозможности, выпросивъ у Перевервева восемь гривенъ на извощика, и выругавъ его на прощанье безсердечнымъ идіотомъ, Фихтошка въ назначенный часъ явился къ Фанни Юрьевнѣ. Тамъ ему пришлось обождать билетовъ, пока ихъ принесли изъ типографіи; оттуда онъ отправился къ Подлещикову, ради прогулки пѣшкомъ, дабы хорошенько обдумать по дорогѣ проектъ займа. Онъ сочинилъ нѣсколько рѣчей, одна другой чувствительнѣе; рѣчи были до того убѣдительны, что ими тронулась фантазія самого автора, и Фихтошка

какъ бы въ просвѣтлѣніи увидѣлъ, что Подлещиковъ лѣзетъ въ бумажникъ, ищетъ красненькую, но тамъ меньше двадцатипятирублевой не оказывается, и нотаріусъ, со слезами на глазахъ, проситъ артиста принять уголъ; въ заключеніе они цѣлуются.

Фихтошка позвонилъ въ самомъ пріятномъ расположеніи духа. Агаѳонъ пріотворилъ дверь на длину цѣпи.

— Вамъ кого? спросилъ онъ.

— Дома г. Подлещиковъ? вопросомъ на вопросъ отвѣчалъ Карлъ Емельяновичъ.

— Вамъ зачѣмъ?

— Съ письмомъ отъ г-жи Хотьминской.

Имя артистки усилило въ Агаѳонѣ нерасположеніе, которое въ немъ возбудила пропойницкая наружность Фихтошки. За послѣднюю недѣлю, Иванъ Ѳеогностовичъ чуть не каждый день, а случалось и два, и три раза на день гонялъ его къ Фанни Юрьевнѣ то съ записочкой, то со сверточкомъ, то съ пакетикомъ. Агаѳонъ тотчасъ же заподозрилъ шашни между бариномъ и артисткой, и разсердился на Фанни Юрьевну, особенно потому, что ему при этомъ ни разу не перепало отъ нея на водку, а Агаѳонъ каждую свою побѣгушку оцѣнивалъ не меньше, какъ въ рубль.

„Тоже съ нашего простофили, чай, не мало деретъ!“ въ справедливомъ негодованіи соображалъ онъ.

Поэтому-то, услышавъ отъ кого письмо, онъ грубо сказалъ:

— Давай сюда...

— Мнѣ его лично надо...

— Говорятъ: подай; дома нѣтъ.

— Какъ нѣтъ, когда мнѣ назначено?

— Говорятъ: нѣтъ.

— Врешь ты, хамъ!

— Ахъ ты, холуй!... Провáливай, жуликъ, провáливай!

Фихтенбаумъ вскипѣлъ и мгновенно сунулъ руку въ щель съ намѣреніемъ ткнуть Агаѳону кулакомъ прямо въ рыло. Агаѳонъ схватился за дверную ручку, чтобы захлопнуть дверь, и хотя Фихтошка, замѣтивъ непріятельское движеніе, немедленно отдалъ своей рукѣ приказаніе отступить самымъ поспѣшнымъ образомъ, но большой палецъ, находившійся въ аріергардѣ, не избѣгнулъ натиска непріятеля и былъ ущемленъ весьма значительно. Фихтошка взревѣлъ, какъ быкъ. На крикъ подбѣжалъ дворникъ, подметавшій тротуаръ.

— Что тутъ, Агаѳонъ Петровичъ?

— Жуликъ ломится.

Дворникъ, не долго думая, хватилъ мнимаго жулика метлой по загривку съ такимъ усердіемъ, что у бѣднаго Фихтошки не только шапка слетѣла съ головы, но и самъ онъ чуть было не клюнулъ носомъ. Поднявъ шапку, Фихтошка намѣревался вступить въ единоборство съ дворникомъ, но тотъ держалъ метлу на-готовѣ; разсудивъ, что его, пожалуй, высѣкутъ метлой по лицу, артистъ ограничился отборными ругательствами, причемъ къ сквернословіямъ, понятнымъ дворнику и даже любезнымъ его сердцу, прибавилъ такія, что тотъ просто остолбенѣлъ.

— Ахъ ты, распротомагнезія іерихонская! Ахъ ты, геодезія геогнозистая! кричалъ Фихтошка и затѣмъ, точно осѣненный внезапною мыслію, вскочилъ на проѣзжавшаго извощика и скрылся.

— Ну, и ругатель же! сказалъ дворникъ и вздох-

нулъ, быть-можетъ о неумѣніи выражаться столь же крѣпко.

— Ахтеришка, надо быть, презрительно проговорилъ Агаѳонъ.

— Жаль, не догадался его по рылу метлой смазнутъ, сказалъ дворникъ, и сталъ съ такимъ ожесточеніемъ чистить тротуаръ, словно возилъ метлой не по камнямъ, а по благородной физіогноміи артиста Фихтенбаума.

Обративъ Агаѳона въ бѣгство, Иванъ Ѳеогностовичъ вскорѣ понялъ, что гнѣвомъ бѣдѣ не пособить. Призвавъ его снова, онъ велѣлъ дать себѣ переодѣться, причемъ всякое отдѣльное приказаніе сопровождалъ ругательствомъ, въ родѣ: дуракъ, скотина, чортъ.

„Вѣрно, вышла какая-нибудь путаница или билеты еще не готовы“, подумалъ онъ окончательно, и рѣшилъ отправиться въ клубъ, гдѣ въ тотъ вечеръ былъ спектакль, съ участіемъ Фанни Юрьевны.

Когда, допущенный въ уборную, нотаріусъ изложилъ артисткѣ свое недоумѣніе, то Фанни Юрьевна стала втупикъ. Фихтоша у нея былъ какъ разъ въ условленный часъ и взялъ билеты для доставки Ивану Ѳеогностовичу. Куда жъ онъ могъ пропасть?

„Явно Агаѳоновы штуки“, подумалъ Подлещиковъ,— „завтра же прогоню“.

Фанни Юрьевна, какъ всѣ артисты Пьянаго Клуба въ затруднительныхъ обстоятельствахъ, обратилась къ суфлеру.

— Сейчасъ разыщу, со смущеніемъ отвѣчалъ Ивановъ.

Поспѣшно вошедъ въ режиссерскую, онъ разказалъ, что̀ узналъ, Алексѣю Ивановичу.

— Н-н-дэ! отвѣчалъ режиссеръ, посовѣтовавшись со своею глубокомысленною бородой.—Только, знаете, къ художественной части это вовсе не относится. Н-н-дэ!.. А участвуетъ онъ нынче?

— Какже, во второй піесѣ, въ роли Блинчикова.

— Н-н-дэ! Только, извините, вы вѣчно путаете, Павелъ Ивановичъ. Блинчиковъ вѣдь это въ новой піесѣ.

„Самъ-то ты, дуракъ, вѣчно путаешь!“ подумалъ суфлеръ, и отвѣчалъ:—Въ новой, Алексѣй Иванычъ, не Блинчиковъ, а Аладьинъ.

— Аладьинъ? Н-н-дэ!.. Ну, вотъ, придетъ и все разъяснится.

— А знаете, что я вамъ скажу? надумался Поплескинъ, присутствовавшій при разговорѣ.

— Что?

— Укралъ онъ ихъ-то, билеты-то, укралъ и пропилъ!

Суфлеръ съ испугомъ замахалъ на него руками.

— Вѣрно-съ. И только онъ явится, я ему сейчасъ фонтанъ изъ носу пущу, добавилъ комикъ, вспомнивъ давешняго „осла“.

— Ну, только этого скандала еще не доставало! вскричалъ суфлеръ.

— Какой скандалъ? гдѣ скандалъ? влетая въ режиссерскую, спросилъ Спѣхинъ.

Ему объяснили. Онъ только присвистнулъ въ отвѣтъ.

— Такъ вотъ онъ какой пакетъ съ билетами въ буфетѣ Семену Сидорову за три цѣлковыхъ заложилъ! А тотъ боится, не простая ли бумага напихана.

— Какъ за три?

— Очень просто: мнѣ буфетчикъ сказалъ.

— Я вѣдь говорилъ, что укралъ, съ торжествующимъ смѣхомъ возгласилъ комикъ.

— Вотъ что, Алексѣй Иванычъ, сказалъ суфлеръ,— дайте мнѣ, голубчикъ, три цѣлковыхъ, надо выручить...

— Вы какъ, Павелъ Иванычъ, у меня просите, какъ у режиссера или какъ у частнаго лица? освѣдомился Алексѣй Ивановичъ послѣ совѣщанія съ бородой.

— Не все ли равно?..

— Н-н-дэ!.. Только, изволите видѣть, какъ режиссеръ, я не могу, потому что это дѣло искусственной части не касается, но лично...

— Лично, лично! закричалъ суфлеръ.—А ты, Спѣхинъ, голубчикъ, сбѣгай и выручи пакетъ. Только скажи тамъ всѣмъ въ буфетѣ, чтобы никому ни полслова!.. А то срамъ на всю труппу!.. И пристращай, что старшинамъ будемъ жаловаться!..

Спѣхинъ отправился исполнять порученіе.

— А я ему все же фонтанъ, началъ было комикъ.

Но у режиссера лицо вдругъ точно одервенѣло,— что означало, что онъ намѣревается говорить въ качествѣ начальства.

— Вы, Василій Васильевичъ, въ первой піесѣ играете? спросилъ онъ.

— Въ первой, Алексѣй Ивановичъ.

— Пора бы и приготовиться, деревяннымъ голосомъ произнесъ режиссеръ.

— Да вѣдь у меня, Алексѣй Ивановичъ, гримировочка самая пустая и притомъ... сталъ было оправды-

ваться Поплескинъ, но не договорилъ и бѣжалъ отъ деревяннаго режиссерскаго взгляда.

Пакетъ былъ вскорѣ принесенъ и доставленъ Фанни Юрьевнѣ. Суфлеръ при этомъ присочинилъ, будто Сосногоровъ запамятовалъ адресъ Ивана Ѳеогностовича, долго искалъ его, а когда нашелъ, тотъ уже уѣхалъ.

„Ну, Агаѳонъ, счастливъ твой Богъ!“ подумалъ нотаріусъ.

Когда Ивановъ воротился въ режиссерскую, тамъ сидѣлъ Фихтошка.

— Ты что же это надѣлалъ? набросился на него суфлеръ.—Тебѣ билеты дали, чтобъ ты къ Подлещикову отнесъ, а ты ихъ въ буфетѣ заложилъ?

— Что-жь у нея трехъ рублей, что ли, нѣтъ, чтобъ выкупить? съ негодованіемъ отозвался Фихтошка.

— Да неужто ты, ослопятина, не понимаешь...

— Что-жь, когда мнѣ до зарѣзу нужно было...

— Ахъ, скотина! Да ты лучше бы у того же Подлещикова выклянчилъ, благо тебѣ этому не учиться стать. А тутъ скандалъ, человѣкъ пріѣхалъ, говоритъ билетовъ нѣтъ!

— А онъ зачѣмъ такихъ халуевъ держитъ? еще съ большимъ негодованіемъ возразилъ Карлъ Емельяновичъ.—Я ему вѣжливо, а онъ за мѣсто того въ морду наровитъ!

— Такъ тебя еще и вздули, вдобавокъ!

— Гдѣ вздули! самъ по мордѣ хватилъ...

— Та-та! сказалъ Спѣхинъ,—глядите, что у него на пальто-то. Начиная съ шиворота вся спина какъ есть въ грязи и какъ-разъ точно грязной метлой хвачено, такъ она вся и обозначилась.

— Что ты врешь! злобно буркнулъ Фихтошка. — Просто оступился, а тутъ дворникъ тротуаръ мелъ.

— А палецъ-то зачѣмъ тряпицей обмотанъ?

— Ну, и палецъ зашибъ.

— Такъ и есть, что вздули! всплеснувъ руками, сказалъ суфлеръ. — Ну, можно ли такую дрянь въ труппѣ держать? Скажите сами, Алексѣй Иванычъ!

— Ну, вотъ! что я такое сдѣлалъ! Вотъ еслибъ я взялъ да билеты,—хе, хе!—барышникамъ продалъ, а вѣдь ихъ тамъ 25 штукъ и все въ первыхъ рядахъ, — хе, хе! — Навѣрно бы уголъ дали. Тогда бы ей,—хе, хе!—не три, а пятьдесятъ рублей заплатить пришлось.

Въ голосѣ Фихтошки, когда онъ говорилъ это, какъ бы слышалось сожалѣніе и упрекъ самому себѣ за то, что такая благая мысль слишкомъ поздно пришла ему въ голову.

— Вы слышите, Алексѣй Ивановичъ! закричалъ суфлеръ.

Режиссеръ мгновенно одервенѣлъ.

— Видите. г. Сосногоровъ, безучастнымъ тономъ сказалъ онъ, глядя на часы,—если вы къ выходу опоздаете, то я васъ оштрафую.

— Спасибо, Алексѣй Иванычъ; спасибо, голубчикъ. Только вы одни за меня всегда заступаетесь.

И признательно пожавъ руку режиссеру, Карлъ Емельяновичъ удалился.

Получивъ билеты, Иванъ Ѳеогностовичъ заторопился было къ Немыкину, но Фанни Юрьевна спросила его, видѣлъ ли онъ ее въ одноактной комедіи, которая идетъ сегодня второй піесой. Подлещиковъ отвѣчалъ, что хорошенько не припомнитъ.

— Въ такомъ случаѣ, значитъ, не видали... Это очень хорошенькая піеска, съ французскаго... Вы знаете, я никогда не хвастаю, но право же эта роль у меня удачно выходитъ. И всегда съ успѣхомъ.

— Я, конечно, остался бы съ величайшимъ удовольствіемъ, но боюсь, не опоздать бы къ Немыкину...

— Мы кончимъ въ половинѣ десятаго... Или къ нему ужь будетъ поздно?

— Ничуть.

Иванъ Ѳеогностовичъ остался и былъ настолько догадливъ, что послалъ за букетомъ. Фанни Юрьевна восхитилась его деликатностью. И кто не согласится съ артисткой, что поднести букетъ послѣ небольшой, но удачной роли, въ особенности въ тотъ день, какъ выходитъ бенефисная афиша,—поступокъ въ высшей степени галантный?

Піеса, благодаря долгимъ въ нашихъ театрахъ антрактамъ, основаннымъ на мудромъ правилѣ, что надо же дать поторговать и буфету, кончилась въ одиннадцать безъ двадцати минутъ. Иванъ Ѳеогностовичъ, забѣжавъ на минутку за кулисы, поспѣшилъ къ Немыкину.

Когда малый въ поддевкѣ отворилъ ему дверь въ капище *Русскаго Добра*, оттуда на улицу вырвались разнообразные вскрики, взвизги, шумы и гамы; словомъ то, что кратко обозначается именемъ кагала. Тѣсная передняя походила на лавку старьевщика; она до непроходимости была завѣшана по стѣнамъ и завалена по окнамъ, столамъ, стульямъ и полу всякаго вида и званія верхнимъ платьемъ, шапками, картузами, шляпами и калошами. Сквозь затворенныя двери долетали особенно рѣзкіе крики.

— Я вамъ говорю, что онъ сикофантъ, доносчикъ, что онъ погубилъ сотни людей!..

— А я вамъ говорю, что это вздоръ...

— Нѣтъ, не вздоръ, а факты и притомъ самые гнусные...

— Но вы не докажете...

— А я вамъ докажу, что докажу!

Двѣ довольно просторныя, но невысокія комнаты были биткомъ набиты народомъ. Надъ копнами растрепанныхъ волосъ, надъ подстриженными лужками немногихъ убранныхъ головъ, надъ лысыми прогалинами и зеркальными плѣшинами, точно надъ лѣснымъ пожарищемъ, густо стлался табачный дымъ. Въ рѣчахъ и жестахъ чувствовалось не то буйство, не то опьянѣніе, отнюдь, впрочемъ, не винное: эти господа были просто въ нѣкоторомъ духовномъ азартѣ, въ обуяніи отъ своихъ собственныхъ мыслей, въ задорѣ отъ своихъ крикливыхъ словъ. Авторъ, буде понадобится, готовъ принять присягу, что никто изъ нихъ и капли не выпилъ; правда, на чайномъ подносѣ стоялъ пузатый графинчикъ съ ромомъ, но онъ былъ опорожненъ всего до половины, и притомъ не прямыми участниками литературнаго шабаша, а личными знакомыми Немыкина, большею частью старичками, присутствовавшими въ качествѣ зрителей. Эти старички раскраснѣлись и весело улыбались, но не столько отъ тѣхъ немногихъ капель рома, которыя попали въ ихъ желудки, сколько отъ жары и пріятнаго сознанія, что они еще не вовсе оглохли и могутъ слышать даже не громкій, какъ имъ казалось, разговоръ.

Исчислить всѣ славы, знаменитости, именитости, извѣстности надежды, посредственности и нахальства,

присутствовавшія на вечерѣ у Немыкина, не представляется никакой возможности. Довольно, если мы отмѣтимъ одну десятую. Тутъ былъ нашъ знаменитый и маститый писатель Вохинъ, обладавшій весьма почтенною и окладистою бородой, сквозь которую, при внимательномъ разглядываніи, страннымъ образомъ проступали черты плутоватаго и съ недѣлю небрившагося подъячаго былыхъ временъ. Желающимъ убѣдиться въ возможности подобнаго явленія авторъ совѣтуетъ заглянуть хотя бы въ консисторію подъ предлогомъ справки, какія нынче стоятъ цѣны на разводы: тамъ такихъ физіогномій не оберешься. Тутъ былъ другой писатель помоложе и не столь знаменитый, Неупокоевъ, не любимый своими собратьями не столько за талантливость (что̀ не рѣдкость) сколько за прямой и откровенный нравъ (что̀ встрѣчается гораздо рѣже). Тутъ былъ дюжій и рослый профессоръ Колохматовъ, славный энциклопедистъ, знавшій, кажется, все на свѣтѣ, кромѣ предмета, который читалъ въ университетѣ. Тутъ былъ гнусный снаружи и внутри, маленькій и тщедушный Втулкинъ, катавшій въ литературѣ по всѣмъ по тремъ, всюду втиравшійся, сотрудничавшій во всѣхъ петербургскихъ и московскихъ газетахъ и журналахъ, самолюбивый до-нельзя, не прощавшій никому, кто хоть разъ, даже неумышленно, наступилъ ему на мозоль; главнѣйшей цѣлью его писаній было болѣе или менѣе острое уязвленіе мимоходомъ своихъ многочисленныхъ мнимыхъ враговъ. Тутъ былъ сладкорѣчивый и медоточивый статистикъ Кассандринъ, про котораго поклонники говорили будто его сладость горше полыни и медъ его устъ не пчелиный, а осиный, хотя собственно всѣ его разглагольствованія отзывались безобидной болтов-

ней. Тутъ былъ поэтъ Ядринцевъ, лѣтъ тридцать назадъ осмѣянный всѣми журналами за нелѣпые стихи; теперь онъ вздумалъ тряхнуть стариной, напомнить о себѣ и жилъ надеждой на помѣщеніе двухъ, трехъ стихотвореній въ *Русскомъ Добрѣ*.

Тутъ были промышленники, мѣтившіе въ литераторы, и литераторы, смотрѣвшіе на свое дѣло, какъ на промыселъ; извѣстные профессора, давно сами забывшіе, чѣмъ собственно они заслужили извѣстность; тутъ была всякая литературная и ученая залежь и заваль, втайнѣ злобствовавшая отчего ее доселѣ за выслугу лѣтъ не произвели въ генералы отъ науки или беллетристики. Тутъ были милые старички, застывшіе лѣтъ двадцать назадъ, наивные, какъ институтки, судившіе о всѣхъ жизненныхъ явленіяхъ съ тѣмъ же безучастнымъ восторгомъ, какъ и о планетотрясеніяхъ на Юпитерѣ. Тутъ былъ петербуржецъ, готовый восхищаться всѣмъ московскимъ отъ пригорѣлаго пирога до плохо-разыгранной піесы; тутъ былъ петербуржецъ, смотрѣвшій на все московское подозрительно, въ надеждѣ выудить курьезъ, и открывавшій азіатское вліяніе преимущественно въ церквахъ и башняхъ чисто-итальянскаго стиля. Тутъ былъ кругленькій москвичъ, похожій на печеное яблоко, который докладывалъ всѣмъ желавшимъ и нежелавшимъ его слушать, что всего только разъ, слава Богу, былъ въ Петербургѣ да и то не полныя сутки; при этомъ онъ осѣнялъ себя крестнымъ знаменіемъ.

— Нельзя говорить такъ, вообще: писатель, возглашалъ отставной полковникъ Шубартъ,—я самъ писатель, но какой? По особому повелѣнію. Я обдумалъ вопросъ, написалъ, помѣстилъ въ *Le Nord*; меня про-

чли, одобрили, призвали и сказали: „пиши!“ И вотъ я пишу.

Статистикъ Кассандринъ услаждалъ добровольныхъ слушателей точнымъ, до одной милліонной, вычисленіемъ, сколько бы тысячъ верстъ желѣзныхъ дорогъ можно бы выстроить на милліарды рублей, издержанныхъ на освобожденіе болгаръ, и насколько бы вызвысилось благосостояніе страны, еслибъ сотни тысячъ убитыхъ и оставшихся въ живыхъ солдатъ вмѣсто войны занялись какой-нибудь прибыльною отраслью промышленности. Артистъ Переверзевъ, провѣдавъ, что театральную хронику въ *Русскомъ Добрѣ*, по всей вѣроятности, будетъ вести Втулкинъ, шпиговалъ его глубокомысленными разсужденіями о возвышенныхъ цѣляхъ драматическаго искусства вообще и своей драмы *Дочь и капиталъ* въ особенности. Двое неслужащихъ дворянъ, встрѣтясь послѣ долгой разлуки, присѣли къ окну и отводили душу бесѣдой на французскомъ языкѣ. Артистъ Черезовъ, собравъ кружокъ молодыхъ людей, повѣствовалъ имъ о строгостяхъ и чудачествахъ нѣкоего губернатора, который ревновалъ его къ весьма недурненькой, хотя слегка и раскосенькой артисткѣ Сониной. Сезонъ кончался, и артистъ, и артистка оба отправлялись въ Москву на актерскую ярмарку. Губернаторъ, чтобъ наказать волокиту, вздумалъ было засадить Черезова за противозаконное держаніе у себя запрещенныхъ книжекъ. Не желая затѣвать скандала въ городѣ, онъ поручилъ исправнику остановить артиста на первой, или второй станціи и строго перерыть у него всѣ чемоданы. Чемоданы были, перерыты но въ нихъ ничего запретнаго не оказалось, и исправнику пришлось извиниться предъ артистомъ. Соль анекдота заключалась въ

томъ, что едва окончился обыскъ, какъ къ станціи въ новенькомъ, подаренномъ губернаторомъ возкѣ, подкатила Сонина, у которой въ чемоданѣ и были спрятаны искомыя книжки. Черезовъ пересѣлъ къ ней, да и былъ таковъ.

— Нѣтъ, вы ужь не очень-то расхваливайте новые суды, сказалъ Вохинъ, затягиваясь папиросой maryland doux,—мы вѣдь еще не забыли Вѣрочки Засуличъ.,.

— Но кто же болѣе всего виноватъ въ этомъ дѣлѣ, какъ не само правительство!.. съ крикомъ возразилъ публицистъ Кулаевъ.

— Именно прав-вительство!.. привизгнулъ Пѣшкинъ.

— Позвольте, однако... Ну, да вотъ спросите хоть его, сказалъ Вохинъ, указывая на проходившаго Неупокоева.

— О чемъ это? отозвался Неупокоевъ.

— Да вотъ, видите, все споримъ насчетъ новыхъ судовъ, отвѣчалъ Вохинъ, сплевывая въ сторону, впрочемъ, отнюдь не изъ презрѣнія къ суду, а единственно вслѣдствіе скверной привычки сплевывать послѣ каждой затяжки легкимъ и вонючимъ табакомъ.

— Что жь, они хуже, что ли, старыхъ? вызывающимъ тономъ вскрикнулъ публицистъ.

— А Богъ ихъ знаетъ: я ни тѣми, ни другими не пользовался, отвѣчалъ Неупокоевъ.—Я только знаю, что судъ присяжныхъ, къ сожалѣнію, взятъ не изъ первоисточника, а во французской передѣлкѣ, а Французы, какъ извѣстно, и въ искусствѣ, и въ учрежденіяхъ ужасно боятся жизни и вѣчно заботятся только объ удобствѣ условныхъ формъ. Англійское единогласіе было бы намъ больше къ лицу, потому что на

немъ основывается и нашъ міръ. И оно до того народно, что даже Петръ не смѣлъ посягнуть на него и ввелъ его въ сенатъ. Но теперь... теперь nous avons changé tout cela. Оттого и реформа вышла не жизненной, а канцелярской, чисто формальной. Вдобавокъ, при передѣлкѣ съ французскаго, мы поступили на манеръ нашихъ драматурговъ съ заимствованными сюжетами и juge d'instruction перевели судебнымъ слѣдователемъ, опредѣливъ эту важную должность въ удѣлъ неопытнымъ молокососамъ и неискательнымъ бездарностямъ.

— Вотъ вы съ какой точки зрѣнія!.. изумился публицистъ, всю жизнь строчившій на тему: что̀ лучше, и что̀ хуже?

— Но, впрочемъ, позвольте, продолжалъ онъ.— Французскіе порядки, по которымъ слѣдуетъ быть раньше прокуроромъ, а потомъ слѣдственнымъ судьей, у насъ рѣшительно не мыслимы. Пришлось бы отправляться въ какой-нибудь Паревокакшайскъ именно въ то время, какъ дѣти начинаютъ подростать, а гдѣ ихъ тамъ учить?..

— Я говорилъ о правосудіи, а не о чиновничьихъ удобствахъ, возразилъ Неупокоевъ.

— И всѣ-то реформы таковы, подхватилъ Вохинъ, въ надеждѣ на дальнѣйшую поддержку Неупокоева,— возьмите хоть эмансипацію... Спросите у мужиковъ...

— Ну, сколько ихъ ни спрашивай, а мужички врядъ ли запросятся къ вамъ обратно, смѣясь сказалъ Неупокоевъ,—и притомъ освобожденіе милліоновъ...

И, не договоривъ, онъ быстро отошелъ, заслышавъ въ сторонѣ разговоръ, казавшійся ему болѣе интереснымъ.

„Ишь, нѣтъ, чтобъ поддержать старика!“ съ неудовольствіемъ подумалъ Вохинъ. — „Пародоксальный умъ“!

— А все же, обратился къ Вохину публицистъ,— въ томъ случаѣ, о которомъ мы давеча говорили, какъ и во всѣхъ недостаткахъ реформъ, виновато одно правительство.

— Именно, прав-вительство! снова взвизгнулъ Пѣшкинъ.

— Да, конечно, правительство поступило неблагоразумно, запѣлъ, подошедъ къ нимъ, Кассандринъ, вполнѣ увѣренный, что всѣ именно говорятъ о томъ, что̀ его занимаетъ,—истративъ милліоны рублей, хотя бы и кредитныхъ, и сотни тысячъ солдатъ...

Сидѣвшій противъ Вохина приглуховатый отставной откупщикъ Бердяевъ почелъ долгомъ вставить и свое многоопытное и строго-обдуманное слово.

— Я слышу, вы изволите говорить насчетъ правительства, обращаясь къ статистику, заговорилъ онъ скрипучимъ, какъ не мазанное колесо, голосомъ,—но, господа!.. повѣрьте моей опытности, что главный недостатокъ нашего правительства состоитъ именно въ отсутствіи системы, въ неимѣніи строго-обдуманной программы, какъ я доказалъ, еще семь лѣтъ назадъ, въ моей изданной за границей брошюрѣ. Да-съ, господа оттого-то общество колеблется и не можетъ разобраться во лжи, и готово увлекаться крайними, даже анархическими ученіями, между тѣмъ, какъ въ моей брошюрѣ, установлена система и предложена программа...

И Бердяевъ сталъ развивать свои всему свѣту извѣстныя мысли, которыя онъ съ неизмѣннымъ постоянствомъ уже много лѣтъ излагалъ по понедѣльникамъ

у Льва Пафнутьевича Курощупова, по вторникамъ у себя дома, по средамъ въ клубѣ, по четвергамъ на обѣдахъ у своей тещи, по пятницамъ на вечерахъ у князя, по субботамъ у Немыкина; только по воскресеньямъ онъ ихъ нигдѣ не излагалъ, но зато онѣ составляли предметъ его благоговѣйныхъ размышленій во время слушанія литургіи въ приходской церкви.

— Что это Бердяевъ въ Нѣмцы, что ли, на старости лѣтъ наровитъ, что сталъ такимъ поклонникомъ системы? шепнулъ Кулаевъ Вохину.

— Нѣтъ, ужь онъ давно, еще съ тѣхъ поръ, какъ нажился, благодаря акцизно-откупной системѣ, съ ехидною усмѣшкой отвѣчалъ Вохинъ.

Небезызвѣстное читателю будущее свѣтило науки, Полосатовъ, почтительнымъ тономъ докладывалъ о новомъ, порядочно нашумѣвшемъ сенсаціонномъ нѣмецкомъ романѣ профессору Колохматову не безъ надежды, что тотъ въ нужную минуту поддержитъ его своимъ зычнымъ голосомъ въ университетскомъ совѣтѣ.

— Такъ онъ, говорите вы, сказалъ Колохматовъ,— выставилъ и Наполеона, и Бисмарка?

— Да, и того и другаго, и притомъ оттѣнилъ съ разныхъ сторонъ, отвѣчалъ Полосатовъ.

— Что жь онъ пишетъ, напримѣръ, о Наполеонѣ?

— Онъ, знаете, выставляетъ его и, какъ кажется, вполнѣ справедливо человѣкомъ, обуреваемымъ мистическими идеями, напримѣръ, идеей о романскомъ единствѣ, или...

— Вретъ! обрѣзалъ Колохматовъ.—Наполеонишка всегда былъ просто каторжникомъ, а Бисмаркъ—чистѣйшая нѣмецкая скотина!

— А какъ вамъ, Семенъ Григорьичъ, вчерашній

юбилейный обѣдъ понравился? подходя спросилъ его Втулкинъ.

— Обѣдъ? Помилуйте, да развѣ это обѣдъ? Терпѣть не могу этихъ французскихъ финьзербовъ, съ нихъ только проголодаешься!.. Я какъ пріѣхалъ домой, первымъ дѣломъ спросилъ жену: нѣтъ ли чего посущественнѣе. По счастью, оказались суточные щи да полгоршка каши; кашу я велѣлъ съ лукомъ на сковородѣ поджарить, да какъ тарелочки двѣ опорожнилъ, немного очувствовался.

Любопытно было не то, что̀ говорилъ Колохматовъ; любопытно было, что никто не замѣчалъ сходства почтеннаго профессора съ Собакевичемъ.

— Эхъ, господа, въ другомъ кружкѣ говорилъ Неупокоевъ,—странно мнѣ слышать, какъ всѣ вы, чуть не ежеминутно, съ восторгомъ кричите: народъ, народъ!

— Что̀ жь, ужь не хотите ли вы намъ крикнуть на петербургскій манеръ: „не разнуздывайте звѣря?“ спросилъ кто-то.

— Ничуть. Но возьмемъ... да вотъ сейчасъ кто-то сказалъ: „а знаете ли, чѣмъ силенъ народъ?—народъ силенъ своею вѣрой!“... А представляемъ ли мы себѣ ясно, въ конкретѣ такъ-сказать, что̀ такое вѣра въ народѣ. Видите ли, одинъ молодой священникъ разказывалъ мнѣ, что когда онъ въ Великомъ посту выходитъ съ дарами,—„такъ, говоритъ, страшно мнѣ просто становится отъ этихъ тысячи устремленныхъ на меня, горящихъ несокрушимою вѣрой, глазъ“... А скажите сами, можетъ ли нашъ братъ, интеллигентъ, не говорю почувствовать, а просто понять, или хотя бы отвлеченно представить себѣ эту бездну вѣры съ на-

шимъ, не спорю, острымъ, но слишкомъ склоннымъ къ осужденію и отрицанію умомъ, съ нашимъ не въ мѣру чувствительнымъ, но не выдержаннымъ и не стойкимъ сердцемъ, съ нашимъ, наконецъ, притупленнымъ воображеніемъ?

— Да вы на чемъ основываете мнѣніе о религіозности народа? крикнулъ ему черезъ всю комнату Калохматовъ, не знавшій хорошенько, о чемъ собственно идетъ рѣчь.—Ужь не на томъ ли, что народъ любитъ читать Четь-Минеи?

— Положимте, что такъ. А что?

— А знаете ли вы, почему онъ любитъ ихъ читать?

— Знаю, по крайней мѣрѣ, что вы мнѣ отвѣтите на этотъ вопросъ, Семенъ Григорьевичъ. Вы скажете, что въ нихъ много романтически-интересныхъ исторій, которыя, именно благодаря своей разнообразной занимательности, подходятъ подъ вкусъ простыхъ людей...

Но Семенъ Григорьевичъ, видя, что ему не удалось блеснуть отвѣтомъ, уже не слушалъ Неупокоева и умышленно громко заспорилъ съ Полосатовымъ совсѣмъ о другомъ.

— И вѣдь правда, продолжалъ Неупокоевъ, не обращаясь ни къ кому въ особенности, а скорѣе будто разсуждая съ самимъ съ собою,—на поверхностный взглядъ это не болѣе, какъ сборникъ занимательныхъ разказовъ, часто фантастическихъ и маловѣроятныхъ, но вглядитесь пристальнѣе, и вы увидите, что сквозь всѣ эти сказанія проходитъ одна мысль, что всѣ они связаны однимъ живымъ чувствомъ, а именно, что нѣтъ такого состоянія, такихъ житейскихъ обстоятельствъ, такихъ препятствій, соблазновъ, или страстей, при на-

личности которыхъ въ концѣ-концовъ человѣкъ, если только искренне того захочетъ, не могъ бы угодить Богу и спасти свою душу. Да, удивительная книга эти Минеи-Четьи, и она не можетъ не дѣйствовать воспитательно.

Неупокоевъ замолчалъ и задумался и, съ тѣмъ вмѣстѣ, точно по сигналу, во всей залѣ, гдѣ онъ сидѣлъ, на время водворилась сравнительная тишина. И въ это мгновенье какъ-разъ, въ сосѣдней комнатѣ послышался шумъ, точно кто-то, порывисто вскочивъ со стула, съ силой отодвинулъ его, и слѣдомъ раздался чей-то истеричный и визгливый голосъ.

— Нѣтъ, нѣтъ! вопилъ онъ.—Наполеонъ, что бы вы о немъ ни говорили и какъ бы вы его ни осуждали, правъ и тысячу разъ правъ! Принципъ національности великое дѣло. Отнынѣ ни одна народность, какъ бы мала и незначительна она ни была, не погибнетъ, а разовьется самостоятельно и достигнетъ полнаго и самаго высокаго культурнаго развитія. Да, да, смѣйтесь себѣ, хихикайте сколько угодно! а не пройдетъ двадцати лѣтъ, какъ вы услышите объ остяцкихъ ученыхъ, черемисскихъ писателяхъ и мордовскихъ художникахъ. Да еще увидите, какъ мы, инородцы, васъ обгонимъ!

Иванъ Ѳеогностовичъ, какъ вошелъ, первымъ дѣломъ отыскалъ Немыкина, но редакторъ до того былъ увлеченъ бесѣдой съ графомъ Ворворищевымъ, что врядъ ли замѣтилъ появленіе нотаріуса. Подлещиковъ побродилъ по комнатамъ, прислушиваясь къ разговорамъ, только что переданнымъ нами съ буквальною точностью. Ни одинъ предметъ разговора его не занималъ, и онъ напрасно справлялся у того, другаго и третьяго объ единственномъ возбуждавшемъ его любо-

знательность вопросѣ. Никто, повидимому, особенно не интересовался тѣмъ, кто именно будетъ писать о театрѣ въ *Русскомъ Добрѣ*. Только Никифоръ Прохоровичъ указалъ ему на Втулкина, какъ на самаго вѣроятнаго кандидата, и даже предложилъ Ивану Ѳеогностовичу познакомить его съ рецензентомъ, но нотаріусъ, зная печальную репутацію Втулкина, отклонилъ на время эту честь. Побродивъ до устали по обѣимъ комнатамъ, Подлещиковъ снова обратилъ свои взоры на Немыкина. Редакторъ попрежнему бесѣдовалъ съ графомъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ вглядѣлся въ графа и замѣтилъ въ немъ что-то новое, невиданное. Дѣло въ томъ, что графъ, по приказанію тетушки, съѣздилъ на три дня въ Петербургъ, чтобы, какъ говорится, напомнить о себѣ, или, попросту, поторчать въ высокопоставленныхъ пріемныхъ. Въ Петербургѣ графа пообстригли, побрили, подновили, пообчистили и сбавили съ него той распущенности, которую онъ пріобрѣлъ во время полугоднаго привольнаго житья въ Москвѣ. Благодаря умѣнью обращать все въ свою пользу, графъ весьма важно отзывался о своей поѣздкѣ въ резиденцію, утверждая будто его вызывали для переговоровъ о мѣстѣ, тщательно, впрочемъ, скрывая, о какомъ именно.

Иванъ Ѳеогностовичъ, убѣдясь, что графъ неистощимъ въ разказахъ о петербургскихъ новостяхъ, положилъ во что бы то ни стало, отвлечь отъ него Немыкина и рѣшительнымъ шагомъ подошелъ къ нимъ.

Графъ въ данную минуту, предъ довольно многочисленнымъ кружкомъ слушателей, ораторствовалъ на политическія темы, подслушанныя имъ въ петербургскихъ пріемныхъ и кабинетахъ.

— Нынче, говорилъ онъ, всѣ кричатъ:—Законъ, законъ! Законъ, законность! c'est le mot d'ordre нашихъ либераловъ. Прекрасно, я согласенъ, я самъ благоговѣю передъ закономъ, но... но пора же сознаться, что законъ не болѣе, какъ мертвая буква и что наши русскіе законы писались не Богъ-вѣсть какими Юстиніанами. И не правда ли, какъ часто именно наши поклонники законности и жалуются на наши законы!.. Это вошло въ правило... Enfin, еще Искандеръ сказалъ, что русскіе законы тѣмъ только и хороши, что отъ нихъ можно откупиться. Но я васъ спрашиваю, что̀ станетъ съ ними дѣлать администраторъ, который вовсе не расположенъ брать взятки?.. Наконецъ, у насъ администратора представляютъ себѣ какою-то машиной, но вѣдь онъ живой человѣкъ, enfin личность, у него есть и умъ, и умѣнье, и находчивость, или, какъ нынче говорятъ, творческія способности. Но какъ же въ немъ проявится все это, если онъ связанъ по рукамъ и по ногамъ закономъ? А до чего это простирается, довольно вспомнить, что выраженіе „положеніе хуже губернаторскаго“ стало пословицей. Понятно, ему надо дать просторъ, власть, enfin оказать довѣріе. Именно довѣріе, c'est le mot. Тогда онъ не останется простымъ зрителемъ, слѣпымъ и глухимъ, а придумаетъ, распорядится, сдѣлаетъ. Это вовсе не значитъ возводить произволъ въ принципъ, а просто... просто... Графъ слегка задумался, припоминая слышанное имъ въ Петербургѣ выраженіе.—А просто, продолжалъ онъ,— внести жизнь въ нашу косную жизнь. Cela est clair et net... n'est-ce pas?

Немыкинъ что-то хотѣлъ возразить, но Подлещиковъ предупредилъ его.

— Я согласенъ, сказалъ онъ,—что такая освобож-

денная отъ закона власть окажется весьма удобною для правителей, но каково-то будетъ управляемымъ?

— Ah, ah! воскликнулъ графъ,—monsieur est avocat...

— Нотаріусъ Подлещиковъ, къ услугамъ вашего сіятельства, съ иронически-почтительнымъ поклономъ отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

Слушатели усмѣхнулись, хотя и сдержанно, но все же замѣтно, и графъ нѣсколько сконфузился.

— Виноватъ, я васъ не узналъ, сказалъ онъ.— Я, впрочемъ, смѣю васъ увѣрить, что вовсе и не думалъ намекать на вашу профессію. Я просто хотѣлъ сказать, что по воспитанію вы юристъ...

— Именно, юристъ, и отнюдь не желаю быть правовѣдомъ, сострилъ Подлещиковъ.

Слѣдомъ онъ обратился къ Немыкину и ловко отвелъ его въ сторону, чтобы вручить ему билеты и попросить его почтить личнымъ присутствіемъ бенефисъ г-жи Хотьминской-Горобецъ.

Было время, когда романисты, описывая легкіе ошибки соперниковъ, въ родѣ происшедшей между графомъ и нотаріусомъ, заставляли ихъ препираться въ присутствіи молоденькой барышни или страстной дамы; кого увѣнчивала эта особа, тотъ и былъ правъ, или, по меньшей мѣрѣ, fort à la mode. Авторъ весьма сожалѣетъ, что, придерживаясь дѣйствительности, никакъ не могъ слѣдовать такому равно удобному и для повѣствователя, и для читателя методу. Изъ этого, впрочемъ, не слѣдуетъ заключать, чтобы при описанномъ умственномъ турнирѣ не присутствовала, хотя мысленно, нѣкая Клотильда, изъ рукъ которой соперники мечтали получить награду. Оба, и графъ, и нотаріусъ, воротились домой въ самомъ злобномъ другъ

противъ друга расположеніи и, посылая взаимно одинъ другаго ко всѣмъ чертямъ, чуть ли не въ одинъ и тотъ-мигъ вспомнили о Фанни Юрьевнѣ. И оба поняли, что имъ, начиная съ бенефиса, не разъ еще придется помѣриться силами никакъ не изъ-за высказанныхъ, въ сущности безобидныхъ, мнѣній, а именно изъ-за обладанія закулисною Клотильдой.

XV.

Торжество искусства.

Hae tibi erunt artes.
Virg. Mar. «Aeneid»., VI, 853.

Въ день бенефиса Фанни Юрьевны Андрей Николаевичъ рѣшилъ пообѣдать раньше, чтобы затѣмъ хорошенько выспаться и быть въ силахъ высидѣть спектакль, который, дай-Богъ, если кончится въ половинѣ втораго. Согласно съ этимъ распорядилась и Лидія Антоновна, и въ виду того, что за обѣдомъ предполагались блины, просила Андрюшу пожалуста не опоздать. Сама Лидія Антоновна не располагала ѣхать въ клубъ; она боялась шумныхъ бенефисныхъ спектаклей, отъ которыхъ у нея разбаливалась голова.

Утромъ Андрей Николаевичъ отправился по дѣламъ и, покончивъ ихъ часами двумя раньше, чѣмъ предполагалъ, возвращался домой въ хвастливомъ настроеніи, проистекавшемъ именно отъ сознанія своей дѣловитой умѣлости. У Охотнаго ряда онъ встрѣтился съ Черезовымъ и Ивановымъ, которые зазвали его посидѣть въ трактиръ. Андрей Николаевичъ посомнѣвался было, идти ли, но сообразивъ, что оба они заняты нынче вече-

ромъ, рѣшилъ, что опасности закутиться отнюдь не предвидится. Дѣйствительно, закуска была трезвенная и вся бѣда оказалась въ томъ, что проголодавшись отъ долгой ходьбы пѣшкомъ, Безпаловъ приналегъ на блины, и увлекшись разговоромъ о предстоявшемъ спектаклѣ и вѣроятностяхъ его успѣха, запоздалъ къ обѣду почти на три четверти часа.

— Ну, вотъ, Андрюша! А еще самъ просилъ не запоздать обѣдомъ! упрекнула его Лидія Антоновна.— И блины перестоятся! И гдѣ ты только былъ!

— Замѣшкался немного.

— А я увѣрена, что назавтракался, и вдобавокъ съ актерами...

Андрей Николаевичъ, изъ боязни огорчить жену, всемѣрно отрекся и отъ завтрака, и отъ актеровъ.

Сѣли обѣдать. Хозяину волей-неволей приходилось сдвоить блины. Въ началѣ онъ надѣялся, что блины дѣйствительно перестоялись и жена объявитъ объ ихъ неудачѣ,—что, конечно, поведетъ къ нѣкоторой головомойкѣ, но за то избавитъ его отъ многоядѣнія.

— Ну, Ваня, гляди, присматривай за мною, шутя сказалъ онъ сыну,—какъ только замѣтишь, что у меня глаза пупомъ вонъ полѣзли, такъ и кричи: „будетъ, папа! брось блины“!

— Ахъ, какія глупости! улыбаясь и покачивая головой сказала Лидія Антоновна.

Оказалось, однако, что блины ни мало не перестоялись, а непредвидѣнное опозданіе Андрея Николаевича невольно способствовало тому, что они какъ разъ дошли, и Андрей Николаевичъ, начавшій жевать ихъ безъ аппетита, незамѣтно увлекся, забывъ о порціи уничтоженной у Егорова.

— Папа, папа! залазили, вдругъ закричалъ Ваня.

— Кто, гдѣ залазилъ? съ недоумѣніемъ спросилъ отецъ.

— Глаза у тебя, папа, залазили!

— Ай, ай! держи ихъ! закричалъ Андрей Николаевичъ, подставляя пригоршни, какъ бы ради того, чтобы подхватить падающіе глаза.

Дѣтскому смѣху не было конца, а Лидія Антоновна строго покачала головою, примолвивъ опять:

— Какія глупости!

За блинами послѣдовали налимья уха и жареная навага,—все любимыя кушанья Андрея Николаевича о чемъ Лидія Антоновна не приминула ему напомнить, и онъ поневолѣ долженъ былъ обнаружить аппетитъ. Отъ киселя хозяинъ отказался, и едва добредя до дивана, тяжело на него повалился, чувствуя, что переѣлъ.

Дрема грузно навалилась на него, и ему привидѣлся сонъ, какой возможенъ развѣ послѣ сдвоенія блиновъ.

Андрею Николаевичу снилось, будто онъ кутитъ съ актерами и что послѣ довольнаго возліянія, Фихтошка тащитъ всю компанію въ какой-то трактиръ, только не къ Бакастову, а гораздо грязнѣе. Трактиръ будто находится въ темномъ, сыромъ и вонючемъ подземельи, и когда Андрей Николаевичъ вздумалъ поглядѣть на своихъ состольниковъ, то оказалось, что никого изъ знакомыхъ актеровъ съ нимъ нѣтъ, а у него напротивъ и по бокамъ сидитъ по Фихтошкѣ. Такое обстоятельство нѣсколько озадачило Андрея Николаевича, и ему захотѣлось разсмотрѣть на одно ли лицо всѣ три Фихтошки, или же только похожи другъ на друга. Но когда онъ ихъ сталъ разглядывать, то оказалось, что

ни у одного Фихтошки лица въ прямомъ смыслѣ нѣтъ, а вмѣсто него появлялась, напримѣръ, широкая, быстро расползавшаяся улыбка, которая въ свою очередь смѣнялась то крючковатымъ, какъ у чорта, носомъ, то однимъ правымъ глазомъ, стремившимся вылѣзть пупомъ. Андрей Николаевичъ съ досадой отвернулъ лицо отъ Фихтошекъ и увидѣлъ, что за сосѣднимъ столомъ сидятъ двое старичковъ: одинъ благообразный, чисто выбритый и опрятно-одѣтый, а другой грязный, съ угреватымъ фіолетовымъ лицомъ. Чистенькій старичекъ всталъ и представилъ Андрею Николаевичу своего угреватаго товарища.

— Да-съ, погибъ, заговорилъ угреватый,—и погибъ единственно, можно сказать, за свою остроумную догадливость.

Андрей Николаевичъ освѣдомился, въ чемъ же она состояла.

— Извольте видѣть, сказалъ фіолетовый старичокъ,—служилъ я тогда въ Сиротскомъ судѣ, и одному купцу потребовалось выкрасть оттуда документикъ, исчезновеніе коего сулило ему сотни тысячъ. Онъ къ секретарю, но секретарь какъ заломилъ три тысячи, такъ и не спускалъ ни копейки. Съ полгода навѣдывался къ намъ купецъ, и хотя прибавлялъ, и до тысячи дошелъ, но все по напрасному. Пожалѣлъ я купца, и такъ-то мнѣ его жалко стало, такъ жалко, что не сумѣю вамъ и изъяснить. Вотъ разъ, когда секретаря въ присутствіи не было, отвелъ я его въ сторону и говорю: „могу я, говорю, ваше дѣльце оборудовать всего за три рубля“. — Какимъ, спрашиваетъ, образомъ? — „Это догадка моего остроумія и составляетъ его секретъ,“ отвѣчалъ я, „но буде не пожалѣете трехъ

рублей, то не сомнѣвайтесь въ успѣхѣ". Онъ, знаете, подумалъ, подумалъ да и полѣзъ въ карманъ. „Вотъ", говоритъ, „извольте, получите, а какъ исправите все, еще такой же суммы не пожалѣю". Я поблагодарилъ и попросилъ навѣдаться чрезъ недѣлю.

— И вотъ, послушайте, что онъ придумалъ! съ восторгомъ воскликнулъ чистенькій старичокъ.

— Пошелъ я въ лавочку, продолжалъ повѣствовать фіолетовый,— и купилъ сальную свѣчку, и на другой день выпросилъ у секретаря дѣло, якобы для справокъ, и въ тотъ самый документикъ, что совершалъ купца, обернулъ свѣчку поплотнѣе. Приходитъ черезъ недѣлю купецъ, и по моему наущенію представляетъ, якобы согласенъ на требуемую секретаремъ сумму, только проситъ еще разикъ предварительно взглянуть на документикъ для удостовѣренія, что онъ тотъ самый, который ему надобенъ. Лѣзетъ секретарь въ шкафъ, и видитъ, что все дѣло проѣдено крысами, а отъ документа и слѣда не осталось. Схватился онъ руками за голову, и съ досады зарыдалъ даже. Но тутъ же обратилъ на меня свои взоры, потому какъ я за недѣлю просилъ дѣло для справокъ...

— Чѣмъ же все кончилось? спросилъ Андрей Николаевичъ.

— Тѣмъ, что выгнали, и купецъ трехъ рублей не доплатилъ.

Въ это время снова выдвинулся впередъ чистенькій старичокъ, который на этотъ разъ, какъ ясно видѣлъ Андрей Николаевичъ, протолкался сквозь густую толпу. За нимъ шелъ офиціантъ въ бѣломъ галстухѣ и нитяныхъ перчаткахъ съ большимъ, густо уставленнымъ бокалами, подносомъ.

— Пожалуйте! воскликнулъ чистенькій старичокъ.

— Что это?

— За здоровье ихъ освободительницы.

— Какой освободительницы?

— Вѣрочки Засуличъ. Мы всегда въ этотъ день за ея здоровье пьемъ, сказалъ чистенькій, и видя нерѣшительность Андрея Николаевича, прибавилъ: — Не сомнѣвайтесь; я самъ тридцать лѣтъ при полиціи, по паспортной части, служилъ, и всѣ эти генералы у меня вотъ гдѣ, въ горбу, сидятъ.

Старичокъ поколотилъ себя по загривку. Тутъ всѣ Фихтошки, которыхъ уже оказалось не три, а триста тридцать три, вскрикнули *ура!* и Андрей Николаевичъ, взявъ бокалъ, отхлебнулъ вина. Никогда онъ не вкушалъ пойла болѣе отвратительнаго; ему показалось, что шампанское было точно кипяченое. Съ страстнымъ желаніемъ выплюнуть гадость, попавшую ему въ ротъ, онъ бросился сквозь толпу Фихтошекъ и неожиданно очутился въ комнатѣ Голубцова.

— Вставай, вставай, будилъ онъ его, — на бенефисъ опоздаешь.

Голубцовъ лѣниво протеръ глаза и спросилъ, въ чемъ дѣло.

— Да вставай же! Я сейчасъ сдѣлалъ величайшее свинство въ моей жизни: выпилъ съ полицейскими Фихтошками за здоровье Вѣрочки Засуличъ.

— Только-то? съ удивленіемъ сказалъ докторъ. — Ну, тебѣ, братъ, простительно, если ужь самъ графъ Путивцевъ, правда, въ италіянской оперѣ и на французскомъ языкѣ, а все же восхищался приговоромъ присяжныхъ по ея дѣлу.

— Напротивъ ему простительно, а не мнѣ. Я не

дальше, какъ вчера встрѣтилъ цѣлую компанію въ Славянскомъ Базарѣ за шампанскимъ. И знакомая дама подозвала меня, подала бокалъ и шепнула: „За Вѣрочку Засуличъ!“ а я ей отвѣчалъ умышленно громко: „извините, я еще шестой заповѣди не забылъ и за убійцъ не пью“. А сегодня самъ, и съ какою швалью вдобавокъ! Нѣтъ, докторъ, скажи: знаешь ты большее свинство, можешь привести примѣръ сильнѣйшаго скотѣнія?

— Знаю, спокойно отвѣчалъ докторъ,—видишь попалъ я какъ-то въ кутежную компанію въ трактиръ и, по обычаю, улизнулъ изъ нея потихоньку. И вотъ пробираюсь я вдоль корридора и замѣчаю, что дверь въ одинъ номерокъ отворена. Остановился я передъ нею, и самъ ужь не знаю въ силу какихъ побужденій, сталъ глядѣть въ комнату. И вижу: за уставленнымъ пустыми бутылками и тарелками столомъ сидитъ купецъ и голову свою повинную на столъ сложилъ, а подлѣ стоитъ половой. И тутъ купецъ съ трудомъ оторвалъ голову отъ стола и съ тоскою неизъяснимой взглянулъ на полового; а лицо у него блѣдное, истомленное и искаженное; ясно, что, какъ говорится, мутитъ его, бѣднягу, и жестоко.—Сударь, говоритъ ему половой,—вы бы себя облегчили... „Не могу“, отвѣчаетъ тотъ. — Право бы, сударь; только два пальчика извольте подальше въ ротъ сунуть, и сейчасъ... Купецъ на него какъ вскинется: „Да ты развѣ, подлецъ, не видѣлъ что̀ мнѣ подавалъ? иль не помнишь, какою икрой меня подчивалъ? Вѣдь за нея одну десять рублей плачено. А другія кушанья? А водки теперича и вина какія я потреблялъ? И все вѣдь дорогое самое...“ — Право бы, сударь... Тутъ купецъ со злостью

какъ хватитъ со всей силы ладонью самого себя по животу:—Вари, мерзавецъ, вари, подлецъ! Не даромъ же я въ тебя сто рублей всадилъ!?..—Вотъ это свинство, такъ свинство.

Тутъ яркій свѣтъ отъ лампы упалъ прямо въ глаза Андрею Николаевичу, и онъ ясно услышалъ голосъ будившей его Лидіи Антоновны.

— Да встанешь ли ты наконецъ, Андрюша, сердилась она,—я тебя ужь въ восьмой разъ бужу.

Андрей Николаевичъ, испуская разнообразныя междометія, какихъ не найдешь ни въ одной самой пространной грамматикѣ и для изображенія которыхъ не имѣется знаковъ даже въ нашей богатой азбукѣ, протеръ наконецъ глаза.

— Охъ, папироску бы! жалобно простоналъ онъ.

Лидія Антоновна помогла ему закурить папиросу и спросила, не хочетъ ли онъ квасу.

— Ахъ, матушка, благодѣтельница! Еще, пожалуй, отъ Никитскихъ воротъ?

Квасъ былъ именно отъ Никитскихъ воротъ, и Андрей Николаевичъ, съ жадностью опорожнивъ бутылочку, принялся за умыванье; но сколько онъ ни мочилъ голову и холодною водою, и одеколономъ, все въ ней чувствовалась тяжелая отупѣлость,—родъ охмѣленія, который свойственно производить блинамъ. Онъ прошелся пѣшкомъ до клуба, думая, что хоть немного отойдетъ, но ничего не отошло, и Андрей Николаевичъ съ тѣмъ же отупѣніемъ въ головѣ и томленіемъ въ сердцѣ вошелъ въ зрительную залу.

Зала была полнымъ полна; публика собралась самая блестящая; все люди извѣстные, съ именемъ или съ вѣсомъ; словомъ, вся Москва. Стоялъ довольно живой,

хотя и сдержанный говоръ, въ которомъ какъ бы слышалось ожиданіе чего-то необыкновеннаго; въ воздухѣ уже предчувствовалась будущая жара и духота. Оркестръ воображалъ, будто играетъ увертюру *Донъ-Жуана*. Андрей Николаевичъ отыскалъ свое кресло въ шестомъ ряду и осмотрѣлся. Онъ никого не замѣтилъ, кромѣ возвышавшейся надъ всѣми въ первомъ ряду головы Ивана Ѳеогностовича. Иванъ Ѳеогностовичъ, подобно Одиссею Лаертовичу, обладалъ долгимъ туловищемъ, а потому сидючи былъ виднѣе, чѣмъ стоючи.

Музыканты докончили или вѣрнѣе доканали увертюру. Водворилась томительная тишина; занавѣсъ не поднимался. И въ мигъ наибольшаго напряженія, когда скучавшая публика готова была разразиться кашлемъ и сморканьемъ, на сценѣ вдругъ что-то сорвалось и полетѣло съ трескомъ и грохотомъ. Всѣ вздрогнули. Кто-то тамъ громкимъ шепотомъ крикнулъ: „живѣе!“ Послышались торопливые шаги, застучали молоткомъ, точно прибивая что-то. Опять прежній голосъ сказалъ: „готово! давай!“ Зрители насторожились, но занавѣсъ, несмотря на приказаніе, попрежнему не шевелился.

Прошло секундъ двадцать, которыя показались за десять минутъ. Въ публикѣ зашевелились, стали смотрѣть на часы, закашляли, засморкались; въ заднихъ рядахъ послышалось сперва робкое, потомъ настойчивое топотанье и хлопанье. Передніе ряды оглянулись и строго, съ аристократическимъ негодованіемъ, шикнули, вѣроятно полагая выраженіе нетерпѣнія за нѣчто въ высшей степени неприличное и низменное.

Иванъ Ѳеогностовичъ видимо волновался; Андрею Николаевичу даже казалось, что онъ сейчасъ-вотъ вскочитъ и бросится за кулисы. Нотаріуса, однако, забо-

тило не то, отчего не начинаютъ; онъ безпокоился, видя, что кресло Немыкина доселѣ стоитъ пустое. Что̀ какъ старикъ по разсѣянности забылъ о бенефисѣ? Наконецъ въ проходѣ показался Пѣшкинъ въ сопровожденіи маленькаго Втулкина. Иванъ Ѳеогностовичъ не сдержался и быстро пошелъ имъ навстрѣчу. Оказалось, что Иванъ Петровичъ никакъ не могъ явиться, ибо у него отъ усиленнаго чтенія корректуръ сдѣлалось нѣчто въ родѣ воспаленія глазъ. Такое обстоятельство было весьма непріятно Ивану Ѳеогностовичу: онъ не довѣрялъ ни Пѣшкину, ни Втулкину. Еще непріятнѣе ему было, что кресло Пѣшкина пришлось подлѣ кресла графа Ворворищева, и они постоянно о чемъ-то перешептывались. Вскорѣ, впрочемъ, Иванъ Ѳеогностовичъ разсудилъ, что графъ никоимъ образомъ не станетъ вооружать Пѣшкина противъ Фанни Юрьевны, что ихъ интересы тутъ солидарны, и пусть, молъ, себѣ графъ старается,— онъ окажется не болѣе какъ кошкой, выгребающей для него, нотаріуса, горячіе каштаны.

Піеса, между тѣмъ, началась. На первыхъ же порахъ комикъ Поплескинъ, вмѣсто словъ: „намъ надо поговорить объ этомъ серьезно, и сейчасъ же“, хватилъ: „объ этомъ, батюшка, и говорить не стоитъ“ (послѣднія слова дѣйствительно были у него въ роли, но только въ третьемъ актѣ). Бѣдный monsieur Курто похолодѣлъ, боясь, что публика ничего не пойметъ. Публика, дѣйствительно, ничего не понимала: она просто не слушала. Она ждала, скоро ли выйдетъ бенефиціантка и, готовая разразиться рукоплесканіями, съ шорохомъ шевелилась всякій разъ, какъ на сценѣ отворялась дверь. А бенефиціантка и не думала являться, хотя актъ уже тянулся съ полчаса.

Наконецъ за кулисами послышались бубенцы и колокольчики; комикъ подошелъ къ окну и, потирая руки и перескакивая съ ноги на ногу, точно онъ вдругъ озябъ въ топленой комнатѣ, сказалъ:

— А, вотъ, наконецъ, и они!

Публика была предупреждена, что Агнеса женщина эксцентрическая; что она любитъ сама править тройкой. Не взирая на такое предупрежденіе, выходъ Фанни Юрьевны произвелъ эффектъ совершенно нежданный и негаданный. Причиной тому былъ костюмъ, придуманный Ольгою Павловною Маминой и тщательно скрываемый авторомъ. Въ текстѣ піесы стояло просто: входитъ Агнеса въ эксцентрическомъ костюмѣ, но въ какомъ именно, не знали и участвовавшіе въ піесѣ; предполагалось, что въ какой-нибудь чудовищной шляпѣ или невиданнаго покроя бурнусѣ. Оказалось совсѣмъ иное.

На Фанни Юрьевнѣ было черное шерстяное, сильно подобранное платье, изъ-подъ котораго виднѣлись высокіе, на манеръ кучерскихъ, миніатюрные сапожки. Сверху платья былъ надѣтъ щегольской полушубокъ, ловко перехваченный по таліи серебренымъ съ чернью поясомъ. Она была въ сдѣланныхъ на заказъ, расшитыхъ золотомъ и шелками рукавичкахъ; на запястьи у нея болтался кнутъ. На головѣ — мѣховая шапка на бекрень. Вдобавокъ, Фанни Юрьевна въ этотъ вечеръ явилась впервые предъ московскою публикой въ золотисто-бѣлокуромъ парикѣ, который шелъ къ ней какъ нельзя лучше. Вся зала просто ахнула отъ восторга и загремѣла отъ рукоплесканій. Подарки едва успѣвали подавать. Наконецъ затишало.

— А что, господа, обратилась Фанни Юрьевна къ

вошедшимъ вмѣстѣ съ нею Черезову, Переверзеву и Леночкѣ,—лихо я васъ прокатила?

Публика не удержалась и снова разразилась рукоплесканіями; въ заднихъ рядахъ нѣсколько голосовъ крикнуло „лихо!“

— А теперь, продолжала артистка,—извините на минутку, я сейчасъ переодѣнусь, и...

И заломивъ еще сильнѣе шапку на бекрень, Фанни Юрьевна взмахнула кнутомъ и вышла, затянувъ цыганскую пѣсню. Ее вызвали семь разъ. Коротенькаго конца акта, никто не слушалъ, и едва опустилась занавѣсъ, какъ всѣ въ голосъ завопили: „Хотьминскую, Хотьминскую!“ Опять подношенія, вызовы, крики, букеты и трескъ. Температура сразу поднялась на пять градусовъ.

Безъ преувеличенія можно сказать, что по меньшей мѣрѣ девять десятыхъ мужчинъ влюбились въ Фанни Юрьевну. У всѣхъ блестѣли глаза и горѣли щеки. Глафира Александровна пыталась было нѣсколько охладить общій энтузіазмъ, утверждая будто Ѳеничка оговорилась и сказала вмѣсто „я сейчасъ переодѣнусь“,—„я сейчасъ совсѣмъ раздѣнусь“, — отчего, молъ, ее и стали вызывать такъ неистово; но солистка вскорѣ увидѣла, какъ трудно прать противъ рожна: никто не назвалъ ее злой, никто не засмѣялся на ея остроту и почти никто не улыбнулся. Того не довольно: она замѣтила двѣ, три томныя улыбки, скорѣе вызванныя воспоминаніемъ о Фанни Юрьевнѣ, чѣмъ ея словами.

Глафирѣ Александровнѣ было особенно досадно, что бѣлокурый парикъ красилъ Фанни Юрьевну: доселѣ между блондинками она не знала себѣ соперницъ. Кажется, это обстоятельство было причиной, почему Гла

Фира Александровна въ началѣ второго акта почувствовала головную боль, и по окончаніи его принуждена была вовсе уѣхать изъ театра, захвативъ съ собою гусара Цыхтина.

Андрей Николаевичъ въ первомъ антрактѣ не выходилъ; хотя красота Фанни Юрьевны и взволновала его, но блины все еще давали себя чувствовать и гнели его долу. Публика довольная и съ веселымъ говоромъ толкалась въ клубныхъ залахъ; только и слышалось: „а хороша вѣдь!.. да, батюшка, могу сказать!.. за то и подарки просто царскіе!“

Къ Голубцову подбѣжалъ Никандровъ.

— Хотите, я вамъ покажу одного изъ самыхъ замѣчательныхъ людей въ Москвѣ? спросилъ онъ.

— Сдѣлайте одолженіе. Кто же это?

— Милліонеръ, батюшка, милліонеръ, да какой еще!...

— Ну, этого добра, кажется, въ Москвѣ довольно, съ пренебреженіемъ сказалъ докторъ.

— Нѣтъ-съ, этакихъ вездѣ мало. Всѣ наши желѣзнодорожники у него въ долгу; онъ такъ и говоритъ: „завтра любого могу разорить“. А знаете, чѣмъ нажился? Не онъ, впрочемъ, а еще дѣдъ его служилъ лакеемъ въ аглицкомъ клубѣ и водились у него небольшія деньжонки. Пріѣдетъ помѣщикъ въ Москву, первымъ долгомъ проиграется въ клубѣ, не хватаетъ чѣмъ карточный долгъ заплатить, — къ Сидорычу. Понятно, все это отдавалось черезъ недѣлю, мѣсяцъ, какъ изъ деревни въ счетъ будущаго оброка пришлютъ, вдвое, или трое, самымъ щедрымъ образомъ. Сынъ промышлялъ тѣмъ же, только въ большихъ размѣрахъ. Разъ онъ спасъ отъ черной доски графа Тромбинскаго,

ссудивъ ему безъ росписки сто тысячъ, а графъ черезъ мѣсяцъ за спасеніе своей чести отвалилъ двѣсти, да опять черезъ три дня проигрался, и такъ далѣе. Словомъ, внучекъ оказался ростовщикомъ, которому ни по чемъ и милліонъ дать въ займы... Да, вотъ онъ, вотъ, глядите!

— Ну, мнѣ денегъ у него не занимать стать, сказалъ Голубцовъ, глядя въ противоположную сторону.

— А я такъ занялъ бы, и съ удовольствіемъ бы занялъ, да не дастъ, хотя и приходится мнѣ съ родни, потому что моя двоюродная бабка, Аграфена Максимовна Грибанова...

— Что это, прости Господи, и водки выпить не дадутъ, чуть за рюмку, и звонокъ! ворчалъ зритель, любившій и выпить основательно, и не любившій опаздывать къ началу акта.

Хотя у monsieur Курто долгота актовъ и была вымѣрена по часамъ, но второе дѣйствіе вмѣсто 25 минутъ тянулось цѣлыхъ 42. По мнѣнію суфлера Иванова, это произошло отъ того, что артисты черезчуръ *паузили*, то-есть дѣлали ненужныя и чрезмѣрно длинныя паузы, желая показать публикѣ, что они умѣютъ не только говорить, но и молчать, и думать, а главное, тянуть и мямлить. По мнѣнію новѣйшихъ эстетиковъ, именно такое приближеніе драмы къ пантомимѣ и составляетъ вѣнецъ простоты и естественности. Публика вела себя также просто и естественно, то-есть громко покашливала и позѣвывала. По окончаніи акта, впрочемъ, послѣдовали вызовы и новыя подношенія бенефиціанткѣ.

Купцы Блинниковъ, Овчинниковъ и Кашинъ вышли вмѣстѣ изъ зрительной залы.

— А знаете, робко заговорилъ Овчинниковъ, — этотъ актъ какъ будто нѣсколько продолжителенъ и утомителенъ, что ли...

— Нѣтъ, отчего же? возразилъ Блинниковъ,—подарковъ поднесли довольно...

— Я собственно насчетъ піесы...

— Что піеса, піеса пустякъ. Піесу я и въ простой спектакль смотрѣть могу, а въ бенефисѣ главное аваціи... Страсть какъ люблю на аваціи смотрѣть...

— Оно точно. И собственно потому, что какъ игра у насъ въ Москвѣ всегда превосходная... А насчетъ подарковъ, сказываютъ, больше всѣхъ нашъ Иванъ Ѳеогностычъ старается.

— Какже! подтвердилъ Блинниковъ,—и меня тоже на пятнадцать рубликовъ втянулъ.

— Не онъ одинъ, вставилъ свое слово Кашинъ,— еще графъ Ворворищевъ много содѣйствуетъ. Эта что послѣдняя брошка, отъ нихъ будетъ.

— Вотъ-на! А мнѣ говорили, что онъ вдрызгъ разорился, сказалъ Овчинниковъ, — и послѣднее даже имѣньишко сукціона поступитъ.

— Совершенно справедливо-съ. И даже для бенефица у меня три тысячи занялъ, подтвердилъ Кашинъ.

— Векселекъ-то на три выдалъ, а много-ли наличными получилъ? смѣясь сказалъ Блинниковъ. — Знаемъ мы тоже тебя, Сергѣй Семенычъ.

— Это до меня не касающее. Потому какъ у меня ихній повѣренный Натрыжкинъ занималъ, и я не графской подписи, а Натрыжкинскому бланку кредитъ оказалъ.

— Натрыжкинъ свое выручитъ, сказалъ Овчинниковъ.

Едва Андрей Николаевичъ вышелъ изъ зрительной залы, какъ его нагналъ Угрюмовъ.

— Что, батюшка, сказалъ онъ,—вотъ не захотѣли моей піески пристроить, а теперь сами глядите, и радуйтесь!

— Что-жь, піеса, кажется, съ успѣхомъ идетъ...

— Ну-съ, а по нашему съ этого акта полный провалъ начался... Это вы не глядите, что бенефиціантку кричатъ... А у меня бы театръ разнесли...

— Да и теперь, помилуте, разносятъ.

— Гм., злобно прошипѣлъ Угрюмовъ, — такъ ли еще въ газетахъ разнесутъ. И что это вы насъ за такихъ простачковъ считаете? Будто мы ужь и не знаемъ кѣмъ это все подстроено! Коли со всѣхъ нотаріальныхъ конторъ согнать писарей и артельщиковъ, какъ этотъ подлецъ Подлещиковъ...

Категорическій императивъ шепнулъ Андрею Николаевичу, что драматургъ долженъ быть немедленно награжденъ полновѣсной оплеухой. И онъ, не взирая на опасность быть обличеннымъ, самимъ избіеннымъ и облаеннымъ всѣми заслуживающими той же преміи за свои писанія, конечно, не медля бы привелъ въ исполненіе приговоръ совѣсти, еслибъ Угрюмовъ внезапно не вильнулъ въ сторону. Андрей Николаевичъ глянулъ въ противоположную и увидѣлъ подходящаго Макрушина.

— А не любитъ онъ васъ, сказалъ Андрей Николаевичъ, указывая фельетонисту на убѣгающаго драматурга.

Макрушинъ только головой покачалъ.

— А вы, я вижу, въ нѣкоторомъ унынiи отъ блиннаго объяденія, сказалъ онъ.

— Есть тотъ грѣхъ, отупѣлъ даже слегка.

— Что-жь, приведемъ себя въ сознаніе...

— То-есть?

— По коньячку пройдемся. Отъ латинскаго cognoscere, пояснилъ Макрушинъ.

— А!

Они подошли къ буфету, и Макрушинъ приказалъ двѣ рюмки финь-шампань.

— Только, пожалуйста, лимончика кусочекъ, а то я вашихъ новомодныхъ пиперментовъ не уважаю, объявилъ онъ буфетчику.

Они выпили.

— Блины будто и осадились, повеселѣвъ, сказалъ Андрей Николаевичъ, — а теперь надо піесу осадить, добавилъ онъ, приглашая буфетчика жестомъ налить еще двѣ рюмки.

— Что это вы, коньякъ пьете? спросилъ, подошедъ къ нимъ, Фихтошка.

— Да, отвѣчалъ Андрей Николаевичъ.

— А какъ насчетъ водочки? освѣдомился Карлъ Емельяновичъ.

— Пей, мы тебѣ не мѣшаемъ, отвѣчалъ Макрушинъ, отводя Андрея Николаевича въ сторону.

Фихтошка со злобой поглядѣлъ имъ вслѣдъ.

— Что они тутъ толковали: о піесѣ, что ли? спросилъ Угрюмовъ у артиста.

— Коньякъ пили, а я говорю: „по водочкѣ бы“, а онъ: „пей, мы тебѣ не мѣшаемъ“! Точно не знаетъ, что я на свои никогда не пью.

— А о піесѣ ничего? вновь освѣдомился драматургъ.

Фихтошка прищурясь поглядѣлъ на него и что-то сообразилъ.

— Да ты то же меня баснями, кажется, хочешь кормить? иносказательно отвѣчалъ онъ.

Угрюмовъ приказалъ двѣ рюмки водки.

— Мнѣ, Николай Иванычъ, знаете, мою, добавилъ Фихтошка.

Ему налили стаканъ на ножкѣ.

— Чудесное, братъ, это прохладительное — водка, лучше всякихъ лимонадовъ, повѣрь, опорожнивая стаканъ, съ убѣжденіемъ сказалъ Фихтошка, и взявъ пальцами грибъ съ тарелки, отправилъ его въ ротъ.

— Такъ о піесѣ ничего? снова спросилъ драматургъ.

— Что-жъ піеса! съ беззаботнымъ видомъ, чувствуя потребность уязвить Угрюмова за угощеніе, сказалъ Сосногоровъ, — піеса, самъ увидишь, ловкая, хоть авторъ и подлецъ. Тутъ, братъ, въ третьемъ актѣ такая сценка съ лакеемъ есть, — что̀ чудо... хоть и краденая. Жаль, что Спѣхинъ испортитъ: а тебѣ вѣкъ такой не написать.

— Врешь, отвѣчалъ драматургъ, — у меня въ *Дрожжахъ* такая роль лакея, что, пожалуй, съ Осипомъ поспоритъ.

— Да, вѣдь, ты ее Спѣхину отдашь?

— Дуракъ я, что ли, что твою роль стану Спѣхину отдавать, сказалъ Угрюмовъ изъ желанія задобрить Фихтошку и въ то же время обзывая его про себя подлой бездарностью.

— Ну, прощай, братъ; спасибо, что угостилъ, нежданно сказалъ Фихтошка.

— Куда же ты? изумился Угрюмовъ.

— Къ Совраценцію, отвѣчалъ Карлъ Емельяновичъ, разумѣя подъ этимъ прозвищемъ нѣкоторый кабачекъ, — меня тамъ обѣщалъ одинъ человѣчекъ пивкомъ попоить.

— Что-жь, они о піесѣ, такъ ничего и не сказали? спросилъ Угрюмовъ.

— А тебѣ очень надо знать?

— Да, по нѣкоторымъ соображеніямъ...

— Видишь, братъ что: оставь мнѣ рублишко, я такъ и быть ужь къ Соврасенцію не пойду, а здѣсь пивка потяну, и въ слѣдующемъ антрактѣ все у нихъ повыспрошу.

Угрюмовъ подумалъ и выдалъ рубль.

— Ну, бѣги же, видишь всѣ разошлись, сказалъ Фихтошка.—И актъ же будетъ, добавилъ онъ, чтобъ разозлить Угрюмова,—просто на уру; съ зависти, того гляди, удавишься.

— Ладно! со скрежетомъ зубовнымъ, самъ хорошенько не соображая, что говоритъ, отвѣчалъ Угрюмовъ, — насъ, братъ, шекспиратиной не удивишь; мы больше насчетъ натуры.

Фихтошка, оставшись одинъ, пустилъ демоническій хохотъ, весьма довольный, что ловко надулъ драматурга легендой о человѣкѣ, который будто бы звалъ его къ Соврасенцію.

Третій актъ былъ верховальной точкой піесы, и имѣлъ громадный успѣхъ. Тутъ было напутано всякой всячины, и Агнеса выходила дважды на свиданіе, сперва съ Черезовымъ, потомъ съ Переверзевымъ, въ садъ, освѣщенный луною.

На первой же репетиціи, monsieur Курто, отведя Ивана Ѳеогностовича въ сторону, сказалъ ему, что боится, что третій актъ, самый эффектный, самый драматическій и самый поэтическій, окончательно погибнетъ отъ плохой обстановки. Подлещиковъ обезпокоился, и спросилъ, нѣтъ ли средства помочь дѣлу. Мон-

sieur Курто отвѣчалъ, что во-первыхъ клубный садъ истрепанъ до невозможности, порыжѣлъ и даже порѣдѣлъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до того, что видны нитки. Далѣе, нужно пустить лунный свѣтъ: онъ придастъ всей обстановкѣ поэтическій колоритъ. Правда, электрическій фонарь имѣется на лицо, но если старую декорацію сильно освѣтить, то ея негодность обнаружится еще сильнѣе, и навѣрное развлечетъ публику самымъ нежелательнымъ образомъ. Иванъ Ѳеогностовичъ понялъ, что единственное средство спасти піесу,— заказать новую декорацію; но успѣютъ ли сдѣлать? Monsieur Курто обѣщалъ похлопотать; на завтра оказалось, что успѣютъ, и явилось новое требованіе.

— Знаете, Иванъ Ѳеогностовичъ, сказалъ monsieur Курто,—я воображалъ себѣ эту сцену еще въ болѣе поэтическомъ вкусѣ: мнѣ рисовались не только садъ и луна, но и фонтанъ. Согласитесь сами, что любовныя рѣчи, и притомъ именно такія, какія я вставилъ въ уста Агнесѣ, которая идетъ сперва на свиданіе со своимъ бывшимъ любовникомъ, то-есть съ Корнеліемъ Ѳомичемъ, невольно, почти по принужденію и изъ страха, а затѣмъ сама, въ непреодолимомъ порывѣ, спѣшитъ навстрѣчу новой зарождающейся, всепобѣждающей и всепоглощающей страсти, въ лицѣ Никифора Прохоровича,—такъ я говорю, что такія рѣчи станутъ поэтичны именно только подъ аккомпаниментъ фонтана, то-есть подъ чудную музыку журчанья и всплеска струй. Понимаете, первую сцену, то есть съ Черезовымъ, какъ болѣе прозаическую, мы пустимъ безъ фонтана, при одной лунѣ, а во второй, какъ болѣе поэтической, пустимъ и фонтанъ. А, главное, все это стоитъ такіе пустяки, что о нихъ и говорить не стоитъ; я

уже столковался съ водопроводчикомъ и онъ обѣщалъ добыть машинку.

Иванъ Ѳеогностовичъ на все согласился, но подъ условіемъ, чтобъ и декорація, и фонтанъ оставались пока въ секретѣ, и если можно, то до самого спектакля. Monsieur Курто пришелъ въ восторгъ отъ мысли нотаріуса.

— Въ самомъ дѣлѣ, Агнеса выйдетъ, ничего не ожидая, и вдругъ брызнетъ фонтанъ, и луна выйдетъ изъ-за тучъ. Это настроитъ и Фанни Юрьевну, и публику на самый поэтическій ладъ.

На третьей репетиціи monsieur Курто доложилъ Ивану Ѳеогностовичу, что и садъ, и фонтанъ будутъ готовы къ спектаклю; но что для полной иллюзіи необходимъ половичекъ, изображающій траву и дорожки. Понятно, Иванъ Ѳеогностовичъ не поскупился на траву и дорожки.

Декорація сада (краденная изъ казеннаго театра, какъ утверждали за кулисами) оказалась великолѣпной, особенно, когда взошла луна; публика пріятно взволновалась. Машинка для фонтана, взятая на прокатъ изъ казеннаго же театра, оказалась противъ чаянія въ полной исправности, и когда Фанни Юрьевна въ порывѣ страсти выбѣжала на свиданье съ Никифоромъ Прохоровичемъ, то просто остолбенѣла и даже испугалась, какъ предъ ней вдругъ нежданно взлетѣла чуть не до колосниковъ широкая струя воды и обрызгала ее съ головы до ногъ. Она забыла свой монологъ и кое-какъ пробормотала его подъ суфлера. Публика въ свою очередь была такъ пріятно поражена фонтаномъ, что не дослушала монолога и немедленно вызвала режиссера. Половикъ тоже сдѣлалъ свое дѣло, причемъ

Алексѣй Ивановичъ оказался просто геніемъ по части обстановки. Ему показалось мало, что песокъ нарисованъ; онъ въ послѣднюю минуту приказалъ дворникамъ принести настоящаго песку. Песокъ былъ мерзлый, оттаивалъ, пачкалъ бѣлое платье и ботинки Фанни Юрьевны, но зато хрустѣлъ подъ ногами самымъ пріятнымъ образомъ. Вмѣсто одного поэтическаго аккомпанимента оказалось цѣлыхъ два, и надо сознаться, что хрустъ песка, какъ нѣчто дотолѣ неслыханное на русской сценѣ, обаятельно подѣйствовалъ на публику.

По окончаніи акта публика принялась вызывать декоратора, машиниста, Алексѣя Ивановича и даже чуть ли не дежурнаго старшину, вовсе забывъ о бенефиціанткѣ. Хорошо, что подношенія были запасливо распредѣлены на всѣ акты. Видя, что въ театрѣ происходитъ чистѣйшій скандалъ, находчивый суфлеръ распорядился слѣдующимъ образомъ. Онъ попросилъ дирижера, при слѣдующемъ поднятіи занавѣса, встать на свое мѣсто и поднять высоко надъ головой огромную корзину съ цвѣтами, которую первоначально предполагалось поднести въ самомъ концѣ. Публика продолжала вызывать фонтанъ, садъ и песокъ; когда занавѣсъ поднялся, сцена оказалась пуста. Дирижеръ сдѣлалъ свое дѣло, и публика невольно стала глазѣть на корзину; въ это время нѣсколько поклонниковъ крикнули „Хотьминскую!“ и немного погодя, изъ-за кулисъ, изображая олицетворенное изумленіе, выбѣжала Фанни Юрьевна, накинувъ на себя мантилью, дабы показать, что она уже начала переодѣваться.

Публика опомнилась, разразилась рукоплесканіями, и затѣмъ стала вызывать бенефиціантку, причемъ графъ и нотаріусъ, одинъ справа, другой слѣва, оглушительно

крикнули: *solo*! Ихъ крикъ былъ поддержанъ истинными любителями, возмущавшимися невѣжествомъ публики, готовой изъ-за фонтана забыть объ артисткѣ. Словомъ, небольшой скандалъ только усилилъ фуроръ третьяго акта. Всѣ были довольны, и страдалъ одинъ monsieur Курто, о которомъ никто еще не вспомнилъ.

Въ антрактѣ Андрей Николаевичъ съ Макрушинымъ водворились у буфета, продолжая сознавать самихъ себя. Къ нимъ подошелъ Голубцовъ.

— А, докторъ! И вы ради нынѣшняго торжества разрѣшили на коньякъ, сказалъ ему Макрушинъ.

— Нѣтъ, я сельтерской воды.

— Воды? точно услышавъ слово на незнакомомъ языкѣ, съ недоумѣніемъ повторилъ Макрушинъ,—

Вода не утоляетъ жажды,

продолжалъ онъ, и точно съ усиліемъ вспоминая далекіе годы дѣтства, шепотомъ и съ неподражаемымъ комизмомъ добавилъ:

Я помню... пилъ ее... однажды.

Въ это время къ буфету подошли трое. Впереди, съ руками на отлетѣ, несся господинъ, у котораго все было точно подчеркнуто. Онъ былъ причесанъ, но такъ что сейчасъ было видно, что убиралъ ему голову первѣйшій парикмахеръ; борода у него блестѣла, но такъ, что не было сомнѣнія, что она только-что смазана самымъ дорогимъ брильянтиномъ. На немъ былъ какой-то необыкновеннаго покроя фракъ, съ огромными бархатными отворотами и бросающійся въ глаза, залихватски повязанный и заколотый огромнымъ солитеромъ галстукъ, цвѣта сливочнаго крема съ ванилью. То былъ частный повѣренный Натрыжкинъ, завѣдывавшій дѣлами

графа Ворворищева. За нимъ шелъ переваливаясь полусонный Москвичъ, изъ тѣхъ, которые смотрятъ необыкновенно умно, но умнымъ словамъ не обучены. Третій былъ робкаго вида провинціалъ, безпрестанно поглядывавшій себѣ на ноги, точно опасаясь, что его осудятъ за цвѣтъ брюкъ или покрой сапогъ.

— Вотъ это я понимаю, вотъ это искусство! кричалъ Натрыжкинъ.—Да-съ, когда я въ театрѣ, то требую иллюзіи, с-с-самой полной иллюзіи. Если вода, то чтобъ была настоящая живая вода; если луна то чтобъ настоящая электрическая луна, а не то, какъ прежде, промасленная бумага, а сзади ея лампа. Но признаюсь, та-акого эффекта я не ожидалъ даже отъ Алексѣй Ивановича. А еще про него говорятъ, будто ничего не понимаетъ... Нѣтъ, дайте человѣку только средства, и онъ сейчасъ пойметъ... Песокъ-то, батюшка, песочекъ, а? даже хруститъ подъ ногами!.. Настоящій песокъ! Ну кто бы это придумалъ?.. Послѣ этого остается только, чтобъ снѣгъ скрипѣлъ. Но Алексѣй Ивановичъ дойдетъ, непремѣнно дойдетъ.

— А вотъ вы, можетъ-быть, даже не повѣрите, сказалъ провинціалъ,—а у насъ въ Нахмычинскѣ дочего режиссеръ доходилъ! Былъ, значитъ, сосновый боръ представленъ, а онъ возьми да сцену и полей сосновою эссенціей. Запахъ, доложу вамъ, невообразимый,—ну, ровнешенько, въ сосновомъ лѣсу сидишь.

— Да это геніально! воскликнулъ Натрыжкинъ,—это выше Алексѣй Иваныча! Вотъ такого бы режиссера въ столицу, чего бы онъ тутъ только ни надѣлалъ!..

— Кухоннаго бы чаду въ театръ напустилъ, аптекой или навозомъ сцену надушилъ! громко сказалъ Андрей Николаевичъ.

Трое любителей нѣсколько смутились отъ этихъ словъ, и полусонный Москвичъ шепнулъ провинціалу: „писатель!„ Провинціалъ видимо струсилъ и, взявъ Натрыжкина подъ руку, сказалъ:

— Пойдемте-съ.

— А какже? спросилъ частный повѣренный, взмахнувъ рукой по направленію къ буфетной стойкѣ.

— Ничего-съ, намъ вотъ туда на столикъ подадутъ, сказалъ провинціалъ и остановилъ пробѣгавшаго мимо человѣка.—Послушай, любезный, подай-ка намъ туда на столикъ французскихъ квасовъ изъ вдовьяго дома.

Какъ ни былъ просвѣщенъ лакей Пьянаго клуба, однако не смогъ понять еще болѣе просвѣщеннаго провинціально-клубнаго жаргона.

— Клико, понимаешь? перевелъ ему умнолицый Москвичъ.

— Нѣтъ, вы слышали? ораторствовалъ, между тѣмъ, Андрей Николаевичъ, — такъ, такъ! Этого именно имъ и требуется! Чтобы каждая сцена свой особый запахъ издавала и чѣмъ онъ будетъ скверпѣе и рѣзче, тѣмъ они будутъ довольнѣе. О, жалкое отродье человѣчества! Тебѣ бы только песочекъ хрустѣлъ да снѣжокъ скрипѣлъ,—и никакого больше искусства не надо. Hae tibi erunt ertes!

— А что, въ пророческомъ раздумьи сказалъ Маврушинъ,—вѣдь, дѣйствительно, вкусъ публики какъ-будто клонится въ эту сторону. И легко вообразить себѣ, что въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, какъ выражаются прокуроры,—въ распорядители сцены попадетъ какой-нибудь урожденный закройщикъ отъ Ворта, или мебельный подмастерье и пойдетъ онъ закатывать такія обстановки!..

— И, повѣрьте, по его заказу будутъ піесы писать, подхватилъ Безпаловъ,—а какъ публика-то будетъ довольна! Дама не знаетъ, какое платье сдѣлать, — сейчасъ въ театръ: тамъ балъ представленъ, и сто костюмовъ, одинъ роскошнѣе другаго, къ ея услугамъ. Обрученные думаютъ себѣ модную обстановку завести, — опять въ театръ; посмотрѣли одну, другую, третью и какую понравилось, завели. И пріятно, и полезно!

— А вы, докторъ, что-жъ ничего не скажете? спросилъ Макрушинъ.

— Видите-ли, отвѣчалъ Голубцовъ, — всякій разъ, какъ зайдетъ рѣчь объ отношеніяхъ публики къ театру, мнѣ вспоминается купецъ, съ которымъ я бесѣдовалъ въ каменновскихъ баняхъ. Лежимъ мы на полкѣ; онъ на одномъ, я на другомъ. Онъ надумался и говоритъ: „А нѣтъ для русскаго человѣка большаго удовольствія, какъ баня! Развѣ вотъ театръ еще лучше“.

— Что-жъ онъ хотѣлъ этимъ сказать? спросилъ Безпаловъ.

— Въ этомъ-то и суть. Я самъ не разъ задавалъ себѣ этотъ вопросъ и, каюсь, пускался въ разные ученые домыслы. Наконецъ я спросилъ себя: не проще ли предположить, что купецъ прямо, безо всякой задней мысли, выражалъ свои непосредственныя ощущенія? Мы вѣдь съ вами, господа, испорчены изученьемъ опасныхъ наукъ; мы всему высокую цѣль навязываемъ, требуемъ отъ театра цѣльнаго живаго художественнаго впечатлѣнія. А большинство-то глядитъ на дѣло проще. Баня доставляетъ, конечно, чисто физическое удовольствіе, развѣ мы предположимъ, что успокоеніе и распариваніе плоти передается въ извѣстной мѣрѣ и духу. И если купцу казалось возможнымъ сравненіе бани съ

театромъ, то очевидно потому, что и театръ доставляетъ ему много чисто физическихъ удовольствій, къ которымъ мы съ вами холодны. Большинство вдобавокъ никакого цѣльнаго впечатлѣнія не требуетъ, а довольствуется частными. Водица журчитъ, — чудесно, отчего же и не послушать? Песочекъ хруститъ,—ишь, точно въ саду. А тутъ бы еще цвѣтами запахло,—вотъ то-то было бы наслажденіе! Или сидитъ онъ и видитъ солнечный лучъ прорѣзается въ щелку въ ставнѣ, и все, замѣтнѣе и замѣтнѣе, вотъ и на полу свѣтлый кружокъ обозначился, или еще лучше на чемъ-нибудь металлическомъ блеснулъ, — да вѣдь это точно какъ въ натурѣ! Всѣ эти механическія подражанія природѣ ему доступны, понятны, онъ ихъ вполнѣ можетъ оцѣнить. Подобнымъ же образомъ большинство относится и къ піесѣ, и къ актерамъ: внимательно слушать рѣчи, слѣдить за развитіемъ дѣйствія, или характеровъ, — дѣло трудное, а вотъ актеръ страшное, или смѣшное лицо состроилъ, страшнымъ или смѣшнымъ, или трогательнымъ тономъ заговорилъ,—это понятно, это дѣйствуетъ непосредственно: отчего не посмѣяться или не поплакать? И всѣ эти повадки публики давнымъ давно подмѣчены поставщиками подобнаго рода удовольствій: авторами, актерами, режиссерами...

— Эхъ, да замолчите ужь вы, закричалъ Макрушинъ, — правда вѣдь все это, правда!.. И не могу я просто слышать, когда говорятъ и пишутъ, будто искусство составляетъ насущную потребность человѣчества. Да, ей-Богу же, нѣтъ такого человѣчества, которому оно было бы нужно. На всемъ земномъ шарѣ врядъ ли пять тысячъ людей наберется, которые... ну, да полно! Васъ, Андрей Николаичъ, отъ моихъ словъ

дрожь пронимаетъ, я вижу,—такъ ужь лучше прибѣгнемъ и мы къ доступнымъ и для насъ въ театрѣ физическимъ удовольствіямъ!

И Макрушинъ приказалъ налить двѣ рюмки фиш-шампань.

Когда въ буфетѣ стало попросторнѣе, Угрюмовъ разыскалъ Фихтошку.

— Ну что? спросилъ онъ.

— Одинъ говоритъ: „дерьмо“, а другой: „ну, братъ, и она тоже дерьмо“.

— Кто говоритъ? Кто она?

— Она-то? извѣстно, Фанька. Это Безпаловъ про нее сказалъ.

— Такъ онъ этакъ-то пріятельскую содержанку честитъ?

— Оно, конечно, не слѣдовало бы, разсудительно замѣтилъ Фихтошка.—А только знаешь что, съ замѣтнымъ оживленіемъ продолжалъ онъ,—если эти слова за кулисами шепнуть, только не теперь, а какъ разъ передъ послѣднимъ актомъ, гдѣ у нея по настоящему вся роль, то-то разозлится, и всѣ эффекты спутаетъ! Тутъ, братъ, и Фанька кувыркомъ полетитъ, да и піесѣ навѣрное шлепокъ!..

Угрюмовъ даже похолодѣлъ отъ грандіозности Фихтошкиныхъ мечтаній.

Говоря правду, Угрюмовъ, подговаривая Фихтошку подслушать мнѣніе Макрушина, имѣлъ хотя и подловатую, но чисто-литературную цѣль; именно, разсчитывая, что Макрушинъ по кумовству сдѣлаетъ похвальный отзывъ, онъ намѣревался заранѣе или по крайней мѣрѣ въ день выхода фельетона въ Москвѣ, продернуть его слово въ слово въ одномъ изъ петербургскихъ листковъ,

и тѣмъ доказать преимущество распивочной прессы надъ большой и бездарныхъ рецензентовъ надъ даровитыми. Что до Безшалова, то его онъ намѣревался уязвить инымъ образомъ.

Предположеніе Фихтошки перевернуло все въ головѣ драматурга. Какъ, неужто даже теперь, послѣ страшнаго фурора третьяго акта, еще возможно провалить піесу соперника, и тѣмъ насолить и Фанькѣ, и Макрушкѣ, и всякимъ подлымъ нотаріусамъ, платящимъ по рекомендаціямъ бездарныхъ художниковъ, какимъ-то неизвѣстнымъ Куртошкамъ триста рублей преміи, заказывающимъ вдобавокъ и фонтаны, и декораціи, и презирающимъ заслуженныхъ драматурговъ съ пятнадцатилѣтнимъ юбилеемъ?

— Одно только жаль, не давая опомниться Угрюмову, добавилъ Карлъ Емельяновичъ,—что тотъ-то человѣчекъ, который ждетъ меня у Соврасенція, обѣщалъ мнѣ пять рублей...

— Водки хочешь? шепотомъ прервалъ его драматургъ, у котораго отъ волненія въ „зобу дыханье сперло“.

— Водки я всегда хочу; не было еще такого мгновенія, когда бы я ея не хотѣлъ; а все же къ Соврасенцію...

— Слушай, какъ же ты сдѣлаешь? тѣмъ же заговорщицкимъ шепотомъ продолжалъ драматургъ.

— Очень просто: на ушко Шуркѣ, а та сейчасъ своей покровительницѣ доложитъ, да еще съ добавленіемъ, ради красоты слога... Ничего, до новыхъ вѣниковъ Персіянина не забудетъ!

Послѣдняя фраза привела Угрюмова въ недоумѣніе; но онъ, точно стукнувшись въ нее съ разбѣга, поспѣшно пронесся мимо.

— Пяти нѣтъ, вотъ пока три. Только, гляди, не надуй.

— Ну, въ подлости меня еще никто не обвинялъ. Я братъ-Нѣмецъ, а по нашему: ein Wort, ein Mann.

Но Угрюмовъ не слыхалъ увѣреній Карла Емельяновича. Сунувъ ему въ руку бумажку, онъ быстро повернулся и бѣжалъ, точно гонимый укорами совѣсти. Дѣйствительно, ему стало стыдно, но... бумажки ужь нельзя было воротить.

— Я, знаешь, пересяду къ тебѣ, веселѣе будетъ, сказалъ Макрушинъ Андрею Николаевичу, входя съ нимъ въ зрительный залъ.—Ты въ шестомъ? Э, ужь не подлѣ ли этой брюнетки?

— Да. А что?

— Надо васъ сейчасъ же разлучить, а то твоей женѣ плакать придется; я ее мгновенно на свое мѣсто, во второй рядъ водворю: тамъ и она больше на виду будетъ, и народъ побогаче сидитъ.

Дама согласилась съ удовольствіемъ и, пожавъ руку фельетонисту, томно спросила: „а ко мнѣ когда же?“

Четвертый актъ, по общему мнѣнію, оказался слабоватъ. Monsieur Курто разсчитывалъ на третье явленіе, на сцену между Переверзевымъ и комикомъ. Переверзевъ изъяснялъ свои страданія отъ измѣны Агнесы, а комикъ долженъ былъ иронически утѣшать его, выражая при этомъ, по мнѣнію автора, пессимистическій взглядъ на любовь. Поплескинъ, однако, воздержался отъ изложенія какого-бы то ни было взгляда, и въ отвѣтъ на жалобы и стенанія Никифора Прохоровича предпочелъ испускать болѣе или менѣе продолжительныя мычанія, да сплевывать на сторону по-кучерски. Онъ совершалъ это довольно ловко, разнообразя

мычанія и плевки соотвѣтственно смыслу тирадъ Никифора Прохоровича и такъ смѣшно иллюстрировалъ пантомимой его слова, что публика хохотала охотно. Наконецъ, когда ему надлежало произнести самому довольно большую рѣчь, необходимую для удоборазумѣнія дальнѣйшаго хода дѣйствія, Поплескинъ, состроивъ глупѣйшую рожу, сталъ противъ Переверзева, раздвинулъ ноги и вытянулся впередъ всѣмъ туловищемъ, и затѣмъ, выпятивъ свой крутой лобъ, пустилъ въ лицо Никифору Прохоровичу самый идіотскій смѣхъ. И, быстро повернувшись, съ пошлыми тѣлодвиженіями убѣжалъ со сцены, не забывъ плюнуть по дорогѣ еще три раза. Онъ былъ трижды вызванъ всѣмъ театромъ.

Бѣдный monsieur Курто едва устоялъ на ногахъ, чувствуя, что вся остальная половина акта покажется зрителямъ совершеннѣйшею ерундой. Къ нему подошелъ сіяющій Поплескинъ.

— Ну-съ, батюшка, помните, что меня, собственно говоря, перваго изъ артистовъ вызвали. Раньше, вѣдь, больше вызывали за парички, за платьица, да ротикъ сердечкомъ. А за игру меня перваго. Обѣщалъ поддержать, и поддержалъ!..

И Поплескинъ съ благодарностью пожалъ руку автору, какъ бы исполняя то, что, по его мнѣнію, долженъ бы догадаться сдѣлать monsieur Курто.

Четвертый актъ окончился при полномъ молчаніи публики. На всѣхъ лицахъ виднѣлось недоумѣніе.

Начался пятый. Агнеса расположилась умирать съ самаго начала; но къ ней являлись поочередно разныя лица, нѣкогда любившія ее, и произнося болѣе или менѣе чувствительныя тирады, все мѣшали ей умереть. Надо сказать, что Никифоръ Прохоровичъ,

считая свое прощаніе съ Агнесой не довольно трогательнымъ, первый попросилъ автора прибавить ему трескучій монологъ о бренности женскаго сердца вообще; по его примѣру и другіе артисты запросили себѣ прибавки. Фанни Юрьевна, вполнѣ увѣренная въ эффектности своей смерти, противъ прибавокъ не протестовала, и любезный авторъ расходился не въ мѣру, отчасти изъ желанія похвалиться предъ артистами легкостью и быстротой своего творчества. Ото всѣхъ этихъ вставокъ актъ растянулсяъ до безконечности, и черезчуръ долгое умираніе оказалось томительнымъ.

— Да скоро ль этотъ болтунъ дастъ ей умереть? спросилъ Макрушинъ своего сосѣда, соскучась отъ разглагольствованій Никифора Прохоровича.

— Быть-можетъ, она столько же думаетъ о смерти какъ и Кузькина мать, отвѣчалъ Андрей Николаевичъ.

Сзади ихъ сидѣлъ изрядно нахлебавшійся въ буфетѣ образованный торговецъ изъ Солодовниковскаго пассажа; онъ склонилъ голову и, ущемивъ ее какъ разъ между креслами обоихъ пріятелей, дремалъ. Но едва Кузькина мать коснулась его слуха, какъ онъ чутко встрепенулся и запѣлъ въ полъ-голоса:

Ужь какъ Кузькина мать
Собиралась умирать;
Умереть не умерла,
Только время провела.

Сосѣди расхохотались. Первые ряды оглянулись съ сердитымъ шиканьемъ, а купецъ, оторопѣвъ, крикнулъ: „Переверзева!“ Хохотъ пуще. Вскорѣ, впрочемъ, все утихло, и Агнеса умерла благополучно.

— Ну, теперь мои критическія обязанности кончены, сказалъ Макрушинъ Безпалову,—можно и пова-

ловаться. Пойдемъ вызывать бенефиціантку: мнѣ хочется ее поближе въ бѣлокуромъ парикѣ разглядѣть.

Оба вышли къ рампѣ.

Когда послѣдній подарокъ былъ поднесенъ, Иванъ Ѳеогностовичъ поспѣшилъ на сцену, замѣтивъ по лицу Фанни Юрьевны, что она чѣмъ-то разстроена. Фихтошка, какъ обѣщалъ, предъ пятымъ актомъ насплетничалъ Шурочкѣ; по счастію, она не успѣла передать сплетни бенефиціанткѣ до конца спектакля. Сверхъ того, кто-то изъ мелкихъ актеровъ донесъ Переверзеву, будто скандалъ во время его монолога устроилъ Макрушинъ и что онъ же крикнулъ его фамилію.

— Что съ вами, милая Фанни Юрьевна? спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, быстро вошедъ въ уборную.— Вы чѣмъ-то разстроены?..

— По неволѣ будешь разстроена, съ сердцемъ отвѣчала она,—когда вашъ пріятель Безпаловъ вмѣстѣ съ Макрушинымъ бранили меня весь спектакль въ буфетѣ самыми скверными словами, и нарочно кричали, какъ можно громче!

— Увѣряю васъ, милая Фанни Юрьевна, что этого не было, да и быть не могло. Я сейчасъ говорилъ съ Макрушинымъ: онъ въ восторгѣ отъ пятаго акта. И Андрюша тоже. И кто это вамъ насплетничалъ?

Фанни Юрьевна взглянула на Шурочку.

— Мнѣ Сосногоровъ сказалъ, отвѣчала madame Бердышева.

— Онъ навѣрное солгалъ. Они и сейчасъ васъ вызываютъ, и когда будете выходить, взгляните направо, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— А зачѣмъ же, въ такомъ случаѣ, Макрушинъ

устроилъ мнѣ скандалъ и прокричалъ мою фамилію? спросилъ Переверзевъ.

— И это сплетня. Крикнулъ съпросонья пьяный купецъ, который сидѣлъ, какъ разъ за нимъ. Мнѣ даже его фамилію называли...

— Фанни Юрьевна, Никифоръ Прохорычъ, да пожалуйте же! вбѣгая крикнулъ помощникъ режиссера.

Выйдя на сцену, Фанни Юрьевна взглянула направо, и увидѣла, что оба пріятеля апплодируютъ ей самымъ усерднымъ образомъ. Безпаловъ помахивалъ платочкомъ, а Макрушинъ послалъ ей воздушный поцѣлуй. Она улыбнулась и отдѣльно поклонилась имъ.

— Ладно, усердіе наше замѣчено, сказалъ Макрушинъ,—а хороша вѣдь она сегодня?

— Да, надо ее еще разъ написать, бѣлокурой, отвѣчалъ художникъ и крикнулъ: — Хотьминская, solo!

Артистка снова замѣтила ихъ усердіе.

— А теперь пойдемъ Турку глотать, сказалъ Макрушинъ.

Подъ именемъ Турка въ тѣ дни разумѣлся напитокъ, составленный изъ двухъ ликеровъ, коньяку и яичнаго желтка.

— Люблю этотъ напитокъ именно потому что закуски не требуется, добавилъ Макрушинъ,—а то я въ послѣднее время вовсе жевать разучился.

XVI.

Торжество журналистики.

Милый мой, возлюбленный, желанный!
Гдѣ, скажи, твой одръ благоуханный?
Л. Мей.

Первую седьмицу поста Андрей Николаевичъ провелъ самымъ благочестивымъ образомъ. Во-первыхъ, къ великому удовольствію Лидіи Антоновны, притомъ безо всякихъ, съ ея стороны, просьбъ и намековъ, онъ отказался отъ участія въ такъ называемой *капустникѣ*, то-есть въ актерскомъ пиршествѣ въ чистый понедѣльникъ, когда артисты, послѣ изряднаго возліянія, начинаютъ сводить между собою художественные и иные счеты за истекшій сезонъ, причемъ, понятно, возгараются самолюбія и дѣло, если не всегда, доходитъ до членовредительства, то рѣдко обходится безъ сильной перепалки. Во-вторыхъ, онъ написалъ премилую картинку. Случилось это такъ. Лидочка простудилась и во вторникъ не пошла въ гимназію. Ваня все утро капризничалъ, куксился и въ заключеніе расплакался. Лидочка всячески, но безуспѣшно, старалась утѣшить брата и, наконецъ, придумала пускать мыльные пузыри, отчего Ваня всегда приходилъ въ восторгъ. Мальчикъ, однако, продолжалъ хныкать, валяясь на диванѣ. Тогда Лидочка повернула отъ него стулъ и, молча и пряча отъ него кружку, стала взбивать мыльную воду. Ваня тотчасъ же заинтересовался молчаніемъ сестры. Онъ взобрался на столъ и стоя на колѣняхъ, еще съ крупными слезами въ глазахъ и на щекахъ, силился подглядѣть, что дѣлаетъ сестрица.

Андрей Николаевичъ подмѣтилъ какъ-разъ это мгновеніе, тутъ же набросалъ эскизъ и быстро принялся за картину, которая въ субботу уже была готова. То было одно изъ тѣхъ произведеній, начатыхъ и конченныхъ съ легкимъ сердцемъ, объ участи которыхъ художникъ не мало не безпокоится: онъ знаетъ, что они будутъ встрѣчены всѣми съ такимъ же легкимъ сердцемъ. Лидія Антоновна была въ восторгѣ. Ей было и жаль выпускать картинку изъ дому (Лидочка, и особенно Ваня, вышли такъ похожи) и въ то же время хотѣлось, чтобы всѣ ею любовались, а ужь въ томъ, что будутъ любоваться, она нимало не сомнѣвалась. Было рѣшено, что картинка останется дома, а для выставки Андрей Николаевичъ повторитъ ее.

Въ Сборное воскресенье Андрей Николаевичъ, довольный и счастливый послѣ удачной работы, вышелъ прогуляться и первымъ дѣломъ отправился съ визитомъ къ Фанни Юрьевнѣ, чтобы поблагодарить ее за билетъ на бенефисъ. Онъ шелъ легко и весело; на дворѣ таяло, и вѣялъ теплый и мягкій вѣтерокъ: весна выклевывалась изъ зимней скорлупы.

У Фанни Юрьевны онъ засталъ Ивана Ѳеогностовича. Оба встрѣтили его какъ-то странно, точно удивляясь его приходу. Онъ поблагодарилъ за билетъ и доставленное удовольствіе; хозяйка съ кислою гримасой отвѣчала, что очень рада, если ей дѣйствительно (она подчеркнула это слово) удалось доставить ему удовольствіе, и затѣмъ, подъ какимъ-то пустячнымъ предлогомъ, извинясь вышла въ другую комнату. Андрей Николаевичъ съ недоумѣніемъ взглянулъ на Ивана Ѳеогностовича, какъ бы спрашивая, что съ нею, здорова ли она.

— Да, Андрюша, признаюсь, отъ тебя-то ужь никакъ этого не ожидалъ, отвѣчалъ Подлещиковъ на вопросительный взглядъ пріятеля.

— Чего не ожидалъ? съ недоумѣніемъ спросилъ художникъ.

— Я даже защищалъ тебя и увѣрялъ, что этого быть не могло...

— Ничего не понимаю. Въ чемъ дѣло? Скажешь ли ты наконецъ?

— Ну съ Макрушинымъ, неохотно отвѣчалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Что съ Макрушинымъ?

— Ахъ, въ буфетѣ... ты самъ знаешь... А сегодня, какъ нарочно, его статья... Ты развѣ не читалъ?

— Ничего не знаю.

Иванъ Ѳеогностовичъ, повидимому, полагалъ излишнимъ пускаться въ дальнѣйшія разъясненія, точно опасаясь, что они до добра не доведутъ. Андрей Николаевичъ неловко помялся на одномъ мѣстѣ, чувствуя, что ему тутъ больше дѣлать нечего. Наконецъ, махнувъ рукою, онъ подошелъ къ Ивану Ѳеогностовичу и сказалъ:

— Ну, прощай... Пойду, прочту.

Иванъ Ѳеогностовичъ, безъ дружескаго пожатія, механически подалъ ему руку. Андрей Николаевичъ, пожимая плечами и даже подымаясь на цыпочки отъ изумленія, тихо вышелъ изъ комнаты.

У перваго же разнощика онъ купилъ газету съ отчетомъ Макрушина о бенефисѣ г-жи Хотѣминской. Макрушинъ работалъ въ благочестивой редакціи, считавшей дѣломъ грѣховнымъ говорить о театрѣ на первой недѣлѣ, и фельетонъ вышелъ только сегодня. Андрей

Николаевичъ хотѣлъ было тутъ же на бульварѣ прочесть статью, но къ удивленію замѣтилъ, что черезчуръ взволнованъ и буквы прыгаютъ у него передъ глазами. Просмотрѣвъ бѣгло фельетонъ и ничего въ немъ особеннаго не замѣтивъ, онъ взялъ извощика и отправился домой. Тутъ онъ снова принялся за газету.

То была одна изъ блестящихъ статей Макрушина. Она была написана остроумно, весело и, главное, прямо, безо всякихъ уловокъ, намековъ и заднихъ намѣреній: человѣкъ говорилъ именно то, что хотѣлъ сказать. Эта благородная прямота тона невольно забирала и увлекала читателя въ его статьяхъ.

Макрушинъ начиналъ съ заявленія, что рѣдко случается видѣть спектакль, къ постановкѣ и исполненію котораго было бы приложено столько стараній, какъ представленіе въ пользу г-жи Хотьминской-Горобецъ. „Бенефиціантка“, продолжалъ онъ, „очевидно, старалась выбрать піесу, гдѣ ей можно было бы блеснуть и талантомъ, и туалетами; авторъ старался сдѣлать свою піесу, какъ можно эффектнѣе, чтобъ взять, какъ говорится, если не мытьемъ, такъ катаньемъ; режиссеръ старался придать блескъ обстановкѣ и не только пустилъ фонтанъ и электрическій свѣтъ, но ради естественности посыпалъ сцену пескомъ, который хрустѣлъ на славу; наконецъ, артисты старались одинъ передъ другимъ... Къ сожалѣнію, всѣ эти усиленныя старанья не только не ладили между собою, но даже подставляли другъ другу ножку.

„Уже по заглавію піесы читатель можетъ догадаться о ея содержаніи. *Мученица любви* г. Курто на афишѣ названа оригинальною комедіей, но, какъ извѣстно, этотъ эпитетъ на нашихъ афишахъ означаетъ просто,

что піеса не переведена съ французскаго, а представляетъ, пользуясь выраженіемъ графа Клавдіо въ *Много шуму изъ ничего*,

Посильный плодъ разстроеннаго мозга отечественнаго автора.

„Героиня ея намъ давнымъ давно извѣстна по многому множеству другихъ піесъ, и я рѣшительно затрудняюсь сказать, кто именно ея первоначальный авторъ, г. Александръ Дюма 2-й или же г. Николай Потѣхинъ 2-й. Это истрепанный типъ женщины, которыхъ въ старину звали попросту гулящими, а нынѣ изъ благоприличія зовутъ женщинами съ горячимъ темпераментомъ. Обычно четыре акта кряду онѣ только и дѣлаютъ, что влюбляются поочередно въ разныхъ интеллигентовъ, а въ пятомъ умираютъ самымъ благороднымъ образомъ. Прежде онѣ умирали подъ музыку, но нынѣ, ради естественности, музыка отмѣнена. И нельзя не пожалѣть о такомъ обстоятельствѣ,—какъ хотите, все же это не искусство, не изображеніе живыхъ людей, а нѣкотораго рода собачья комедія; положимъ, и трогательная, но все же собачья, а для такого рода представленій, по моему скромному мнѣнію, музыка является необходимою приправой. Отсутствіе музыки, впрочемъ, не мѣшаетъ публикѣ оставаться довольною подобными произведеніями. Мужчины обычно влюбляются въ героиню, особенно, если она такъ хороша собою, какъ бенефиціантка; имъ нравится, что она преисполнена всяческихъ добродѣтелей и благородства и въ то же время доступна. Всякій про себя думаетъ: „а вѣдь и я могъ бы, канальство, попользоваться“. Пылкія дамы вспоминаютъ свои собственныя похожденія и заливаются слезами, мечтая, что онѣ умрутъ при столь же

очаровательныхъ обстоятельствахъ, произведя въ послѣднія минуты смотръ всѣхъ своихъ обожателей. Дамы, не обладающія пылкостью, тоже плачутъ, — о чемъ? Богъ ихъ знаетъ; можетъ-быть о томъ, что не надѣлены увлекающимся сердцемъ.

„— А много для насъ съ тобою въ этой піесѣ поучительнаго, заливаясь слезами послѣ пятаго акта, говорила своей подругѣ одна изъ тѣхъ дамъ, которыхъ охотно пускаютъ въ клубы и столь же охотно выводятъ оттуда, когда одному старшинѣ потребуется нагадить другому.

„И въ этомъ, по моему, общественное значеніе подобныхъ піесъ.

„Изъ предыдущаго уже ясно, какъ старался авторъ. Но въ послѣднемъ дѣйствіи онъ рѣшительно перестарался. Всѣ интеллигенты, плѣненные нѣкогда красой очаровательной Агнесы (такъ зовутъ героиню), приходя къ ней на послѣднее свиданіе, находятъ возможнымъ пускаться въ длинныя разглагольствованія. Стараясь превзойти одинъ другаго въ краснорѣчіи, они до оскомины надоѣдаютъ зрителю, и въ то же время мѣшаютъ умирать героинѣ, что̀, конечно, не рекомендуетъ ихъ со стороны вѣжливости. Старанія режиссера также явились обоюдоострымъ мечомъ: обстановка мѣшала артистамъ, а артисты мѣшали обстановкѣ. Перваго, или вѣрнѣе самаго болтливаго любовника (ибо по счету онъ оказывается предпослѣднимъ) изображалъ, какъ всегда, г. Переверзевъ. Этотъ безподобный артистъ, какъ извѣстно, обладаетъ престраннымъ органомъ звука. Рѣчь у него то вырывается бурно и неистово, какъ струя воды изъ только-что пущеннаго фонтана; то вдругъ,— точно фонтанъ заткнуть пальцемъ, или въ него попалъ

сорѣ,— голосъ артиста зашипитъ и прервется, гдѣ вздумается, безо всякаго уваженія къ знакамъ препинанія. Вообразите теперь, что г. Переверзеву приходится произносить самыя пламенныя тирады при плескѣ настоящаго фонтана, который, надо отдать ему справедливость, велъ себя самымъ похвальнымъ образомъ. И вотъ, вамъ вдругъ кажется, будто шалунъ-мальчишка всунулъ палецъ въ фонтанную дирочку, и фонтанъ зашипѣлъ: нѣтъ, фонтанъ дѣйствуетъ исправно, а это голосъ г. Переверзева желаетъ испортить ему эффектъ. Не то: вы увлекаетесь ровнымъ плескомъ воды и въ забывчивости думаете: что̀ это сталось съ г. Переверзевымъ, отчего онъ сегодня не шипитъ по-змѣиному, не претыкается по-пономариному,—и опять разочарованіе! Оказывается, что настоящій фонтанъ, заглушая голосъ артиста, мѣшаетъ ему производить обычный эффектъ. Я уже упоминалъ о пескѣ, которымъ была посыпана сцена. Онъ хрустѣлъ самымъ естественнымъ образомъ,— что̀, впрочемъ, не можетъ быть поставлено въ особую заслугу ни ему, ни режиссеру; какъ бы то ни было, песокъ положительно переигралъ всѣхъ артистовъ: публика пришла отъ него въ неистовый восторгъ и по окончаніи дѣйствія вызывала одинъ песокъ. Наконецъ, артисты, стараясь другъ передъ другомъ, мѣшали и товарищамъ, и автору. Напримѣръ, г. Поплескинъ въ четвертомъ актѣ простеръ свое стараніе до того, что ни слова не сказалъ изъ роли, а только мычалъ, рычалъ да поплевывалъ, показывая публикѣ замазанные варомъ зубы. Онъ удостоился троекратнаго вызова, но зато провалилъ актъ. Любопытно бы видѣть состязаніе этого несравненнаго артиста съ пескомъ: кто бы кого переигралъ?

„Итакъ, всѣ не только старались, но и перестарались. Впрочемъ, виноватъ: на актерскомъ языкѣ это называется иначе. По крайней мѣрѣ, одинъ почтенный артистъ Малаго Театра, когда мнѣ случалось говорить съ нимъ о неудачныхъ роляхъ его товарищей, всегда отвѣтствовалъ: „Ваша правда; но у него (или у неё) была *задача*“. Странное дѣло! мнѣ пришлось прочесть признанія какого-то французскаго драматурга, гдѣ онъ обязательно разъяснялъ, что для него всякая комедія является первоначально въ видѣ уравненія или вообще алгебраической задачи, которую онъ затѣмъ и рѣшаетъ по извѣстнымъ формуламъ. Вотъ и подите! а у насъ, какъ задача, такъ и неудача. Извѣстныхъ формулъ мы не знаемъ, что ли. Мнѣ не безызвѣстно, что нѣкоторые изъ моихъ собратій по критикѣ проповѣдуютъ нынче именно изученіе формы, видя въ этомъ спасеніе искусства: имъ и книги въ руки. Къ сожалѣнію, и они не указываютъ, гдѣ скрывается равно для всѣхъ пригодная и удобная форма; во всякомъ случаѣ, если она и отыщется, то окажется самою казенной, самою казарменною формой. И, Боже мой! что за скука и однообразіе заведутся тогда и въ литературѣ, и въ театрѣ! Не будетъ ни хорошаго, ни дурнаго, а одно форменное! Нѣтъ, пусть у насъ остается все попрежнему: талантъ остается талантомъ и щеголяетъ въ какомъ ему вздумается картузѣ безъ форменной кокарды, а равно бездарность фигурируетъ во всей своей неприкосновенности“.

Затѣмъ Макрушинъ переходилъ къ болѣе подробному разбору піесы и исполненія. Перечисливъ всѣхъ артистовъ, онъ обращался къ бенефиціанткѣ. Превознося красоту и туалеты г-жи Хотьминской, онъ не-

жданно вспомнилъ о ея портретѣ, „недавно написанномъ нашимъ извѣстнымъ художникомъ, г. Безпаловымъ“, и за портретомъ уже вовсе забывалъ о виновницѣ артистическаго торжества. Андрей Николаевичъ въ чтеніи съ размаху набѣжалъ на это мѣсто и подивился, какъ, просматривая газету на бульварѣ, не замѣтилъ его. Отзывъ былъ чрезвычайно лестный, и притомъ такой, какого Андрей Николаевичъ еще не встрѣчалъ о себѣ въ печати. Въ немъ заключалось нѣсколько дѣльныхъ замѣчаній о живописи и была помянута добромъ прежняя дѣятельность Андрея Николаевича. Художника плѣнилъ именно прямой и откровенный тонъ рѣчи; авторъ не притворялся знатокомъ, которому вѣдомы такія тайны искусства, о коихъ художники и понятія не имѣютъ; онъ его не гладилъ по головкѣ за мнимыя достоинства и не щелкалъ по носу указкой за мнимые промахи. Кратко, за него было замолвлено доброе и душевное слово. Андрей Николаевичъ перечелъ замѣтку во второй и третій разъ, и впечатлѣніе не измѣнилось.

Онъ сидѣлъ, словно все еще не опомнившись и отъ неожиданности отзыва, и отъ прямодушія Макрушина; на его лицѣ какъ бы стояло: „откуда мнѣ сіе?“

Вошла Лидія Антоновна съ открытымъ письмомъ въ рукахъ.

— А, Андрюша! ты ужь вернулся? Что такъ скоро? Или не засталъ?

— Нѣтъ, засталъ, задумчиво отвѣчалъ Андрей Николаевичъ.—А вотъ возьми прочти.

Лидія Антоновна съ нѣкоторымъ безпокойствомъ взяла газету.

— Ну что же, Андрюша? сказала она, прочитавъ статью.—Чудесно, право... Спасибо ему!

— Конечно, спасибо; оно и лестно, и хорошо написано...

И Андрей Николаевичъ передалъ женѣ, какое впечатлѣніе произвела на него статья.

— Только, продолжалъ онъ,—только Фанни Юрьевна и Иванъ Ѳеогностовичъ за что-то, благодаря ей, на меня разсердились.

— Видишь ли, оно, пожалуй, нѣсколько безтактно со стороны Макрушина. Будь это не по случаю ея бенефиса, а то... Да вообрази себѣ, что портретъ былъ бы на выставкѣ, а Макрушинъ въ статьѣ только упомянулъ бы твое имя, а затѣмъ сталъ бы расхваливать талантъ Хотьминской...

— Разумѣется, я поморщился бы и понялъ, что онъ хотѣлъ кольнуть меня... но съ чего бы я сталъ сердиться на Хотьминскую?

— Видишь ли, выставка иное дѣло: тамъ многіе участвуютъ, а тутъ, пойми, бенефисъ или, какъ они выражаются, артистическія именины!.. И вдругъ, объ именинницѣ-то ни слова!.. Ну, подуются, и перестанутъ.

— Врядъ ли. Есть тутъ еще другая, мнѣ невѣдомая подкладка. Не даромъ Иванъ намекалъ на какой-то мой разговоръ съ Макрушинымъ въ буфетѣ.

— А ты говорилъ съ нимъ?..

— Говорилъ... и докторъ тутъ же былъ... Только мы говорили объ искусствѣ вообще, объ обстановкѣ, о піесѣ, пожалуй...

— А о ней?

— Положительно ни слова.

— Такъ знаешь, что я тебѣ скажу? подумавъ отвѣчала Лидія Антоновна.—Навѣрное закулисная сплетня...

— Ты думаешь?

— Самое лучшее, заѣзжай къ Черезову: онъ скажетъ правду... Что ты такъ взглянулъ на меня? Вѣдь актеры очень рѣдко говорятъ правду; развѣ ты не замѣчалъ?

— Не въ томъ дѣло. А я думаю, что если дѣйствительно вышла сплетня...

— Что-жь, ты все объяснишь Подлещикову, а онъ ей...

Андрей Николаевичъ покачалъ головою.

— Не повѣритъ, а она подавно... Особенно послѣ статьи... Охъ, боюсь я, не пришлось бы разойтись съ Иваномъ.

— Но почему же?

— Да потому просто, что она глупа, а онъ... отъ нея безъ ума... Впрочемъ, поживемъ, увидимъ... А что за письмо у тебя въ рукахъ?

— Ахъ, я и забыла!.. Тебѣ, открытое.

Андрей Николаевичъ взялъ письмо, и его глаза невольно упали на предувѣдомленіе почтоваго вѣдомства, что оно не отвѣчаетъ за содержаніе письма. Это предувѣдомленіе на сей разъ было вполнѣ кстати. Письмо было анонимное. Кто-то, фамильярно называя Андрея Николаевича „миленькимъ Андрюшенькой“, совѣтовалъ ему прочесть такой-то номеръ петербургской шантажной газеты, гдѣ „разоблачены безсовѣстныя продѣлки небезызвѣстнаго ему нотаріуса и отдана полная справедливость его ярой бездарности“.

— Угрюмовскія штуки! сказалъ Безпаловъ, подавая письмо женѣ.

Лидія Антоновна быстро прочла и мгновенно изорвала письмо въ мелкіе клочки.

— Вотъ какъ вредно сдерживать въ себѣ благородные порывы! воскликнулъ Андрей Николаевичъ и слѣдомъ разказалъ, какъ чуть было не выдалъ Угрюмову антимонтіоновской преміи за негодяйство.

— Только ты, пожалуйста, не вздумай опять, съ испугомъ сказала Лидія Антоновна.

— Нѣтъ, не бойся, смѣясь отвѣчалъ Андрей Николаевичъ,—тогда бы дѣствительно это было благороднымъ порывомъ, а теперь... теперь выйдетъ просто грязная исторія... Стой, гдѣ же письмо?

— Я изорвала...

— Ахъ, Лидочка!..

— Къ чему оно? Чтобъ кто-нибудь прочелъ и вывелъ изъ него гадкія заключенія?

— Нѣтъ, тамъ номеръ газеты указанъ.

— Неужто ты станешь читать? спросила Лидія Антоновна все еще подъ опасеніемъ горячности мужа,— спроси лучше Черезова, онъ навѣрное знаетъ: актеры всегда читаютъ такія гадости.

— И то! будто равнодушно отвѣчалъ Безпаловъ.

Въ то время, какъ супруги Безпаловы бесѣдовали о неизвѣстной имъ статьѣ г-на Угрюмова, заключавшій ее номеръ распивочнаго листка былъ въ наличности доставленъ Фанни Юрьевнѣ услужливой Шурочкой.

То было писанье весьма гнуснаго свойства. Гнусный тонъ въ газетахъ въ тѣ дни былъ сравнительной рѣдкостью, и производилъ сенсацію особенно въ актерскомъ мірѣ. Нынѣ извѣстная доля гнусности стала, выражаясь газетнымъ языкомъ, непремѣннымъ

ингредіентомъ ежедневной прессы, но также производитъ сенсацію, особенно въ актерскомъ мірѣ.

Статья начиналась замѣчаніемъ, что бенефисъ г-жи Хотьминской прошелъ съ большимъ успѣхомъ, но прибавлялось, что успѣхъ былъ „чисто внѣшній, то-есть выражался въ обычныхъ вызовахъ, рукоплесканіяхъ, цѣнныхъ и бецѣнныхъ подношеніяхъ, но ни мало не шевелилъ сердца зрителей“.

„Вещей и букетовъ“, говорилось далѣе, было подано на нѣсколько тысячъ:

Нѣтъ у насъ денегъ на дѣло,
На безобразіе есть,

какъ сказалъ вдохновенный поэтъ, нѣкогда украшавшій своими высокодаровитыми произведеніями столбцы нашей газеты. Въ самомъ дѣлѣ, цѣнность подарковъ, а равно усердіе добровольныхъ и наемныхъ хлопальщиковъ неоспоримы и могутъ быть, такъ сказать, засвидѣтельствованы *нотаріальнымъ порядкомъ*“ (курсивъ въ подлинникѣ).

Слѣдомъ Угрюмовъ набрасывался на піесу, называя ее „уродливой мелодрамой, напичканной всякой французятиной“. Сознаваясь, впрочемъ, что въ ней есть эффектныя мѣста, рецензентъ остроумно называлъ ихъ *горчишниками*. „А наша публика“, добавилъ онъ, — „надо сознаться, любитъ-таки подобные горчишники и чѣмъ больше налѣпитъ ей авторъ, тѣмъ она довольнѣе; только бы онъ дѣйствовалъ безцеремонно и лѣпилъ ихъ куда придется, не разбирая мѣстовъ“. Тутъ г-нъ Угрюмовъ выражалъ сожалѣніе, что артисты мало обращаютъ вниманія на нарождающуюся школу молодыхъ бытовыхъ писателей. Причину тому онъ видѣлъ въ не-

достаточной образованности бенефиціантовъ и особенно бенефиціантокъ, „вообще падкихъ на сентименты“.

Переходя къ исполненію, онъ хвалилъ всѣхъ артистовъ, и особенно г. Поплескина, „спасшаго своей оживленной и высокодаровитой игрой четвертый актъ отъ рѣшительнаго провала“. Выругавъ автора за „лакейскую угодливость передъ бенефиціанткой“, сказавшуюся въ замѣнѣ роли Персіанина, единственной, талантливо-написанной роли во всей піесѣ,—ролью кружевницы, рецензентъ сожалѣлъ, что такое обстоятельство не дозволило г. Сосногорову выказать своего несомнѣннаго дарованія; пользуясь случаемъ, онъ выговаривалъ режиссеру за то, что г. Сосногоровъ вообще находится почему-то въ загонѣ. „Впрочемъ“, прибавлялъ г. Угрюмовъ, „изъ безцвѣтной роли кружевницы г-жа Бердышева сумѣла создать вполнѣ живое и типичное лицо“.

Затѣмъ рецензентъ принимался за Фанни Юрьевну и раздѣлывалъ ее, какъ говорится, подъ орѣхъ. Онъ называлъ ея репутацію взмыленной и вздутой; онъ упрекалъ ее за любовь къ рекламѣ; онъ не видѣлъ въ ней никакого дарованія, а только хорошенькое личико; онъ совѣтовалъ клубу озаботиться приглашеніемъ на слѣдующій сезонъ „заправской“ актрисы, которая дала бы возможность вести серьезный репертуаръ изъ бытовыхъ піесъ.

Въ заключеніе Угрюмовъ считалъ долгомъ сказать нѣсколько словъ о портретѣ г-жи Хотьминской, недавно сдѣланномъ г. Безпаловымъ, именно въ виду того, что хотя онъ нигдѣ еще не выставленъ, а ужь о немъ пущена по Москвѣ реклама самаго беззастѣнчиваго свойства. Рецензентъ задавался вопросомъ: почему г. Без-

палов написалъ портретъ именно г-жи Хотьминской, а не другой какой артистки, и рѣшилъ, что по невольному влеченію, которое бездарности чувствуютъ другъ къ другу. „Chaque vilain trouve sa vilaine“, добавлялъ онъ ради показанія своей свѣтскости. Затѣмъ и Андрей Николаевичъ раздѣлывался подъ орѣхъ, на тотъ же манеръ, что и Фанни Юрьевна. Доказывалось, что у него, строго говоря, *настоящаго* таланта нѣтъ, и никогда не было, и что если его *Чиновники* имѣли когда-то успѣхъ, то чисто внѣшній и случайный, зависѣвшій не столько отъ достоинствъ картины, какъ отъ того, что художникъ нечаянно попалъ въ общественную жилку. Прибавлялось, что люди прозорливые тогда же предсказывали, что изъ г. Безпалова ничего не выйдетъ. О портретѣ утверждалось, что это не живопись, а просто какое-то безобразное пятно „изъ шикарно наляпаныхъ и бойко нашлепаныхъ красокъ“, на которое нельзя смотрѣть безъ жалости за художника, нѣкогда подававшаго надежды. Г. Угрюмовъ умолялъ распорядителей ближайшихъ выставокъ пощадить публику и не допускать ее до созерцанія такого безобразія, изъ ложнаго представленія будто у г. Безпалова есть имя. Онъ де дѣйствительно пользуется нѣкоторою извѣстностью, но отнюдь не какъ художникъ, а какъ ловкій рекламистъ.

Въ доказательство своего мнѣнія, рецензентъ указывалъ на тотъ фактъ, что, какъ ему положительно извѣстно, именно благодаря умѣлой рекламѣ, портретъ купленъ однимъ quasi-знатокомъ за тысячу рублей; вѣрность цифры г. Угрюмовъ готовъ былъ подтвердить *нотаріальнымъ порядкомъ* (опять курсивъ въ подлинникѣ). Слѣдовала злостная выходка противъ корыстолюбія нашихъ художниковъ.

— Что-жь это такое? со слезами на глазахъ, какъ бы въ безсиліи опуская газету на колѣни, сказала Фанни Юрьевна.

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ взбѣшенъ до-нельзя.

— Все это штуки этого... какъ бишь его?

— Угрюмова, подсказала Шурочка.

— Ну да.

— Онъ еще за недѣлю до бенефиса грозился, что разнесетъ, добавила madame Бердышева.

— А все жь вы меня не увѣрите, что Безпаловъ совсѣмъ не виноватъ, неизвѣстно въ силу какихъ предварительныхъ умозаключеній нежданно объявила Фанни Юрьевна.

— Да, конечно, виноватъ, думалъ про себя Иванъ Ѳеогностовичъ, не замѣчая, что онъ только подыскиваетъ доказательства къ обвиненію, высказанному Хотьминской, — онъ могъ бы предупредить... онъ могъ бы переговорить... ну, пообѣщать ему отступнаго, и конечно лучше бы заплатить полтораста, двѣсти рублей, чѣмъ...

— И правда вѣдь, докладывала между тѣмъ Шурочка хозяйкѣ,—Фихтошка даже говоритъ, что Угрюмовъ давнымъ давно предупреждалъ Безпалова на счетъ бенефиса...

— Извините, съ чрезвычайной рѣзкостью, точно вдругъ устыдясь своей недавней мысленной податливости, прервалъ ее Иванъ Ѳеогностовичъ,—но вашему Фихтошѣ и на грошъ вѣрить нельзя... Довольно исторіи съ билетами...

Тутъ Иванъ Ѳеогностовичъ запнулся, вспомнивъ, что далъ слово Переверзеву никому не говорить о билетахъ, а дамы прикусили язычекъ.

— Если онъ и дѣйствительно предостерегалъ, то Андрею Николаевичу простая деликатность не дозволяла сообщить мнѣ объ этомъ: вѣдь это бы значило нѣкоторымъ образомъ участвовать въ шантажѣ.

— А все же, скажи онъ вамъ тогда, ничего бы этого не было, недовольнымъ тономъ надувъ губы, пробурчала Фанни Юрьевна.

Эти непріятности разстроили Фанни Юрьевну не на день, не на два, а чуть ли не на цѣлыхъ двѣ недѣли. Все это время къ ней, какъ говорится, приступу не было. Она раздражалась по пустякамъ, нервничала и чуть не плакала. Иванъ Ѳеогностовичъ терялъ голову и не могъ придумать, чѣмъ бы ее развлечь и утѣшить. Онъ пробовалъ возить ее въ циркъ и оперетку; онъ пытался доказывать, что газетная статейка существуетъ всего день, а на другой забывается,—ничто не помогало.

Подлещиковъ не безъ основанія полагалъ, что раздраженное состояніе Фанни Юрьевны поддерживается язвительными разспросами и намеками знакомыхъ и подругъ. Особенно злостной въ этомъ отношеніи казалась ему Глафира Александровна, которая съ чего-то опять зачастила къ своей Ѳеничкѣ. Ей стоило просто при нѣкоторыхъ словахъ какъ-то особенно взглянуть на Фанни Юрьевну, чтобъ разбередить, казалось, уже совсѣмъ забытую непріятность; лицо у Ѳенички мгновенно вытягивалось и глаза начинали усиленно моргать. Однажды—дѣло было при графѣ—Шелехова, раздразнивъ подругу, слѣдомъ принялась утѣшать ее и замѣтивъ, что не слѣдуетъ придавать особаго значенія газетной сплетнѣ, обратилась къ графу съ вопросомъ: какъ онъ думаетъ, могутъ ли подобныя статейки имѣть

вліяніе, напримѣръ, на поступленіе артистки въ Малый театръ.

Графъ нѣсколько смутился отъ сдѣланнаго въ упоръ вопроса.

— Право, не знаю... то-есть, я хочу сказать, что мало знакомъ съ театральными порядками... Но, вообще, cela depend... Enfin, все зависитъ de la bienveillance... По крайней мѣрѣ, въ болѣе высокихъ сферахъ, когда къ человѣку хорошо расположены, то въ подобныхъ случаяхъ говорятъ: „ахъ! можно ли обращать вниманіе на то, что̀ пишутъ... все это сплетни!.. И при томъ наши журналисты...“ Ну, а если не расположены и хотятъ насолить, тогда иное. Тогда кричатъ: „Помилуйте! онъ себя ославилъ... Я согласенъ, наши газеты, но... но нельзя же вовсе пренебрегать общественнымъ мнѣніемъ...“

— Нѣтъ, я *васъ* спрашиваю,—настаивала на своемъ Глафира Александровна,—какъ бы *вы* поступили въ подобномъ случаѣ, то-есть, еслибъ отъ васъ зависѣла судьба Ѳенички...

Графъ подумалъ передъ отвѣтомъ, что̀ случалось съ нимъ не часто.

— Для меня,—сказалъ онъ,—талантъ Фанни Юрьевны вещь несомнѣнная. При томъ, у нея такія прекрасныя манеры, она настоящая дама на сценѣ, между тѣмъ, какъ другія артистки... c'est par lá qu'elles pèchent... Извините, но всѣ онѣ такія Матрёшки...

И графъ поморщился точно отъ дурнаго запаха.

— Что и требовалось доказать!—съ торжествомъ и смѣхомъ воскликнула Глафира Александровна.

Выходка Шелеховой весьма не понравилась Ивану Ѳеогностовичу, тѣмъ болѣе, что онъ ясно видѣлъ, что

Фанни Юрьевна, въ ожиданіи отвѣта графа, опять съ надеждой и тревогой впилась въ его лицо глазами, какъ въ тотъ разъ, когда Немыкинъ заговорилъ съ нимъ о слухахъ насчетъ его назначенія управляющимъ московскими театрами.

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ вполнѣ увѣренъ, что графъ назначенъ не будетъ; тотчасъ послѣ стычки съ нимъ у Немыкина, онъ написалъ въ Петербугъ пріятелю, человѣку столь же точному и аккуратному, какъ самъ, съ просьбою собрать самыя обстоятельныя свѣдѣнія на этотъ счетъ. Пріятель отвѣчалъ, что по справкамъ у самыхъ вѣрныхъ людей, какъ въ театральной конторѣ, такъ и въ министерствѣ, оказалось, что о назначеніи Ворворищева въ Москву не заходило даже и рѣчи, и что Иванъ Ивановичъ (ce cher Иванъ Иванычъ) сидитъ на своемъ мѣстѣ крѣпче, чѣмъ когда-либо; что графъ дѣйствительно былъ въ Петербургѣ и даже онъ самъ, пріятель, встрѣтилъ его у одного знакомаго правителя канцеляріи; по нѣкоторымъ намекамъ послѣдняго пріятель понялъ, что графъ хлопочетъ о мѣстѣ, но совсѣмъ по другому вѣдомству и при томъ не въ Москвѣ, а въ провинціи; кажется, о губернаторствѣ или вице-губернаторствѣ, добавлялъ пріятель.

Сообразивъ все это, Иванъ Ѳеогностовичъ заключилъ, что графъ ведетъ двойную игру, которую и не задумался назвать про себя безчестной. Очевидно, Ворворищевъ, въ виду слабости другихъ своихъ рессурсовъ, подманивалъ Фанни Юрьевну возможностью попастъ на казенную сцену. Но при чемъ тутъ Шелехова? Она-то о чемъ хлопочетъ?

— Нѣтъ, всему этому надо положить конецъ,— сказалъ про себя Иванъ Ѳеогностовичъ и рѣшилъ пере-

сидѣть и графа, и Шелехову, чтобъ нынче же объясниться съ Фанни Юрьевной.

Онъ такъ и сдѣлалъ. Оставшись вдвоемъ, они нѣсколько помолчали. Иванъ Ѳеогностовичъ недоумѣвалъ, съ чего бы завести разговоръ. Въ это время хозяйкѣ подали записочку отъ monsieur Курто и присланную имъ только-что вышедшую книжку *Русскаго Добра*. Иванъ Ѳеогностовичъ обрадовался такому обстоятельству. Онъ возлагалъ нѣкоторую надежду на статью и даже нарочно навѣдался къ Немыкину, чтобъ разузнать о ея содержаніи. Иванъ Петровичъ все еще болѣлъ глазами, но Пѣшкинъ читалъ ему статью и, по отзыву редактора, статья была прекрасная и весьма лестная, какъ для автора, такъ и для бенефиціантки.

— Чему я очень радъ, прибавилъ Немыкинъ,— потому что мнѣ надоѣла постоянная травля театра во всѣхъ газетахъ.

Monsieur Курто въ веселомъ тонѣ извѣщалъ Фанни Юрьевну, что „наконецъ-то имъ обоимъ воздана справедливость въ печати"; къ этому милому извѣстію было прибавлено нѣсколько глубокомысленныхъ размышленій о ничтожности ежедневной прессы и величіи ежемѣсячной.

Фанни Юрьевна немедля стала читать вслухъ.

Рецензія была дѣйствительно благосклонная. Г. Втулкинъ видѣлъ въ комедіи серьезную „общественную подкладку" и особенно распространялся о значеніи сцены пятаго акта, между Агнесой и кружевницей, гдѣ будто бы авторъ выставилъ „въ живой коллизіи два міросозерцанія, непосредственно-народное и оторванное отъ народныхъ основъ воззрѣніе интеллигентныхъ классовъ". Написавъ эту фразу, Втулкинъ сказалъ про

себя: „то-то Немыкинъ будетъ радъ: онъ вѣчно носится съ коллизіями и народными основами“, и затѣмъ какъ бы для собственнаго успокоенія добавилъ: „Впрочемъ, это въ духѣ нашего журнала; вѣдь мы демократы-народники“.

Г. Втулкинъ упрекалъ автора только за четвертый актъ, именно за роль г. Поплескина, вначалѣ поставленную столь удачно, а тутъ какъ-то насильственно оборванную и недоразвитую. Это мѣсто было съ обѣихъ сторонъ отчеркнуто карандашемъ, и при томъ съ одной—съ такою силой, что бумага прорвалась,—обстоятельство, обратившее на себя вниманіе Фанни Юрьевны. Впослѣдствіи оказалось, что взбѣшенный monsieur Курто отмѣтилъ это столь обидное для него мѣсто, чтобъ показать Поплескину. Артистъ, впрочемъ, отнесся къ упреку хладнокровно.

— Чего вы сердитесь? не понимаю,—сказалъ онъ,—я свое дѣло сдѣлалъ, піесу поддержалъ... Ну, а эти рецензенты... такъ я вамъ скажу, что въ піесахъ они еще кой-что понимаютъ, а ужь въ нашемъ дѣлѣ, особенно насчетъ тонкой игры, ничего не смыслятъ.

Прочитавъ отчеркнутое мѣсто, Фанни Юрьевна остановилась.

— Бѣдный monsieur Курто!—сказала она.—Точно онъ виноватъ!.. Видите, Иванъ Ѳеогностовичъ, хотя Поплескинъ мой товарищъ, но я всегда скажу правду-

Иванъ Ѳеогностовичъ восхитился правдивостью Фанни Юрьевны и особенно тѣмъ, что—какъ ему подумалось въ это мгновеніе—въ разговорахъ съ графомъ она никогда, по крайней мѣрѣ, при немъ, не выражалась съ такой наивной откровенностью; словомъ, если она—прости ей, Господи!—и кокетничала съ графомъ, то

всегда безъ увлеченія и съ разсчетомъ, и никогда не говорила съ нимъ по душѣ.

Переходя къ исполненію, г. Втулкинъ разсыпался въ похвалахъ Фанни Юрьевнѣ. Онъ воздавалъ честь ея красотѣ, изяществу и вкусу. Особенно онъ распространялся о ея прекрасныхъ манерахъ; о томъ, что она чуть ли не единственная артистка, умѣющая быть на сценѣ настоящей дамой; что въ ея устахъ французскія фразы не звучатъ по-нижегородски. „А на нашей сценѣ это такая рѣдкость!“ восклицалъ рецензентъ. „Въ самомъ дѣлѣ, большинство нашихъ актрисъ, по остроумному замѣчанію одного тонкаго знатока и въ то же время свѣтскаго человѣка, напоминаютъ никакъ не дамъ, а развѣ переряженныхъ Акулекъ и Матрешекъ“!

Лицо Фанни Юрьевны озарилось улыбкой; она давно ждала себѣ подобной хвалы, дававшей ей въ нѣкоторомъ—по ея мнѣнію, въ самомъ важномъ—отношеніи преимущество передъ всѣми другими артистками. Особенно же ей было пріятно то, что такое мнѣніе было если не прямо подсказано графомъ, то все же дословно совпадало съ его собственнымъ... Ахъ, только бы его назначили поскорѣе!

Иванъ Ѳеогностовичъ, напротивъ того, нахмурился онъ догадывался, какія надежды возбуждала въ Фанни Юрьевнѣ эта хвала.

„Въ третьемъ актѣ, въ сценѣ свиданія“, говорилось далѣе въ статьѣ, „г-жа Хотьминская была просто обаятельна“.

— Правда, съ живостью подтвердилъ Подлещиковъ.

— Да? лукаво выглядывая изъ-за книги спросила Фанни Юрьевна.

Иванъ Ѳеогностовичъ забылъ свою недавнюю досаду.

— Именно, обаятельна! И даже также лукаво взглянули изъ-подъ вѣера, какъ сейчасъ изъ-за книги.

— Да? также переспросила Фанни Юрьевна и стала быстро, быстро читать дальше.

„Но насчетъ интерпретаціи пятаго акта", стояло чрезъ нѣсколько строкъ, „мы не совсѣмъ согласны съ талантливой исполнительницей. Именно тутъ слышались совсѣмъ ей несвойственныя рутинныя ноты. Казалось, будто артистка, не надѣясь на свои собственныя силы, вздумала пройти пятый актъ съ какимъ-нибудь прославленнымъ не въ мѣру педантомъ, декламаторомъ старой школы, считающимъ завыванія и рокотанія необходимымъ условіемъ драмы"...

— Ну, вотъ я вамъ говорила, что у него нельзя учиться! воскликнула Фанни Юрьевна и мигомъ пришла вновь въ ненавистное Ивану Ѳеогностовичу раздраженное состояніе.

Подлещиковъ растерялся; онъ никакъ не могъ понять какимъ образомъ редактора посмѣли продернуть въ его собственномъ журналѣ. Онъ думалъ, что Фанни Юрьевна ошиблась, пропустила строку, или... Онъ быстро подхватилъ книгу съ полу и перечелъ то же мѣсто: было напечатано именно такъ, какъ прочла Хотьминская. Иванъ Ѳеогностовичъ нѣкоторое время просидѣлъ въ недоумѣніи, не сводя глазъ со странныхъ строкъ.

Читатель, конечно, не менѣе Ивана Ѳеогностовича удивленъ сказаннымъ обстоятельствомъ и чтобъ не томить его, мы сейчасъ же разкажемъ какъ было дѣло. Пѣшкинъ, какъ припомните, на бенефисѣ сидѣлъ рядомъ съ графомъ и считалъ долгомъ все время бесѣдовать съ нимъ и какъ съ титулованной особой, и какъ

съ будущимъ управляющимъ театрами. Въ пятомъ актѣ ему дѣйствительно послышались знакомыя рокотанія и стенанія, о чемъ онъ и сообщилъ графу, не назвавъ, впрочемъ, Ивана Петровича по имени. Втулкинъ всѣ антракты вертѣлся около нихъ, уподобляясь мудрой пчелѣ, собирающей медъ со всѣхъ цвѣтовъ, или паче немудрому репортеру, подхватывающему на лету чужія слова и мнѣнія ради замѣщенія газетной пустоты. Графъ отвѣчалъ, что этотъ, впрочемъ незначительный, недостатокъ онъ и самъ замѣтилъ у Фанни Юрьевны, но что вообще она артистка, какихъ мало; тутъ-то и было выражено уже извѣстное читателю, нынѣ ставшее классическимъ, мнѣніе о Матрёшкахъ. Прочтя въ статьѣ Втулкина о стенаніяхъ и рокотаніяхъ, Пѣшкинъ подумалъ, что пожалуй это мѣсто благоразумнѣе вычеркнуть, а потому, читая статью Ивану Петровичу, онъ опустилъ его; но заторопясь корректурами—нечаянно или умышленно, исторія умалчиваетъ—забылъ о своемъ благомъ намѣреніи.

— Разумѣется, оправдывался онъ потомъ,—мнѣ и въ мысль не приходило, что тутъ рѣчь идетъ объ Иванъ Петровичѣ, но я просто опасался, нѣтъ ли тутъ намека на чью-нибудь личность. Впрочемъ, и Втулкинъ поступилъ безъ умысла; это вовсе не его мнѣніе, онъ просто повторилъ то, что при мнѣ говорилъ Ворворищевъ. Ну, а его-то самъ Иванъ Петровичъ считаетъ авторитетомъ въ театральномъ дѣлѣ.

Просидѣвъ нѣсколько мгновеній въ недоумѣніи, съ уставленными на странныя строки глазами, Иванъ Ѳеогностовичъ порывисто отбросилъ книгу. Онъ всталъ и прошелся по комнатѣ, проклиная и день, и часъ, когда ему втемяшилась нелѣпая мысль, будто на са-

молюбіе Фанни Юрьевны необходимо дѣйствовать при посредствѣ газетъ и журналовъ. Велика важность хвалебная статья! Это годится развѣ только такъ, между прочимъ, на заѣдку, какъ вкусная конфетка,—но какимъ образомъ онъ-то, при своей дѣловитости и практичности, могъ считать подобный вздоръ чѣмъ-то существеннымъ!

Подлещиковъ встряхнулся и вновь исполнился такой же рѣшимости, какъ въ тотъ день, когда орломъ пустился на добычу бенефисной піесы; разница была въ томъ, что сегодня онъ еще не зналъ на что̀ именно пустится; онъ, правда, рѣшился дѣйствовать, но самого-то дѣйствія пока не предвидѣлъ, а развѣ смутно предчувствовалъ.

— Нѣтъ, какъ хотите, Фанни Юрьевна, а это такъ продолжаться не можетъ! съ живостью заговорилъ онъ.

Фанни Юрьевна съ удивленіемъ на него взглянула.

— Помилуйте, которую недѣлю вы растраиваете себя по пустякамъ... Ну, раньше еще были кое-какія, хотя и неважныя причины... А нынче?.. Да вѣдь это чисто-комическое приключеніе!.. Вѣдь не можете же вы серьезно жаловаться на статью. Чего вамъ еще, какихъ еще похвалъ!.. Правда, есть маленькое *но*; безъ него, сами знаете, журналисты не обходятся; это на ихъ языкѣ зовется безпристрастіемъ... И притомъ въ сущности онъ посмѣялся не надъ вами, а надъ своимъ редакторомъ; онъ именно его хотѣлъ вышутить...

— Я прекрасно понимаю, а все же...

Она въ смущеніи не договорила.

— Что̀ *все же*, Фанни Юрьевна?

— Ахъ, какъ вы, Иванъ Ѳеогностовичъ, не пони-

маете!.. Согласитесь, что *раньше*... вѣдь это же мнѣніе графа, это его слова... И вдругъ!..

— Что́ *вдругъ*? Ужь не хотите ли вы сказать, что вдругъ невзначай попало мое мнѣніе? съ усмѣшкой спросилъ Подлещиковъ.

— Ахъ, что̀ вы! съ испугомъ, замахавъ руками, вскричала Фанни Юрьевна.

— Такъ въ чемъ же дѣло?..

— Видите ли... а что̀, если и *это* сказалъ графъ?.

Иванъ Ѳеогностовичъ расхохотался.

— Ну, онъ, такъ онъ... Не все ли равно?

— А вы не думаете, что это можетъ имѣть вліяніе?

— На вашу судьбу, какъ выразилась Глафира Александровна? съ пущимъ смѣхомъ подхватилъ Подлещиковъ.

— Ну, да... Я не понимаю, однако, чему вы смѣетесь, обиженно отвѣчала она.

— А! я вижу, вы все еще мечтаете о назначеніи графа.

— А развѣ нѣтъ? съ испугомъ и недовѣріемъ спросила Фанни Юрьевна, не зная шутитъ ли Иванъ Ѳеогностовичъ, или же говоритъ серьезно.

— Ахъ, Боже мой! не все ли равно? со страннымъ легкомысліемъ, какъ казалось Фанни Юрьевнѣ, сказалъ Подлещиковъ. — Вы какъ-то просили меня не трогать вашего чуднаго, вашего безподобнаго и ужь не знаю какого еще графа... И вѣрьте, я и не заговорилъ бы о немъ, еслибы не вы сами... Для меня онъ совершенно безобидная муха, которая, правда, порой жужжитъ довольно надоѣдливо... Но пока она на меня не садится и меня не кусаетъ, я отношусь къ ней совершенно

безразлично и не гоняться за ней, ни прихлопывать ее не намѣренъ... Впрочемъ, все это пустяки и вовсе не о немъ хотѣлъ я поговорить съ вами, прервавъ самого себя добавилъ Подлещиковъ.

Фанни Юрьевна вопросительно взглянула на него. „Если графъ пустяки, то что же серьезно?“ подумала она.

— Вы знаете, милая Фанни Юрьевна, по молчаніи, съ большей сдержанностью продолжалъ нотаріусъ, — что ваши желанія для меня — законъ. По крайней мѣрѣ, я, насколько могъ, старался до сихъ поръ не только исполнять, но и предупреждать ихъ... Не знаю, всегда ли удачно...

Онъ опять помолчалъ. Фанни Юрьевну разбирало любопытство.

— Доселѣ вы ни разу не говорили мнѣ прямо, что желаете попасть на казенную сцену. Теперь я вижу, что таково дѣйствительно ваше желаніе. И мое дѣло — предупредить его.

Фанни Юрьевна широко раскрыла глаза и ротъ.

— Но какъ же вы это сдѣлаете?

— Это ужь мое дѣло Будетъ ли назначенъ графъ, останется ли Иванъ Иванычъ, во всякомъ случаѣ вы будете приняты въ Малый театръ. Я даю вамъ слово, и надѣюсь вамъ не приходилось ни видѣть, ни слышать, чтобъ я не держалъ своего слова.

— Но какъ же? робко повторила свой вопросъ Фанни Юрьевна.

— Повѣрьте, я сумѣю устроить, твердо, съ блестящими глазами отвѣчалъ Подлещиковъ.

Въ его взглядѣ, во всей его фигурѣ было столько увѣренности, что Фанни Юрьевна диву далась. Она

еще никогда не видала его такимъ... красивымъ; онъ казался ей выше ростомъ и мужественнѣе; она невольно вѣрила ему.

— Но все это пустяки! заключилъ свою рѣчь Иванъ Ѳеогностовичъ.

„Какъ и это пустяки?“ чуть было не крикнула вслухъ артистка, не смѣя свести глазъ съ человѣка, которому повидимому все ни по чемъ.

— Дѣло въ вашемъ здоровьи, заговорилъ снова Иванъ Ѳеогностовичъ—безъ сомнѣнія, вы нервны, вы впечатлительны, какъ артистка; но все же всѣ эти газетныя дрязги не могли бы такъ сильно подѣйствовать на васъ, будь вы вполнѣ здоровы. Вы думаете, я самъ не волновался? что мнѣ не пришлось выслушать цѣлый ворохъ намековъ насчетъ опредѣленія цѣнности подарковъ нотаріальнымъ порядкомъ и тому подобнаго? Было нѣчто хуже; про меня распускали такіе слухи... Но, какъ видите, это меня не особенно растроило, именно потому что я вполнѣ здоровъ. А вы... знаете, что я вамъ скажу? Эта квартира положительно вамъ вредна; я не скажу, чтобъ она была холодна, или сыра... нѣтъ... но она... она выходитъ на сѣверъ, къ вамъ никогда не заглядываетъ солнце... А это не можетъ не отразиться на здоровьи... Я именно знаю одинъ такой случай, когда больной, по совѣту Захарьина, просто переѣхалъ на другую квартиру и быстро поправился.

Фанни Юрьевна ждала отъ рѣшимости Ивана Ѳеогностовича чего-то другого, и потому смутилась, услышавъ, что все дѣло въ квартирѣ.

— Наконецъ, вы все-таки живете не въ своей квартирѣ. Правда, ваши хозяева люди вполнѣ поря-

дочные, тихіе, скромные, но все же это не можетъ не стѣснять васъ...

— Конечно, все еще въ сомнѣніи проговорила Фанни Юрьевна.

— Итакъ, дѣло рѣшенное: вамъ слѣдуетъ переѣхать отсюда и жить, какъ говорятъ Французы, dans ses meubles et manger dans son assiette.

Фанни Юрьевна не помнила, чтобъ Иванъ Ѳеогностовичъ произнесъ при ней хотя одно французское слово; она была пріятно изумлена правильностью его выговора, который, подобно многимъ россіянамъ, цѣнила выше знанія языка. Въ ея глазахъ засвѣтилась нѣжность.

— Но, право, я не знаю... Я не знаю даже, останусь ли въ Москвѣ; изъ клуба до сихъ поръ никакого отвѣта...

— О клубѣ, пожалуста, не безпокойтесь; я говорилъ съ старшинами; разумѣется, они васъ не упустятъ... То-есть, если не представится возможности перейти на казенную сцену... И притомъ, здоровье дороже всего...

— Но, Иванъ Ѳеогностовичъ, у меня почти нѣтъ мебели... наконецъ...

— У васъ нѣтъ рояля, а вы любите музыку, и такъ чудно поете цыганскія пѣсни, любезно прервалъ ее Подлещиковъ. — А это также необходимо для здоровья... То-есть, я хочу сказать, что подобныя, чистомелочныя лишенія способны развивать въ насъ раздражительность. Впрочемъ, все это легко устранить... Вы не premiére venue, вы женщина съ положеніемъ, вы артистка... Временно, вы можете нуждаться, но для васъ всегда возможенъ широкій кредитъ.

Фанни Юрьевна хотѣла что-то сказать, но Иванъ Ѳеогностовичъ не далъ ей выговорить ни слова.

— Я знаю, вы хотите сказать, что это нѣсколько хлопотливо. Конечно, для женщины всѣ эти дѣла... Но .вѣдь на то и существуемъ мы, мужчины... И я надѣюсь, что вы дозволите мнѣ взять эти формальности на себя; согласитесь, что я просто, какъ нотаріусъ, en ma qualité de notaire, обязанъ все это устроить...

Фанни Юрьевна раскрыла было ротъ.

— Итакъ, дѣло рѣшенное. Ивольте надѣвать шляпу и ротонду, и ѣдемте.

— Куда? изумилась артистка.

— Какъ куда? въ свою очередь изумился нотаріусъ.—Нанимать квартиру, выбирать мебель et cetæra.

Фанни Юрьевна выпрямилась и во всѣ глаза поглядѣла на Ивана Ѳеогностовича. Онъ, какъ и раньше, стоялъ передъ нею высокій, рѣшительный, мужественный. Она вдругъ почувствовала, что какъ-то нежданно очутилась въ его власти. Для нея это было дѣломъ привычнымъ; она любила слушаться именно такихъ сильныхъ людей... Разумѣется, подъ условіемъ, чтобъ у нихъ была и готовность, а главное возможность исполнять ея малѣйшія желанія, даже капризы. А тутъ и сомнѣнія не было, что онъ-то ужь навѣрное исполнитъ все, что только влетитъ ей въ голову.

Фанни Юрьевна заторопилась, захлопоталась позвонила горничную, и въ какомъ-то суетливо-полусознательномъ состояніи черезъ нѣсколько мгновеній уже стояла передъ Иваномъ Ѳеогностовичемъ вполнѣ готовая къ выѣзду.

Онъ предложилъ ей руку, и хотя, какъ ей думалось, дѣлалъ это въ первый разъ, но такъ ловко и

свободно, точно вѣкъ свой водилъ ее подъ руку. И она пошла за нимъ такъ же покорно, какъ еслибы... вѣкъ его водила за носъ.

Въ такихъ и подобныхъ хлопотахъ незамѣтно промелькнуло двѣ, три недѣли. Фанни Юрьевна была разборчива, на нее не легко было угодить; но наконецъ квартира была найдена, мебель частію куплена, частію заказана, причемъ у Фанни Юрьевны оказались знакомые мебельщики и обойщики, необыкновенно искусные, честные и дешевые. Въ послѣднемъ качествѣ Ивану Ѳеогностовичу пришлось нѣсколько усомниться, при болѣе близкомъ знакомствѣ съ ихъ счетами. Впрочемъ, они, быть-можетъ, приписали къ новому счету нѣкоторыя прежнія недоплаты Фанни Юрьевны.

Все это время она была весела, беззаботна, счастлива и впослѣдствіи не разъ вспоминала о немъ. Ей особенно нравилось, что Иванъ Ѳеогностовичъ въ эти дни былъ съ нею необыкновенно деликатенъ и почтителенъ, не дозволяя себѣ ни одной сколько-нибудь дерзкой вольности.

„Чудный человѣкъ!.. Мы съ нимъ точно женихъ съ невѣстой“, часто твердила она про себя, впрочемъ безо всякой мысли о свадьбѣ. И не разъ ложась въ постель, въ томномъ и мечтательномъ полузабытьи она шептала: „Ахъ, никогда, никогда я не измѣню!.. Это было бы просто...“ Фанни Юрьевна не договаривала слова, но врядъ ли подразумѣвала тутъ что-нибудь выше свинства.

Случилось, что послѣ долгаго летанья и шмыганья по городу, они заѣзжали завтракать, обѣдать или ужинать въ трактиръ. Въ первый разъ Фанни Юрьевна поморщилась отъ такого предложенія, она, правду говоря, опа-

салась ловушки со стороны преданнаго друга. Это преждевременно разрушило бы ея сентиментальныя мечтанія о томъ, что они точно помолвлены, а ей такъ рѣдко приходилось предаваться такимъ свѣтлымъ, такимъ идеальнымъ грезамъ! Но другъ оказался прямымъ другомъ: чудный человѣкъ просто хотѣлъ ѣсть. Впрочемъ, у Ивана Ѳеогностовича тутъ была своя тайная мысль; ему почему-то требовалось отучить Фанни Юрьевну отъ скрытности, по крайней мѣрѣ насчетъ ихъ отношеній; въ этомъ дѣлѣ ему вовсе не хотѣлось играть въ прятки. Быть-можетъ, это согласовалось съ его теоріей самолюбія.

Наконецъ все было кончено, и наканунѣ переѣзда Фанни Юрьевны они посѣтили въ послѣдній разъ совсѣмъ отдѣланную, свѣженькую и милую квартирку. Оттуда они отправились въ послѣдній разъ поужинать въ ресторанъ; на завтра Иванъ Ѳеогностовичъ былъ уже приглашенъ обѣдать на новосельи, и предполагалось, что такъ оно пойдетъ и въ слѣдующіе долгіе и счастливые дни.

Онъ проводилъ Фанни Юрьевну въ послѣдній разъ въ Каретный рядъ. Они вошли въ подъѣздъ, она вбѣжала вверхъ, опередивъ его на нѣсколько ступенекъ, и позвонила.

— А вѣдь вамъ, не правда ли, эти лошади и коляска нравятся больше, чѣмъ тѣ, на которыхъ мы ѣздили раньше? нагоняя ее спросилъ Подлещиковъ.

— Да.

— Стало-быть, я не ошибся, приказавъ, чтобы съ завтрашняго утра они были въ вашемъ полномъ распоряженіи?

Фанни Юрьевна не вспомнилась отъ радости, и

хотя уже слышались шаги горничной, спѣшившей на звонокъ, она обхватила его рукой за шею и крѣпко поцѣловала въ уста.

— Завтра... Чудный! прошептала она.

У Ивана Ѳеогностовича голова пошла кругомъ; когда онъ опомнился, Фанни Юрьевна уже скрылась за дверью.

XVII.

Первое апрѣля.

> — But pray, sir, what was your father dooing all December, January and February?—Why, Madam,—he was all that time afflicted with a *Sciatica*.
>
> *Tristram Shandy.*

Первымъ дѣломъ Ивана Ѳеогностовича, какъ онъ опомнился, было схватиться за ручку звонка; онъ, однако, сдержался и не позвонилъ. Въ самомъ дѣлѣ, это значило бы испортить послѣдній вечеръ. Конечно, его впустили бы, но что бы онъ сталъ дѣлать? Чѣмъ бы объяснилъ свое вторженіе? Что бы подумала она, и, наконецъ, не обратился ли бы, благодаря этому, ея чистый и безкорыстный порывъ въ наглое заманиванье?

Иванъ Ѳеогностовичъ бросился внизъ по лѣстницѣ, какъ бы убѣгая отъ соблазна. На его губахъ еще горѣлъ ея поцѣлуй, въ ушахъ шумѣло; ему казалось, будто кто-то подхватилъ его подъ руки и уноситъ вверхъ. Сѣвъ въ коляску, онъ приказалъ везти себя домой. Ночь была ясная, безъ вѣтра, съ самымъ легкимъ морозцемъ. На свѣтломъ небѣ стояла полная луна; Иванъ Ѳеогностовичъ заглядѣлся на нее. Ему

по-прежнему мечталось, что онъ несется вверхъ; ясныхъ образовъ и опредѣленныхъ мыслей у него въ головѣ не было, но въ ней быстро возникали и исчезали какіе-то мотивы, или точнѣе, какія-то необыкновенно пріятныя и сладостныя полумузыкальныя мурлыканья; они казались ему знакомыми, и онъ по временамъ кивалъ имъ головою, точно раскланивался при встрѣчѣ съ добрыми друзьями. У Страстнаго монастыря его кто-то громко окликнулъ. Иванъ Ѳеогностовичъ вздрогнулъ и приказалъ остановиться. Къ коляскѣ подбѣжалъ Переверзевъ. Артистъ былъ въ поэтически-восторженномъ состояніи и засыпалъ его возгласами, касательно прелести вешней ночи, луны и еще чего-то.

— А вы куда?.. Неужто домой?

Иванъ Ѳеогностовичъ опомнился. Въ самомъ дѣлѣ, куда? неужто домой, чтобъ видѣть заспанную харю Агафона? развѣ онъ нынче способенъ заснуть?

— Нѣтъ, нѣтъ, энергически протестовалъ онъ и съ недоумѣніемъ прибавилъ:—но куда?

— Разумѣется, къ Яру,—отвѣчалъ Никифоръ Прохоровичъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ подивился артистической находчивости; онъ быстро подвинулся, приглашая Никифора Прохоровича сѣсть въ коляску.

Они поѣхали къ Яру. По-прежнему сіяла луна, по-прежнему Никифоръ Прохоровичъ понесъ восторженную чепуху на счетъ ночи, луны, любви, весны и поэзіи. Иванъ Ѳеогностовичъ его не слушалъ; впрочемъ, поведи Никифоръ Прохоровичъ самыя серьезныя рѣчи, напримѣръ, о безнадежности русскаго бюджета, прелести безубойнаго питанія, или пользѣ шитья сапожныхъ головокъ по сравненію съ головной работой, и

тогда Иванъ Ѳеогностовичъ врядъ ли оказалъ бы ему вниманіе. Онъ былъ весь поглощенъ сладостнымъ мурлыканьемъ, звучавшимъ у него въ головѣ, и по-прежнему кивалъ головой, точно раскланиваясь со старыми знакомыми; теперь ему уже чудилось, будто музыка постепенно наполняетъ все его существо, начиная съ макушки до большого пальца на правой ногѣ.

Вошедъ къ Яру, они радостно и удивленно воскликнули при видѣ Иванова и Черезова. Поздоровавшись съ ними, Подлещиковъ куда-то исчезъ.

— А вы, черти, на какіе же это капиталы кутите? спросилъ Переверзевъ товарищей.

— Кой чортъ кутимъ!.. Извощикъ, ты знаешь, у Корнелія всегда въ долгъ, а капиталовъ меньше, чѣмъ у Любима Торцова!.. По рюмкѣ водки, да развѣ...

— Господа, возгласилъ возвратившійся Подлещиковъ,—тамъ есть свободная комната: не угодно ли?..

Артисты оживленно переглянулись и послѣдовали за своимъ амфитріономъ. Была подана закуска; артисты принялись за нее со рвеніемъ. Иванъ Ѳеогностовичъ былъ въ слишкомъ высокомъ настроеніи, чтобъ унизиться до какой-то ѣды; онъ могъ пить одно шампанское. Иголочки, быстро вскакивавшія и исчезавшія въ винѣ, вполнѣ согласовались съ быстрымъ чередованіемъ мурлыканій въ его головѣ. Иванъ Ѳеогностовичъ былъ веселъ, своими остроумными замѣчаніями онъ даже заставлялъ смѣяться другихъ, но дѣлалъ все это, выражаясь ученымъ слогомъ, автоматически, по укоренившейся привычкѣ; какая-то особая задумчивость царила надъ его словами и дѣйствіями; она не препятствовала имъ обнаруживаться, но въ то же время не допускала его вполнѣ отдаться чему-нибудь.

Онъ глядѣлъ на все сквозь эту задумчивую дымку; порой ему думалось, что онъ окруженъ самыми милыми, любезными и дружественными къ нему людьми; онъ готовъ былъ даже считать ихъ родными и твердилъ про себя, что самъ завтра станетъ въ нѣкоторомъ родѣ членомъ артистической семьи; но когда, разъ или два, его сильно подмывало объявить вслухъ о своемъ безконечномъ счастьи, то та же, точно стоявшая между нимъ и внѣшнимъ міромъ, задумчивость сдерживала его.

Иванъ Ѳеогностовичъ не помнилъ хорошенько въ которомъ часу онъ воротился домой, ни того, онъ ли завозилъ Переверзева, или Переверзевъ его, или же онъ пріѣхалъ отъ Яра одинъ. Онъ былъ въ размягченномъ состояніи духа, не выругалъ Агаѳона, долго не отворявшаго двери; подумалъ мимоходомъ, что хорошо бы контору по-боку, а самому пойти въ актеры. Когда Агаѳонъ раздѣлъ его и уложилъ, какъ малаго ребенка, въ постель, то Подлещиковъ сталъ увѣрять себя, что ему спать вовсе не хочется, а просто лѣнь глядѣть на свѣтъ. Но тутъ его опять кто-то подхватилъ подъ руки и увлекъ въ мечтательный міръ, въ сосѣдство луны и звѣздъ.

Проснувшись, Иванъ Ѳеогностовичъ почувствовалъ себя необыкновенно бодрымъ и свѣжимъ; такое блаженное состояніе длилось, впрочемъ, не долго; онъ взглянулъ на часы, рѣшилъ, что еще рано и повернулся, чтобъ уснуть еще. Второй сонъ былъ тяжелый и прерывистый. Ему чудилось, что Переверзевъ все будитъ его, толкаетъ подъ бока и куда-то торопитъ. „Эй, эй, не упусти, гляди!“ шепнулъ онъ ему какъ разъ-надъ ухомъ, и Иванъ Ѳеогностовичъ проснулся окончательно.

Стряхнувъ ночныя грезы, онъ мигомъ вспомнилъ вчерашній поцѣлуй и задрожалъ отъ счастья. Онъ сладко потянулся, хотѣлъ вскочить съ постели и вдругъ почувствовалъ боль въ поясницѣ.

— Ахъ, чортъ возьми! выругался онъ про себя.— Опять этотъ проклятый пострѣлъ! Вотъ ужь не кстати!

Слово „пострѣлъ", по замѣчанію автора, для многихъ не вразумительно; но если, въ отвѣтъ на ихъ недоумѣніе, вы скажете Drachenschuss, то тѣ же господа, хотя бы они по-нѣмецки дальше Guten Morgen ступить не умѣли, сдѣлаютъ видъ, будто вполнѣ васъ поняли. „Ахъ, Drachenschuss!" съ видимымъ удовольствіемъ повторятъ они. Таково уже свойство россійскаго просвѣщенія, и не только въ столицахъ, но и въ городахъ, и весяхъ.

У Ивана Ѳеогностовича недѣли три назадъ былъ уже легонькій пострѣлъ, но онъ лѣчиться не заблагоразсудилъ. Бываетъ, такъ-сказать, спеціальная скупость. Иной скупъ на извощиковъ, и скорѣе пробѣжитъ лишнюю версту или полторы, а ужь не прибавитъ пятачка; дачники скупы на дрова и скорѣй наживутъ ревматизмъ, чѣмъ спалятъ шесть полѣнъ; богатые купцы скупы на закуску къ водкѣ: пришедъ гурьбой въ трактиръ, они дробятъ единственный бутербродъ на почти микроскопическія доли, чтобъ его хватило на возможно большее число рюмокъ; бережливыя хозяйки скупятся на чай и боятся переложить лишній листочекъ; иные, наконецъ, скупы на докторовъ: они норовятъ поговорить съ врачемъ о своей болѣзи въ гостяхъ, или при случайной встрѣчѣ на улицѣ, или въ театрѣ, и тѣмъ избавиться отъ платы за визитъ. Къ числу ихъ принадлежалъ и Иванъ Ѳеогностовичъ. Какъ-то на одномъ

изъ Немыкинскихъ вечеровъ онъ поболталъ съ извѣстнымъ врачемъ о своемъ пострѣлѣ. Докторъ былъ человѣкъ опытный и зналъ этотъ типъ даровыхъ пацiентовъ, а потому на вопросъ Ивана Ѳеогностовича о средствахъ только усмѣхнулся.

— Видите ли, нашъ профессоръ-нѣмецъ совѣтовалъ въ такихъ случаяхъ поусерднѣе молиться русскому Богу, сказалъ онъ.

— То есть?

— То-есть класть возможно большее число земныхъ поклоновъ утромъ и вечеромъ.

— А если не поможетъ?

— Въ такомъ случаѣ, методично отвѣчалъ докторъ,—я посовѣтовалъ бы вамъ обратиться за помощью къ опытному и знающему врачу.

Подлещиковъ усмотрѣлъ въ этомъ отвѣтѣ посягательство на свой карманъ, и разговора не продолжалъ. Тѣмъ не менѣе болѣзнь его совсѣмъ было уже прошла. Но вотъ теперь, едва онъ попытался встать съ постели, какъ почувствовалъ страшнѣйшую боль; изъ поясницы она перескочила въ ногу и, пройдя вдоль всей правой ноги, точно по лампасу, сосредоточилась въ большомъ пальцѣ. Иванъ Ѳеогностовичъ даже губу закусилъ, чтобъ не вскрикнуть.

Онъ позвонилъ Агаѳона, намѣреваясь встать при его помощи; та же боль возобновилась съ удвоенною силою. У Ивана Ѳеогностовича съ досады даже слезы брызнули изъ глазъ; онъ съ бранью прогналъ Агаѳона и предался самому мрачному отчаянію.

И надо же было, чтобъ такой позоръ случился именно сегодня! Право, ужь не лучше ли ему было вчера насильственно вломиться къ Фанни Юрьевнѣ? И

отчего это? Конечно, онъ простудился по дорогѣ къ Яру, или назадъ. Охъ, ужь эти проклятые актеры! Знакомство съ ними до добра не доведетъ. И сколько разъ онъ давалъ себѣ слово держаться отъ нихъ подальше, и надо же было какъ разъ наканунѣ!.. Наконецъ, развѣ Фанни Юрьевна не предостерегала его на счетъ сближенія со своими товарищами?.. Непремѣнно, непремѣнно онъ простудился вчера, больше было негдѣ и некогда!

Ужь такъ устроенъ человѣкъ, что, рѣшивъ, хотя бы и ошибочно, гдѣ и когда онъ схватилъ болѣзнь, онъ нѣсколько успокаивается; причина найдена, чего же больше? Произведя точное, какъ ему думалось, изслѣдованіе о происхожденіи своей болѣзни, Иванъ Ѳеогностовичъ сталъ также нѣсколько благоразумнѣе и подумалъ о средствахъ къ исцѣленію. Конечно, сегодня онъ не поскупился бы послать за докторомъ,—но вѣдь доктора извѣстно какой народъ: они уложатъ васъ въ постель, предпишутъ спокойствіе, начнутъ пичкать микстурами и порошками, а ты лежи и жди, пока болѣзнь пройдетъ сама собою. Нѣтъ, необходимо энергическое, сильно дѣйствующее средство, чтобъ ему можно было нынче же обѣдать на новоселье у Фанни Юрьевны.

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ увѣренъ въ существованіи такого средства, но развѣ хоть одинъ докторъ пропишетъ его? Чтобы такое сдѣлать, чѣмъ бы только на сегодня унять подлую боль,—а завтра будь, что будетъ. Иванъ Ѳеогностовичъ сталъ ломать голову, и не напрасно. Онъ припомнилъ, что года три тому у него приключился такой же пострѣлъ, и тогда умный докторъ (вѣдь и между ними бываютъ умные) прописалъ ему іодъ для втиранія. Рецептъ, конечно, сохранился.

Иванъ Ѳеогностовичъ позвалъ Агаѳона, приказалъ подать себѣ такую-то картонку и благословилъ свою аккуратность: рецептъ лежалъ именно тамъ, гдѣ онъ думалъ. Агаѳонъ проходилъ за лѣкарствомъ несносно долго: такъ, по крайности, казалось Ивану Ѳеогностовичу. Наконецъ, іодъ былъ принесенъ, и Иванъ Ѳеогностовичъ приказалъ Агаѳону, не жалѣя, мазать себѣ поясницу. Улегшись послѣ смазки и почувствовавъ, какъ іодъ пріятно жжетъ и колетъ маленькими иголочками, Иванъ Ѳеогностовичъ уже почиталъ себя исцѣленнымъ. Чрезъ полчаса онъ рѣшился встать при помощи Агаѳона, но едва ступилъ на больную ногу, какъ упалъ на постель отъ нестерпимой боли. Ему, однако, не хотѣлось поддаваться; пролежавъ еще съ полчаса, онъ рѣшился на новый опытъ. Именно, велѣлъ Агаѳону вырисовать іодомъ на правой ногѣ лампасъ, какъ разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ шла боль, и посильнѣе вычернить большой палецъ. Очевидно, любовь возбуждала въ немъ геройскій духъ.

Бренная плоть, однако, и не думала уступать мужественному духу. Попытка встать послѣ рисовки лампаса имѣла прежнія печальныя послѣдствія. Иванъ Ѳеогностовичъ палъ духомъ. Онъ принужденъ былъ сознаться, что, по крайней мѣрѣ, сегодня придется пролежать въ постели. Требовалось извѣстить объ этомъ Фанни Юрьевну, ибо было уже половина третьяго.

Иванъ Ѳеогностовичъ приказалъ Агаѳону придвинуть къ кровати маленькій столикъ и подать письменныя принадлежности. Онъ написалъ нѣжное и трогательное письмецо, справился со стѣннымъ календаремъ и выставилъ первое апрѣля.

Первое апрѣля! И надо же было этому случиться

именно перваго апрѣля, въ этотъ обманный день! Такое, повидимому, маловажное обстоятельство привело Ивана Ѳеогностовича въ величайшее раздраженіе. Онъ хвалился тѣмъ, что не держался никакихъ предразсудковъ; въ качествѣ просвѣщеннаго человѣка, онъ стремился объяснять все на свѣтѣ случаемъ. И вдругъ случай, его-то божество, такъ жестоко надсмѣялся надъ нимъ. И его надежды, и ея „завтра“, какъ нарочно, обратились въ первое апрѣля. Иванъ Ѳеогностовичъ вздумалъ было схитрить и, ради скрытія негоднаго перваго апрѣля, выставить число по новому стилю, но изъ огня попалъ въ полымя: пришлось сознаться, что нынче несчастное тринадцатое число. Право, случай, вздумавъ подшутить столь жестоко, могъ бы выбрать другаго, менѣе Ивана Ѳеогностовича просвѣщеннаго человѣка.

Иванъ Ѳеогностовичъ приказалъ Агаѳону послать письмо съ толковымъ человѣкомъ.

— Чего тутъ, и дворникъ снесетъ.

— Да онъ толковый? я тебя спрашиваю.

— Что жь тутъ мудраго; такъ что письмо даже всякій снесетъ.

— Ну, не разсуждай, пожалуста, крикнулъ баринъ, вспомнивъ исторію съ Фихтошкой.

Толковый человѣкъ проходилъ долго.

— Вотъ, извольте-съ! сказалъ Агаѳонъ, подавая барину захватанное и запачканное письмо.

— Это что? спросилъ Подлещиковъ.

Къ его удивленію, то было его собственное письмо, принявшее, благодаря соприкосновенію съ толковымъ человѣкомъ, столь неряшливый видъ.

— Нѣту ихъ тамъ, доложилъ Агаѳонъ.

— Какъ нѣтъ?

— Такъ что съѣхали, и даже неизвѣстно куда, съ двусмысленною усмѣшкой добавилъ Агаѳонъ.

— Такъ что ты... дуракъ! обрѣзалъ его Подлещиковъ.—Дай мнѣ новый конвертъ. Гдѣ это онъ вымазалъ письмо?

— Дворникъ, извѣстно. Откуда жь ему чистоты набраться?

— Такъ ты скажи, чтобъ онъ руки раньше вымылъ...

— Напрасно, Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Это почему?

— Такъ что у него нравъ ужь такой: какъ идетъ, все ладонью либо о стѣну, либо о вывѣску шаркаетъ. Извѣстно, какая ужь тутъ опрятность. Такъ что мой, не мой...

— Ладно. Ступай, я позвоню.

Иванъ Ѳеогностовичъ воспользовался случаемъ, чтобы переписать письмо, причемъ перемѣнилъ нѣсколько выраженій, казавшихся ему не довольно деликатными и нѣжными; кстати, вмѣсто перваго апрѣля, онъ выставилъ день недѣли, затѣмъ вложилъ записочку въ новый конвертъ, который завернулъ въ листъ почтовой бумаги, и ужь на немъ написалъ новый адресъ Фанни Юрьевны.

Отправивъ вторично письмо, Иванъ Ѳеогностовичъ вздумалъ вздремнуть со скуки, но едва закрылъ глаза, какъ ему привидѣлось лицо Агаѳона съ торжествующею и двусмысленною улыбкой.

„А вѣдь онъ, скотина, посмѣяться надо мною хотѣлъ“, разсуждалъ Иванъ Ѳеогностовичъ: „думалъ, что она отъ меня тайкомъ съѣхала... Да, да... Что жь, если по

Москвѣ пройдетъ слухъ, что вотъ молъ Подлещиковъ бѣгалъ, волочился, истратился, а какъ до дѣла дошло, взялъ да и свалился, и не такъ еще посмѣются... А Андрюша, вдругъ перескочилъ Иванъ Ѳеогностовичъ, соображаясь по привычкѣ въ нравственныхъ вопросахъ съ мнѣніями Андрея Николаевича,—а Андрюша, конечно, взглянетъ на это, по своему обычаю, съ матеріальной точки зрѣнія... Онъ не пойметъ, что тутъ замѣшано самолюбіе, что суть вовсе не въ истраченныхъ деньгахъ, а въ воздѣйствіи на ея самолюбіе. Въ самомъ дѣлѣ, какъ бы то ни было, а все же она одна изъ первыхъ актрисъ въ Москвѣ, и вдругъ была принуждена тѣсниться въ двухъ комнаткахъ! (Иванъ Ѳеогностовичъ употребилъ уменьшительное ради риторическихъ цѣлей.) Ей приходилось трястись на извощикѣ, а это вредно для здоровья... А между тѣмъ обстановка для актрисы необходима; необходима для ея успѣха, то-есть для того художественнаго дѣла, которому она посвятила свою жизнь, которое для нея, быть-можетъ, дороже самой жизни...“

Около пяти часовъ Иванъ Ѳеогностовичъ былъ несказанно обрадованъ. У его подъѣзда остановилась коляска, и изъ нея вышла Фанни Юрьевна въ сопровожденіи какого-то незнакомца. Послышался громкій, чисто-хозяйскій звонокъ. Смущенный Агаѳонъ доложилъ, что баринъ нездоровы.

— Я знаю, отвѣчала Фанни Юрьевна, и властно прошла въ переднюю, нарушивъ монастырскій уставъ, дотолѣ царствовавшій въ квартирѣ нотаріуса.

— Проводите ихъ въ гостиную, сказала Фанни Юрьевна Агаѳону, указавъ на незнакомца, а сама, не снимая верхняго платья, прошла прямо въ комнату

Ивана Ѳеогностовича. Тутъ, сбросивъ ротонду на стулъ, она подбѣжала къ холостой постели нотаріуса, присѣла на нея и нѣжно поцѣловала его въ лобъ, заботливо освѣдомляясь о здоровьи.

— Ну, что же, что сказалъ докторъ? спросила она.

Иванъ Ѳеогностовичъ отвѣчалъ, что онъ еще не посылалъ за докторомъ, надѣясь, что и такъ пройдетъ.

— Ахъ, какъ это можно! Это непростительно! сказала она.—Хорошо, что я догадалась заѣхать...

Она спѣшно выбѣжала изъ комнаты и черезъ мгновеніе воротилась съ высокимъ и стройнымъ, лѣтъ тридцати двухъ, брюнетомъ, съ голубыми масляными глазками и тщательно напомаженными, подвитыми и закрученными усиками. То былъ модный докторъ Шипучевъ. Дамы его любили, и, рекомендуя, не столько упирали на его медицинскія свѣдѣнія, сколько на то, что „онъ, знаете, держится этихъ самыхъ передовыхъ взглядовъ“.

Иванъ Ѳеогностовичъ сразу почувствовалъ полное отвращеніе къ доктору. Сказать ли? въ его сердцѣ зашевелилась ревность, чувство имъ доселѣ не испытанное. Особенно подозрительны казались ему докторскіе глаза. „Точно у голоднаго ксендза“, подумалъ онъ, и весьма бы охотно выцарапалъ ихъ.

Представивъ доктора, Фанни Юрьевна съ мольбой взглянула на него и, сказавъ „докторъ, спасите его“, удалилась. Шипучевъ приступилъ къ осмотру; онъ былъ любезенъ и словоохотливъ; паціентъ, напротивъ, бурчливъ и малословенъ. Докторъ объявилъ, что хотя болѣзнь еще не выяснилась, но онъ подозрѣваетъ, что это не болѣе, какъ простая простуда, и легко усту-

питъ лѣченію. Онъ одобрилъ смазку іодомъ, прописалъ какія-то капсюльки, получилъ за визитъ и прошелъ въ гостиную, гдѣ его ждала Фанни Юрьевна. Послышался шепотливый разговоръ, раздражившій Ивана Ѳеогностовича, и затѣмъ Фанни Юрьевна засмѣялась.

Иванъ Ѳеогностовичъ омрачился, но Фанни Юрьевна скоро разогнала набѣжавшую тучку. Она впорхнула съ веселымъ и слегка раскраснѣвшимся лицомъ, объявила, что докторъ обѣщалъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ черезъ недѣлю будетъ въ состояніи танцовать, позвала Агаѳона, приказала ему дать умыться барину и распорядилась, чтобы послали за обѣдомъ. Черезъ полчаса Иванъ Ѳеогностовичъ, облеченный въ халатъ (причемъ Фанни Юрьевна обѣщала ему подарить феску, находя что онъ будетъ въ ней чудо, какъ хорошъ), былъ переведенъ въ гостиную, гдѣ вслѣдъ за тѣмъ Агаѳонъ накрылъ на столъ. И что за чудный то былъ обѣдъ! Фанни Юрьевна была весела, нѣжна, услужлива, заботлива; премило увѣряла Ивана Ѳеогностовича, что шампанское не вредитъ ревматизму, а напротивъ помогаетъ, и сама чуть-чуть подвыпила, отчего стала еще обворожительнѣе. Было мгновеніе, когда счастливый нотаріусъ готовъ былъ благословить судьбу, пославшую ему болѣзнь: безъ нея онъ не узналъ бы всѣхъ прелестей Фанни Юрьевны; но то было всего мгновеніе: Иванъ Ѳеогностовичъ опомнился и сообразилъ, что онъ могъ бы точно также обѣдать сегодня съ ней по-семейному, въ болѣе поэтической обстановкѣ, и вздохнулъ.

Фанни Юрьевна пробыла у него до поздняго вечера. Уѣзжая, она перекрестила и поцѣловала его и наказала Агаѳону, чтобъ онъ напомнилъ барину принять вторую пилюлю передъ сномъ (одну она заставила его

проглотить при себѣ) и третью завтра утромъ натощакъ, а равно, чтобы въ случаѣ, если онъ почувствуетъ себя хуже, немедленно прислали за нею.

Агаѳонъ, проводивъ ее, подумалъ, что недурно бы поскорѣе отдохнуть отъ необычайныхъ трудовъ, а потому прошелъ прямо въ кабинетъ и объявилъ, что барыня приказали сейчасъ же принять лѣкарство. При напоминаніи о капсюляхъ, Ивану Ѳеогностовичу мигомъ представились докторскіе масляные глаза, и Агаѳонъ былъ выруганъ. Иванъ Ѳеогностовичъ ограничился новою смазкой іодомъ, успокоивъ себя тѣмъ, что и Шипучевъ одобрилъ ее.

На другой день Иванъ Ѳеогностовичъ проснулся не въ духѣ, и надо же было Агаѳону первымъ дѣломъ напомнить ему о лѣкарствѣ. Капсюли полетѣли въ сосудъ, послѣ пребыванія въ которомъ стали негодны къ употребленію. Подлещиковъ рѣшилъ перемѣнить доктора въ виду того, что прописанное средство не принесло рѣшительно никакой пользы.

Фанни Юрьевна обѣщала быть пораньше, но пріѣхала около трехъ.

— Ну, что? первымъ дѣломъ спросила она.

— Ничего, угрюмо отвѣчалъ нотаріусъ.

— Какъ? развѣ капсюли не помогли? *Онъ* такъ надѣялся...

— Какой же пользы ждать отъ шарлатана?..

Фанни Юрьевна сдѣлала испуганное лицо.

— Какъ шарлатана? онъ такой извѣстный...

— Ну, да, извѣстный шарлатанъ, отрѣзалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

У Фанни Юрьевны все въ головѣ перевернулось. Какъ? извѣстный, и вдругъ шарлатанъ! Но она сама

извѣстная,—значитъ, и ее можно обозвать подобнымъ именемъ?

— Что жь, въ смущеніи проговорила она,—если не помогъ, то, конечно, надо послать за другимъ... За кѣмъ вы думаете?

Иванъ Ѳеогностовичъ безнадежно махнулъ рукой.

— А знаете, Иванъ Ѳеогностовичъ, нерѣшительно заговорила Фанни Юрьевна,—я хотѣла вамъ предложить... но, право, боюсь, вы сегодня такой сердитый.

— Нѣтъ, нѣтъ, не бойтесь, мягко сказалъ Подлещиковъ.—Что̀ такое?

— Видите ли, есть въ Москвѣ... право, я не знаю, какъ назвать его... врачъ онъ, что ли... только про него чудеса разказываютъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ живо заинтересовался чуднымъ врачемъ.

— Чѣмъ же онъ лѣчитъ? народными средствами?

— Да, у него какія-то свои травы и мази...

— Видите, милая Фанни Юрьевна, вы опасались совершенно напрасно... Докторовъ я дѣйствительно ненавижу, но народная медицина иное дѣло: я вѣрю въ народную медицину, съ увлеченіемъ возгласилъ Подлещиковъ.—Кто же онъ? Русскій, или...

— Персіянинъ.

— Персіянинъ? Прекрасно. Персіяне и буряты первые врачи въ мірѣ; у нихъ медицина процвѣтаетъ тысячи лѣтъ... Не знаете ли о немъ еще какихъ-нибудь подробностей?

Фанни Юрьевна сказала, что у нея сейчасъ была Шурочка и, узнавъ, что Иванъ Ѳеогностовичъ захворалъ ногой, вспомнила про Персіянина. Танцовщица Кузова свихнула себѣ ступню, доктора лѣчили три мѣ-

сяца и не помогли; послѣ двухъ визитовъ Персіянина, она выступила на сцену. У пѣвца Гнѣдкова жена уже три года не вставала съ постели, нога у нея страшно распухла и точно одервенѣла.

— А! у нея навѣрное была слоновая болѣзнь, или такъ-называемый элифантіазисъ, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, имѣвшій понятіе рѣшительно обо всемъ.

— И что же? продолжала Фанни Юрьевна,—черезъ недѣлю она начала ходить. Наконецъ, горничная m-lle Агреевой страдала какой-то сыпью, она лѣчилась двѣ недѣли у знаменитости, и онъ не помогъ; Персіянинъ вылѣчилъ ее въ одинъ день.

— Да, вотъ и шутите съ народными средствами, воскликнулъ Иванъ Ѳеогностовичъ,—а эти шарлатаны и знать ихъ не хотять!

Фанни Юрьевна немедленно отправилась отыскивать Персіянина, и по счастію застала его дома, что было весьма трудно по причинѣ громадной практики азіатскаго врача. Персіянинъ обладалъ черной бородой, темно-шафраннымъ лицомъ и желтоватыми бѣлками, и чрезвычайно понравился Ивану Ѳеогностовичу. Врачъ спросилъ больного, что и въ какомъ именно мѣстѣ у него болитъ, погрузился на минуту въ раздумье и затѣмъ полѣзъ въ глубокій карманъ своихъ шальваръ, откуда вытащилъ клѣтчатый платокъ, не требовавшій, благодаря темнымъ цвѣтамъ, частой стирки. Въ платкѣ у него были заверчены какіе-то фунтики и пачки; вынувъ изъ одного изъ нихъ сѣро-бурый комочекъ, онъ положилъ его на свою не вполнѣ опрятную ладонь и, протягивая ее къ Ивану Ѳеогностовичу, сказалъ:—Глотай!

— Зачѣмъ? морщась спросилъ нотаріусъ.

— Животъ лѣчитъ; животъ здоровъ, человѣкъ здоровъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ мигомъ проглотилъ катышекъ, ибо его собственная физіологическая теорія вполнѣ совпадала съ воззрѣніями закаспійскаго медика, который, видя послушливость паціента, поощрилъ его легкимъ похлопываньемъ по животу.

— Будишь здоровъ, сказалъ онъ.

— И это все? съ удивленіемъ спросилъ Подлещиковъ.

— Нѣтъ, завтра мазить будимъ, тирѣть будимъ, показывая кровожадные зубы и сверкая глазами, отвѣчалъ Персіянинъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ вполнѣ успокоился. Вѣроятно, первый визитъ персидскаго медика тѣмъ бы и ограничился, еслибъ Подлещикову не вздумалось обогатить себя свѣдѣніями насчетъ того, какимъ образомъ врачъ изучилъ народныя средства. Персіянинъ, по слабому знакомству съ русскимъ языкомъ, долго не могъ понять, чего именно добивается отъ него больной; но когда, наконецъ, уразумѣлъ, то пришелъ въ великое негодованіе и съ чувствомъ оскорбленной гордости объявилъ, что мужикъ дуракъ, ничего не знаетъ, но, что у него, Персіянина, папенька былъ врачъ и бабушка была врачея, и прадѣдушка и прабабушка также были врачи.

— Всѣ ученый человѣкъ, заключилъ онъ.

Ученыя снадобья родовитаго доктора произвели то дѣйствіе, какое обыкновенно производятъ всѣ подобныя средства, именно больному приходилось только облизываться на разказы объ ихъ пользительности для другихъ и почитать себя несчастнымъ, недостойнымъ под-

чиниться ихъ чудотворной силѣ. Иванъ Ѳеогностовичъ долго крѣпился, около двухъ недѣль; онъ даже притворялся, будто ему лучше: до того велика была его вѣра въ народную медицину. Наконецъ, когда отъ мазей закаспійскаго врача у него прикинулась сыпь на ногѣ, Персіянинъ, довольный богатымъ заработкомъ, былъ прогнанъ.

Андрей Николаевичъ, между тѣмъ, ничего не зналъ о болѣзни своего друга. Они не видались съ самаго Сборнаго воскресенья. Правда, на второй или третьей недѣлѣ Андрей Николаевичъ замѣтилъ, что Подлещиковъ идетъ по тротуару ему навстрѣчу, но, не дошедъ шаговъ двадцати, быстро перешелъ на другую сторону улицы. Было ли то сдѣлано умышленно или случайно, Богъ вѣсть, но художникъ заключилъ, что пріятель избѣгаетъ его. Еще черезъ нѣсколько дней, онъ встрѣтилъ его въ колескѣ съ Фанни Юрьевной; Иванъ Ѳеогностовичъ глядѣлъ въ его сторону, но когда они почти поровнялись, Фанни Юрьевна что-то шепнула ему, и онъ повернулся къ ней. Андрей Николаевичъ рѣшилъ, что она не допускаетъ его даже до поклона съ нимъ.

— Ну, и Богъ съ нимъ! проговорилъ Андрей Николаевичъ, и затѣмъ, какъ только вспоминалъ о пріятелѣ, повторялъ то же восклицаніе: — Ну, и Богъ съ нимъ!

Этимъ Андрей Николаевичъ какъ бы отстранялъ отъ себя сужденіе о поведеніи своего друга и поступалъ, конечно, благоразумно. Все было бы ладно, не шевелись въ глубинѣ души у Безпалова какая-то невыразимая словами не то жалость, не то досада, что многолѣтнія дружескія отношенія порвались, какъ гово-

рится, ни за понюшку табаку. Онъ порою, точно нарочно, старался припомнить все не нравившееся ему въ Иванѣ Ѳеогностовичѣ, причемъ главную роль игралъ взглядъ, который тотъ кинулъ на него въ Патрикѣевскомъ трактирѣ во время разглагольствованій Полосатова; но несмотря на это чувствовалъ, что есть въ Иванѣ Ѳеогностовичѣ нѣчто весьма ему любезное. Онъ зналъ, какъ ему казалось, это нѣчто не меньше, чѣмъ самого себя, и любилъ его, пожалуй, столько же; но когда художникъ пытался уяснить себѣ, что̀ именно онъ любилъ въ пріятелѣ, то выходило какое-то неясное, черезчуръ отвлеченное понятіе. Какихъ эпитетовъ ни подбиралъ Андрей Николаевичъ для опредѣленія своего друга, ни каждый порознь, ни всѣ они въ совокупности не удовлетворяли его; всѣ эти „добрый, честный, умный, доброжелательный“ ни мало не говорили его сердцу, ничего не рисовали воображенію, а уму казались какими-то пустыми формулами, въ родѣ алгебраическихъ a + b. Художникъ успокоился на мысли, что и самого себя ни за что не опредѣлишь отвлеченными словами, и набросалъ на память портретъ своего друга, какимъ онъ его понималъ.

Андрей Николаевичъ не разъ толковалъ о своемъ горѣ и съ женой, и съ Голубцовымъ. Оба совѣтовали ему повременить, пока увлеченіе Ивана Ѳеогностовича нѣсколько поостынетъ.

— Но, согласись, вѣдь глупо же расходиться изъ такихъ пустяковъ! сказалъ онъ какъ-то доктору.

— Конечно, не умно.

— Нѣтъ, докторъ, подумай только: изъ-за газетной статьи, гдѣ ее вдобавокъ даже не выругали! Пожалуй, повода глупѣе и не выдумаешь!

— Нѣтъ, бываютъ, глубокомысленно замѣтилъ докторъ.—Въ Петербургѣ, видишь ли, всѣ чиновники теперь отпустили бороды. Ну-съ, *судырь ты мой*, приходятъ двое совѣтниковъ въ баню: одинъ коллежскій, другой—статскій. Въ банѣ, самъ знаешь, отличить чиновнаго отъ нечиновнаго трудновато. Вотъ статскій вошелъ и видитъ, что стоитъ безъ дѣла ражій мужичина; онъ и говоритъ ему: „ну и прекрасно! вотъ, ты меня и помоешь“. — Ну, это ты развѣ меня помоешь, отвѣчаетъ коллежскій. „Что, *я* тебя стану мыть?“—А я тебя и близко къ себѣ не подпущу.—„Не съ твоей харей мнѣ не только голову мыть, а...“ Итакъ далѣе. Разругались они вдрызгъ, какъ говоритъ актриса Шлюпкина, въ молодости бывавшая въ высшемъ обществѣ. Въ заключеніе протоколъ, и къ мировому.

При такихъ обстоятельствахъ, Андрей Николаевичъ былъ не мало пораженъ, когда горничная доложила, что его спрашиваетъ человѣкъ, по имени Агаѳонъ.

— Я къ вамъ Андрей Николаевичъ, сказалъ Агаѳонъ.

— Что скажешь?

— Да, вотъ, Андрей Николаевичъ, на Никольскую за морской солью посылали, такъ забѣжалъ... Такъ что Иванъ Ѳеогностовичъ даже очинно нездоровы.

— Гм. Что съ нимъ?

Агаѳонъ сказалъ.

— Кто-жь его лѣчитъ?

— Теперь за настоящимъ, значитъ, докторомъ послали, Нелѣповъ по фамиліи, не изволите знать? а раньше...

И Агаѳонъ изложилъ въ подробности потѣшную исторію лѣченія.

— Такъ что вы бы заѣхали, заключилъ онъ.

— Гм... Что-жь, кромѣ васъ, Агаѳонъ, при немъ никого нѣтъ?

— Нѣтъ, эта самая... Нѣмка она, что ли, будетъ... такъ она тутъ же присутствуетъ.

— Какая Нѣмка?

— Развѣ не изволите знать? еще въ ахтеркахъ въ клубѣ служитъ...

— Фанни Юрьевна?

— Она самая.

— Какая же она Нѣмка! Такая же, какъ и мы съ вами, православная.

— А на мой глазъ, больше она на Польку смахиваетъ... А чтобъ какъ настоящая русская барыня, такъ этого въ ней нѣтъ...

Андрей Николаевичъ промолчалъ.

— Такъ вы ужь сдѣлайте милость, Андрей Николаевичъ, заѣзжайте, а то срамъ одинъ.

— Ну, что-жь тутъ ужь такого...

— Безобразіе чистое. Къ намъ тоже разные господа, которые по дѣламъ, теперь заѣзжаютъ. А у нея нѣтъ того, чтобъ по-людски салопъ въ передней снять, а въ которую комнату раньше вбѣжитъ, тамъ свое манто и броситъ. Сегодня этотъ господинъ, который за нихъ въ конторѣ теперича дѣла правитъ... а я, признаться, не доглядѣлъ... прошу его въ гостиную, а манто среди пола валяется... Помилуйте!

— Что-жь этотъ господинъ?

— Ничего; только усмѣхнулся да головой повелъ...

— Ну, бѣда не велика...

— Нѣтъ, вы ужь сдѣлали бы милость, зашли да поговорили. Или опять намедни вздумали Ивана Ѳеог-

ностовича какимъ-то кушаньемъ кормить. Что вотъ они за обѣдомъ наканунѣ сказали, что любятъ. — Ахъ, я васъ накормлю! Ахъ, я его умѣю отлично стряпать! (Тутъ Агаѳонъ, насколько смогъ, представилъ Фанни Юрьевну). На завтра пріѣзжаетъ, и горничная съ нею и кардонка у ней въ рукахъ. Гляжу что-то будетъ, не совсѣмъ ли молъ къ намъ на житье перебираются. Нѣкоторое время погодя вбѣгаетъ въ кухню, срамъ сказать, въ одной юбчонкѣ, только кофточка сверху накинута. Сѣла на столъ, ногами болтаетъ. — Агаѳонъ, топите плиту.— Слушаю-съ, говорю, только она лѣтъ пять, можетъ, не топлена, чадить будетъ.— Ахъ, какія глупости! топите.— Ну, и затопилъ!..

— Что-жь?

— Извѣстно, чадъ. Дыму полна квартира. Чуть барина не задушили. А вчера, что̀ выдумала! Смотритъ это въ окно, а по двору сапожниковы дѣвочки шмыгаютъ да какой-то забѣглый мальчишка.— Ахъ, какія милыя дѣти! Агаѳонъ, приведите ихъ сюда!.. Я на Иванъ Ѳеогностыча гляжу, знаю какъ они этихъ чумазыхъ обожаютъ.— Что-жь, говоритъ, позови. Привелъ я ихъ,— шумъ, гамъ; бѣготню, возню подняли. Потомъ этого забѣглаго мальчонка къ Иванъ Ѳеогностычу подвела:— Жанъ, говоритъ...

— А она его Жаномъ зоветъ? съ живостью переспросилъ Безпаловъ.

— Такъ точно. Спервоначалу; видно, совѣстилась, все Иванъ Ѳеогностычемъ звала, а тутъ какъ-то эту моду выдумала... „Такъ, Жанъ, говоритъ,— погляди, какой миленькій мальчикъ. Поцѣлуй его!“ Что-жь вы думаете, Андрей Николаевичъ? вѣдь поцѣловали. Такъ будто малость поморщились, а поцѣловали таки.

Агаѳонъ помолчалъ.

— Нѣтъ, будь она барыня настоящая, она бы больному покой дала, чтобы все тихо было, смирно, а сама бы съ книжкой иль съ шитьемъ присѣла. А то чумазыхъ полонъ домъ!.. А я еще для нихъ на Кузнецкій за конфетками бѣгай... Такъ что вы ужь сдѣлайте божескую милость...

— Хорошо, хорошо, прервалъ его Андрей Николаевичъ.

Затѣмъ онъ спросилъ Агаѳона, Иванъ ли Ѳеогностовичъ приказалъ ему зайти, или же онъ самъ по себѣ вздумалъ. Агаѳонъ сознался, что приказа не было. Андрей Николаевичъ, пробормотавъ еще разъ „хорошо, хорошо“, отпустилъ Агаѳона, рѣшивъ, что ему самому *пока* заходить не удобно, а насчетъ здоровья можно всегда освѣдомиться у доктора, благо тотъ оказался знакомымъ.

Агаѳонъ, впрочемъ, тотчасъ же по возвращеніи домой измѣнилъ свое мнѣніе о Фанни Юрьевнѣ: она великодушно или безтолково ножертвовала ему всю сдачу съ соли, что̀ составляло около восьми рублей.

— Нѣтъ, она барыня ничего, разсудилъ Агаѳонъ,— только бы почаще.

Докторъ, замѣнившій азіатскаго врача, былъ человѣкъ строгій и непреклонный. Когда послѣ перваго, визита, Фанни Юрьевна, ожидавшая его въ гостиной, стала передъ нимъ въ умоляющую позу и, поднявъ глаза къ потолку, прошептала: „докторъ! спасите его“, Нелѣповъ насупился и пробурчалъ:

— Не отъ чего спасать, не отъ чего. Простой ишіасъ. Ничего, дастъ Богъ, подвинтимъ, починимъ. Только вы ужь, сударыня, мнѣ не мѣшайте.

— Чѣмъ же я могу мѣшать вамъ, докторъ? смиренно спросила актриса.

— Пожалуйста, не безпокойте его черезчуръ.

— Я васъ не понимаю, докторъ, опуская глаза, сказала Фанни Юрьевна.

— И прекрасно, что не понимаете. Больше ничего и не требуется.

— Повѣрьте, докторъ, я буду для него самой терпѣливою, самою неутомимою и самоотверженною сестрой милосердія, опуская голову, добавила она.

— И, пожалуйста, наблюдайте, чтобъ онъ гулялъ каждый день, а то онъ у васъ залежался; только не до утомленія, помните.

— А можно его вывозить за городъ?

— Даже должно; въ спокойномъ экипажѣ, и чтобы тамъ гулялъ. Разумѣется, не въ дождь и не при сѣверномъ вѣтрѣ.

Погода стояла, какъ нарочно, превосходная. И для влюбленныхъ начались чудныя поэтическія прогулки въ Нескучный садъ, Сокольники, Паркъ. Впрочемъ, самыми-то чудными оказались поѣздки на богатыя и модныя кладбища, которыя такъ любила Фанни Юрьевна, быть-можетъ, по своему пристрастію къ скрытнымъ и малолюднымъ мѣстамъ. Въ первый разъ Ивану Ѳеогностовичу, особенно въ его положеніи выздоравливающаго смертнаго, кладбище показалось не совсѣмъ удобнымъ мѣстомъ для гулянья, и онъ не преминулъ высказать это.

— Ахъ! развѣ вы не любите гулять по кладбищамъ? удивилась она.—А это такъ поэтично!

Какъ извѣстно читателю, Иванъ Ѳеогностовичъ и ранѣе подозрѣвалъ въ Фанни Юрьевнѣ поэзію, разумѣя это слово въ томъ смыслѣ, въ какомъ его понимаютъ

институтскіе учителя словесности и журналисты, а потому немедленно согласился съ артисткой.

Они прошлись по кладбищу, останавливаясь по временамъ передъ памятниками извѣстныхъ лицъ.

— Ахъ, какой чудный памятникъ! воскликнула Фанни Юрьевна предъ какимъ-то монументомъ въ купеческомъ вкусѣ.—Jean! ты поставишь мнѣ такой памятникъ, когда я умру?

— Что за странная мысль! сказалъ онъ, чувствуя нѣкоторую неловкость.

— Нѣтъ, продолжала она, прижимаясь къ нему и взглядывая на него снизу на манеръ ласковой собаки,— я знаю: ты мнѣ не откажешь въ этомъ... И какъ пріятно, чудно, поэтично мечтать, что тебя будутъ любить и ничего не пожалѣютъ для тебя, даже послѣ смерти:

Подобныя восклицанія и просьбы повторялись и при другихъ кладбищенскихъ прогулкахъ, и весьма вѣроятно, что во второй и третій разъ они показались бы Ивану Ѳеогностовичу если не вполнѣ глупыми, то все же значительно пошлыми, но, по счастью, онъ, воротясь домой и раздумывая о выходкѣ Фанни Юрьевны, вспомнилъ что Шопенгауеръ считаетъ меланхолію непремѣннымъ свойствомъ художественной натуры. Отсюда Подлещиковъ вывелъ, 1) что Шопенгауеръ былъ великій наблюдатель, и 2) что Фанни Юрьевна одарена несомнѣннымъ художественнымъ талантомъ.

„Правда, Андрюша не признавалъ въ ней особаго таланта“, слѣдомъ подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, „ну, да вѣдь онъ держится отсталыхъ эстетическихъ теорій“.

Въ началѣ мая, когда Иванъ Ѳеогностовичъ уже значительно поправился, Нелѣповъ объявилъ, что считаетъ необходимымъ отправить его на лиманъ.

— Тамъ курсъ теплыхъ ваннъ начинается 15 мая, а купанье въ самомъ лиманѣ съ 1 іюня; но я вамъ совѣтую ѣхать какъ можно скорѣе. Долгое путешествіе по желѣзной дорогѣ будетъ для васъ утомительно, а потому я вамъ совѣтую отдохнуть денегъ въ Харьковѣ и денегъ въ Севастополѣ. Оттуда поѣзжайте до Одессы моремъ: морское путешествіе васъ укрѣпитъ.

Фанни Юрьевна нашла планъ поѣздки удивительно поэтическимъ, и, въ надеждѣ сопровождать Ивана Ѳеогностовича, вскричала, что готова расцѣловать Нелѣпова. Но докторъ, услышавъ о сопровожденіи, напрямки объявилъ, что въ такомъ случаѣ онъ не ручается за выздоровленіе. При этомъ Нелѣповъ насказалъ такихъ ужасовъ насчетъ совмѣстной поѣздки, что люби Иванъ Ѳеогностовичъ чуточку меньше Фанни Юрьевну, онъ, чего добраго, разорвалъ бы съ нею.

Наконецъ, Иванъ Ѳеогностовичъ былъ водворенъ въ купé перваго класса (жетоны-то пригодились, хотя онъ при полученіи ихъ и говаривалъ: зачѣмъ мнѣ? я прикованъ къ Москвѣ); Фанни Юрьевна, обливаясь слезами, перекрестила и поцѣловала его безчетное число разъ и, заплаканная, поѣхала домой, сравнивая себя съ невѣстой, проводившей жениха на войну.

XVIII.

Соломенная вдова.

Calypso ne pouvait se consoler
du départ d'Ulysse.

Fénelon.

Глафира Александровна жила въ тотъ годъ на дачѣ въ Покровскомъ-Филяхъ. Она была при деньгахъ, на-

нимала отличный домъ съ тѣнистымъ садомъ и держала лошадей. Утромъ, въ половинѣ іюня, пробудясь отъ сна и узнавъ отъ Маши, что „жара сегодня страшная“, Шелехова накинула поверхъ сорочки дорогой пеньюаръ и сѣла у открытаго окна въ садъ, чтобы попить въ прохладѣ чайку, до котораго была порядочная охотница. Но едва она успѣла опорожнить девятую чашку, какъ услыхала, что во дворъ въѣзжаетъ экипажъ. Въ виду легкости своего наряда, Глафира Александровна думала уже скрыться во внутренніе аппартаменты, какъ вбѣжавшая Маша доложила ей, что пріѣхала Хотьминская.

— Ахъ, Ѳеничка, вотъ это мило съ твоей стороны, что вспомнила меня, грѣшную, сказала хозяйка вставая на встрѣчу гостьи.

Фанни Юрьевна съ какимъ-то неистовствомъ обняла подругу и, припавъ къ ея плечу, вдругъ зарыдала.

— Ахъ, Глаша, Глаша! проговорила она,—спаси меня... помоги... посовѣтуй...

Рыданія усилились.

— Охъ, что ты! усаживая гостью, сказала хозяйка.— Право же ты меня этакъ до-смерти испугаешь, а мнѣ это вредно: я женщина тучная...

— Ты... ты одна... можешь... помочь мнѣ, всхлипывала гостья.

Фанни Юрьевна была безутѣшна и продолжала стенать и всхлипывать. Наконецъ Глафирѣ Александровнѣ удалось усадить ее и почти насильно заставить выпить чашку чаю, отъ котораго ожидалось большое успокоительное дѣйствіе на нервы.

— Ну, теперь сказывай, что тамъ у тебя, принимаясь за одиннадцатую чашку, сказала Глафира Александровна.

— Право, не знаю, съ чего начать, проговорила гостья, готовая снова разрыдаться.

— Начало я сама, пожалуй, придумаю. Голову даю на отсѣченье, что по любовнымъ дѣламъ.

Фанни Юрьевна не отвѣчала, но Шелехова по ея лицу не сомнѣвалась, что отгадала.

— Ну, ну, такъ я и знала. Твой-то, какъ бишь его?.. да! Подлещиковъ, говорятъ, уѣхалъ.

— Да, онъ въ Одессѣ, на лиманѣ...

— Что-жь онъ тамъ дѣлаетъ?

— Лѣчится, вѣдь онъ же боленъ, у него ишіасъ...

— Да ты точно, знаешь, что онъ тамъ?

— Ахъ, Господи! когда я отъ него каждый день письма получаю.

— Вотъ поди-жь ты, а люди что̀ врутъ.

— Что̀ такое? съ испугомъ проговорила Фанни Юрьевна.

— Кто-то мнѣ сказывалъ, не упомню, право; Стоумовъ, что ли, будто онъ на тебя растратилъ чьи-то чужія деньги и бѣжалъ...

Фанни Юрьевна остолбенѣла.

— Ну, ну, не пугайся. Вижу, что вздоръ. Бѣги онъ въ Одессу, его оттуда живо бы выцарапали... Охъ, и дура же я! И забыла, что Маша сказывала, на какихъ ты рысакахъ и въ какой колескѣ прикатила... Ну, ну, сказывай дальше... Только, стой! я какъ-то къ тебѣ заѣзжала, хотѣла на новую квартиру взглянуть, да мнѣ сказали, что тебя въ городѣ нѣтъ. Ты что жь? къ нему въ Одессу летала?

— Нѣтъ, это мы всей труппой въ Тулу ѣздили, а потомъ въ Рязань. Знаешь, играли въ пользу суфлера; мы вѣдь каждый годъ ѣздимъ. И, право, стоитъ: онъ

такой чудный суфлеръ! инстинктивно пускаясь въ подробности, чтобъ отдалить роковую минуту признанія, сказала Фанни Юрьевна.

— Гм... Что жь онъ, хорошъ собой?

— Кто?

— Ахъ, Господи! да чудный-то суфлеръ...

— Какія глупости! обидчиво сказала Фанни Юрьевни.—Онъ просто отличный суфлеръ, вотъ и все. А до его красоты, понятно, мнѣ дѣла нѣтъ; у меня съ нимъ общаго ничего нѣтъ да и быть не можетъ, добавила она, съ артистической или женской гордостью, Богъ вѣсть.

— Ну, извини, красавица. Страсть какъ люблю свою догадливость показывать, да часто мимо... То-то бѣда моя!

Онѣ помолчали.

— Значитъ, заговорила Глафира Александровна,— ты соломенной вдовой осталась... Что жь ты дѣлала?

У Фанни Юрьевны опять показались слезы.

— Видишь ли, отвѣчала она,—я жила въ городѣ, потому что терпѣть не могу дачъ... Что за охота киснуть на одномъ мѣстѣ, особенно когда есть коляска и лошади... Гораздо пріятнѣе, вечеромъ куда вздумаешь, туда и поѣдешь...

— Разумѣется, подтвердила пріятельница, и чтобъ облегчить подругѣ дальнѣйшее признаніе, добавила:— Что жь, бывалъ у тебя кто-нибудь?

— Ты знаешь, я затворница; я не люблю, какъ ты, чтобы вокругъ меня вертѣлась толпа поклонниковъ...

— Точно, одной спокойнѣе. Что жь, ты все время одна, какъ сова на пнѣ, просидѣла?

— Нѣтъ, Шурочка у меня бывала каждый день...

Понимаешь, я не то, что люблю ее, а привыкла къ ней. Она такая услужливая, милая... И еще заходилъ...

Глафира Александровна готова была припрыгнуть, чтобы схватить на лету имя, долженствовавшее выскочить изъ устъ Фанни Юрьевны, но та вдругъ замолчала и прихлебнула чаю.

— Такъ кто еще, ты сказала, заходилъ-то къ тебѣ? будто не дослышавъ, спросила хозяйка.

— Графъ, едва слышно прошептала гостья.

— Какой графъ?

— Ахъ Боже мой, какой!.. Графъ Петръ Николаевичъ...

— Ворворищевъ?.. Та, та, та!.. вотъ такъ исторія!..

И съ этими словами Глафира Александровна, разставивъ ноги, уперлась ладонями въ колѣни и выставила далеко впередъ туловище и голову съ раскрытымъ ртомъ. Она тотчасъ же замѣтила, что приняла позу любопытной кумушки, и съ тѣмъ вмѣстѣ почувствовала, какъ у нея заколыхалась грудобрюшная преграда отъ скрытаго еще смѣха; словно въ такой позѣ она уже не могла относиться серьезно къ треволненіямъ своей подруги.

— Ну, понимаешь, съ раздраженіемъ, точно сердясь на подругу за недогадливость, продолжала Фанни Юрьевна свои признанія,—все съ Шурочкой сидѣть довольно скучно, а онъ, онъ... Фанни Юрьевна, очевидно не находила подходящаго слова или боялась употребить слишкомъ нѣжное,—онъ такой... Словомъ, мнѣ съ нимъ весело!..

Послѣднюю фразу Фанни Юрьевна прокричала довольно рѣзко, точно предупреждая неминуемое возраженіе подруги.

„Вотъ дура-то! съ кѣмъ веселье нашла!“ подумала Глафира Александровна.

— Словомъ, понимаешь, онъ человѣкъ свѣтскій... А я люблю свѣтскихъ людей; я къ нимъ привыкла, умѣю съ ними говорить... Съ ними, только съ ними я бываю остроумна, находчива... Право, между ними я даже самой себѣ кажусь умной...

„Вотъ и для нашей дурёхи поглупѣй нашлись!“ удивилась про себя Глафира Александровна, и вслухъ:

— Ну и что же?

— Понимаешь, я брала его съ собою кататься... одной такъ скучно... Конечно, я брала и Шурочку... Въ колескѣ, знаешь, есть отдѣльная скамеечка...

Шелехова все ниже опускала голову, боясь, что Ѳеничка замѣтитъ, какъ ее разбираетъ смѣхъ.

— Ну, ну! подогнала она Ѳеничку, замѣтивъ, что та опять запнулась.

— Ну, и вчера... вчера мы тоже поѣхали въ Паркъ...

— Вдвоемъ?

— Нѣтъ, и Шурочка съ нами... Только, знаешь, вдругъ стало вѣтренно, дождикъ... Я озябла, онъ предложилъ ѣхать поужинать... Тутъ вѣдь ничего нѣтъ неприличнаго, что я согласилась, не правда ли? съ институтской наивностью спросила она.

— Разумѣется; вы же были втроемъ...

— Ну да; конечно, втроемъ... Я попросила взять cabinet particulier, потому что терпѣть не могу въ общей залѣ... Всѣ ходятъ, смотрятъ на тебя; слышишь, какъ спрашиваютъ: „съ кѣмъ это она?“... Вѣдь и въ этомъ, согласись, нѣтъ ничего предосудительнаго? съ невинностью неопытной дѣвицы, спрашивающей совѣта у мамаши, сказала Фанни Юрьевна.

— Разумѣется. Тѣмъ болѣе, что вы втроемъ...

— Ну да, втроемъ... Онъ, конечно, предложилъ шампанскаго... Было очень весело, мы шутили, болтали, смѣялись... Я, кажется, выпила лишнюю рюмку ликера... Только помню, что у меня закружилась голова.

— Стой! а Шурка куда же дѣвалась?

— Вотъ, вообрази, рѣшительно не помню, когда и какъ она скрылась... Ну, и онъ... и я...

— Ну, и мы, и вы, и они, и онѣ! Будетъ, матушка, довольно! И безъ того поняла, не маленькая, заливаясь самымъ веселымъ и неудержимымъ хохотомъ, прокричала Глафира Александровна.

— Ахъ, Глаша, какая ты, право, безчувственная!

— Но, милая, не плакать же мнѣ, хотя оно точно, что трогательно! еще пуще хохоча, проговорила Шелехова.

— Помоги же мнѣ, Глаша! капризно вскричала Фанни Юрьевна.—Ты такая умная; ты все сумѣешь, если захочешь.

— Ну, коли я такая умная и все сумѣю, переставъ смѣяться сказала Глафира Александровна,—такъ говори: чѣмъ же я теперь могу помочь тебѣ?

— Посовѣтуй, научи, что мнѣ теперь дѣлать.

— Ну, это дѣло не мудрое. Слушай. Ты, что жь, Подлещикова стало быть вовсе разлюбила?

— Не смѣй, не смѣй мнѣ этого говорить, съ топотомъ закричала Хотьминская и, вскочивъ на ноги, стремительно побѣжала къ дверямъ, точно въ нихъ показался Иванъ Ѳеогностовичъ. — Онъ такой чудный, божественный, прелестный! Я никогда не перестану любить его; понимаешь, никогда. Я его люблю, обожаю боготворю!.. И никогда, ни за что не...

Фанни Юрьевна чуть не крикнула, „не измѣню“, но слово стало у нея поперекъ горла; она разрыдалась и впала въ истерику. Глафира Александровна даже перетрусилась. Наконецъ, при помощи холодной воды и разныхъ снадобій, ей удалось успокоить Ѳеничку.

— Выпей-ка чайку, уговаривала она, поглаживая ее, какъ маленькую, по головкѣ,—или не хочешь? ну, глотни водицы еще.

И слѣдомъ Глафира Александровна налила себѣ чашку, счетомъ пятнадцатую.

— А я всегда скажу, что онъ во всемъ виноватъ, все еще не безъ всхлипываній заговорила Фанни Юрьевна.

— Кто онъ-то?

— Ахъ, этотъ противный Нелѣповъ... докторъ. Я тогда же говорила Жану, что надо взять другого, что онъ ничего не смыслитъ. Нѣтъ, какъ можно, онъ знаменитость, профессоръ, стоитъ на высотѣ науки! А вышло, что я была права.

— Чѣмъ же онъ виноватъ-то? изумилась Шелехова.

— Ахъ, я его просила, умоляла, требовала, чтобъ онъ позволилъ мнѣ ѣхать съ Жаномъ; но онъ, какъ упрямый оселъ, затвердилъ одно и то же: никакъ нельзя, можетъ повредить; и не ручаюсь за выздоровленіе...

Глафира Александровна черезъ силу крѣпилась, чтобы не прыснуть со смѣху.

— Ему необходимо спокойствіе! продолжала Хотьминская цитовать доктора Нелѣпова.—У, противный, гадкій, уродъ! Такъ, по моему, и вышло... И вотъ... вотъ...

Фанни Юрьевна начала снова всхлипывать.

— Полно, полно же! прикрикнула на нее Шелехова, зная, что окрикъ бываетъ полезенъ при нервномъ растройствѣ.—Пей чай! продолжала она, придвигая къ ней чашку, я кстати налила себѣ восемнадцатую.

Фанни Юрьевна повиновалась.

— Слушай же. Если ужь ты такъ любишь Подлещикова, такъ тебѣ вотъ что надо сдѣлать.

Фанни Юрьевна встрепенулась,

— Графа больше не принимай.

— Какъ же я это сдѣлаю?

— Очень просто; прикажи, чтобы горничная отказывала.

— Ахъ, онъ, пожалуй, обидится.

— На здоровье!.. А то увидишь его, опятъ...

— Ахъ, я ужасно боюсь...

— Я такъ и думала. А что онъ обидится, не велика бѣда. Вѣдь не станетъ же онъ встрѣчному и поперечному разказывать да жаловаться, что его прогнали.

— О, на этотъ счетъ я совершенно покойна! съ живостью сказала Фанни Юрьевна.—Ты можешь, что угодно говорить про свѣтскихъ людей, что они дрянные, пустые и глупые, но относительно женщинъ они всегда благородны и никогда никому не скажутъ...

— Ну, положимъ, что я сама отъ нихъ много разъ слышала... Да вдобавокъ мы вѣдь съ тобой и не женщины для нихъ.

— А кто же?

— Актрисы. Нами похвастаться не только можно, но и лестно. Знала я одного; тоже свѣтскій былъ хоть и безъ гроша; женился онъ на одной изъ нашихъ

балетныхъ. Что жь? потомъ вездѣ хвастался, будто она у него на содержаніи. Это про жену-то!..

— Но графъ...

— Оставь ты его, ради Бога, въ покоѣ. Онъ конечно, не скажетъ ни слова, потому что побоится, чтобы Подлещиковъ не вздулъ его.

Фанни Юрьевна струсила не на шутку.

— Ахъ, что ты, что ты, Глаша! замахавъ на нее руками, закричала она.

— Ну, полно, строго проговорила хозяйка.—Чего тутъ пугаться заранѣ... Ты у меня обѣдаешь нынче, такъ ли?

— Да, домой мнѣ не хотѣлось бы. Я боюсь...

— Ладно. Послѣ обѣда я сама провожу тебя въ городъ, помогу уложиться, и завтра же утромъ изволь отправляться изъ Москвы....

— Куда? опѣшила Фанни Юрьевна.

— Какъ куда? Разумѣется, въ Одессу...

— Да, да, безсмысленно проговорила Хотьминская, очевидно не ожидавшая такого совѣта.—Но... что же я скажу Ивану Ѳеогностовичу?

— Скажешь, что соскучилась; что не въ силахъ была дождаться... Или скажи, что тебѣ сказали, будто ему хуже... Очень просто, соври на меня, будто я слышала отъ Стоумова, что ли, что ему совсѣмъ плохо, но что онъ не пишетъ, боясь растревожить тебя.

— Ахъ, Глаша, право, какая ты умная: все придумаешь! съ восторгомъ воскликнула Фанни Юрьевна.

— Ну, вотъ видишь, дурочка, дѣло вовсе не мудрое, сказала Шелехова, цѣлуя подругу.

— Только нѣтъ, съ смущеніемъ заговорила Фанни Юрьевна,—я, право, боюсь, что выйдетъ неловко...

— Чѣмъ же неловко?

А если онъ обидится?

— Съ чего-жь ему обижаться? Что соскучилась по немъ? Да онъ будетъ радешенекъ...

— Ахъ, я не про Жана...

— Про кого же? широко раскрывъ глаза, спросила Шелехова.

— Я боюсь, что графъ...

Глафира Александровна всплеснула руками и чуть не назвала Ѳеничку дурой.

— Понимаешь, теперь, *теперь* неловко; нельзя... То-есть, нынче, завтра... Еслибъ немного погодя...

— Ничего не понимаю.

— Полно, пожалуйста! ты очень хорошо знаешь, о чемъ я говорю... Еслибъ черезъ мѣсяцъ, черезъ двѣ недѣли даже... Но теперь, какъ ты хочешь, рѣшительно неловко... нельзя...

— О чемъ ты толкуешь?

— Ахъ, Глаша, скажи, пожалуйста, зачѣмъ ты притворяешься? Но графъ... вѣдь онъ будетъ же... на дняхъ...

— Право, ты, кажется, заговариваться начинаешь...

— Полно притворяться, пожалуйста! уже съ нѣкоторымъ раздраженіемъ сказала Хотьминская. — Вѣдь ты же знаешь, что онъ давно хлопочетъ въ театръ.— И, замѣтивъ нетерпѣливое движеніе танцовщицы, она съ живостью прибавила:—Такъ знай же, что какъ-то на прошлой недѣлѣ, въ дождь, онъ завозилъ Шурочку домой и сказалъ ей, что его назначеніе выйдетъ на дняхъ...

— Можетъ, его куда и назначатъ, только не въ театръ.

— Куда же?

— Ахъ, милая, почемъ мнѣ знать? Вѣдь это намъ съ тобой кромѣ театра притѣнуться некуда, а для ихняго брата *мѣстовъ* много.

— Ну, Глаша, я и не думала, что ты такая двуличная, нечаянно сообразивъ что-то, сказала Хотьминская.

— Чѣмъ же это я двуличная, позвольте спросить? нѣсколько обидясь спросила Шелехова.

— Ты же сама столько разъ твердила о его назначеніи. И въ посту еще, помнишь?.. И Иванъ Ѳеогностовичъ при этомъ былъ...

— Э, голубушка! что вспомнила. Мало ли я какой вздоръ горожу.

— Нѣтъ, нѣтъ, я тебя теперь понимаю... Пожалуйста, не воображай, что я такъ проста... Нѣтъ, теперь-то ужь меня не обманешь.

Фанни Юрьевна проговорила эти слова съ тою упрямой увѣренностью въ своей правотѣ, какая нападаетъ на всѣхъ малодумающихъ людей, когда у нихъ въ головѣ вдругъ заведется какое-либо соображеніе.

— Ну, съ задоромъ сказала Глафира Александровна,—коли на то пошло, такъ знай, что я нарочно сама про его назначеніе выдумала.

— Ты? зачѣмъ?

— Это мое ужь дѣло! заливаясь смѣхомъ, при воспоминаніи о своей затѣѣ, отвѣчала Шелехова.

— А! не хочешь сказать, значитъ врешь...

— Да ты съ ума сошла!

— Нѣтъ, я теперь тебя отлично поняла, и прямо тебѣ скажу, что ты подлая, подлая, самая низкая женщина...

— Да какъ ты смѣешь! разбѣсясь не на шутку, крикнула хозяйка.

— Да, да! ты нарочно мнѣ совѣтовала ѣхать въ Одессу, чтобъ меня здѣсь не было при его назначеніи. Ты думаешь, я не знаю, что ты сама хочешь перейти въ драму. Только извините, Глафира Александровна, вамъ это не удастся.

— Вотъ дура-то! какъ бы обращаясь къ скрытымъ свидѣтелямъ, вскричала Шелехова.

— Да, не удастся, и я еще постараюсь, чтобъ васъ изъ балета исключили...

— Вонъ, вонъ пошла! внѣ себя отъ злости закричала хозяйка.

— Подлая, подлая, низкая! на ходу прокричала гостья, торопливо подбирая подолъ и выбѣгая изъ комнаты.

— А! такъ ты такъ-то! прошипѣла про себя Глафира Александровна.—Погоди-же, голубушка, я проучу тебя. Я смирна, смирна, а только меня не тронь! А затронешь, не прогнѣвайся: удружу.

И Глафира Александровна позвонила.

— Что, уѣхала, эта-то? спросила она вбѣжавшую Машу.

— Уѣхали-съ.

— Ну, Маша, вели поскорѣй заложить лошадей, да давай мнѣ одѣваться: я ѣду въ Москву.

— А какъ же, барыня, съ нѣкоторою робостію замѣтила Маша, — вѣдь Савва Данилычъ хотѣли сегодня къ завтраку пріѣхать.

— Ахъ, я и забыла! Что-жь дѣлать!.. Мнѣ необходимо въ Москву... Впрочемъ, я его встрѣчу и захвачу съ собой...

— Да вѣдь они не изъ города, они изъ Кунцова.

— Вотъ бѣда-то! Что-жь дѣлать?.. Вотъ что, Маша... Онъ раньше часу не пріѣдетъ; ты скажешь ему... Теперь который часъ?.. Еще одиннадцати нѣтъ... Ну, я успѣю... Такъ скажи ему, чтобъ подождалъ; что я ровно въ половинѣ втораго непремѣнно буду дома. А если онъ съ компаніей пріѣдетъ, дай имъ чего-нибудь закусить, а главное усади ихъ за карты: тогда подождутъ.

Изъ предыдущаго разговора сообразительный читатель можетъ понять, до какой степени Глафирѣ Александровнѣ загорѣлось пустить по Москвѣ пикантную новость. Послѣ ругательствъ Хотьминской, она считала себя въ правѣ не держать въ тайнѣ вчерашняго приключенія. Притомъ, вѣдь Фанни Юрьевна не брала съ нея слова, не говорить никому; впрочемъ, будь слово и взято, Глафира Александровна все-таки сболтнула бы кому-нибудь, но въ такомъ разѣ, конечно, единственно при случаѣ, подъ величайшимъ секретомъ и не съ такою поспѣшностью: очень ужь дологъ былъ у нея язычекъ.

Въ Драгомиловской слободѣ она нагнала Андрея Николаевича, который плелся въ городъ на Ванькѣ. Она приказала кучеру остановиться и подозвала художника.

— Андрей Николаевичъ! Откуда это вы? еще издали кричала Глафира Александровна.

— Съ дачи: вѣдь я въ Давыдковѣ живу.

— Вотъ мило!.. Здравствуйте!.. Вотъ одолжилъ! Отъ меня, отъ Филей, всего въ двухъ шагахъ, рукой подать, и хоть бы разъ заглянулъ!

— Я, по правдѣ сказать, и не зналъ что вы въ Филяхъ.

— Разказывай, не знамъ! Про Ѳеничку, небось, давно бы разузналъ... А еще портретъ обѣщалъ...

— Право же, не знамъ... А вы мнѣ какъ еще нужны.

— Ой-ли?

— Право. Я картинку задумалъ и хотѣлъ просить, чтобъ вы у меня на натурѣ посидѣли. Что-жь, позволите себя въ картинку вписать?

— Отчего же, если не въ уродливомъ видѣ. Только я за это съ васъ взятку сорву.

— Извольте.

— Нѣтъ, *вы* извольте сейчасъ своего Ваньку отпустить, и ѣдемте со мной.

— Куда??

— Завтракать, въ Славянскій Базаръ.

Андрей Николаевичъ сталъ соображать, можно ли ему.

— Не знаю, право... впрочемъ, я успѣю... извольте.

— Вотъ паинька. А я вамъ за это ужь такія-то новости сообщу.

— Новости? Какія же?

— Насчетъ Ѳенички и вашего друга Подлещикова.

— Право? намѣреваясь сѣсть въ коляску, спросилъ Безпаловъ.

— Да вы Ваньку-то сперва отпустите! отъ души хохоча надъ разсѣянностью художника, сказала танцовщица.

Они поѣхали.

— Ну, выкладывайте же ваши новости, сказалъ Безпаловъ.

— Ишь, дуру нашли. Разкажи я вамъ сейчасъ, вы у меня изъ коляски по дорогѣ выскочите. Да на тощее сердце оно и не годится.

И она начала болтать всякій вздоръ, но новостей, какъ ни просилъ Андрей Николаевичъ, ни за что до ѣды сообщить не хотѣла. При въѣздѣ въ Никольскую имъ попалась навстрѣчу Шурочка. Она шла въ новой, шикарной шляпѣ, въ новой мантильи и съ моднымъ зонтикомъ.

„Ишь сумѣла таки съ графа сорвать!“ подумала Глафира Александровна, со смѣхомъ раскланиваясь съ нею.

Глафира Александровна приступила къ разказу не раньше, какъ скушавъ порядочный кусокъ кулебяки. Она уснастила повѣсть многими игривыми подробностями, которыя Фанни Юрьевна опустила, надо полагать, изъ скромности, или ради краткости слога. Но какъ ни старалась Шелехова разсмѣшить Андрея Николаевича, это ей не удалось. Онъ становился все задумчивѣе и даже мрачнѣе.

— Такъ вотъ какой сюрпризецъ готовится вашему другу, Андрей Николаевичъ, сказала она въ заключеніе.—А что, скоро онъ пріѣдетъ?

Андрей Николаевичъ хотѣлъ было отвѣтить, что Богъ молъ его знаетъ; но сообразивъ, что Глафирѣ Александровнѣ вовсе не слѣдуетъ знать о его размолвкѣ съ пріятелемъ, и вспомнивъ, что ему говорилъ Нелѣповъ, отвѣчалъ:

— Постойте!.. которое нынче число?.. Да такъ, недѣли черезъ двѣ, второго или третьяго іюля.

— А надо бы, кажется, предупредить его... Не то, какъ вдругъ узнаетъ, не надѣлалъ бы глупостей... или онъ не такой?

Андрей Николаевичъ ничего не отвѣчалъ.

— Неужто вы не напишите ему?

— Неловко писать-то. Выйдетъ какъ-будто сплетня.

— Какая же, помилосердуйте, сплетня, когда она сама мнѣ разказала.

Андрей Николаевичъ чуть было не отвѣтилъ, что поэтому-то и будетъ сплетня, но опять сдержался.

— Видите ли, сказалъ онъ,—вы Подлещикова не знаете; онъ въ такихъ дѣлахъ человѣкъ крайне щепетильный... Онъ можетъ взбѣситься не на нее, а на меня... А мнѣ вовсе не хотѣлось бы разсориться съ нимъ навсегда.

Шелехова поняла, что Безпаловъ на ея удочку не клюнетъ. Они замолчали. Андрей Николаевичъ мрачно уставился въ тарелку, а Шелехова, въ ожиданіи втораго блюда, стала глазѣть по сторонамъ. Ей уже пришло въ голову, что напрасно она заторопилась въ Москву, что Савва Даниловичъ навѣрно пріѣдетъ съ компаніей, и она отлично бы могла разказать у себя за завтракомъ про Ѳеничкины амуры, а гости, при помощи купеческаго клуба, разнесли бы завтра новость по всей Москвѣ,—какъ глаза ея упали на знакомое лицо.

— Андрей Николаевичъ, сказала она, указывая на мужчину въ необыкновенно легкомъ и чрезмѣрно свѣтломъ костюмѣ и сиреневыхъ ботинкахъ,—это не Натрыжкинъ сидитъ?.. вонъ тамъ, налѣво, около бассейна.

Андрей Николаевичъ взглянулъ и отвѣчалъ утвердительно.

— Вы его знаете? можете его мнѣ представить?

— Знать-то знаю, только не настолько, чтобы представить вамъ.

— Фи! какой вы нынче нелюбезный. Знала бы, не взяла бы васъ съ собой.

Андрей Николаевичъ былъ шапочно знакомъ съ Натрыжкинымъ, но ему пришлось также быть свидѣтелемъ, какъ Иванъ Ѳеогностовичъ, за предложеніе какой-то не совсѣмъ чистой сдѣлки, выгналъ почтеннаго частнаго повѣреннаго изъ своей конторы, съ употребленіемъ нѣкотораго насилія, впрочемъ въ законныхъ предѣлахъ и сообразно съ рѣшеніемъ Кассаціоннаго департамента по дѣлу Енкенъ.

Глафира Александровна еще разъ подосадовала, что не осталась дома, позвонила, чтобы поскорѣе давали второе и, взглянувъ снова въ сторону Натрыжкина, замѣтила, что къ нему подсѣменилъ какой-то франтикъ съ необыкновенно толстыми усами, напоминавшими подрѣзанные конскіе хвосты.

— А этого не знаете, что подошелъ къ нему? спросила Глафира Александровна.

— О, этого-то знаю. Онъ, видите, гдѣ-то служитъ, по межевой или чертежной части; фамилія его Никандровъ.

— А съ нимъ можете меня познакомить?

Андрей Николаевичъ съ удивленіемъ взглянулъ на Глафиру Александровну.

— Сидитъ и думаетъ, со смѣхомъ сказала Шелехова,—что это барынѣ нынче со всѣми знакомиться приспичило? Видите, Андрей Николаевичъ, я какъ увидала Натрыжкина, такъ вспомнила, что мнѣ поручили справиться у него объ одномъ важномъ дѣлѣ. Такъ познакомьте же хоть съ этимъ...

— Помилуйте, отчего же нѣтъ? Никандровъ, кстати, будетъ въ восторгѣ, онъ и во снѣ-то только видитъ, какъ бы познакомиться съ какой-нибудь знаменитостью.

Никандровъ въ это время отошелъ отъ Натрыжкина,

и Безпаловъ, нагнавъ, ловко подхватилъ его сзади подъ руку. Никандровъ тотчасъ же освѣдомился, съ кѣмъ это онъ сидѣлъ, не съ танцовщицей ли Шелеховой.

— Съ нею. А вы развѣ ее знаете?

— Какже!.. То-есть, собственно говоря, я лично съ нею не знакомъ, но она мнѣ приходится даже съ родни... То-есть, я собственно хотѣлъ сказать, да немного заговорился... Видите-ли, Фаняпинъ, извѣстный, петербургскій, его еще въ товарищи министра прочатъ; такъ онъ мнѣ приходится родственникомъ... И Никандровъ обязательно объяснилъ степень своего родства съ Фаняпинымъ.—Такъ вотъ Петръ Александровичъ Фаняпинъ жилъ съ нею, кажется, когда она только что была выпущена изъ школы.

— Хотите съ ней познакомиться?

— Съ величайшемъ удовольствіемъ. Развѣ можно?

— Идемте.

И, не давъ ему опомниться, Андрей Николаевичъ представилъ Шелеховой ея свойственника съ лѣвой стороны. Послѣ первыхъ привѣтствій, Безпаловъ поспѣшилъ оставить Глафиру Александровну въ „пріятной компаніи“. Она его не задерживала, но была столь любезна, что напомнила насчетъ натуры и портрета.

— А я такъ счастливъ, что имѣлъ удовольствіе познакомиться съ вами, милая Глафира Александровна, заговорилъ Никандровъ.—Мнѣ такъ много говорилъ о васъ одинъ мой близкій родственникъ.

— Кто же это?

— Петръ Александровичъ Фаняпинъ.

И Никандровъ объяснилъ Шелеховой степень своего родства съ Фаняпинымъ.

— Какъ же, мы когда-то были съ нимъ большими

друзьями, устремляя глаза куда-то въ даль, сказала Глафира Александровна.—Что жь, онъ теперь по прежнему служитъ въ Петербургѣ?

— Помилуйте, какъ же не служить, когда его прочатъ въ товарищи министра. Да-съ, служить, и вамъ можетъ-быть будетъ пріятно узнать, что онъ женатъ и у него двое дѣтей...

— Я слышала. Мнѣ кто-то говорилъ, кажется Стоумовъ, поспѣшно отвѣтила Глафира Александровна, и неожиданно для Никандрова спросила:—А вы кажется здоровались съ Натрыжкинымъ? вы давно съ нимъ знакомы?

Никандровъ далъ утвердительный отвѣтъ, пожалѣвъ въ душѣ, что ни съ какой стороны не состоитъ въ родствѣ съ Натрыжкинымъ.

— Можете вы его мнѣ представить? Мнѣ, видите, необходимо посовѣтоваться съ нимъ по одному дѣлу.

— Сію минуту, отвѣчалъ Никандровъ и опрометью бросился за Натрыжкинымъ.

— Извините, я вамъ кажется, помѣшала, обратилась Глафира Александровна къ Натрыжкину,—вы такъ аппетитно завтракали.

Натрыжкинъ развязно отвѣчалъ, что это ничего, и что, если она позволитъ, то онъ можетъ продолжать завтракъ за ея столомъ съ еще бо́льшимъ аппетитомъ. Глафира Александровна согласилась.

— Извините, что я васъ потревожила... Но вы, кажется, завѣдуете дѣлами графа Петра Николаевича? спросила Глафира Александровна, удостовѣрясь, что аппетитъ Натрыжкина ни мало не пострадалъ отъ перемѣщенія.

— Какъ же-съ, какъ же-съ. Графъ, или вѣрнѣе

его тетушка, княгиня Евпраксія Владиміровна, поручила мнѣ устройство дѣлъ графа Петра Николаевича.

— Скажите, пожалуйста, что̀ онъ, въ Москвѣ? Я такъ давно его не видала. А камеръ-юнкеръ Стоумовъ говорилъ мнѣ, что онъ думаетъ куда-то ѣхать, или скоро откуда-то вернется... А мнѣ такъ необходимо его видѣть...

— Графъ пока въ Москвѣ, отвѣчалъ Натрыжкинъ.

— *Пока*? развѣ онъ думаетъ куда-нибудь уѣхать?

— Да, кажется... Впрочемъ, это уже не секретъ. Онъ, вѣдь, назначается губернаторомъ въ Буинскъ; то-есть, даже назначенъ, но только это еще не объявлено оффиціально.

— Вотъ какъ! сказала Глафира Александровна, чувствуя пріятное сотрясеніе грудобрюшной преграды, при воспоминаніи о надеждахъ Ѳенички.—И скоро онъ ѣдетъ?

— Вѣроятно, чрезъ мѣсяцъ, другой.

— А, вѣдь, мы думали, что онъ къ намъ, въ театръ.

— Да, слухи ходили. И даже самъ графъ какъ-то двусмысленно отвѣчалъ, когда его о томъ спрашивали. Но, знаете, у этихъ важныхъ особъ бываютъ порой свои тонкіе разсчеты. Очень можетъ быть, что онъ этимъ обманывалъ какого-нибудь соперника, который также искалъ губернаторскаго мѣста: понимаете, чтобъ убѣдить его, что онъ ему вовсе не конкуррентъ.

Глафира Александровна весьма понимала подобные тонкіе разсчеты: она сама натравляла графа на Ѳеничку, чтобы тѣмъ временемъ ловко устроить собственныя дѣла и не быть передъ графомъ въ отвѣтѣ въ случаѣ его назначенія въ театръ, чему она, сказать правду,

вѣрила до послѣдней минуты не меньше самой Ѳенички.

— Впрочемъ, сказала Шелехова,—я очень рада, что онъ не къ намъ. Онъ, entre nous, большой шалунъ.

У Натрыжкина глазки загорѣлись при этихъ словахъ, и Никандрову также не терпѣлось услышать о шалостяхъ графа.

— Какъ? вы развѣ не слышали о его исторіи съ Хотьминской? Помилуйте, это всѣмъ извѣстно.

Оба собесѣдника выразили желаніе услышать изъ устъ Глафиры Александровны эту, всѣмъ извѣстную, исторію.

Шелехова разказала имъ, съ новыми, еще болѣе игривыми, подробностями, чѣмъ Безпалову, и кстати, единственно для усиленія впечатлѣнія, добавила, что связь началась, какъ только заболѣлъ нотаріусъ.

Посудачивъ еще немного и убѣдясь, что ея повѣствованіе произвело на обоихъ слушателей большое впечатлѣніе, Глафира Александровна вдругъ спохватилась, что ей пора домой.

— Ахъ, Боже мой! я вотъ заболталась съ вами, господа, сказала она,—и забыла, что меня ждутъ на дачѣ.

И она заторопилась отъѣздомъ. Вѣжливые кавалеры проводили ее до экипажа. Она любезно простилась съ ними, еще разъ извинилась передъ Натрыжкинымъ, что испортила ему аппетитъ, и пригласила Никандрова къ себѣ на дачу. Кавалеры не безъ зависти поглядѣли на отъѣзжавшую коляску и затѣмъ, взглянувъ другъ на друга, шельмовски перемигнулись. Оба были довольны и счастливы: Никандровъ новымъ знакомствомъ и приглашеніемъ, а главное тѣмъ, что при разказѣ о немъ

можетъ похвастаться близкимъ родствомъ съ будущимъ товарищемъ министра; Натрыжкинъ же тѣмъ, что услышалъ новость, столь непріятную для его лютаго врага.

— Они воротились въ столовую.

— Блестящая дама! сказалъ частный повѣренный, любившій взирать на все съ точки зрѣнія роскошной обстановки.

— Да, бабеночка сдобненькая, отвѣчалъ межевой, смотрѣвшій на вещи хотя и съ нѣжной, но болѣе существенной точки зрѣнія.

— Да-съ, лакомый кусокъ!

— Только не на нашъ ротокъ. Ха, ха! я, кажется, сказалъ въ рифму.

— А мой графъ и за ней пріударялъ, только, повидимому, неудачно.

— Совершенно не выгорѣло, съ полною увѣренностью подтвердилъ Никандровъ,—извините за выраженіе,—вы, можетъ-быть, любезнѣйшій Евгеній Агапитовичъ, состоите съ нимъ не только въ дѣловыхъ, но и въ дружескихъ отношеніяхъ...

Евгеній Агапитовичъ поспѣшилъ замѣтить, что кромѣ дѣловыхъ, у него никакихъ отношеній къ графу нѣтъ.

— Ну, я очень радъ, мой милый Евгеній Агапитовичъ, потому что, говоря откровенно, нашъ графъ во всей этой исторіи окончательно разыгралъ роль прохвоста.

— Однако, я обязательно не согласился бы очутиться на мѣстѣ Подлещикова, сказалъ Натрыжкинъ, не желая осуждать графа, явившагося, такъ-сказать, невольнымъ орудіемъ его мести.

— Я не спорю, любезнѣйшій Евгеній Агапитовичъ, что попользоваться запретнымъ плодомъ на чужой счетъ

очень заманчиво, и изъ насъ, вѣроятно, никто бы отъ этого не отказался; но, согласитесь, что воспользоваться сперва его болѣзнью, потомъ отсутствіемъ, развѣзжать въ его колескѣ, ѣсть, такъ сказать, его обѣдъ!.. Нѣтъ, это ужь черезчуръ!.. А еще аристократъ...

— Да, да, конечно, а все же я воображаю, какую рожу скорчитъ Подлещиковъ, когда узнаетъ, въ какихъ онъ остался дуракахъ!..

— И вотъ еще вопросъ, который я желалъ бы предложить на ваше благоусмотрѣніе, любезнѣйшій Евгеній Агапитовичъ. Какъ вы полагаете, если эту исторію сообщить кому-нибудь изъ репортеровъ, то вѣдь можетъ выйти не дурной фельетончикъ, а? И графу отъ него, пожалуй, не поздоровится. Особенно, если подпустить гражданскій мотивъ, что графъ, такъ-сказать, подманивалъ ее театральною карьерой и ради этой цѣли распустилъ слухъ о своемъ назначеніи.

— Конечно, если эти собаки пронюхаютъ... съ явною злостью сказалъ Натрыжкинъ, и вдругъ, точно самъ испугавшись своей злости, замолчалъ, впрочемъ, всего на одно мгновеніе.

Злоба почтеннаго повѣреннаго проистекала отъ того, что не прошло еще и недѣли со времени появленія въ одномъ изъ листковъ остроумной статейки, подъ заглавіемъ: „Облакатъ Агапитовъ“, гдѣ, между прочимъ, былъ разказанъ и случай въ нотаріальной конторѣ; испугъ же обусловливался слѣдующей причиной. Ему вдругъ пришло въ голову, что по милости благодѣтельной гласности (чѣмъ чортъ не шутитъ?), чего добраго, не состоится губернаторство графа, а съ тѣмъ вмѣстѣ и его выгодная женитьба, на которую не разъ намекала въ своихъ рѣчахъ княгиня Евпраксія Владими-

ровна; въ такомъ случаѣ, не пришлось бы и самому Евгенію Агапитовичу проститься на неопредѣленное время съ вожделѣннымъ гонораромъ?

— Ваше соображеніе вполнѣ справедливо, совладавъ съ мгновеннымъ испугомъ продолжалъ Натрыжкинъ,—и я повторяю, что если эти собаки только посмѣютъ!.. Но въ томъ-то и закорючка. Повѣрьте, что эти бестіи-репортеры давно ужь все пронюхали; но молчатъ, упорно молчатъ, точно набрали въ ротъ воды. А отчего? Они прекрасно знаютъ, что у графа есть связи и здѣсь, и тамъ, и въ третьемъ мѣстѣ; что за такой игривый, какъ вы выразились, фельетончикъ, ихъ обвинятъ въ шантажѣ и попросятъ изъ столицы на болѣе или менѣе продолжительный срокъ. Другое дѣло, случись это съ вами, Сергѣй Николаевичъ, или со мной,—ну, насъ бы они по косточкамъ разнесли!

— Ха, ха, ха! такъ насъ бы по косточкамъ, любезнѣйшій Евгеній Агапитовичъ? Ха, ха, ха!

И Никандровъ расхохотался, вспомнивъ о вышеупомянутой злостной статейкѣ.

— Положимъ, однако, продолжалъ онъ,—что графъ съ этой стороны и не уязвимъ. А все же, любезнѣйшій Евгеній Агапитовичъ, какъ вы полагаете, имѣетъ ли Подлещиковъ, выражаясь юридически, нѣкоторое законное основаніе задать графу легонькую встряску, такъ-сказать, за ловленіе рыбы въ чужихъ водахъ, или за охоту въ заповѣдныхъ лѣсахъ?

— Подлещиковъ человѣкъ грубый, невольно вспомнивъ о приключеніи въ нотаріальной конторѣ, отвѣчалъ Натрыжкинъ.

— Вотъ видите, любезнѣйшій Евгеній Агапито-

вичъ!.. А вѣдь у Подлещикова, конечно, найдутся друзья или знакомые, которые извѣстятъ его...

— Я, къ сожалѣнію, не принадлежу къ числу его друзей и даже близко не знакомъ съ нимъ, сверкнувъ глазами отвѣчалъ Евгеній Агапитовичъ, соображая насколько графъ въ состояніи скрутить Подлещикова, если тотъ вздумаетъ брыкаться.

— Я не васъ и имѣлъ въ виду, мой милый Евгеній Агапитовичъ...

— Стойте! прервалъ его Натрыжкинъ, окончательно рѣшивъ, что графъ такъ приструнитъ Подлещикова, что изъ того только пухъ полетитъ.—Мы съ вами сейчасъ это дѣло обмозгуемъ, только...

— Что только?

— Что жь намъ думать въ сухую! Велимъ подать чего-нибудь.

— Ха, ха! такъ-сказать подливочки; знаете, для вдохновенія, какъ говоритъ подъячій въ комедіи Островскаго. Ха, ха, ха! превосходно. Ха, ха, ха! вы человѣкъ сообразительный.

XIX.

Вѣщій сонъ.

Странникъ, конечно, бываютъ и темные сны, изъ которыхъ
Смысла нельзя намъ извлечь; и не всякій сбывается сонъ нашъ.

Одиссея, XIX, 560-61.

Иванъ Ѳеогностовичъ, между тѣмъ, усердно лѣчился на лиманѣ. Онъ пріѣхалъ за два дня до открытія курса, и 15 мая первый принялъ первую теплую ванну,

а 1 іюня раньше всѣхъ выкупался въ лиманѣ. Онъ не только строго слѣдовалъ предписаніямъ доктора, но въ желаніи вылѣчиться какъ можно скорѣе, охотно выслушивалъ совѣты другихъ, болѣе опытныхъ больныхъ. Отставной майоръ разказалъ ему, что у нихъ, въ полку, одинъ штабсъ-капитанъ страдалъ точно такою же, какъ у него, болѣзнью, но только тогда она называлась какъ-то по иному. И что же? Разъ, разсердясь на деньщика, онъ сильно топнулъ ногою и мгновенно выздоровѣлъ. Иванъ Ѳеогностовичъ, ни на кого не сердясь, со всей силы притопнулъ ногою, и она у него пуще разболѣлась. Старушка изъ-подъ Орѣхова сообщила ему, что когда она въ первый еще разъ пріѣзжала на лиманъ, то старикъ-докторъ, открывшій цѣлебное свойство грязей и устроившій первоначально настоящую лѣчебницу, совѣтовалъ ей не просто купаться, но и натирать при этомъ грязью больной членъ, и это сильно помогло ей. Иванъ Ѳеогностовичъ съ усердіемъ принялся натираться во время купанья и также почувствовалъ облегченіе.

Душою, понятно, онъ жилъ въ Москвѣ, питаясь письмами Фанни Юрьевны, которая, надо отдать ей справедливость, на нихъ не скупилась. И хотя ея письма въ сравненіи съ самой артисткой были не болѣе какъ пищей святаго Антонія, по сравненію съ трактирнымъ обѣдомъ, Иванъ Ѳеогностовичъ укрѣплялся ими. Если случалось, что сегодня письма не приходило, то на завтра получалось цѣлыхъ два, одно другаго нѣжнѣе и пламеннѣе. Она очень мило и съ самыми мелочными подробностями описывала ему свои артистическія поѣздки въ Тулу и Рязань, извѣщая, что въ обоихъ городахъ они играли *Мученицу любви* съ

огромнымъ успѣхомъ. Monsieur Courtaud ѣздилъ съ ними и сдѣлалъ весьма удачныя сокращенія въ піесѣ. Поплескина они не брали съ собой, но Спѣхинъ очень хорошо справился съ его ролью. И такъ далѣе.

Ивана Ѳеогностовича чрезвычайно интересовали всѣ эти новости. По мѣрѣ приближенія конца лѣчебнаго курса, Подлещиковъ становился все нетерпѣливѣе и готовъ былъ, подобно школьникамъ, завести особый календарь, гдѣ можно было бы отчеркивать сколько дней, часовъ, минутъ, даже секундъ осталось до вожделѣннаго отъѣзда въ Москву.

И вотъ именно въ то время, какъ ждать приходилось не болѣе двухъ недѣль, то-есть четырнадцати дней, или двухсотъ тридцати шести часовъ (минуты и секунды досужій читатель можетъ вычислить самъ), выпалъ денекъ безъ письма. Иванъ Ѳеогностовичъ утѣшился тѣмъ, что завтра получитъ сразу два; но и на завтра письма не пришло. Что бы это значило? Иванъ Ѳеогностовичъ припомнилъ, что Фанни Юрьевна какъ-то писала, что ихъ всей труппой приглашаютъ на пять спектаклей въ Казань и что отъ этого ожидаются большія выгоды. Онъ пересмотрѣлъ прежнія письма и въ одномъ изъ нихъ нашелъ кое-что на счетъ Казани; онъ нѣсколько успокоился, особенно когда убѣдился, что объ этомъ городѣ упоминается еще въ одномъ письмѣ. Навѣрное, окончательное приглашеніе пришло неожиданно, по телеграфу (антрепренеры прогораютъ, но на телеграммы у нихъ всегда деньги найдутся), и Фанни Юрьевна, заторопясь отъѣздомъ, не успѣла написать. Конечно, она могла бы дать депешу; но женщины порой бываютъ ужасно недогадливы. За то онъ

завтра получитъ письмо съ дороги, вѣроятно изъ Нижняго, и телеграмму изъ Казани.

Но и на третій день письма не было. Иванъ Ѳеогностовичъ рѣшилъ послать срочную телеграмму съ оплаченнымъ отвѣтомъ,—но куда: въ Москву или Казань? Казань въ послѣдніе дни до того у него вертѣлась въ головѣ, что онъ предпочелъ ее Москвѣ. Адресъ? Но въ томъ-то и выгода быть влюбленнымъ въ актрису, что всегда знаешь куда адресовать: въ театръ! Поздно вечеромъ онъ получилъ желанный отвѣтъ: телеграфное управленіе увѣдомляло его, что адресата въ Казани нѣтъ.

Значитъ, она въ Москвѣ; значитъ, она больна; значитъ... значитъ... Телеграфировать ли сейчасъ, или ужь подождать до завтрашняго дня? Кто знаетъ, быть можетъ, она въ дорогѣ. Послѣ долгихъ размышленій и переворачиваній въ головѣ разныхъ возможныхъ обстоятельствъ, Иванъ Ѳеогностовичъ почему-то пололожилъ подождать до завтра.

Онъ снова вынулъ письма Фанни Юрьевны, тщательно сложилъ ихъ по числамъ и сталъ перечитывать подъ рядъ. Ему не удалось въ нихъ открыть новыхъ указаній на счетъ Казани, но, странное дѣло! ему показалось, будто чѣмъ дальше, тѣмъ письма становятся холоднѣе, отрывочнѣе, короче, небрежнѣе; въ письмахъ за двѣ послѣднія недѣли словно вовсе ужь не было тѣхъ теплыхъ чувствъ любви и нѣжной признательности, которыми дышали болѣе раннія письма. Но, откровенно говоря, о чемъ ей было писать? О томъ, что кромѣ Шурочки у нея никого не бываетъ? Что она встрѣтила такого-то въ Сокольникахъ, а такую-то въ Паркѣ? Притомъ, когда приходится писать изо дня

въ день, по неволѣ исчерпаешь всѣ нѣжныя и милыя выраженія. Желалъ бы онъ поглядѣть на свои послѣднія письма къ ней,—и въ нихъ, навѣрное, проскваживаетъ та же кажущаяся холодность, та же казенность избитыхъ отъ частаго употребленія однихъ и тѣхъ же словъ и реченій. Иное дѣло только-что полученное письмо; тутъ и пустое слово можетъ заставить улыбнуться, или вспомнить что-нибудь пріятное, или возбудить обольстительную надежду; но когда перечитываешь цѣлую груду писемъ, по неволѣ однообразнаго содержанія, то, конечно, они покажутся скучноватыми и холодными.

Такъ утѣшалъ себя Иванъ Ѳеогностовичъ. У него отъ пережитыхъ волненій вдобавокъ заныла нога, и онъ рѣшилъ, что всего благоразумнѣе лечь спать, а завтра, — завтра-то ужь навѣрное придетъ письмо. И какъ мило покажется оно послѣ маленькаго перерыва корреспонденціи.

Иванъ Ѳеогностовичъ заснулъ. И престранный ему привидѣлся сонъ. Онъ увидѣлъ огромную комнату, гдѣ по самой серединѣ стояла большая парадная кровать подъ балдахиномъ. На кровати въ самой обольстительной позѣ лежала Фанни Юрьевна. Иванъ Ѳеогностовичъ, затаивъ дыханіе и не смѣя двинуться, созерцалъ ее. Вдругъ откуда-то появилась длинноносая Лиза въ черномъ платьѣ, и за нею невидимыя существа стали вносить цѣлые вороха пакетовъ и бумагъ. „Отъ кого это?“ спросилъ чей-то голосъ. — Отъ графа, отвѣчала Лиза. Слѣдомъ все исчезло, и нотаріусъ очутился въ низенькой комнатѣ, гдѣ до потолка, казалось, можно было достать рукой. Въ ней появилось нѣсколько грубыхъ плетеныхъ соломенныхъ стульевъ; на одномъ изъ

нихъ оказался графъ, а вокругъ него почтительно стояли какія-то точно подчиненныя ему лица. Иванъ Ѳеогностовичъ узналъ между ними гнусную физіогномію Натрыжкина. Частный повѣренный съ низкимъ поклономъ подалъ графу толстую бамбуковую трость съ серебрянымъ набалдашникомъ, и графъ, взявъ ее, принялся бить Ивана Ѳеогностовича. Бѣдный нотаріусъ не зналъ, куда дѣваться, и чувствовалъ сильную боль во всемъ тѣлѣ; онъ сдѣлалъ движеніе и... проснулся. „Не то еще увидишь!“ какъ разъ въ моментъ его пробужденія проговорилъ кто-то.

— Фу, какой скверный сонъ! прошепталъ про себя Иванъ Ѳеогностовичъ, чувствуя, что все его тѣло точно избито.—Физіологическій сонъ! черезъ нѣкоторое время разсудилъ онъ, оставаясь, впрочемъ, при мнѣніи, что сонъ пресквернный.

Тяжело перевернувшись на другой бокъ, Иванъ Ѳеогностовичъ вновь заснулъ и увидѣлъ какъ бы продолженіе предыдущаго сна. Онъ быстро откуда-то выбѣжалъ съ графомъ въ комнату, или, вѣрнѣе, въ переднюю, судя потому, что на вѣшалкѣ было много шубъ. Они о чемъ-то крупно разговаривали. Вдругъ между ними появился хлыстъ. Графъ протянулъ уже къ нему руку, но Подлещиковъ ловко перехватилъ хлыстъ и сталъ имъ нещадно бить графа. Онъ билъ его до того, что самому жалко стало; по счастью, графъ выскочилъ изъ своего сюртука и бросился внизъ по лѣстницѣ. Подлещиковъ за нимъ. Но тутъ послѣдовала перемѣна декораціи и нотаріусъ очутился на улицѣ, причемъ въ глаза ему бросилась мостовая изъ крупныхъ булыжниковъ. Графъ ѣхалъ мимо на самомъ дрянномъ и оборванномъ извощикѣ.

— Будьте покойны, закричалъ онъ, поровнявшись съ нотаріусомъ,—это вамъ такъ не пройдетъ. Насъ будутъ судить въ окружномъ судѣ.

— Помилуйте, ваше превосходительство, отвѣчалъ Подлещиковъ, — вы чуть ли не тайный совѣтникъ, а потому дѣло будетъ производиться въ Судебной Палатѣ.

— А, въ Палатѣ! Ну, я очень радъ.

И графъ исчезъ.

— Да, да, это дѣло, конечно, нельзя прекратить, сказалъ Подлещикову чей-то голосъ, — потому что вы съ нимъ перемѣнились шляпами и забыли французскую грамматику въ магазинѣ Вольфа.

„Причемъ тутъ французская грамматика?“ подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, видя себя въ саду, гдѣ гуляло множество кормилицъ съ грудными младенцами на рукахъ; ни дать, ни взять, какъ въ Воспитательномъ домѣ.

Пробираясь между мамками, Подлещиковъ попалъ на высокую лѣстницу; поднявшись по ней, онъ вошелъ въ большую залу и увидѣлъ на воздухѣ двѣнадцать новыхъ шляпъ-цилиндровъ, поверхъ которыхъ носилась тринадцатая, круглая и обвязанная длинною фіолетовою лентой. Онъ взглянулъ въ другую сторону и замѣтилъ, что тамъ въ углу валяется двѣнадцать старыхъ и изношенныхъ шляпъ. Иванъ Ѳеогностовичъ понялъ, что то шляпы графа и узналъ между ними свою собственную старую шляпу котелкомъ: онъ былъ въ ней на послѣднихъ похоронахъ, и она была закапана воскомъ.

— Однако, что такъ время-то терять: сдѣлаемте-ка репетицію суда, сказалъ чей-то голосъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ обернулся на голосъ и уви-

дѣлъ, что вдали за столомъ сидятъ трое судей, между которыми онъ узналъ будущаго профессора Полосатова. Вдругъ между нимъ и судьями просунулось нѣчто въ родѣ прилавка, и въ залу въ черномъ платьѣ и съ печальнымъ лицомъ вошла Фанни Юрьевна.

— Зачѣмъ она здѣсь? Неужто она будетъ говорить за меня? подумалъ нотаріусъ.

Фанни Юрьевна начала рѣчь, и къ удивленію Ивана Ѳеогностовича, стала защищать его. Но тутъ вниманіе его было развлечено тѣмъ, что на прилавкѣ появились какія-то издѣлія изъ козьей шерсти ослѣпительно бѣлаго цвѣта. Иванъ Ѳеогностовичъ потянулся было, чтобы разглядѣть ихъ, какъ Фанни Юрьевна взяла съ прилавка необыкновенно длинные чулки и подала ихъ ему. Онъ взялъ и проснулся.

Было уже утро. Взглянувъ на часы, Подлещиковъ подумалъ, что, пожалуй, время и вставать, но не всталъ, а, приподнявшись на кровати, занялся анализомъ своего ночнаго мечтанія, разлагая его на составные элементы, согласно гдѣ-то вычитанной имъ научной теоріи сна.

Что ему привидилась Фанни Юрьевна, въ томъ не было ничего мудренаго: онъ думалъ о ней нѣсколько дней подъ рядъ и вдобавокъ передъ самымъ сномъ. Понятно также, что во снѣ къ ней припуталась Лиза,—въ квартирѣ ея матери онъ зазналъ Фанни Юрьевну. Но къ чему тутъ графъ? Иванъ Ѳеогностовичъ и думать о немъ забылъ, съ самаго отъѣзда изъ Москвы ни разу не вспоминалъ о немъ: до такой степени онъ былъ увѣренъ, что обезвредилъ вліяніе Ворворищева на артистку. Впрочемъ, можетъ-быть потому же, почему и Лиза. Битье палкой,—опять дѣло понятное; разбо-

лѣлась нога, всего разломило,—вотъ и приснилась такая гадость.

Болѣе удивительнымъ показался ему голосъ, возвѣщавшій о продолженіи сна. Что онъ въ свою очередь билъ графа,—простая реакція воображенія, возмущеннаго предыдущимъ сновидѣніемъ. Разговоръ о судѣ—простое логическое послѣдствіе двухъ призрачныхъ поединковъ, именно такое, какое всегда является во снѣ, гдѣ часто самыя отвлеченныя разсужденія и умозаключенія рисуются въ видѣ причудливыхъ и нелѣпыхъ образовъ. Французская грамматика привязалась, конечно, потому, что графъ былъ немыслимъ безъ французской болтовни. Но что̀ значитъ, что они перемѣнились шляпами?

Надъ шляпами Иванъ Ѳеогностовичъ поломалъ-таки голову; не мудрено: вѣдь вслѣдъ затѣмъ онъ увидѣлъ во снѣ еще цѣлыхъ двадцать пять шляпъ, и своихъ, и графскихъ. Эпизодъ съ кормилицами онъ почему-то пропустилъ безъ вниманія, но шляпы рѣшительно не давали ему покоя. И что̀ значитъ круглая шляпа, парящая надъ двѣнадцатью новыми цилиндрами? Иванъ Ѳеогностовичъ старался припомнить, не было ли у Фанни Юрьевны круглой шляпы съ фіолетовыми лентами? Но онъ не могъ рѣшить и того, видѣлъ ли во снѣ мужскую или женскую шляпу. Кажется, мужскую, хотя у мужчинъ шляпы только обшиваются лентами, причемъ онѣ не спускаются внизъ свободными концами. Далѣе, Фанни Юрьевна явилась въ черномъ платьѣ и съ печальнымъ лицомъ,—ну, это простое отраженіе вчерашняго безпокойства насчетъ ея здоровья. Но что̀ значитъ, или точнѣе: съ чего приснились длинные чулки изъ бѣлоснѣжной козьей шерсти, которые она ему подала?

Словомъ, сонъ сильно занялъ нотаріуса. Я увѣренъ, впрочемъ, что любой читатель, будь онъ даже просвѣщеннѣе Ивана Ѳеогностовича (что, по моему, рѣшительно невѣроятно), еслибъ ему приснился, при подобныхъ же обстоятельствахъ, въ такіе же часы душевнаго волненія, этотъ самый сонъ также, по неволѣ, раздумался бы надъ нимъ. Сонъ такъ крѣпко засѣлъ въ мозгу Ивана Ѳеогностовича, что онъ не могъ отдѣлаться отъ него даже послѣ утренняго купанья въ лиманѣ, хотя въ этотъ день вода была свѣжѣе, чѣмъ прежде.

Онъ не удержался и разказалъ сонъ кому-то изъ больныхъ, конечно, съ умолчаніемъ о своихъ отношеніяхъ къ актрисѣ. Въ разказѣ она просто фигурировала, какъ одна знакомая дама. Слушателю сонъ также показался занимательнымъ и до того страннымъ, что онъ сообщилъ о немъ третьему лицу. Вскорѣ всѣ больные въ лѣчебницѣ болѣе или менѣе заинтересовались сномъ, и Ивану Ѳеогностовичу пришлось пересказать его много разъ. Понятно, что между больными нашлись болѣе или менѣе опытные снотолкователи, обращавшіе, впрочемъ, вниманіе не на совокупность сновидѣнія, а на отдѣльныя подробности. Больше всего занимались шляпами, которыя означали и двѣнадцать друзей, и двѣнадцать мѣсяцевъ, и даже двѣнадцать присяжныхъ. Старуха изъ-подъ Орѣхова попросила Ивана Ѳеогностовича разказать ей сонъ еще разъ, причемъ изъявила желаніе точнѣе узнать нѣкоторыя подробности, которыхъ онъ самъ, къ сожалѣнію, не помнилъ; напримѣръ, были ли перила у лѣстницы, по которой онъ всходилъ во снѣ, или не сосчиталъ ли онъ сколько шубъ висѣло въ передней (хорошо бы, еслибъ

ихъ оказалось восемь)и не замѣтилъ ли онъ была ли тамъ печка (безъ печки, впрочемъ, лучше), а равно, сколько именно восковыхъ капель было на его старой шляпѣ, и такъ далѣе. Выспросивъ обо всемъ необходимомъ для правильнаго пониманія сна, старуха отвела Ивана Ѳеогностовича въ сторону и таинственно шепнула ему:

— А много вамъ будетъ непріятностей чрезъ эту даму.

— Чрезъ даму? переспросилъ Подлещиковъ.

— Да, чрезъ ту, которая вамъ во снѣ-то чулки подала. Ужь чулки, вѣрьте, къ большимъ непріятностямъ.

Это толкованіе почему-то обезпокоило Ивана Ѳеогностовича, хотя, по своей просвѣщенности, онъ, конечно, ему не вѣрилъ. Вскорѣ принесли почту. На имя Подлещикова было цѣлыхъ три письма, и онъ, не посмотрѣвъ даже чьей рукою написанъ адресъ, спѣшно убѣжалъ въ свой номеръ, дабы насладиться чтеніемъ давно жданныхъ вѣстей.

Вошедъ къ себѣ и взглянувъ на письмо, онъ увидѣлъ, что всѣ они надписаны незнакомою рукой, тремя различными почерками. То были и не дѣловыя письма изъ конторы,—откуда-жь ихъ пришло сразу цѣлыхъ три? Иванъ Ѳеогностовичъ повертѣлъ письма въ рукахъ, и наконецъ, торопливо и неловко разорвавъ одинъ изъ конвертовъ, взглянулъ на подпись корреспондента. Тамъ стояло: Никандровъ. Это что еще? Никандрова онъ и во снѣ не видалъ.

„Многоуважаемый Иванъ Ѳеогностовичъ, писалъ Сергѣй Николаевичъ,—извините, что я, будучи въ сущности не довольно близко знакомъ съ вами, рѣшаюсь писать вамъ о важномъ личномъ дѣлѣ. Но та симпа-

тія, которую я почувствовалъ къ вамъ съ перваго знакомства, и то уваженіе, какимъ доселѣ пользовалось ваше имя по всей Москвѣ, побуждаетъ меня сдѣлать этотъ, быть можетъ, не совсѣмъ ловкій, но, смѣю думать, отнюдь не опрометчивый шагъ".

— А! понимаю, приговаривается, чтобъ занять, подумалъ Подлещиковъ.—Только напрасно, дружокъ, напрасно.

„Надѣюсь, значилось дальше въ письмѣ,—что вамъ не покажется нескромнымъ, если я позволю себѣ намекнуть слегка на ваши отношенія къ г-жѣ Х., которыя, со дня ея послѣдняго бенефиса, собственно говоря, ни для кого не составляютъ тайны".

Иванъ Ѳеогностовичъ невольно прервалъ чтеніе; у него точно комъ сталъ въ горлѣ, и онъ поморщился. Правда, передъ болѣзнью, онъ открыто разъѣзжалъ съ Фанни Юрьевной по Москвѣ и появлялся съ нею чуть не ежедневно въ ресторанахъ, но тѣмъ не менѣе ему стало какъ-то неловко, не то стыдно, не то досадно, что благодаря этому всякій, даже хуже чѣмъ всякій, какой-то Никандровъ, считаетъ себя въ правѣ обращаться къ нему съ рѣчью насчетъ его сердечныхъ дѣлъ.

„Я, впрочемъ, продолжалъ извиняться Сергѣй Николаевичъ,—все-таки не рѣшился бы заговорить съ вами объ этомъ нѣсколько щекотливомъ предметѣ, еслибъ въ послѣднее время вы не сдѣлались предметомъ черезчуръ безцеремонныхъ пересудовъ, которые не только оскорбительны для вашего самолюбія, но, по мнѣнію людей компетентныхъ, могутъ даже повредить вашей репутаціи безукоризненнаго нотаріуса".

Подлещиковъ поднесъ руку ко лбу, какъ бы ради того, чтобъ отереть выступившій потъ. Когда онъ снова

взялся за письмо, то замѣтилъ, что у него дрожитъ рука и строки изъявляютъ намѣреніе пуститься въ плясъ. Онъ читалъ какъ-то залпомъ, охватывая глазами много строкъ сразу, не вполнѣ понимая отдѣльныя выраженія, но чувствуя гнусность общаго содержанія письма. Ему стало гадко и мерзко; мерзѣе и гаже, чѣмъ въ то мгновеніе, когда приснилось будто графъ колотитъ его палкой.

Никандровъ, извиняясь и оговариваясь на каждомъ шагу, передавалъ разказъ Глафиры Александровны, дополняя его, какъ ретивый ученый, многочисленными соображеніями и домыслами. Онъ намекалъ, что связь между „названными лицами“ установилась, собственно говоря, еще въ началѣ болѣзни Ивана Ѳеогностовича, и утверждалъ, будто графъ подкупилъ ее обѣщаніемъ опредѣлить на казенную сцену съ добавленіемъ уже извѣстнаго читателю предположенія о томъ, что произойдетъ, буде такой „возмутительный фактъ“ дойдетъ до свѣдѣнія репортеровъ.

„Слухи эти уже давно циркулируютъ по Москвѣ, говорилось подъ конецъ письма,—но я не смѣлъ сообщать ихъ вамъ, пока окончательно не удостовѣрился въ ихъ полной справедливости. Именно, на-дняхъ я случайно встрѣтился съ повѣреннымъ графа Натрыжкинымъ, и онъ“...

Эта фраза была вставлена по просьбѣ самого Натрыжкина во-время „обмозгованія“ дѣла. Частный повѣренный предчувствовалъ, что она особенно кольнетъ нотаріуса, и не ошибся въ разсчетѣ. Его имя для Подлещикова оказалось именно каплей, переполнившей чашу.

Иванъ Ѳеогностовичъ дальше не читалъ. Онъ вско-

чилъ со стула, изъ его груди сквозь стиснутые зубы вырвался не то стонъ, не то визгъ. Онъ вцѣпился обѣими руками себѣ въ волосы и, не помня себя, затопталъ ногами. Слѣдомъ имъ овладѣло желаніе бѣжать, спрятаться въ какомъ-нибудь темномъ чуланѣ, даже провалиться сквозь землю. Ему казалось, будто въ него летятъ черепки, комки грязи, всякая дрянь; что ему свистятъ прямо въ уши. Онъ чувствовалъ потребность закрыть глаза и заткнуть уши. Подлещиковъ подбѣжалъ къ постели, бросился на нее и нахлобучилъ себѣ на голову подушку; но чрезъ мгновеніе вскочилъ опять на ноги и потеръ себѣ лицо руками.

Фу, какая гадость! Самымъ обиднымъ казалось то, что она предпочла ему именно графа. Ну, влюбись она въ проѣзжаго гвардейца, или туземнаго студента; наконецъ, заведи интригу хоть съ тѣмъ докторомъ съ маслеными глазами, или съ восточнымъ человѣкомъ... Но, графъ, графъ!.. И это послѣ того, какъ онъ самъ далъ ей слово опредѣлить ее во чтобы то ни стало наказенную сцену.

„А вѣдь въ письмѣ сказано, что именно этимъ онъ и сманилъ ее“, подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ и съ тѣмъ вмѣстѣ снова засѣлъ за чтеніе посланія г. Никандрова.

Вторичное чтеніе нисколько не усилило впечатлѣнія; напротивъ скорѣй ослабило, быть можетъ потому, что все, что̀ являлось смутнымъ и полупонятнымъ при первомъ черезчуръ бѣгломъ просмотрѣ письма, теперь стало вполнѣ яснымъ и опредѣленнымъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ Иванъ Ѳеогностовичъ понялъ, что ему слѣдуетъ сдѣлать. Онъ схватилъ листъ бумаги и принялся за письмо. На первомъ листѣ, еще не написавъ ни

строчки, онъ сдѣлалъ огромную кляксу и скомкавъ отбросилъ его. На первой же строчкѣ второго онъ такъ надавилъ перо, что оно впилось въ бумагу; и этотъ листокъ былъ отброшенъ, и вставлено новое перо. За то на третьемъ онъ сразу, безъ остановокъ, окончилъ письмо. Онъ писалъ:

„Милостивый государь,

Графъ Петръ Николаевичъ,—

„Мнѣ пишутъ изъ Москвы, что вы, соскучась кататься на моихъ лошадяхъ, вздумали болѣе основательно проѣхаться на мой счетъ".

Эта фраза чрезвычайно понравилась Ивану Ѳеогностовичу, особенно тѣмъ, что въ выраженіи „на мой счетъ" былъ двойной смыслъ. Такое обстоятельство вдохновило его на дальнѣйшее писаніе.

„Я ни мало не питаю претензіи, писалъ онъ дальше,—охлаждать горячность вашихъ чувствъ, или умѣрять пылкость вашего темперамента; но вамъ были извѣстны мои отношенія къ г-жѣ Х., и между нами всю зиму шла хотя скрытая и глухая, но непрерывная и упорная борьба. Я смѣю утверждать, что не сдѣлалъ ничего предосудительнаго ради того, чтобъ склонить побѣду на свою сторону. Вы, наконецъ, отступили; но затѣмъ разсчетливо воспользовались моею болѣзнью и невольнымъ отсутствіемъ изъ Москвы. Того не довольно: вы вздумали подѣйствовать на артистическое самолюбіе Ф. Ю., обѣщая ей доставить положеніе, къ которому она стремилась, хотя вы прекрасно знали, что не въ силахъ выполнить своего обѣщанія. Вы просто обманули ее, и смѣю думать, что ни одинъ порядочный человѣкъ не назоветъ вашего поступка чест-

нымъ. Полагаю также, что имѣю нѣкоторое право потребовать отъ васъ удовлетворенія".

Затѣмъ, попросивъ графа принять увѣренія въ своемъ къ нему почтеніи и преданности, Иванъ Ѳеогностовичъ въ postscriptum извѣщалъ его, что завтра же выѣзжаетъ въ Москву, и просилъ адресовать отвѣтъ по своему московскому адресу.

Сложивъ письмо, Иванъ Ѳеогностовичъ вдругъ вспомнилъ, что не знаетъ адреса графа. Онъ, впрочемъ, не остановился предъ этимъ. Письмо къ графу онъ вложилъ въ конвертъ, который направилъ въ свою контору съ предписаніемъ немедленно разузнать мѣстожительство графа и сдать письмо подъ росписку въ конторской книгѣ. Затѣмъ, взглянувъ на часы, онъ приказалъ Агаѳону ѣхать на желѣзную дорогу и опустить письмо въ ящикъ почтоваго вагона.

Самолюбіе Ивана Ѳеогностовича нѣсколько успокоилось: онъ высказалъ графу свою обиду и потребовалъ отъ него удовлетворенія. Мысль, освободясь отъ тяготившей ее обузы, спѣшно перескочила на другое. Странное дѣло! доселѣ онъ только мелькомъ думалъ о Фанни Юрьевнѣ: именно, при первомъ намекѣ въ письмѣ Никандрова на счетъ ея измѣны, у Ивана Ѳеогностовича въ ушахъ прозвучалъ тотъ подозрительный хохотъ, который въ Москвѣ, во время ея уединеной бесѣды съ модным докторомъ, такъ сильно встревожилъ его ревнивое воображеніе. Затѣмъ, когда онъ прочелъ, чѣмъ графъ подкупилъ ее, предъ его глазами, какъ живое, обрисовалось ея лицо въ томъ видѣ, какъ она на кладбищѣ ласкательно взглянула на него снизу, спрашивая, поставитъ ли онъ ей памятникъ.

„Она и въ смерти даже видитъ только предлогъ

къ бенефиснымъ подношеніямъ", подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ. Конечно, эта мысль пришла ему въ голову не въ той ясной и опредѣленной формѣ, въ какой мы ее записали. Тò былъ только первый проблескъ мысли, легкій намекъ на нее, для выраженія чего слово слишкомъ грубо и точно,—явленіе, не поддающееся описанію, но знакомое каждому по личному опыту.

И вотъ, мысль, освободясь отъ обузы, набросилась теперь на Фанни Юрьевну. Прежде всего Ивану Ѳеогностовичу пришло въ голову, что Никандровъ могъ и наврать; что его просто подучилъ Натрыжкинъ, который, конечно, не остановится ни предъ чѣмъ, чтобъ отомстить за прошлогоднюю проучку; что поводомъ къ обвиненію послужили какіе-нибудь пустяки, раздутые тѣмъ же Натрыжкинымъ. Отчего, напримѣръ, не предположить, что тотъ же, всюду шатающійся, Никандровъ встрѣтилъ графа въ Паркѣ или въ Сокольникахъ въ одной коляскѣ съ Фанни Юрьевной и разказалъ о томъ Натрыжкину, а этотъ негодяй тутъ же сочинилъ скверную сплетню?

Иванъ Ѳеогностовичъ уже хотѣлъ было броситься, чтобы воротить Агаѳона, какъ глаза его упали на два другія письма. Что въ нихъ? Нѣтъ ли опроверженія, или подтвержденія вѣсти?

Одно оказалось пасквильнымъ письмомъ безъ подписи. Въ немъ весьма грубо и неопрятно разказывалось тоже, что нѣжно и прикровенно сообщалъ Никандровъ, и были вставлены глумительныя выраженія, въ родѣ: „такъ-то, Ваничка, васъ оболванили", или „такимъ то образомъ, милый Ванюшенька, вы очутились въ дуракахъ". Въ другомъ оказалась довольно бойко набросанная каррикатура. Былъ нарисованъ оселъ

съ головой Ивана Ѳеогностовича и на немъ въ испанскихъ костюмахъ и съ бокалами въ рукахъ возсѣдали графъ и Фанни Юрьевна. Подпись гласила: „Чувствуетъ ли золотой оселъ, какъ мы съ тобою счастливы?“ Въ приложенномъ письмѣ вѣжливо испрашивалось согласіе Ивана Ѳеогностовича на помѣщеніе каррикатуры въ одномъ изъ сатирическихъ журналовъ.

Несмотря на подтвержденіе извѣстія, Подлещиковымъ овладѣло пущее сомнѣніе въ его справедливости. „Все это Натрыжкинскіе фокусы!“ быть можетъ, слишкомъ скоро заключилъ онъ, и сталъ самымъ усиленнымъ образомъ увѣрять себя въ чистотѣ Фанни Юрьевны. У него, однако, при этомъ не шевельнулось живаго чувства; онъ именно подбиралъ все болѣе вѣскія, какъ ему думалось, чисто логическія доказательства невозможности измѣны въ такой короткій промежутокъ времени. Но, говоря откровенно, сколько ни увѣрялъ себя въ томъ Иванъ Ѳеогностовичъ, онъ въ сущности не вѣрилъ своимъ доказательствамъ, хотя и не сознавался въ своемъ тайномъ невѣріи. Тѣмъ не менѣе, онъ сталъ не то, чтобы раскаиваться въ написаніи письма графу, но укорять себя въ необдуманной поспѣшности.

„Еще этотъ дуракъ напутаетъ что-нибудь“, думалъ онъ, „ну, вдругъ вздумаетъ ей показать письмо, чтобъ посмѣяться... Это ее встревожитъ, разсердитъ... И пожалуй... Что жь дѣлать?“

Кромѣ посылки новой срочной телеграммы, Иванъ Ѳеогностовичъ ничего придумать не могъ. Послѣ многихъ размышленій, колебаній, исправленій, добавленій и урѣзокъ телеграмма въ окончательной редакціи была такова:

„Отъ васъ нѣтъ письма четвертый день. Я въ страш-

номъ безпокойствѣ. Что съ вами? Не больны ли вы? не случилось ли съ вами чего неожиданнаго? Отвѣчайте немедленно. Отвѣтъ оплоченъ."

Иванъ Ѳеогностовичъ самъ повезъ телеграмму на станцію. По дорогѣ онъ встрѣтилъ Агаѳона, который доложилъ, что письмо отправлено.

— Ладно. Спѣши же домой и живо укладывайся. Мы завтра утромъ ѣдемъ.

— Какъ же, Иванъ Ѳеогностовичъ! озадаченный внезапнымъ распоряженіемъ сказалъ Агаѳонъ.—Такъ что вы курца даже не кончили, и прачка...

Иванъ Ѳеогностовичъ обругалъ его дуракомъ и попросилъ не разсуждать. Агаѳонъ не обидѣлся на барина: онъ былъ очень радъ уѣхать съ „проклятаго алемана", какъ онъ ради благозвучія называлъ лиманъ, надоѣвшій ему хуже горькой рѣдьки, только-вотъ, какъ съ прачкой!..

Подлещиковъ, подавая депешу, справился, въ которомъ приблизительно часу, самое раннее, можно ждать отвѣта. Онъ весь день пробылъ въ городѣ, бродя по улицамъ и бульварамъ, глазѣя на что пришлось и стараясь не думать о томъ, что единственно его занимало. Онъ безпрерывно поглядывалъ на часы, дожидая минуты, когда можно будетъ справиться, не пришла ли отвѣтная телеграмма. Въ приблизительно назначенное время депеша не была получена; но вѣдь могла быть задержка въ пути, наконецъ, просто Фанни Юрьевна могла не быть дома, уѣхать съ утра на дачу. Пообѣдавъ довольно поздно, чтобъ, убить время и развлечь мысли, Подлещиковъ вздумалъ пойти въ театръ. Онъ даже не полюбопытсвовалъ взглянуть на афишу,—не все ли ему было равно, что бы тамъ ни играли. На

его бѣду, давали „Мученицу любви“. Въ первомъ же актѣ онъ вспомнилъ, какъ обаятельна была Фанни Юрьевна въ сценѣ свиданія, какъ мило-кокетливо выглядывала она изъ-подъ вѣера, и какъ еще милѣе и кокетливѣе, съ оттѣнкомъ какой-то простодушной плутоватости, глядѣла она потомъ на него изъ-за книги во время чтенія статьи „Русскаго добра“. Чудные, далекіе дни! „Невозвратимые“, какъ будто шепталось въ глубинѣ души, но почему-то ясно не выговаривалось.

Иванъ Ѳеогностовичъ не могъ вынести такой пытки. Онъ ушелъ, не дождавшись конца перваго акта, и сталъ бродить по приморскому бульвару; потомъ еще разъ заглянулъ на телеграфъ и въ самомъ понуромъ расположеніи духа отправился къ себѣ на лиманъ. Тамъ ему нашлось дѣло. Агаѳонъ, какъ ему показалось, уложилъ вещи прескверно, и онъ занялся ихъ перекладкой, къ великому неудовольствію служителя, разсчитывавшаго хорошенько выспаться передъ долгою дорогой. Наконецъ все было уложено, запаковано, завязано. Иванъ Ѳеогностовичъ по вчерашнему вздумалъ обмануть себя сномъ. Всю ночь ему грезилось, что Фанни Юрьевна выглядываетъ изъ-за книги; онъ безпрерывно просыпался и даже нѣсколько разъ вставалъ и отворялъ двери, увѣренный, что принесли телеграмму. Какъ щедро далъ бы онъ разсыльному на водку, доставь онъ ему не то-что отвѣтъ Фанни Юрьевны, а простое увѣдомленіе, что ее въ Москвѣ не оказалось. Поутру, увы! онъ уже не сомнѣвался что она никуда не выѣзжала.

Торопясь и стараясь разсѣять себя усиленною торопливостью, Иванъ Ѳеогностовичъ рано забрался на станцію, мрачный, недовольный, съ какими-то обрыв-

ками мыслей въ головѣ и съ однимъ желаніемъ: „поскорѣй, поскорѣй бы“.

Еще тоскливѣе стало ему въ дорогѣ. Все время въ головѣ чередовались два вопроса. „А что, если графъ откажется? тогда что?“ спрашивалъ онъ себя и слѣдомъ вспоминалъ, какъ билъ графа хлыстомъ во снѣ. „А она?“ безпокоилъ его, послѣ мгновеннаго, ничѣмъ не наполненнаго перерыва мысли, другой вопросъ, и онъ отвѣчалъ: „Ну, ее-то я, конечно, никогда не увижу“. И опять, послѣ новаго мгновеннаго промежутка, онъ освѣдомлялся у самого себя, что дѣлать, если графъ откажется. И такъ далѣе, до безконечности. Эта умственная жвачка изводила его; нѣтъ, это было хуже всякой жвачки: волъ или корова, наконецъ, пережуютъ же все, что накопится въ желудкѣ, отдохнутъ и примутся за свѣжую траву. А тутъ все одно и то же. Онъ отдыхалъ развѣ тогда, когда въ головѣ являлось сознаніе, что его мозги куда-то улетучились и въ черепѣ осталась одна труха. Въ теченіе полутора сутокъ онъ врядъ ли заснулъ на четверть часа кряду. Но, слава Богу, всему бываетъ конецъ! Вонъ и золотыя маковки блеснули на солнцѣ. Впрочемъ, въѣхавъ въ Москву, онъ и на извозчикѣ продолжалъ тянуть ту же умственную канитель. „А что, если графъ откажется?.. А она?“...

Андрей Николаевичъ со времени свиданія съ Глафирой Александровной весьма безпокоился о своемъ другѣ. Въ тотъ же день, возвращаясь домой, онъ догадался, что танцовщица, прося его представить ей Никандрова, имѣла коварную цѣль. И надо ему было знакомить! точно не могъ сказать, что не знаетъ его! Вотъ то-то же и есть: Русскій человѣкъ заднимъ умомъ крѣпокъ.

Онъ вѣдь съ-дуру повѣрилъ, что ей дѣйствительно требуется справиться у Натрыжкина о дѣлѣ. А она и въ Москву-то затѣмъ летала, чтобъ поскорѣй распустить сплетню.

Андрей Николаевичъ разказалъ обо всемъ женѣ. Къ его удивленію, Лидія Антоновна ни мало не обезпокоилась, а напротивъ, обрадовалась извѣстію.

— И слава Богу! сказала она.—Я очень рада, что такъ случилось... Онъ такой славный человѣкъ, а она бы въ конецъ его погубила. Конечно, досадно... иу, да что-жь! не велика важность...

— Такъ-то такъ, а все же... Признаюсь, Иванъ меня безпокоитъ. Пойдутъ сплетни, и еще Богъ-знаетъ, какъ повернется дѣло.

— Что-жь ты думаешь, что онъ вызоветъ графа на дуэль?

— Бываетъ и это.

— Полно!.. Изъ-за такой-то!..

— Дерутся и изъ-за худшихъ.

— Да ты только вообрази Иванъ Ѳеогностовича со шпагой или пистолетомъ въ рукахъ!..

— Оно, разумѣется, трудновато.

— Не только трудно, просто смѣшно.

Андрей Николаевичъ согласился съ женой, а все нѣтъ, нѣтъ да и обезпокоится на счетъ пріятеля. Чрезъ нѣсколько дней ему опять понадобилось ѣхать въ Москву. Онъ нарочно выѣхалъ пораньше и завернулъ въ Бронную. Подъѣзжая къ штабсъ-капитанскому дому, онъ издали увидѣлъ, что Агаѳонъ отворилъ дверь и выбросилъ соръ изъ корридора на улицу. Вотъ онъ постоялъ, поглядѣлъ и пошелъ назадъ; дверь затворилась и затѣмъ пріотворилась снова, и веснусчатое лицо вы-

глянуло въ щель на улицу. Андрей Николаевичъ обрадовался ему, какъ отцу родному.

— Пожалуйте, батюшка, Андрей Николаевичъ, завидѣвъ его, закричалъ Агаѳонъ,—давненько не бывали.

— Вы когда воротились?

— Вчера вечеромъ только. Слава тебѣ, Господи! Такъ что помереть было со скуки на этомъ проклятомъ „алеманѣ“.

И Агаѳонъ отворилъ передъ Андреемъ Николаевичемъ двери въ кабинетъ.

— А, Андрюша!

Безпалову показалось, будто пріятель посмотрѣлъ на него тѣмъ страннымъ взглядомъ, какъ въ послѣднее ихъ свиданіе, въ сборное воскресенье, у Фанни Юрьевны.

— Ну, здравствуй, здравствуй, голубчикъ! продолжалъ Подлещиковъ, подходя и нѣжно цѣлуясь съ Андреемъ Николаевичемъ.

— Ну, какъ ты? совсѣмъ поправился? молодцомъ теперь?

Иванъ Ѳеогностовичъ съ какимъ-то изумленіемъ оглядѣлъ себя. Онъ только теперь вспомнилъ, что съ самаго полученія письма отъ Никандрова и не думалъ о здоровьѣ.

— Да, да, совершенно... Видно отъ этихъ... что всѣхъ... Ты, конечно, слышалъ?

Андрей Николаевичъ молча склонилъ голову.

— Что жь? много сплетень? ты объ [illegible]

Андрей Николаевичъ разсказалъ о [illegible] съ Глафирою Александровной.

— Гм, выслушавъ разсказъ, [illegible] Ѳеогностовичъ, печ[illegible]

поръ онъ все еще питалъ хоть крошечную надежду, и вдругъ окончательно убѣдился.

— Вотъ и все, добавилъ Безпаловъ по окончаніи разказа.

— Эхъ, еслибы все! скрипнувъ зубами, прошипѣлъ Подлещиковъ, и вдругъ растревожился, точно вспомнивъ что-то такое, о чемъ забывать нельзя и не слѣдовало, но что на минуту непонятнымъ образомъ вылетѣло у него изъ головы. Лицо у него перекосилось и даже потемнѣло. Онъ подошелъ къ столу, взялъ съ него письмо и подалъ его Безпалову.

— Вотъ тебѣ продолженіе, сказалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

„Милостивый государь, читалъ Андрей Николаевичъ,—ваше странное и дерзкое посланіе я получилъ. Вамъ угодно требовать отъ меня за что-то удовлетворенія. Я не привыкъ давать никому отчета въ своихъ, лично меня касающихся, дѣлахъ и тѣмъ менѣе имѣю причинъ пускаться въ объясненія съ господиномъ, котораго мой повѣренный Натрыжкинъ билъ хлыстомъ въ его собственной конторѣ“.

Слѣдовала подпись и сбоку стояло: г. нотаріусу Подлещикову.

— Ахъ, онъ скотина! вскакивая на ноги, закричалъ Андрей Николаевичъ.—Ты гдѣ жь, въ Одессѣ получилъ это письмо?

— Только-что передъ твоимъ приходомъ.

— И что жь?

— Придется драться.

Иванъ Ѳеогностовичъ произнесъ эти слова самымъ спокойнымъ образомъ, точно только то и дѣлалъ, что дрался.

— Если я могу тебѣ пригодиться...

— Спасибо, крѣпко пожимая руку пріятелю, сказалъ Подлещиковъ. — Только надо двухъ. Кого бы еще?

— Самое лучшее Голубцова.

— Отлично. Ѣдемъ же къ нему.

Они отправились и по дорогѣ не перекинулись и словомъ. Андрей Николаевичъ какъ-то съ боку взглянулъ на пріятеля и ему вдругъ вспомнились слова жены, что представить себѣ Подлещикова со шпагой или съ пистолетомъ въ рукѣ не только трудно, но просто смѣшно. И художнику начала рисоваться комическая встрѣча двухъ противниковъ, не имѣющихъ понятія ни объ огнестрѣльномъ, ни о холодномъ оружіи.

XX.

Любовные счеты.

И тихо цѣлить въ блѣдный лобъ
На благородномъ разстояньи.

А. Пушкинъ.

Голубцовъ сидѣлъ за утреннимъ чаемъ, углубясь въ чтеніе книги, гдѣ ученый Нѣмецъ съ великою настойчивостью доказывалъ, что Шекспировскій Гамлетъ — переодѣтая женщина. Онъ и сердился на Нѣмца, и намѣревался швырнуть книгу въ уголъ, и въ то же время его занимала такая извращенность человѣческой мысли, и онъ продолжалъ слѣдить за нею. Вдругъ раздался стукъ въ двери. Голубцовъ очень обрадовался, что ему помѣшали; отбросивъ книгу въ сторону, онъ всталъ и отворилъ двери.

— А, Иванъ Петровичъ! вотъ не ждалъ-то.

— Извините, Ѳедоръ Ѳедорычъ... я не помѣшалъ вамъ? Вы, быть-можетъ, заняты? сказалъ Немыкинъ, щуря глаза, чтобы не наткнуться на что-нибудь и не принять коммодъ или шкапъ за хозяина.

— Ничуть; напротивъ, я очень радъ. Милости просимъ.

— Мнѣ, видите ли, необходимо повидаться съ профессоромъ Столпниковымъ... онъ тутъ же остановился, въ вашихъ же нумерахъ... человѣкъ учености необычайной... но онъ велѣлъ себя разбудить еще только черезъ полчаса. По счастію, я вспомнилъ про васъ. Мнѣ такъ давно хотѣлось побывать у васъ... Знаете, съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ редакторомъ, я превратился въ какое-то полуоффиціальное лицо или вѣрнѣе въ говорильную машину; все веду дѣловые переговоры, а по душѣ побесѣдовать рѣшительно некогда. Даже раззнакомился со многими.

— Садитесь, Иванъ Петровичъ, садитесь. Не прикажете ли чайку?

— Съ величайшимъ удовольствіемъ... А вы, извините, кажется что-то читали, какъ я вошелъ? спросилъ Немыкинъ, уже не разъ съ жадностью взглядывавшій на отложенную Голубцовымъ книгу.

— А, это!... сказалъ докторъ, взявъ книгу въ руки.

— Что это? Кажется, новое изслѣдованіе о Шекспирѣ? ужь съ загорѣвшимися глазами спросилъ Немыкинъ.

Голубцовъ сказалъ, что это за книга.

— Ахъ, это крайне интересно...

— Скорѣе курьезно.

— Да, именно курьезно. Вы совершенно правы, поспѣшно согласился редакторъ.—А все же любопытно

прочесть, что онъ придумалъ для доказательства своей довольно, впрочемъ, нелѣпой идеи.

Голубцовъ предложилъ ему взять книгу для прочтенія.

— Ахъ, очень вамъ благодаренъ; чрезвычайно вамъ обязанъ, проговорилъ Немыкинъ, крѣпко пожимая руку хозяину, точно тотъ сдѣлалъ ему не-вѣсть какое одолженіе.

— Ну-съ, Иванъ Петровичъ, давненько мы съ вами не видались: съ выхода первой книжки! Помните, въ Патрикѣевскомъ трактирѣ? еще пили за процвѣтаніе журнала?...

— Ахъ, лучше не вспоминайте!..

И редакторъ замахалъ руками.

— А что? хлопотъ много?

— Каторга, чистѣйшая каторга! Повѣрите ли, за всей этой суетой, я въ нынѣшнемъ посту не успѣлъ поговѣть, да и въ Успенскомъ врядъ ли удосужусь... А мнѣ, особенно въ мои лѣта, это тяжело; я съ юности привыкъ каждый годъ... Пожалуй, скрѣпя сердце, я и примирился бы съ этимъ, еслибъ!.. А то непріятностей просто не оберешься...

— Э!..

— Я старъ, знаете, разсѣянъ. Не могу же я за всѣмъ углядѣть!.. Вотъ я и поручилъ... впрочемъ, вы его знаете... и не Богъ-вѣсть какую головоломную работу: просматривать мелкія повѣсти и романы. Понимаете, все, что поважнѣе въ беллетристическомъ родѣ, я читаю самъ, но вѣдь для журнала, какъ для корабля, нужны и второстепенныя вещи, такъ-сказать литературный баластъ. И что же? Беру я на дняхъ мартовскую книжку, развертываю гдѣ пришлось: -ро-

манъ. „Дай-ка“, думаю, „провѣрю какой у него вкусъ“. И вообразите,—я началъ читать, разумѣется, гдѣ пришлось—читаю и глазамъ не вѣрю... Описывается обѣдня; вотъ отворяются царскія двери и выходитъ священникъ съ дарами. И что бы вы думали онъ возглашаетъ? *пріидите, ядите*... А, каково невѣжество? Скажите сами, позволитъ ли себѣ самый заурядный французскій писатель что-либо подобное, не говорю уже о нѣмецкихъ и англійскихъ? Ну, не вѣруешь, въ церкви не бываешь,—и не описывай. И *мой*, оказывается тоже не знаетъ, пропустилъ. И еще оправдывается: „Помилуйте, кто это нынче помнитъ! Ну, спуталъ, такъ спуталъ: не велика важность! Вотъ Втулкинъ на пятьдесятъ лѣтъ раньше уморилъ Вольтера, да и то прошло—не замѣтили!..“ Но это еще цвѣточки. Вслѣдъ затѣмъ онъ мнѣ удружилъ повѣстью изъ народнаго быта,—кто знаетъ? быть-можетъ съ умысломъ... Вообразите, парень и дѣвка слюбились и хотятъ обвѣнчаться, а денегъ нѣтъ и попъ корыстолюбивъ. Что-жь, парень беретъ топоръ, идетъ на зарѣ на большую дорогу и убиваетъ проѣзжаго купца. И все это дѣлается, какъ говорится, просто и естественно, безо всякихъ размышленій. И затѣмъ они вѣнчаются, ублаготворяютъ попа и живутъ счастливо. Тѣмъ и кончается... А? каково?вѣдь это ужь Геркулесовы столбы нравственнаго отупѣнія!

— А какъ называется повѣсть? любопытствовалъ Голубцовъ, подумавъ, что это будетъ почище переодѣтаго Гамлета.

— Не помню хорошенько. Но что-то въ родѣ „Богъ разсудилъ“. По счастью я замѣтилъ,—ужь истинно меня Господь спасъ,—до выхода книжки, велѣлъ выкинуть и замѣстилъ пробѣлъ другой статьей.

— Это все Пѣшкинъ усердствуетъ?

— Да, онъ... Но и другіе тоже хороши. Я вѣдь, вы знаете, московскій старожилъ; у меня здѣсь давнишнія литературныя связи; со многими писателями, со славянофилами и другими, я пріятель, даже другъ, или товарищъ по университету; конечно, я не держусь исключительныхъ и узкихъ взглядовъ и даю въ своемъ журналѣ мѣсто даже такимъ мнѣніямъ, съ которыми далеко не согласенъ, но мой девизъ: просторъ всякой самостоятельной мысли. И я объ одномъ ихъ прошу (редакторъ разумѣлъ сотрудниковъ): „ради Бога, развивайте сколько угодно свои идеи, только не задѣвайте такъ безцеремонно моихъ друзей“. Вѣдь это, скажите сами, даже не полемика, а чистая брань, если не коварное желаніе опозорить писателя, сдѣлать даже самое его имя ненавистнымъ въ кругу своихъ читателей. Нѣтъ! не внемлютъ, и мнѣ скоро никуда показаться нельзя будетъ... Скажите же мнѣ, Ѳедоръ Ѳедорычъ, неужто же нельзя обойтись безъ такой полемики?

— Должно-быть, съ сомнѣніемъ отвѣчалъ докторъ и, подумавъ, прибавилъ:—Впрочемъ... Ахъ! вы, вѣроятно, помните у Искандера разказъ о чиновникѣ, который самъ по себѣ не могъ составить самой простой бумаги, зато былъ великій мастеръ на канцелярскія отписки и могъ написать отвѣтъ на какое угодно отношеніе. „Не понимаю“, говаривалъ, „а отвѣтить могу“.

— Какже-съ, какже-съ!

— Повѣрьте, между писателями такихъ чиновниковъ больше, чѣмъ думаютъ. Своего-то они ничего сказать не могутъ, а на журнальныя отписки мастера.

— Да, да, конечно; это весьма остроумно, сказалъ редакторъ, хотя, судя по тону, вовсе не былъ доволенъ

такимъ отзывомъ о своихъ самостоятельно-мыслящихъ сотрудникахъ.—Но, знаете, когда приходится ежедневно, и притомъ безъ успѣха, толковать объ одномъ и томъ же, то, право, ужь не до смѣха! Вотъ, не дальше какъ вчера приноситъ Полосатовъ статью...

— Извините, пожалуйста, съ живостью прервалъ его Голубцовъ, а вы и Полосатова причисляете къ числу самостоятельно-мыслящихъ? Къ тѣмъ, чьей мысли слѣдуетъ давать просторъ?

Редакторъ, очевидно, никогда не думалъ объ этомъ обстоятельствѣ.

— То-есть, видите ли, по части идей онъ вообще довольно слабоватъ, но у него есть эрудиція, а этимъ пренебрегать не слѣдуетъ, особенно у насъ...

— Виноватъ, но мнѣ кажется, онъ принадлежитъ къ числу тѣхъ ученыхъ, какими у насъ, къ сожалѣнію, хоть прудъ пруди, особенно въ словесныхъ и политическихъ наукахъ. Вѣдь, по настоящему, у насъ развѣ русская исторія да химія развиваются самостоятельно: на нихъ такъ-сказать почіетъ благословеніе Ломоносова. А всѣ эти Полосатовы, или, выражаясь общѣе и фигуральнѣе, всѣ эти полосатыя версты нашего просвѣщенія, говоря откровенно, имѣютъ весьма поверхностное знакомство съ избранной ими для изученія наукой, не знаютъ ни ея духа, ни ея метода, ни ея исторіи. Выдержавъ установленное испытаніе, они для написанія магистерской диссертаціи набрасываются на новѣйшія изслѣдованія по своей спеціальности и незамѣтно для самихъ себя присасываются къ какой-нибудь западноевропейской, чаще нѣмецкой, школѣ и притомъ непремѣнно къ крайней, къ правой или лѣвой, куда вѣтеръ дуетъ. И понятно почему: вѣдь для по-

верхностнаго ума крайность привлекательнѣе, да кстати она и усваивается легче. Но тамъ, на Западѣ, гдѣ наука стоитъ на твердыхъ ногахъ, эти крайности являются въ видѣ какихъ-нибудь завитковъ, или арабесковъ на ея зданіи, а у насъ эти-то арабески и завитки, иногда весьма сомнительнаго достоинства, выдаются за самое зданіе. Вотъ почему я думаю, что еслибы три четверти этихъ полосатыхъ разглагольствованій не попадали въ печать, то большой бы бѣды не было. Они пишутъ именно то, чего для Россіи не требуется; толкуютъ именно о томъ, чего намъ не надо, и оттого-то наше просвѣщеніе черезчуръ отвлеченно, идетъ не прямо, а пробивается какъ-то бочкомъ и забираетъ то черезчуръ вправо, то слишкомъ влѣво.

— А! вотъ съ какой точки зрѣнія! глубокомысленно замѣтилъ редакторъ.—Впрочемъ, я съ вами вполнѣ согласенъ; я самъ великій поклонникъ самостоятельнаго развитія, и вѣрю, твердо вѣрю, и ежечасно повторяю съ Ломоносовымъ;

И станетъ выспренныхъ Платоновъ...

— „Что можетъ собственныхъ,“ поправилъ Голубцовъ.

— Такъ точно, ваша правда, согласился редакторъ и продолжалъ:

Что можетъ собственныхъ Платоновъ
И быстрыхъ разумомъ Невтоновъ
Россійская земля рождать;

но, знаете, до этого еще далеко, и вообще такая высокая точка зрѣнія не приложима къ журнальному дѣлу. Притомъ, въ журналистикѣ, какъ всюду, играютъ большую роль связи и даже непотизмъ. Иногда приходится отказать человѣку достойному и часто посред-

ственности находятъ вліятельныхъ покровителей и заступниковъ... Впрочемъ, это предметъ обширный, а я... я боюсь не захватить Столпникова... Если позволите, я заверну какъ нибудь въ другой разъ, и мы съ вами, любезнѣйшій Ѳедоръ Ѳедоровичъ, потолкуемъ объ этомъ основательно.

Голубцовъ милости просилъ.

— Ахъ, да! уже въ дверяхъ вспомнилъ Немыкинъ.— Намъ вѣдь съ вами надо окончить еще споръ объ Иммерманѣ. Помните, въ прошломъ году у Писемскаго, но намъ помѣшали?

По выходѣ Немыкина, Голубцовъ раздумался о немъ.

„Вѣдь вотъ человѣкъ онъ далеко не глупый“, разсуждалъ докторъ, — „положительно честный и даже энергическій—вѣдь добился же онъ, чего хотѣлъ, издаетъ журналъ!—а про добрыя намѣренія и говорить нечего: ихъ у него цѣлый ворохъ. А какой результатъ? Да тотъ, что онъ поставляетъ свои добрыя намѣренія въ адское преддверіе, въ видѣ новомодной мостовой изъ журнальныхъ книжекъ. Видно ихъ тамъ только не доставало!“

И докторъ вздохнулъ. Онъ душевно пожалѣлъ о скорбной участи добраго и честнаго Немыкина.

„И вдобавокъ, какъ видно, посредственность цѣлою ордой насѣла на него“, продолжалъ Голубцовъ.— Что-жь, нынче на ея улицѣ праздникъ. Прежде кричали: „самаго лучшаго подавай!“ а нынче только и слышишь: „лучшаго и не надо“. Зато, какъ мы всѣ теперь стараемся. Только и читаешь: „актеры старательно отнеслись къ своему дѣлу“, „авторъ старается доказать“, „такое-то вѣдомство старается провести то-то или того-то“... И всѣ мы чуть ли не стараемся выдумать

давно выдуманный порохъ, и, какъ совершенно вѣрно замѣтилъ Макрушинъ, всѣ перестарались, заключилъ Голубцовъ, обобщая уже извѣстное читателю частное замѣчаніе фельетониста.—Ахъ, лучше бы...

Но тутъ опять постучали въ дверь.

— Ну, мнѣ сегодня на гостей счастье, сказалъ докторъ, впуская Безпалова съ Подлещиковымъ,—только-что проводилъ Немыкина, а вотъ...

— Что? я говорилъ тебѣ, что это Немыкинъ, поспѣшно вставилъ Андрей Николаевичъ.

— Онъ, такъ онъ, съ неудовольствіемъ отвѣчалъ нотаріусъ, и, обращаясь къ Голубцову, желчно добавилъ:—и я увѣренъ, что забѣгалъ къ вамъ жаловаться, какъ его притѣсняютъ и издатель, и Пѣшкинъ, и сотрудники. Не будь ихъ, онъ въ каждую бы книжку по звѣздѣ съ неба сажалъ... Пустой человѣкъ!

— Что вы его такъ строго? сказалъ Голубцовъ, дивясь раздраженію Ивана Ѳеогностовича противъ такого безобиднаго человѣка, какъ Немыкинъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ былъ раздраженъ вовсе не противъ Немыкина, а просто, при встрѣчѣ съ нимъ, вспомнилъ и свои неудачныя хлопоты, и совмѣстное съ Фанни Юрьевной чтеніе статьи *Русскаго Добра*, и ея милое съ нимъ заигрываніе, и свою все преоборающую и ничего не преоборовшую рѣшимость. Ахъ, прошло все это, миновало, да еще пабѣдки по себѣ оставило!

— Помилуйте, продолжалъ нотаріусъ,—какъ же не пустой, когда дозволяетъ у себя въ журналѣ ругать не только близкихъ своихъ друзей, но и самого себя? Вѣдь это все равно, что растворить въ квартирѣ двери настежь да на подъѣздѣ лакея поставить, чтобъ кричалъ: „пожалуйте, дескать, кому угодно моего барина ругать“.

Нѣтъ, извините, а это какой-то юродивый. И помяните мое слово, чрезъ это свое юродство онъ и прославится. И всѣ станутъ ѣздить и прикладываться къ нему, какъ когда-то къ Иванъ Яковлевичу. Что̀ другое, а прославиться у насъ въ Москвѣ не мудрено: очень ужь мы любимъ все свое, московское, хоть бы и скверное.

Такъ-то вотъ и всѣ мы, подъ сердитую руку, размалевываемъ своихъ знакомыхъ и пріятелей, какъ Подлещиковъ Ивана Петровича, черезчуръ ужь черными красками. И бываетъ, что такой нежданно-вырвавшійся приговоръ крѣпко засядетъ въ головѣ не только у того, кто его высказалъ—Богъ ему судья!—но и случайныхъ слушателей. И пойдетъ рѣзкое словцо гулять по городу, а чуть лицо поизвѣстнѣе, то и въ газеты попадаетъ, а чего-добраго и въ исторію.

Голубцовъ хотѣлъ было возразить, но, боясь, что тѣмъ только усилитъ раздраженіе Ивана Ѳеогностовича, перемѣнилъ разговоръ, спросивъ его: давно ли онъ пріѣхалъ и совсѣмъ ли поправился. Иванъ Ѳеогностовичъ поблагодарилъ и, немного помолчавъ, прибавилъ:

— А я къ вамъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, съ покорною просьбой.

— Чѣмъ прикажете служить?

Иванъ Ѳеогностовичъ вкратцѣ разказалъ о своемъ столкновеніи съ графомъ.

— Если не ошибаюсь, вы желаете, чтобъ я былъ вашимъ секундантомъ? спросилъ докторъ.

— И смѣю надѣяться, что вы будете столь добры, что не откажетесь.

— Я къ вашимъ услугамъ.

— Въ такомъ случаѣ, я попрошу васъ прочесть это письмо и сказать: правъ ли я, желая вызвать графа.

— Дѣло серьезное, сказалъ докторъ, прочтя письмо графа.—Понятно, такихъ писемъ нельзя оставлять безнаказанно... Позвольте узнать, кого еще располагаете просить быть вашимъ свидѣтелемъ?

— Да вотъ Андрюша...

— Нѣтъ, нѣтъ, этого нельзя! вскричалъ докторъ.

— Это почему? спросилъ обидчиво художникъ.

— Да просто потому, что ты человѣкъ семейный, отвѣчалъ Голубцовъ и, обращаясь къ Подлещикову, добавилъ:—Мы никакъ не можемъ предвидѣть, чѣмъ кончится дуэль; во всякомъ случаѣ, даже при сравнительно благопріятномъ исходѣ, возможны и слѣдствіе, и судъ.

— Да, да; конечно, конечно. Извини, дружокъ, что я такъ необдуманно принялъ твое дружеское предложеніе... Случись что-нибудь, да я... я просто не смѣлъ бы показаться на глаза Лидіи Антоновнѣ.

Андрей Николаевичъ надулся, хотя и чувствовалъ, что доводы обоихъ пріятелей неопровержимы: очень ужь онъ расположился посмотрѣть на Ивана Ѳеогностовича со шпагой или съ пистолетомъ въ рукахъ.

— Въ такомъ случаѣ, кого же вы думаете просить? спросилъ Голубцовъ.

— Право, я нѣсколько затрудняюсь... Большинство моихъ близкихъ знакомыхъ люди до того солидные и мирные... что какъ-то даже совѣстно предлагать имъ...

— Не позволите ли помочь вамъ?

— Сдѣлайте одолженіе.

— Вы ничего не имѣете противъ Макрушина?

Иванъ Ѳеогностовичъ подумалъ.

— Нѣтъ, ничего, рѣшительно ничего, отвѣчалъ онъ. — Только согласится ли онъ: мы съ нимъ такъ мало знакомы.

— За его согласіе я ручаюсь. А его участіе, повѣрьте, будетъ очень полезно для насъ обоихъ.

— Чѣмъ же собственно?

— Я въ этихъ дѣлахъ человѣкъ мало опытный, и не думаю, чтобъ и вы обладали особенно большою практикой...

— Помилуйте, какая же практика! И не мечталъ даже никогда, а вотъ пришлось.

— А въ этихъ дѣлахъ необходимо знаніе разныхъ формальностей и умѣнье отстоять свой взглядъ. А Макрушину, я знаю, случалось не разъ бывать секундантомъ; онъ сумѣетъ все устроить и настоять на своемъ. Онъ и васъ не дастъ въ обиду, и не станетъ артачиться и создавать затрудненій, если представится возможность получить удовлетвореніе мирнымъ путемъ. А возьмись мы вдвоемъ съ Андреемъ Николаевичемъ за дѣло, пожалуй, того бы напутали...

— Ужь будто оно такое мудреное, все еще бурчливо отозвался художникъ, хотя намекъ на возможность мирнаго исхода нѣсколько охладилъ его воинственный задоръ.

— И говорить по-русски, кажется, дѣло не очень чтобы мудреное, отвѣчалъ докторъ,—а путалъ же Нѣмецъ даже послѣ тридцатипятилѣтней практики, а ужь какъ былъ увѣренъ, что изучилъ языкъ до тонкости!

— Какой такой Нѣмецъ?

— Тотъ самый, что носилъ пальто тринадцать лѣтъ и хвасталъ, что оно у него „долгоносое“. Онъ же разказывалъ, какая страшная холера была въ сорокъ девятомъ году. „Воображайтъ, у насъ въ деревня, на одинъ день, въ одна семья умираль: кузнецъ, кузница и кузнечикъ“.

Андрей Николаевичъ расхохотался, и забылъ свою недавнюю обиду. Даже Подлещиковъ улыбнулся.

— Однако, взглянувъ на часы, сказалъ Голубцовъ,—ѣдемте-ка, Иванъ Ѳеогностовичъ; не то, пожалуй, не захватимъ Макрушина дома.

* * *

На слѣдующее утро камеръ-юнкеръ Стоумовъ былъ не мало удивленъ, увидѣвъ въ своемъ кабинетѣ графа Петра Николаевича въ такой часъ, когда его сіятельство имѣлъ обыкновеніе покоиться мирнымъ сномъ.

— Ба! да это ты! Вотъ что значитъ попасть въ губернаторы: научился рано вставать, привѣтствовалъ онъ пріятеля.

— Да, да, торопливо отвѣчалъ графъ.

Вячеславъ Андреевичъ Стоумовъ былъ высокій и широкій человѣкъ, но необыкновенно плоскій, такъ что походилъ на щитъ, поставленный на распорки. Онъ обладалъ чрезвычайно густыми темно-рыжими волосами и соотвѣтствующими бакенбардами; и тѣ, и другіе были коротко подстрижены и слегка щетинились. Стоумовъ былъ богатъ, не служилъ, но числился на службѣ, находя почему-то такое время-провожденіе необходимымъ и надѣясь, что оно когда-нибудь ему пригодится. Онъ былъ любитель театра, женщинъ и серьезнаго, какъ самъ выражался, чтенія; онъ слылъ человѣкомъ съ умомъ, но голова у него была устроена престраннымъ образомъ. Казалось, будто въ ней обитаетъ какой-то юркій звѣрокъ, который по временамъ чувствуетъ потребность порѣзвиться и попрыгать. Точно бѣлка вскакивала порой въ его мыслительное колесо, и начинала вертѣть его съ большою старательностью. Тогда Стоумовъ сыпалъ каламбурами и парадоксами; но

вдругъ бѣлка выскакивала изъ колеса, оно переставало тарахтѣть, и Стоумовъ умолкалъ часто на полу-словѣ, впадая какъ бы въ отупѣніе.

Съ графомъ онъ былъ товарищемъ по училищу. Онъ зналъ вдоль-и-поперекъ своего пріятеля, но нельзя сказать, чтобы питалъ къ нему уваженіе: онъ просто любилъ его привычливо, съ дѣтскихъ лѣтъ. И когда, случалось, что общій знакомый или пріятель осуждалъ при Стоумовѣ какое-нибудь сомнительное дѣяніе графа, то онъ говорилъ: „Да, я знаю, онъ такой; но я привыкъ къ нему съ десяти лѣтъ“.

— Позволь, однако, продолжалъ Стоумовъ,—мы съ тобой такъ давно не видались... Что жь, твое назначеніе окончательно состоялось?

— Да, осталось исполнить нѣкоторыя формальности; впрочемъ, не относительно меня, а этого старичка, моего предмѣстника.

— Ахъ, да! говорятъ, онъ порядочно напроказилъ...

— Ужь и напроказилъ!... какъ ты, право, выражаешься... Онъ просто жилъ нѣсколько не по средствамъ, и поразстроилъ свои дѣла...

— То-есть бралъ взаймы на-право-и-на-лѣво со всѣхъ мирныхъ обывателей? Говорятъ, будто одному кондитеру онъ задолжалъ что-то около десяти или двѣнадцати тысячъ... 'Tis capital... Въ своемъ родѣ капиталъ, то-есть не для него, а для кондитера. Ну, и что жь?

— Видишь, его хлопотали въ Сенатъ, но это не удалось. Теперь хлопочатъ объ усиленной пенсіи, и сверхъ того объ арендѣ или какихъ-то тамъ оренбургскихъ земляхъ, которыя теперь раздаютъ охотно.

Стоумовъ расхохотался.

— Но я, право, не понимаю, что тутъ смѣшнаго! Старикъ служилъ весь свой вѣкъ, и нельзя жь пустить его по міру. Иначе мы уронимъ всякій престижъ власти...

— Успокойся, успокойся!... Я просто радуюсь, что ты выказываешь такую административную ретивость и такое ясное пониманіе вещей... А усиленная пенсія меня ни мало не безпокоитъ: вѣдь я не министръ финансовъ. И хотя и предполагается, будто у меня бѣлая кость, но все же я не Киргизъ, и оренбургскихъ земель мнѣ не жаль... Итакъ, ты... но, позволь! стало-быть и другой проектъ княгини также близокъ къ осуществленію?

— Да, да, нетерпѣливо отвѣчалъ графъ, досадуя, что благодаря болтливости пріятеля, никакъ не можетъ приступить къ изложенію дѣла, по которому пріѣхалъ.

— Mademoselle Бетрищевъ? если не ошибаюсь.

— Да, да, еще съ большимъ нетерпѣніемъ отвѣчалъ графъ.—Но я, право, не понимаю, съ чего ты нынче все иронизируешь... Конечно, она... elle a trente ans bien sonnées, и я себя на этотъ счетъ не обманываю, откровенно сообщилъ молоденькій графъ.—Mais elle est très distinguée. Et puis у ma tante свой проектъ на счетъ моего тамбовскаго имѣнія... Enfin, c'est un mariage de raison et d'interet.

— Не знаю, съ чего тебѣ показалось, будто я иронизирую. Напротивъ, я отъ души поздравляю тебя. Она умна, она будетъ держать тебя въ рукахъ и приберетъ къ рукамъ и твое тамбовское имѣніе. Наконецъ, она лучше твоего справится съ губернаторствомъ и я совѣтую тебѣ во всемъ ее слушаться. Je te le conseille en ami de collège, en ami à pendre et à dépendre.

Графъ не отвѣчалъ, но при совѣтѣ слушаться жены въ дѣлахъ, слегка выпятилъ нижнюю губу и повелъ лицомъ кверху, какъ бы желая сказать: „ну, это мы еще посмотримъ!“

— Итакъ, продолжалъ Стоумовъ,—стало быть, всѣ твои дѣла въ должномъ порядкѣ и ты, слегка пародируя стихъ Грибоѣдова, можешь не безъ гордости сказать:

Какъ видишь, братъ,
Я губернаторъ и женатъ,
И даже какъ будто и богатъ.

Послѣдній стихъ, кажется, хромаетъ, но поэзія, ты знаешь, не по моей части; моя спеціальность—серьезное чтеніе.

— Да, да, съ прежней торопливостью подтвердилъ графъ,—но, видишь ли, мы такъ давно не видались, и со мной случилось... словомъ, вышла маленькая непріятность.

— Э?

Графъ разказалъ о своей побѣдѣ надъ Фанни Юрьевной.

— Вотъ новости!.. А вѣдь я думалъ ты ухаживаешь за Шелиховой... Ты такъ просилъ меня познакомить...

— О, Глафира Александровна — прелестна... Но какъ-то случилось... И притомъ, она, знаешь, черезъчуръ ужъ русопетка... Я самъ люблю русскій духъ, но trop, il n'en faut... Странно, однако, что ты ничего не слышалъ о моихъ похожденіяхъ.

— Ничего. Впрочемъ, у меня была хандра и я двѣ недѣли высидѣлъ дома, и никого не принималъ. Кто знаетъ? можетъ быть ты уже сталъ притчей во языцѣхъ; быть можетъ о тебѣ ужь распѣваютъ куплеты

въ загородныхъ театрахъ и садахъ, и сидящіе въ клубахъ старцы покачиваютъ головой, разсматривая карикатуры на тебя...

— Ну, до карикатуръ, надѣюсь, еще не дошло! съ живостью прервалъ его видимо струхнувшій графъ.— Но вчера... я, право, не могу понять, откуда онъ могъ пронюхать. Enfin, вчера утромъ мнѣ докладываютъ, что меня желаетъ видѣть Перекщёновъ, или Недокщёновъ... enfin, un drôle de nom et très vilain... Я велѣлъ просить. Входитъ маленькій жирный человѣчекъ; enfin, une becasse bien bardée, и объяснилъ, что онъ entrepreneur Буинскаго театра и такъ какъ *дескать*—онъ это дескать повторялъ послѣ каждаго слова и надоѣлъ мнѣ порядочно—дескать ваше сіятельство et cætera, понимаешь?.. Я, разумѣется, отвѣчалъ, что театръ будетъ предметомъ моей особой заботливости, и обѣщалъ ему маленькую субсидію въ видѣ платы за губернаторскую ложу. Потомъ, онъ спросилъ, не имѣю ли я въ виду артистовъ, которыхъ слѣдуетъ пригласить. Назвалъ того, другаго и, наконецъ, спрашиваетъ: *не изволилъ ли* я видѣть Хотьминскую и какъ она мнѣ нравится?.. Не знаю почему, но мнѣ показалось, будто онъ догадывается... И откуда онъ могъ узнать!

— О, у нихъ на этотъ счетъ тонкое чутье!..

— Я спрашивалъ послѣ ее... Она говоритъ, что должно быть... знаешь, у нихъ есть актриса, я право не знаю ея фамиліи, но всѣ зовутъ ее Шурочкой...

— A! Бёрдышева... Mais c'est un fameux maquereau! съ смѣхомъ воскликнулъ Стоумовъ.

— Да? съ изумленіемъ спросилъ графъ, точно онъ ничего не зналъ о подобныхъ способностяхъ Александры Петровны.

— Что жь ты отвѣчалъ этому Перепедокщёнову?

— Но, что жь я могъ отвѣчать?.. Не могъ же я ее бранить, какъ актрису... Enfin, она одна умѣетъ быть дамой на сценѣ... Притомъ, я долженъ позаботиться о театрѣ. C'est ma tante qui me le conseille.

— Comment? c'est ta tante qui te conseille de faire expedier ta maitresse à Буинскъ pour égayer ta lune de miel! Понятно, въ видѣ товара съ наложеннымъ платежомъ.

— Ну, это ты сморозилъ! сказалъ графъ, любившій въ своемъ кругу щеголять чисто-русскими выраженіями, какъ въ другихъ мѣстахъ шикарилъ французскими.—Понимаешь, я всегда мечталъ быть директоромъ театра, и будь покоенъ je m'acquiterais à merveille de cette besogne. Но, разумѣется, самое лучшее показать сперва свои способности въ провинціи. Надо только сумѣть пустить въ газеты et cætera. И это-то и совѣтуетъ ma tante.

— Прекрасно... Что жь, этимъ и ограничивается та маленькая непріятность, о которой ты хотѣлъ разсказать?

— Нѣтъ... Я, понимаешь, нѣсколько увлекся... Впрочемъ, это въ связи...

— Въ связи съ тѣмъ, какъ и другіе узнали о твоей связи. Но кто же? ta tante, или твой нареченный тесть?

— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! съ непритворнымъ ужасомъ и подымая руки къ головѣ, какъ бы въ намѣреніи заткнуть уши, вскричалъ графъ.—Но, видишь ли, ты можетъ быть слышалъ, что за ней ухаживалъ Подлещиковъ...

— Гм-м, протянулъ Стоумовъ.—Но его, кажется, здѣсь нѣтъ?

— Да, онъ лѣчился гдѣ-то въ Одессѣ, на лиманѣ.

Стоумовъ снова испустилъ продолжительное мычаніе.

— И не понимаю, откуда до него дошли вѣсти? Только онъ написалъ мнѣ письмо, mais une lettre très grossière... И, вообрази, требовалъ отъ меня удовлетворенія.

— Письмо съ тобой?

— Да, вотъ возьми, прочти.

Стоумовъ прочелъ письмо.

— Что жь дальше? спросилъ онъ.

— Ну, разумѣется, я ему *отвѣтилъ*!

— Что же именно?

— Enfin, что я не обязанъ давать ему никакого отчета, что ему нѣтъ дѣла до моихъ отношеній къ кому бы то ни было и чтобъ онъ оставилъ меня въ покоѣ.

— Ты не помнишь точныхъ выраженій?

— Право... Понимаешь, я былъ страшно взбѣшенъ... Быть-можетъ, у меня вырвалось два, три рѣзкія выраженія.

— Ты не помнишь, какія именно?

— Ахъ, mon cher! я повторяю, что былъ взбѣшенъ... и гдѣ же все помнить!

Стоумовъ подумалъ, что Ворворищевъ говоритъ не всю правду.

— И при томъ онъ не имѣлъ никакого права требовать удовлетворенія!..

— Будто бы?

— Но, вообрази... Mais cela est du dernier ridicule... Elle me l'a juré. И графъ прихихикнулъ.—Онъ ничего отъ нея не получилъ... Но, понимаешь, ни-ни-ничего... Même pas ça.

Тутъ графъ какъ-то ловко прищелкнулъ ногтемъ о зубы,—жестъ, которымъ Фанни Юрьевна сопровождала свой разказъ о томъ же предметѣ и перенятый ею у какой-то французской каскадницы.

— Тѣмъ все и кончилось?

— Вообрази, вчера отъ его имени ко мнѣ явилось двое господъ; словомъ, формальный вызовъ.

— И что же?

— Ну, я поѣхалъ посовѣтоваться съ тобой.

— Кто же эти господа?

— А вотъ они оставили мнѣ свой адресъ.

И графъ передалъ Стоумову карточки Макрушина и Голубцова.

— Макрушина я знаю, сказалъ Вячеславъ Андреевичъ,—мы съ нимъ каждый бенефисъ въ Маломъ театрѣ куримъ въ антрактахъ, въ коморкѣ у кассира. Онъ вполнѣ порядочный человѣкъ, и съ нимъ можно сговориться.

— Вотъ и прекрасно! Я очень радъ.

— Что жь прикажешь отвѣчать имъ?

— Я думаю, можно просто отказать. Вѣдь онъ не важная птица, этотъ Подлещиковъ! Enfin, il n'est qu'un notaire.

— Ахъ, милый мой Петръ Николаевичъ, сколько разъ я просилъ тебя не думать по-французски, когда рѣчь идетъ о русской дѣйствительности. Нотаріусъ вовсе не то, что notaire. Нотаріусомъ у насъ можетъ быть и дворянинъ. И Подлещиковъ такой же дворянинъ, какъ и мы съ тобой.

— Ну, ужь и такой же!.. Noblesse de robe!.. Я увѣренъ, что его отецъ, или дѣдъ былъ просто изъ подъячихъ.

— Хотя бы и такъ. Притомъ, у насъ въ Россіи на все, даже на дуэль, есть особый образовательный цензъ, и ты не вправѣ отказать ему такъ, просто, какъ ты выражаешься. Нечего морщиться. Я знаю, что образовательный цензъ многимъ сталъ поперекъ дороги, и они рады были бы какъ-нибудь обойтись безо всѣхъ этихъ экзаменовъ, аттестатовъ и прочихъ формальностей. Но это, mon cher, отъ того, что мы еще живо помнимъ время, когда

Бывало, храбрый генералъ
Служилъ и грамоты не зналъ.

Какъ бы то ни было, а съ образовательнымъ цензомъ приходится считаться.

— Но я не вижу никакого затрудненія отказать прямо... Нельзя же мнѣ драться теперь, въ моемъ положеніи.

— Жениха и губернатора par dessus le marché? Конечно, не ловко. Но передавать твоего *простаго* отказа я не возьмусь. Проси кого-нибудь другого.

Графъ нѣсколько смутился.

— Право же я не предвижу никакихъ опасныхъ послѣдствій. Во-первыхъ, онъ трусъ...

— Трусъ? Non, tu ne le fera pas cacher dans un trou de souris, et je ne sais quelle espérance te sourit...

— Но мнѣ говорилъ Натрыжкинъ...

— О! если ты вѣришь Натрыжкину, то тебѣ остается только повѣрить актеру Волвянкину, который хвасталъ, что разъ, послѣ спектакля, его отколотили юнкера, единственно по той причинѣ, что увлеклись его игрой, а онъ въ этотъ вечеръ игралъ подлеца. Vas, mon cher, tu es innocent comme une jeune fille de treize ans!..

— Но скажи, въ чемъ же опасность?

— Mais raisonons: ты откажешь ему,—что жь, по твоему, его самолюбіе такъ и успокоится твоимъ презрительнымъ отказомъ? Ничуть. Я не стану тебя стращать, что у васъ дѣло дойдетъ до взаимнаго оскорбленія дѣйствіемъ. Положимъ, что вы не встрѣтитесь, ему не удастся... Но,—но станетъ же онъ искать средства, какъ бы дать тебѣ почувствовать, что его нельзя оскорблять безнаказанно... И... и... Наконецъ, ему посовѣтуютъ, или онъ самъ догадается представить твое письмо въ судъ, потому-что, извини, я подозрѣваю, что ты позволилъ себѣ относительно его какую-нибудь чрезмѣрную рѣзкость. Припомни-ка.

Но графу не хотѣлось припоминать, и онъ съ живостью отвѣчалъ:

— Судъ?.. О, этого я не боюсь... Въ моемъ положеніи дѣло легко потушить...

— Потушить?.. Ne touche pas cette corde-là... Не то разыграется такой тушъ... Объ этомъ протрубятъ... Et cela produira un grand trouble dans ta famille... И ты вылетишь въ трубу... Словомъ, твоя звѣзда погаснетъ или, лучше сказать, померкнетъ. Merke das. Да-съ. И все исполнится отъ *а* до *зетъ*. Mark that.

— Позволь! позволь! Я ничего не понимаю. Ты совершенная таратайка, какъ, помнишь, звалъ тебя въ училищѣ Веселитскій.

— Но что-жь тутъ непонятнаго? Разсуди. Вѣдь для того, чтобъ потушить, выражаясь метафорически, необходимъ пожарный, такъ ли? Ну-съ, этотъ высокопоставленный, хотя съ роду не бывавшій на каланчѣ, пожарный попроситъ къ себѣ Подлещикова. Что-жь ты полагаешь, онъ не покажетъ ему твоего письма? или

промолчитъ и не скажетъ ему ни слова? А сказать онъ можетъ очень, очень многое.

— Напримѣръ?

— Вотъ видишь, ты сейчасъ увѣрялъ меня, будто Подлещиковъ не имѣетъ права требовать отъ тебя удовлетворенія, потому что не получилъ отъ нея ничего, но за то она отъ него получила и, кажется, порядочно. Не такъ ли?

— Право, я не обращалъ на это особаго вниманія, но кажется... По крайней мѣрѣ, у нея теперь отдѣльная квартира, экипажъ...

— Вотъ видишь!...

— Но, право же, я въ это не вникалъ, съ полнымъ чистосердечіемъ сказалъ графъ.—Ты знаешь мою теорію любви: надо уловить психическій моментъ, какъ говоритъ Бисмаркъ...

— Ты не вникалъ, но другіе вникнутъ; ты уловлялъ, и тебя изловятъ... Въ письмѣ Подлещикова прямо сказано, что ты катался на его лошадяхъ... Ты понимаешь, чѣмъ это пахнетъ? Какую некрасивую роль могутъ тебѣ приписать? Словомъ, изъ твоихъ отношеній къ ней могутъ сочинить самую гнусную сплетню. И если это дойдетъ до кого слѣдуетъ, то на тебя посмотрятъ весьма косо...

— Ахъ, не нравится, не нравится мнѣ, что ты этотъ отвратительный аргументъ приберегъ къ концу! съ волненіемъ вскричалъ графъ. — Впрочемъ, съ живостью добавилъ онъ,—кто же повѣритъ, чтобъ *я*?..

— Въ томъ-то и бѣда, что *никто*, и въ то же время *всѣ*. Ты увидишь, какъ всѣ обрадуются возможности позлословить. А, главное, помни: у тебя есть соперники по обѣимъ статьямъ, на которыя ты раз-

считываешь, и они, конечно, не задумаются подложить тебѣ, какъ говорится, всесовершеннѣйшую свинью. Будетъ сказано: „не благовидно“, и для тебя каррьера будетъ закрыта навсегда.

— Но, право... Mais, mon cher... Но, по твоему, я въ безвыходномъ положеніи? тревожно и смущенно пролепеталъ графъ.

— Въ очень скверномъ, и даже опасномъ.—да; но выходъ еще есть.

— Но, что жь ты мнѣ прикажешь, драться съ нимъ? Но въ моемъ положеніи вѣдь и это также не благовидно, какъ ты выражаешься!.. Enfin, что жь мнѣ дѣлать?

— Потушить, или вѣрнѣе не дать разгорѣться скандалу, пока это возможно; но только не по предлагаемому тобою способу.

— Но какже?

— Вступить въ переговоры съ секундантами Подлещикова.

— И ты думаешь, что все можетъ кончиться... Графъ сдѣлалъ паузу—прилично?

— Постараюсь. Многое будетъ зависѣть отъ тона твоего письма. Я все боюсь, что оно гораздо рѣзче, чѣмъ ты сказалъ. Не припомнишь ли выраженій? Постарайся. Это очень важно.

Графъ поднялъ руку ко лбу и, повидимому, старался припомнить. Но запамятовалъ ли онъ дѣйствительно, или боялся, что Стоумовъ отступится отъ него, если узнаетъ, что въ письмѣ намекалось на Натрыжкина, или ему стыдно было сознаться въ своей непокрытой грубости предъ человѣкомъ съ образовательнымъ цензомъ,—вѣрнѣе, что всѣ эти соображенія, но

быстро, быстро и притомъ въ спутанномъ и слитномъ видѣ, промелькнули въ его головѣ,—и онъ отвѣчалъ:

— Вообрази, рѣшительно не помню... Но смыслъ, будь покоенъ, именно тотъ, какъ я сказалъ тебѣ... Впрочемъ, за рѣзкость я не ручаюсь... можетъ быть... я былъ такъ взбѣшенъ. Enfin, я даю тебѣ carte blanche и увѣренъ, что ты поможешь мнѣ выпутаться изъ этой пошлой исторіи безъ особаго униженія. Словомъ,

Fais ce que tu voudras, je m'abandonne à toi,
Dans le trouble où je suis, je ne puis rien pour moi.

Приведя классическую цитату, графъ повеселѣлъ: въ самомъ дѣлѣ, не онъ же одинъ очутился въ затруднительномъ положеніи, попалась же въ него въ свое время и царица Федра, а ужь на что была тверда по части bienséance! Повторивъ еще разъ свою просьбу, графъ хотѣлъ было проститься съ пріятелемъ, но тотъ удержалъ его.

— Но кого жь ты просилъ еще быть твоимъ секундантомъ?

— Ахъ, я объ этомъ и не думалъ! Я, знаешь, бросился прямо къ тебѣ, и надѣялся, что все обойдется такъ. Будь добръ, добавилъ графъ, взглянувъ на часы,—возьми и это на себя. Видишь ли, сегодня у ma tante завтракаетъ Бетрищевъ, et nous débatterons la grande question de le dôt.

Стоумовъ поморщился, слегка почесалъ ногтемъ мевинца въ затылкѣ, и согласился.

„А вѣдь онъ не понимаетъ, рѣшительно не понимаетъ, что натворилъ“, разсуждалъ онъ по уходѣ Ворворищева. „И мнѣ очень нравится, что онъ вообразилъ себя прирожденнымъ директоромъ театра, какъ будто не знаетъ, что я же пустилъ этотъ слухъ, что-

бы познакомить его съ Шелеховой, которая почему-то упрямилась... Впрочемъ, пресчастливый человѣкъ!.. Рѣшительно не придумаю, съ кѣмъ бы, или съ чѣмъ его сравнить. Развѣ... Да, именно бываютъ такіе термометры, что вѣрно показываютъ только между извѣстными градусами, а чуть повыше, врутъ немилосердно. Такъ и мой милѣйшій графъ Петръ Николаевичъ: онъ никогда не подымается выше точки умственнаго и нравственнаго замерзанія, и не спускается ниже точки такого же таянія... что, впрочемъ, одно и то же. Но надо, надо выручить его во что бы то ни стало: все же онъ мой товарищъ".

XXI.

Финалъ.

Что кончилась начатая повѣсть,
тому я самъ радъ.
Екатерина II.

Стоумовъ тотчасъ же отправился къ Макрушину и вмѣстѣ съ нимъ къ Голубцову. Они сговорились, что съѣдутся въ половинѣ девятаго у Стоумова, какъ въ самой удобной для сокровенныхъ переговоровъ квартирѣ. Предстояло найти втораго секунданта. Стоумовъ извинился предъ Макрушинымъ и Голубцовымъ, что явился одинъ, сплетя маленькую исторію; но въ сущности былъ въ затруднительномъ положеніи. Кого пригласить? Москва пуста, всѣ разъѣхались; изъ оставшихся того неудобно потому-то, этого по другой причинѣ. Наконецъ, онъ намѣтилъ двухъ, трехъ общихъ пріятелей, и началъ объѣзжать ихъ. Но ему нынче не везло. Одного онъ не засталъ дома; другой уѣхалъ ку-

да-то за городъ на три дня, третьему сегодня рѣшительно было нельзя: онъ былъ шафером на свадьбѣ. Былъ уже пятый часъ, а искомый секундантъ не давался въ руки. По счастью, Стоумовъ вспомнилъ, что нынче среда и князь Русланбековъ просилъ его по средамъ обѣдать къ себѣ на дачу въ Сокольники. Чего же лучше? У князя было пять дочерей-невѣстъ, и была надежда изловить подходящаго молодаго человѣка. Какъ на зло, въ этотъ день у князя обѣдалъ одинъ Полосатовъ; Стоумовъ подумалъ, что, faute de mieux, можно воспользоваться и будущимъ профессоромъ.

Читателю извѣстно, что зимой Полосатовъ читалъ лекціи для княженъ и ихъ знакомыхъ дѣвицъ. Между княжнами средняя была рыжеватенькая и веснусчатая дурнушка. Не надѣясь на то, чтобъ косметическія средства возвысили ея красоту, она благоразумно вознамѣрилась украсить свой умъ цвѣтами краснорѣчія и плодами наукъ. Она была самою усердною слушательницей будущаго профессора, аккуратно записывала его лекціи и перебѣливъ ихъ, просила его просмотрѣть свой трудъ. Полосатовъ, не ожидавшій такого вниманія, остался весьма доволенъ прилежною княжной; отсюда возникло между ними нѣкоторое сближеніе. Какъ старшія, такъ и младшія сестры усердно подшучивали надъ ученостью средней и непритворно удивлялись, что она понимаетъ даже Полосатова, который казался имъ очень мудренымъ и не интереснымъ. Но вѣдь умъ возбуждаетъ не меньшую зависть, чѣмъ красота.

Окрыленный первымъ успѣхомъ, Полосатовъ сталъ подумывать о возможности породниться съ княземъ конечно не сейчасъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ, когда старшія и даже, пожалуй, одна изъ младшихъ выйдутъ замужъ, а средняя окончательно созрѣетъ, разумѣется

въ умственномъ отношеніи; эстетическій элементъ въ женщинѣ, какъ и въ художественныхъ произведеніяхъ, былъ для Полосатова вещью второстепенной.

Вопреки распространенному мнѣнію, будто у насъ слово расходится съ дѣломъ, мечты будущаго профессора строго согласовались съ его теоріей общественнаго успѣха. Конечно, онъ былъ неколебимо убѣжденъ, что и самъ по себѣ добьется успѣха: не даромъ же онъ полагалъ себя однимъ изъ блестящихъ вмѣстителей самыхъ свѣтлыхъ, самыхъ честныхъ и самыхъ разумныхъ надеждъ, чаяній и идей современнаго интеллигентнаго большинства; но его успѣхъ былъ ограниченъ ученою карьерой. Полосатовъ былъ изъ разночинцевъ, а породнясь съ княземъ, онъ пріобрѣталъ связи. Связи же обезпечивали болѣе обширный общественный успѣхъ, болѣе широкую сферу дѣятельности.

При первыхъ словахъ Стоумова, Полосатовъ только удивился, какъ камеръ-юнкеру пришло въ голову привлечь его, мирнаго жреца науки, къ такому кроволитному дѣлу, какъ дуэль. Но когда, при дальнѣйшихъ рѣчахъ Вячеслава Андреевича выяснилось, что главнѣйшая обязанность секундантовъ состоитъ въ предупрежденіи столкновенія и была подана надежда на возможность таковаго, то Полосатовъ взглянулъ на дѣло иначе. Очевидно, участіе въ безкровной дуэли не могло повредить его ученой карьерѣ. Быть же секундантомъ графа казалось ему весьма заманчивымъ; чрезъ это онъ сдѣлается членомъ одного съ нимъ общества, на него станутъ смотрѣть, какъ на своего, и притомъ такое обстоятельство счастливо подѣйствуетъ на романтическое воображеніе средней княжны. Двойной, даже тройной успѣхъ. Словомъ, Полосатовъ доселѣ былъ

такъ-сказать простою бумагой, а дуэль, какъ наклеенныя марки, была способна придать ему извѣстное, хотя бы восьмидесятикопеечное достоинство. И онъ согласился.

Голубцовъ, явясь въ назначенный часъ къ Вячеславу Андреевичу и увидѣвъ Полосатова, невольно подумалъ, что вотъ вѣдь со дня трактирнаго симпосіона онъ и не вспоминалъ о будущемъ профессорѣ, а вчера, какъ нарочно, разговорился о немъ съ Немыкинымъ. Сегодня же пришлось съ нимъ не просто встрѣтиться, а дѣлать вмѣстѣ немаловажное дѣло. И докторъ подумалъ еще, какъ хорошо, что Безпаловъ не попалъ въ секунданты. У художника, конечно, сохранился зубъ противъ теоріи общественнаго успѣха, и онъ былъ бы придирчивъ къ Полосатову и Богъ знаетъ какое бы вліяніе это имѣло на исходъ дуэли. Затѣмъ докторъ размечтался о томъ, что подобное сплетеніе мелочныхъ случайностей, вѣроятно, слѣдуетъ какому-нибудь неизвѣстному намъ закону, ибо вообще случайность въ природѣ врядъ ли существуетъ: она не болѣе, какъ наше личное ощущеніе.

Пока докторъ предавался философствованію, подошелъ Макрушинъ. Хозяинъ, поздоровавшись съ нимъ, извинился и пошелъ распорядиться, чтобъ никого не принимали и ничѣмъ бы не мѣшали совѣщанію. Макрушинъ отвелъ Голубцова къ окну.

— А я радъ, что Стоумовъ прихватилъ эту полосатую версту, сказалъ онъ, случайно давая будущей звѣздѣ то же прозвище, которымъ вчера окрестилъ ее Голубцовъ.—У Стоумова умъ необыкновенно вертлявый, никакъ его не поймаешь. Онъ спутаетъ и собьетъ васъ съ толку, если раньше самъ не собьется и не

спутается. А при помощи этого полосатаго бревна намъ авось-либо и удастся благополучно перебраться чрезъ бурный потокъ камеръ-юнкерскихъ рѣчей.

Хозяинъ воротился и попросилъ всѣхъ садиться. Засѣданіе открылось. Стоумовъ произнесъ блестящую рѣчь. Онъ началъ съ того, что главнѣйшую и священнѣйшую обязанность секундантовъ полагаетъ въ томъ, чтобъ по возможности воспрепятствовать поединку и покончить дѣло миромъ къ обоюдному удовлетворенію самолюбія обѣихъ сторонъ.

Впрочемъ, онъ вовсе не принципіальный противникъ дуэли; бываютъ обязательства, когда она неизбѣжна, но онъ желалъ бы, чтобъ въ каждомъ данномъ случаѣ было основательно взвѣшено, насколько именно не устранимъ поединокъ. Не всегда, понятно, можно полагаться на судъ... Произнеся это роковое слово, Стоумовъ сталъ сильно забирать въ сторону. Надо сказать, что судъ былъ однимъ изъ его коньковъ; онъ любитъ потрунить надъ человѣческою справедливостью, надъ усиліями, при помощи строгихъ и точныхъ формальностей, достигнуть правосудія.

И вотъ, заслышавъ слово „судъ“, бѣлка мгновенно вскочила въ мыслительное колесо камеръ-юнкера и принялась тарахтѣть самымъ усерднымъ образомъ. Въ ушахъ у слушателей только звенѣло. Наконецъ, ради вящаго осмѣянія человѣческаго правосудія, Стоумовъ намекнулъ на событіе, случившееся восемнадцать вѣковъ назадъ въ Палестинѣ. Тутъ бѣлка выскочила, и Стоумовъ умолкъ, повергнувъ всѣхъ, въ томъ числѣ и самого себя, въ крайнее изумленіе.

Полосатову, какъ новичку, подумалось, будто всякій секундантъ въ свою очередь обязанъ произнести

рѣчь и выразить въ ней свой взглядъ на дуэль, а потому, едва умолкъ Стоумовъ, какъ будущій профессоръ пустился въ свойственное ему тянучее краснорѣчіе.

Онъ началъ съ отверженія самаго принципа дуэли, пользуясь при этомъ самыми авторитетными источниками, начиная съ Шопенгауера. Но онъ не могъ удержаться, чтобъ не коснуться своей завѣтной теоріи общественнаго успѣха, а въ чемъ другомъ, а ужь въ успѣхѣ дуэли отказать нельзя! И ораторъ почувствовалъ, что вступилъ на зыбкую почву, и что ему будетъ трудненько свести концы съ концами; чего добраго, даже внимательная средняя княжна не поняла бы, что̀ именно онъ хотѣлъ сказать.

По счастью, рѣчь у Полосатова была не только тянучая, но и прерывистая, и Голубцовъ, воспользовавшись одной изъ болѣе продолжительныхъ паузъ, предложилъ перейти отъ общихъ разсужденій къ разбору дѣла, ради котораго они собрались. Стоумовъ тотчасъ примкнулъ къ нему.

— Съ чего же мы начнемъ? спросилъ онъ.

— Съ чтенія письма г. Подлещикова къ графу, какъ съ ближайшаго повода къ столкновенію, сказалъ Макрушинъ.

Стоумовъ согласился.

— Я думаю, господа, сказалъ онъ по прочтеніи письма,—что нашему разсмотрѣнію не подлежатъ отношенія обѣихъ сторонъ къ упоминаемой въ письмѣ особѣ. Они могли быть такія, или иныя, все равно; дѣло въ томъ, что стороны обмѣнялись рѣзкими выраженіями, а по какому поводу, для насъ безотносительно; намъ слѣдуетъ просто рѣшить, заключаютъ ли въ себѣ эти выраженія нѣчто оскорбительное для чести и тре-

бующее удовлетворенія, или же нѣтъ. Вы согласны? обратился онъ къ Макрушину.

— Разумѣется, тѣмъ болѣе, что у насъ не имѣется достаточныхъ данныхъ для оцѣнки упомянутыхъ вами отношеній. Мы можемъ только предполагать, и, по моему, ошибка г. Подлещикова состоитъ въ томъ, что онъ, какъ человѣкъ искренній и прямодушный, не принялъ въ разсчетъ свободы нравовъ de ces dames, отвѣчалъ Макрушинъ.

— Конечно, конечно, весьма возможно, что и такъ, какъ вы говорите, сказалъ Стоумовъ. — Но все это, какъ вы сами выразились, одни предположенія; фактъ же въ томъ, что г. Педлещиковъ позволилъ себѣ назвать нѣкоторый поступокъ графа безчестнымъ. И даже сильнѣе; именно, онъ выразился... Позвольте... И Стоумовъ прочелъ:—„Вы просто обманули ее“... И ниже: „ни одинъ порядочный человѣкъ не назоветъ вашего поступка честнымъ“... Согласитесь, что г. Подлещиковъ не имѣлъ никакого основанія произносить столь рѣзкое сужденіе о поступкѣ графа.

— Имѣлъ или нѣтъ г. Подлещиковъ основаніе, съ живостью сказалъ Голубцовъ, — мы не знаемъ; но въ виду того, что поступокъ графа касается особы, объ отношеніяхъ которой къ обѣимъ сторонамъ мы согласились не входить въ сужденіе, я этотъ вопросъ также считаю не подлежащимъ разсмотрѣнію.

— Виноватъ, я выразился не вполнѣ точно, сказалъ Вячеславъ Андреевичъ, — но я собственно имѣлъ въ виду то обстоятельство, что самъ г. Подлещиковъ заявляетъ въ письмѣ, что судитъ единственно по дошедшимъ до него слухамъ, которые, согласитесь, могли быть и не совсѣмъ вѣрными, даже прямо вздорными.

— Именно, именно, думая поддержать своего товарища, отозвался Полосатовъ. — Я прекрасно помню, что въ письмѣ г. Подлещикова прямо говорится объ этомъ.

Стоумовъ, какъ конечно уже замѣтилъ проницательный читатель, пуще огня боялся, чтобъ какъ-нибудь не зашла рѣчь о томъ, что графъ пользовался нѣкоторыми удобствами, предоставленными Фанни Юрьевнѣ любезностью Ивана Ѳеогностовича. Взглянувъ въ письмо, онъ увидѣлъ, что ссылка на вѣсти изъ Москвы какъ-разъ предшествуетъ намеку на этотъ некрасивый пунктъ. Стоумовъ крѣпко сжалъ губы.

— Позвольте, продолжалъ услужливый товарищъ,— я сейчасъ найду это мѣсто... Мнѣ помнится, это сказано въ самомъ началѣ...

— Виноватъ, вставилъ Макрушинъ, — но вѣдь мы не оспариваемъ, что письмо г. Подлещикова написано на основаніи извѣстій, полученныхъ имъ изъ Москвы.

— Да, да, съ живостью подхватилъ Стоумовъ.—Г. Голубцовъ собственно оговорилъ мое неловкое выраженіе, и я взялъ его уже назадъ.

— Что же вы собственно хотѣли сказать? спросилъ Макрушинъ.

— Я хотѣлъ обратить ваше вниманіе, что выраженія „вы ее обманули“ и, ниже, „порядочный человѣкъ не назоветъ вашего поступка честнымъ“ не могутъ быть не признаны оскорбительными.

— Конечно, подтвердилъ Макрушинъ.

— И вы, быть можетъ, согласитесь и съ тѣмъ, что графъ имѣлъ право требовать отъ г. Подлещикова, чтобъ онъ взялъ ихъ назадъ.

Голубцовъ предчувствовалъ, что Стоумовъ намѣре-

вается свести все дѣло къ взаимному оскорбленію и взаимному извиненію, и съ жадностью ожидалъ отвѣта Макрушина.

— Разумѣется, совершенно спокойно отвѣчалъ тотъ.

— А вы? обратился Стоумовъ къ Голубцову.

Голубцовъ подумалъ, что Макрушинъ слишкомъ поспѣшилъ отвѣтомъ; у него самого не было возраженія на готовѣ, но онъ довѣряя опытности Макрушина отвѣчалъ утвердительно, хотя и нерѣшительнымъ тономъ.

— Вотъ одинъ пунктъ мы и покончили, весело сказалъ Стоумовъ.—Надѣюсь, что и остальные не возбудятъ у насъ особыхъ споровъ. Что же теперь на очереди?

— А вотъ не угодно ли прочесть отвѣтъ графа, подавая письмо, сказалъ Макрушинъ.

Стоумовъ приступилъ къ чтенію. Прочтенное вслухъ, письмо графа поразило своею грубостью даже Макрушина съ Голубцовымъ, уже знавшихъ его содержаніе. Голосъ Стоумова невольно дрогнулъ въ концѣ. Полосатовъ былъ не въ силахъ скрыть своего волненія.

— Это ужь слишкомъ! вскричалъ онъ, но, уловивъ брошенный на него сердитый взглядъ Стоумова, добавилъ:—То-есть, я хотѣлъ сказать, что это нѣсколько рѣзко.

— Я не скрою, что даже черезчуръ рѣзко, сказалъ Стоумовъ, — и не стану, въ свою очередь, оспаривать, что г. Подлещиковъ, получивъ это письмо, долженъ былъ почувствовать себя въ высшей степени оскорбленнымъ. Итакъ, господа, продолжалъ онъ послѣ паузы, сопровождавшейся глубокимъ вздохомъ, точно онъ только-что одолѣлъ трудное препятствіе, — обѣ стороны

обмѣнялись оскорбительными рѣзкостями, и, по моему крайнему убѣжденію поступятъ благоразумно, если обоюдно возьмутъ ихъ назадъ.

— Иного исхода не предвидится, подтвердилъ Полосатовъ.—Осуждая обѣ стороны, мы, впрочемъ, по моему мнѣнію, должны принять во вниманіе, что оба письма были написаны въ минуту сильнаго раздраженія.

— Это само собой разумѣется, довольно небрежно прервалъ Стоумовъ своего не въ мѣру ретиваго товарища,—но я желалъ бы знать ваше мнѣніе, господа, обратился онъ къ Макрушину и Голубцову. Вы, конечно, согласны, что одна рѣзкость уравновѣшиваетъ другую.

— Не совсѣмъ, сказалъ Голубцовъ. — Я во-первыхъ, обращу вниманіе на разницу тона. Письмо г. Подлещикова рѣзко, но въ немъ нѣтъ умышленной грубости. Письмо графа дышетъ нисколько не скрываемымъ презрѣніемъ; онъ какъ-будто считаетъ г. Подлещикова лицомъ, съ которымъ для него унизительно вступать въ какія-либо объясненія; лицомъ, котораго мало не уважаютъ, но даже бьютъ люди, состоящіе у графа въ услуженіи. Словомъ, онъ рѣзко отзывается не о какомъ-либо отдѣльномъ поступкѣ г. Подлещикова, но не скрываетъ полнаго своего презрѣнія ко всей его личности.

— Къ словамъ моего товарища, сказалъ Макрушинъ,—я долженъ прибавить, что графъ для усугубленія своего презрѣнія ссылается на фактъ небывалый, и притомъ самаго возмутительнаго свойства.

— О! на этотъ счетъ я съ вами вполнѣ согласенъ, любезно замѣтилъ Стоумовъ. — Тутъ графъ поступилъ

весьма неблагоразумно и даже легкомысленно,—я позволяю себѣ послѣднее выраженіе, потому что самъ лично, какъ товарищъ и старый другъ графа, высказалъ это ему... Итакъ, я признаю, что графъ поступилъ съ непростительнымъ легкомысліемъ, повѣривъ такому ославленному лицу, какъ Натрыжкинъ, но, господа, я ручаюсь вамъ честью, что графъ не имѣлъ при этомъ намѣренія выразить свое презрѣніе къ личности г. Подлещикова. Онъ сдѣлалъ это сгоряча и единственно потому, что вдался въ обманъ, повѣривъ недостойному человѣку, сумѣвшему такъ, или иначе заслужить его расположеніе. Вотъ почему я все еще позволяю себѣ питать надежду, что мы можемъ придти къ соглашенію и что взаимное извиненіе удовлетворитъ обѣ стороны.

Макрушинъ отрицательно покачалъ головой.

— Объ извиненіи со стороны г. Подлещикова не можетъ быть и рѣчи, сказалъ Голубцовъ.

— Но, господа, вѣдь сами же вы признали, что выраженія г. Подлещикова оскорбительны для графа.

— Да, отвѣчалъ Макрушинъ.

— А если они таковы, то графъ, конечно, могъ требовать удовлетворенія отъ г. Подлещикова.

— И объ этомъ спора нѣтъ, подтвердилъ Макрушинъ.

— Взаимное извиненіе могло бы имѣть мѣсто только тогда, сказалъ Голубцовъ, — еслибы графъ отвѣчалъ г. Подлещикову, какъ равный равному. Но тонъ его письма даже не тонъ высшаго къ низшему, а хуже чѣмъ тонъ барина по отношенію къ крѣпостному лакею.

— Et c'est le ton, qui fait la musique, добавилъ Макрушинъ.

— Извините, господа, сказалъ Стоумовъ,—но я не

думаю, чтобы тону можно было придавать такое главенственное значеніе. Оба письма, какъ прекрасно замѣтилъ г. Полосатовъ, писаны въ раздраженіи, и этого мы не должны упускать изъ виду. Тонъ графа, говорите вы, рѣзче: я не стану оспаривать и этого, но примите въ соображеніе, что графъ писалъ не просто въ раздраженіи, не на основаніи однихъ дошедшихъ до него сомнительныхъ слуховъ, но по полученіи уже письма отъ г. Подлещикова, письма, которое вы же сами признали оскорбительнымъ и вдобавокъ настолько, что графъ, по вашему же мнѣнію, имѣлъ право требовать удовлетворенія.

— Я и теперь стою на томъ же, началъ свое возраженіе Макрушинъ. — Графъ имѣлъ право требовать удовлетворенія, но онъ имъ не воспользовался, и съ тѣмъ вмѣстѣ потерялъ его.

— Мнѣ кажется, что права на удовлетвореніе потерять нельзя, замѣтилъ Стоумовъ.

— Это право, сказалъ Полосатовъ, — было бы утрачено только въ томъ случаѣ, еслибы графъ не призналъ себя оскорбленнымъ г. Подлещиковымъ, но его отвѣтное письмо, рѣзкость котораго уже достаточно осуждена Вячеславомъ Андреевичемъ, доказываетъ, что онъ почувствовалъ оскорбленіе въ самой высокой степени.

Стоумовъ готовъ былъ расцѣловать Полосатова.

— Очень вамъ благодаренъ за точную и блестящую формулировку моей мысли, любезно поощрилъ онъ будущаго профессора.

— Графъ потерялъ право требовать удовлетворенія не потому, что не почувствовалъ себя оскорбленнымъ, но потому, что въ своемъ письмѣ призналъ г. Подлещи-

кова лицомъ, недостойнымъ такого требованія, сказалъ Макрушинъ.

Стоумовъ, какъ давеча графъ, готовъ былъ воскликнуть: „Ахъ какъ мнѣ не нравится, что вы приберегли этотъ аргументъ къ концу!“

— Разумѣется, подтвердилъ Голубцовъ.

— Прекрасно, господа, сказалъ Стоумовъ,—таково ваше мнѣніе, но, быть-можетъ, самъ г. Подлещиковъ взглянетъ на дѣло нѣсколько иначе и отнесется къ оскорбленному чувству графа болѣе снисходительно.

— Нѣтъ, отвѣчалъ Голубцовъ.—Мы дѣйствуемъ по полномочію г. Подлещикова. Онъ, такъ же, какъ и мы, не допускаетъ возможности обоюднаго извиненія.

— И допускай онъ такую возможность, сказалъ Макрушинъ,—ни я, ни г. Голубцовъ не имѣли бы чести явиться сюда въ качествѣ его секундантовъ. Вѣдь, еслибы, по мнѣнію г. Подлещикова, одно оскорбленіе уравновѣшивало другое, то ему не къ чему бы было дѣлать вызова.

— Итакъ, по вашему мнѣнію, дуэль неизбѣжна? спросилъ Стоумовъ.

— Нисколько, если графъ согласится извиниться передъ г. Подлещиковымъ, сказалъ Голубцовъ.

— Только, понятно, извиненіе должно быть сдѣлано въ одобренныхъ нами терминахъ, добавилъ Макрушинъ.

— Я, конечно, прежде чѣмъ дать вполнѣ утвердительный отвѣтъ, долженъ посовѣтоваться съ графомъ, сказалъ Стоумовъ. — Но позвольте надѣяться, что въ терминахъ, предложенныхъ вами, не будетъ заключаться ничего унизительнаго для достоинства графа.

— Но, думая поддержать товарища, сказалъ По-

лосатовъ, — на унизительные термины можетъ согласиться развѣ тотъ, кто по какимъ-либо особенно-важнымъ причинамъ, семейнымъ или общественнымъ, поставленъ въ невозможность принять поединокъ.

Стоумовъ готовъ былъ съѣсть будущаго профессора.

— Но графъ, надѣюсь, не въ такомъ положеніи? какъ бы мимоходомъ освѣдомился Макрушинъ.

— Отнюдь не въ такомъ, спѣшно отвѣчалъ Стоумовъ.

— Впрочемъ, для насъ это безотносительно, сказалъ Макрушинъ. — Мы всѣ, конечно, слышали о вымогательствѣ въ подобныхъ случаяхъ унизительныхъ писемъ. Но на такое вымогательство способны, разумѣется, одни низкіе люди. Г. Подлещиковъ человѣкъ благородный и никогда не пожелалъ бы поставить другаго въ унизительное положеніе. Впрочемъ, предупреждаю, что письмо должно быть написано въ весьма точныхъ и опредѣленныхъ выраженіяхъ, не допускающихъ сколько-нибудь двусмысленнаго толкованія.

— Напримѣръ?

— Графъ долженъ изъявить свое искреннее раскаяніе въ употребленіи чрезмѣрно грубыхъ и оскорбительныхъ выраженій и признать свое отношеніе къ г. Подлещикову вполнѣ не согласнымъ съ правилами всѣми принятой и для всѣхъ обязательной вѣжливости; затѣмъ онъ долженъ выразить свое глубокое сожалѣніе, что съ непростительнымъ легкомысліемъ повѣрилъ небывалому факту, сообщенному ему лицомъ, какъ онъ теперь вполнѣ убѣдился, не заслуживающимъ никакого довѣрія. Кажется, такая редакція не представитъ особаго затрудненія, тѣмъ болѣе, что вторая ея половина есть не что иное, какъ перефразъ мнѣнія, высказаннаго вами самими графу.

Стоумовъ закусилъ губу.

— Знаете что́, сказалъ онъ по молчаніи, — составимте-ка сейчасъ примѣрное письмо, и затѣмъ я свезу его къ графу.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ.

Они принялись за работу, которая затянулась порядочно. Стоумовъ старался изо всѣхъ силъ смягчить выраженія; но Голубцовъ и Макрушинъ, избѣгая унизительнаго тона, настойчиво требовали ясности и опредѣленности. Наконецъ проектъ письма былъ оконченъ, прочтенъ и принятъ обѣими сторонами.

— Однако, какъ оно все перечеркано и перемарано, сказалъ Стоумовъ.

Полосатовъ вызвался переписать, объяснивъ, что у него четкій почеркъ. Остальные, чтобы не мѣшать ему, перешли въ сосѣднюю комнату.

— А что, господа, вы станете дѣлать, пока я съѣзжу къ графу? спросилъ хозяинъ.

— А вы развѣ долго?

— Право, не знаю; но все-таки съ часъ пройдетъ. Притомъ, я попросилъ бы васъ остаться, чтобы нынче же составить протоколъ и, словомъ, покончить все. Надѣюсь, что и для г. Подлещикова это будетъ пріятнѣе?

— Конечно.

— Но что же вы будете дѣлать? Не поставить ли вамъ столикъ? можетъ быть вы сыграете пульку въ преферансъ? Или не прикажете ли вамъ подать крюшончикъ?

— Послѣднее благоразумнѣе, сказалъ Макрушинъ.— Въ карты я не умѣю, а вотъ, какъ вы уѣдете, затѣю самый горячій споръ съ Полосатовымъ о литературѣ. А въ виду этого, прохладительное окажется не лишнимъ.

— Только глядите, не доспорьтесь до дуэли.

— Не бойтесь. Мы, литераторы, народъ мирный. Мы вѣдь пылимъ только на бумагѣ, а въ частной жизни... Да вотъ меня почему-то считаютъ ярымъ консерваторомъ, мнѣ случалось сталкиваться съ такими же радикалами. Что-жь, за бутылкой вина, мы бесѣдовали очень мирно, и даже приходили къ соглашенію по многимъ вопросамъ. И, кстати, вотъ еще странность: я, вы знаете, давно ужь мыкаюсь по разнымъ редакціямъ, и здѣсь, и въ Петербургѣ, и замѣчалъ, что въ радикальныхъ редакціяхъ большинство сотрудниковъ вовсе не радикально, и въ консервативныхъ газетахъ порой пишутъ такіе крайніе господа...

— Но въ такомъ случаѣ они, значитъ, пишутъ противъ своихъ убѣжденій? сказалъ Стоумовъ.

— Не то, чтобъ противъ убѣжденій, а они сами не разобрались, да и никогда не разберутся въ своихъ убѣжденіяхъ. А между тѣмъ сдѣлали привычку писать въ извѣстномъ направленіи. Кто какому направленію обучился, тому въ немъ и пишется легко. Правда, давно ужь сказано:

„Прежде, чѣмъ станешь писать, научись-ка порядочно мыслить“.

Ну, да гдѣ-жь намъ сообразоваться съ такими философскими правилами, когда и граматическимъ-то не всѣ обучены. При отсутствіи думанья, приходится бредить въ извѣстномъ направленіи да и публику толкать по той же дорожкѣ. И то сказать, что съ направленіемъ большинству удобнѣе; оно ихъ подбодряетъ, придаетъ физіономію. Вѣдь и на Западѣ то же; только тамъ это зовется партіями... Человѣчество вѣдь вообще барановато... за козломъ бредетъ, а за неимѣніемъ козла, идетъ за первымъ взбалмошнымъ бараномъ.

— И ничѣмъ этому помочь нельзя?

— Ни коимъ образомъ. То-есть, какъ я уже замѣтилъ, надо думать, да думанье-то дѣло трудное, какъ сказалъ Гете, или кто-то изъ его пріятелей. Не писать, не думавши,—опять нельзя, когда завелось умственное перепроизводство!.. и газеты и сотрудники требуются въ большомъ количествѣ. И въ этомъ перепроизводствѣ весь секретъ развитія прессы. И только пройдетъ сколько-нибудь мода на нынѣшнія направленія, вы увидите, какъ вся печать раскиснетъ и станетъ жаловаться на апатію!

— А потомъ что?

— Потомъ опять народится какой-нибудь козелъ и побѣжитъ, яко бы въ новомъ направленіи, и баранчики опять прибодрятся.

— Готово! возгласилъ Полосатовъ, появляясь въ дверяхъ.

* * *

На другое утро, послѣ описаннаго совѣщанія, Иванъ Ѳеогностовичъ проснулся въ половинѣ одиннадцатаго Онъ чувствовалъ себя легко и бодро и подумалъ, что отлично выспался. Точно послѣ долгаго и безпокойнаго пути, послѣ всякой дорожной грязи, пыли и копоти, насѣвшей всюду и набившейся во всѣ поры, ему наконецъ-то удалось вымыться въ банѣ и надѣть чистое бѣлье. Какая разница съ тѣмъ, что онъ испытывалъ вчера ночью, между одиннадцатью и часомъ, дожидая, чѣмъ-то кончатся переговоры секундантовъ! Онъ былъ мраченъ и угрюмъ; онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатѣ и мечталъ о мести графу. Ему все время мерещилось, какъ онъ встрѣчается съ нимъ гдѣ-нибудь на лѣстницѣ, нахлобучиваетъ ему шляпу и даетъ два-три

здоровыхъ пинка; или отдеретъ его, какъ школьника, за уши, или загонитъ хлыстомъ въ грязную и вонючую канаву.

Быть-можетъ, иной пылкій читатель или критикъ вознегодуетъ на Ивана Ѳеогностовича, а кстати и на автора, за такую прозу. И осыпитъ онъ ругательствами дряблую славянскую породу, неспособную даже въ разгоряченномъ воображеніи представить себѣ трупа поверженнаго врага обагренною въ его крови шпаги и утоленной пролитою кровью жажды мести. „То ли дѣло“, воскликнетъ онъ, „пылкіе Италіанцы или Французы! У нихъ бы даже печатная бумага побагровѣла и въ глазахъ у читателя запрыгали адскіе огоньки!“ Ну, намъ до нихъ, конечно, далеко: мы, вѣдь, пока дошли только до безубойнаго питанія, и еще не знаемъ спеціально приготавливаемыхъ для французскихъ дуэлей безубойныхъ пистолетовъ!

Проснувшись, Иванъ Ѳеогностовичъ первымъ дѣломъ взялъ съ ночного столика лежавшія на немъ бумаги и прочелъ ихъ. То были: протоколъ секундантовъ и извинительное письмо графа. Послѣ чтенія, Подлещиковъ почувствовалъ себя еще бодрѣе и веселѣе, и сталъ спѣшно одѣваться.

Ровно безъ четверти одиннадцать послышался звонокъ.

„Навѣрное, Андрюша“ подумалъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

— Ну, что? еще изъ-за дверей закричалъ Андрей Николаевичъ.

— А вотъ, возьми, прочти.

Безпаловъ прочелъ обѣ бумаги.

— Что жъ, ты доволенъ? спросилъ онъ.

— Еще бы! отвѣтилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.—Мое самолюбіе удовлетворено вполнѣ. Лучше и кончиться не могло. Дуэль ровно бы ничего не доказала; знали бы только, кто убитъ, или раненъ, а не кто правъ. Чего жь мнѣ еще, когда судъ чести оправдалъ меня? И онъ не можетъ пожаловаться, что судьи были какіе-нибудь плебеи. Стоумовъ такой же аристократъ, какъ онъ самъ, да и Макрушинъ имѣетъ право на частицу *фонъ*, хотя конечно и не пользуется ею.

— Какъ фонъ-Макрушинъ, да онъ вѣдь чистѣйшій Русскій?

— Видишь ли, какъ объяснилъ мнѣ Голубцовъ, его дѣдъ или отецъ служилъ въ Митавѣ, или Ригѣ, полюбился тамошнимъ баронамъ и они его матрикулировали.

— Ну, цѣлуя Ивана Ѳеогностовича, сказалъ Безпаловъ,—я очень радъ, что ты доволенъ и что все кончилось благополучно.

— А ты, что жь, боялся, что онъ меня подстрѣлитъ? съ улыбкой спросилъ Иванъ Ѳеогностовичъ.

Андрей Николаевичъ вдругъ съ необыкновенной ясностью представилъ себѣ возможность трагическаго, какъ выражаются газеты, исхода дуэли, и онъ слѣдомъ упрекнулъ себя въ безчувственности за то, что доселѣ дуэль рисовалась ему въ комическомъ видѣ. Андрей Николаевичъ такъ взволновался, что ему показалось, будто онъ поблѣднѣлъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, желая успокоить пріятеля, сказалъ онъ не совсѣмъ покойнымъ голосомъ,—я, правду сказать, боялся, что она тебя разоритъ.

Иванъ Ѳеогностовичъ, благодаря уже извѣстнымъ читателю математическимъ способностямъ, быстро со-

образилъ, во что обошлась ему платоническая любовь къ Фанни Юрьевнѣ, и онъ въ свою очередь взволновался; ему также показалось, будто онъ поблѣднѣлъ и онъ отвѣчалъ также не совсѣмъ покойнымъ голосомъ:

— Да, да... А вѣдь никто раньше не остерегъ меня...

Андрей Николаевичъ хотѣлъ что-то сказать, но пріятель прервалъ его.

— Я знаю, что ты хочешь сказать: остереги молъ тебя, ты и пошелъ бы ворчать: „Ахъ, Господи мой, Боже, да не все ли тебѣ равно, разорюсь ли я, или нѣтъ?“

Безпаловъ улыбнулся: Иванъ Ѳеогностовичъ отгадалъ его мысль, а это доказывало, что прежнія дружескія отношенія между ними возстановились вполнѣ.

— Впрочемъ, я вру... Лидія Антоновна тогда же мнѣ все отчитала. Вотъ женщина, а оказала больше мужества, чѣмъ господа кавалеры... Да, что я не спрошу, здорова ли она? Что Ваня, выросъ? А Лидочка? Какъ давно я ихъ не видалъ!

Андрей Николаевичъ отвѣчалъ, что всѣ, слава Богу, здоровы, и Лидія Антоновна велѣла непремѣнно привезти его сегодня къ обѣду.

— Что жь, я очень радъ. Сегодня у меня послѣдній свободный день; съ завтра—полно гулять, вступаю въ исполненіе своихъ обязанностей... Но обѣдъ, дружокъ, въ пять, а теперь двѣнадцатый въ началѣ, и притомъ обѣдъ не исключаетъ завтрака, — а потому, какого ты мнѣнія на счетъ прогулки къ Тѣстову?

— Я готовъ, только не увлечься бы и не прогулять обѣда.

— Со мной не увлечешься: я теперь опять сама аккуратность.

Они отправились пѣшкомъ. Тамъ, гдѣ Тверская начинаетъ лѣзть въ гору, какой-то мальчишка, остановясь предъ входомъ въ мелочную лавку, сталъ вытряхивать изъ бутылки на тротуаръ какіе-то липкіе и пѣнистые подонки.

— Ты что это дѣлаешь, а? закричалъ Иванъ Ѳеогностовичъ, схвативъ его за руку. — Иль не видишь, что тутъ покато, а? А вотъ я, или кто другой, пойдетъ, да поскользнется о твою гущу, и упадетъ, и ногу сломитъ? а?

— Да полно тебѣ! прервалъ его Безпаловъ. — Иль ты не видишь, что мальчишка и то еле живъ со страха?

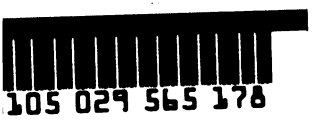
— Ну, ступай: видишь, за тебя баринъ проситъ. Только въ другой разъ не смѣй этого дѣлать, не то городовому отдамъ.

Пріятели пошли дальше... И жизнь пошла обычной колеей, той самой, которой бредемъ и мы съ вами, любезный читатель. И до того-то всѣмъ намъ мила и любезна эта колея, что хотя на ней порою и ловко встряхиваетъ, а будь оно лишь въ нашей власти, мы растянули бы ее до безконечности. И даже самый мрачный пессимистъ, только и мечтающій, что о вожделѣнномъ мгновеніи, когда вся живая тварь, наскучивъ бременемъ жизни, приговоритъ вселенную къ полному и безвременному уничтоженію, — и тотъ бы не отсталъ отъ насъ въ этомъ растягиваніи, чтобы вѣкъ-вѣченскій киснуть, да тосковать по всепоглощающей Нирванѣ.

1891—93.

Ракитная — Спб.

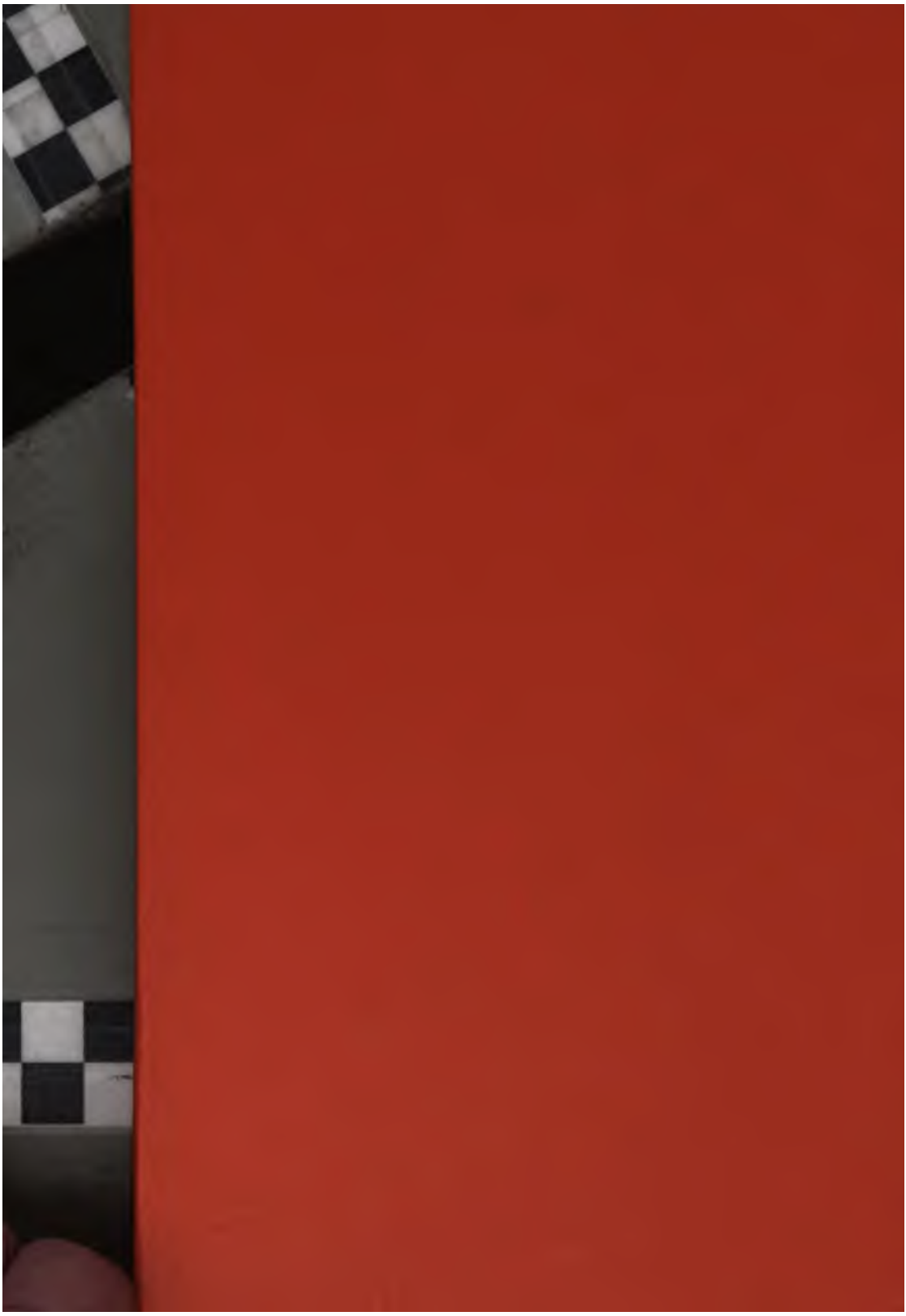
1-3104
5-03-SB


105 029 565 178

34.
A9
18
v.

CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6063
(650) 723-1493
greencirc@stanford.edu

All books are subject to recall.

DATE DUE

APR 17 2006
APR 17 2006
ILL